4
0-20

С. П. ОБНОРСКИЙ

Избранные работы по русскому языку

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова
www.ruslang.ru

№ 55594.



С. П. ОБНОРСКИЙ



Избранные работы по русскому языку

Государственное
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Министерства Просвещения РСФСР
Москва · 1960

4
0-20
БИБЛИОТЕКА
Института
Языкознания
АН СССР
55594

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АКАДЕМИКА С. П. ОБНОРСКОГО

Биография выдающегося советского языковеда-русиста Сергея Петровича Обнорского несложна и представляет собой пример беззаветного служения науке.

Родился С. П. Обнорский 14 (27) июня 1888 г. в Петербурге. Окончив 10-ю гимназию в 1905 г., поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета в пору расцвета на нем русской филологической науки. Интересуясь преимущественно славяно-русским языкознанием, он занимался под руководством И. А. Бодуэна де Куртене, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, П. А. Лаврова.

Под непосредственным влиянием А. А. Шахматова у Сергея Петровича сложился и четко определился живой интерес к науке о русском языке. Зачетную свою работу он посвятил исследованию языка старейшего русского памятника-минеи 1097 г. По окончании университета Обнорский был оставлен А. А. Шахматовым при кафедре русского языка для подготовки к профессорской деятельности. В 1912 г. он был приглашен в Академию наук для участия в редактировании Словаря русского языка, и с тех пор научная деятельность Сергея Петровича связана с нашей Академией наук. В 1915 г., закончив магистерские испытания, С. П. Обнорский работал в качестве приват-доцента на кафедре русского языка Петроградского университета. В 1916 г. был командирован для чтения лекций во вновь учрежденное Пермское отделение Петроградского университета. В 1917 г. в связи с открытием самостоятельного Пермского университета Обнорский был зачислен в его состав в должности профессора.

В 1922 г., вернувшись в Петроград, снова вошел в состав университета, где занял должность профессора, заведующего кафедрой русского языка и занимал эту должность вплоть до осени 1941 г., до эвакуации из Ленинграда в Казань.

В 1931 г. С. П. Обнорский был избран членом-корреспондентом, а в 1938 г. действительным членом (академиком) АН СССР.

В 1943 г. Сергей Петрович реэвакуировался из Казани в Москву, где поступил профессором, заведующим кафедрой русского языка

в Московском университете. В 1944 г. по инициативе С. П. Обнорского в составе АН СССР был создан в Москве Институт русского языка, директором которого он состоял до 1950 г., когда этот институт был объединен с Институтом языка и мышления в единый Институт языкознания АН СССР.

Такова внешняя история жизни С. П. Обнорского. Она не богата событиями и была целиком подчинена задачам изучения русского языка, подготовке кадров русистов и организации науки русского языка.

Научная деятельность Сергея Петровича, которая продолжается, все расширяясь и углубляясь, почти пятьдесят лет, поражает своей цельностью и выдержанностью. Еще на студенческой скамье Обнорский обстоятельно ознакомился с передовыми языковедческими идеями своего гениального учителя А. А. Шахматова, глубоко усвоил методику его лингвистического анализа и в течение всей своей богатой творческой жизни был предан шахматовскому направлению в русском языкознании.

Жизнь и творчество С. П. Обнорского протекали в сложных и противоречивых условиях роста советского языкознания. Но ни разу Сергей Петрович не отошел от своих принципиальных позиций, ни в чем существенном он не уступал своим идейным противникам, никогда волна разных модных течений не отвлекала его от избранного направления.

С. П. Обнорский прежде всего историк языка. Вне истории он не признает научного изучения языка. Историзмом пронизаны буквально все его исследования, в том числе работы научно-прикладного характера, как-то: работы по вопросам культуры речи, орфографии, нормализации языка. Разработке истории языка ученый придает исключительное значение и особую важность. По его убеждению, именно в истории русского языка, достаточно полно и глубоко разработанной, должны содержаться ключи к современному познанию русского языка, притом не только в прошлых стадиях развития языка, но и в современном его состоянии [1].

Для Сергея Петровича, как и для А. А. Шахматова, язык есть продукт исторического развития народа. «Именно в языке полнейшим образом — и притом в осмыслении самого народа — отпечатлеваются все этапы истории этого народа от отдаленнейших времен, все ступени, по которым направлялось движение его культуры»[2].

Подлинная история языка является органической частью общей истории народа, истории его просвещения и культуры. «История русского языка действительно не может рисоваться какой-то совокупностью замкнутых в себе явлений и процессов, когда-то совершившихся, где-то протекавших, а где-то не осуществившихся и т. д. Процессы языковой жизни, языковых изменений протекают в необ-

---

[1] См. С. П. Обнорский, Акад. А. А. Шахматов—историк русского языка (Изв. АН, Отд. лит. и яз., 1946, т. V, вып. 2), стр. 78—79.

[2] С. П. Обнорский, Культура русского языка, М.—Л., 1948, стр. 3.

ходимом взаимодействии с течением исторического процесса народности» [1].

Свою научную работу Сергей Петрович начал, как было указано, с описания и анализа языка древнейшего русского памятника-минеи за ноябрь 1097 г. Это была студенческая семинарская работа, написанная под руководством А. А. Шахматова [2].

Уже в этой работе молодой исследователь обнаружил хорошую осведомленность в литературе вопроса, достаточное знание старославянских памятников, тщательность и обоснованность лингвистического анализа. У А. А. Шахматова Сергей Петрович научился критическому изучению языка памятника с отграничением пласта графических явлений от фактов языка, с выделением языковых напластований разных эпох, т. е. ту методику исследования языка древнего памятника, которую позже он с таким успехом применил в своих «Очерках истории русского языка».

Типична и задача, которую ставит перед собой исследователь, а именно: выяснить, «вышла ли Минея из-под руки одного переписчика, или их было несколько, а в последнем случае необходимо определить их число». Выводы автора таковы: первая половина памятника (листы 1—108) по всем признакам несколько архаичнее второй (в смысле большей верности церковнославянскому языку), что говорит о существовании двух рук писцов. Возможно, уже в старославянском оригинале принимали участие два писца.

Характерна для шахматовской школы и следующая черта лингвистического анализа С. П. Обнорского, ярко проявившаяся уже в его первой научной работе: это строгое расчленение, разграничение от общих явлений отдельных фактов языка, внешне подходящих к ним, но имеющих свою личную историю.

Интересна и показательна для исследовательской манеры С. П. Обнорского небольшая его статья «Беглое *в* в Супрасльской рукописи» [3]. В начале статьи автор приводит весь относящийся к теме материал из памятника, распределив его на девять групп, и ставит вопрос: как объяснить эту неустойчивость в употреблении, эту «беглость» *в* в Супрасльской рукописи? Далее автор переходит к дифференцированному рассмотрению и объяснению всего материала.

С такой же тщательностью и четкостью написаны аналогичные ранние работы С. П. Обнорского: «Судьба j-та в Супрасльской рукописи» (Изв. ОРЯС, т. 17, кн. 3, 1912), «Глухие в сочетании с плавными в Супрасльской рукописи» (Изв. ОРЯС, т. 17, кн. 4, 1912), «К истории глухих в Чудовской псалтыри XI века» (Рус. Фил. Вест., т. 68, № 3—4, 1912), «О языке Ефремовской кормчей XII века» (Исследов. по русск. яз., т. III, вып. I, 1912).

---

[1] С. П. Обнорский, Акад. А. А. Шахматов — историк русского языка, стр. 82.

[2] Работа была напечатана лишь в 1924 г. в Изв. ОРЯС, т. XXIX.

[3] Кн. «Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского». АН СССР, Л., 1928, стр. 418—422.

Среди первых трудов Сергея Петровича особое место занимает его работа «К литературной истории «Хождения Арсения Селунского»[1].

История ее появления такова.

В 1913 г. В. П. Адрианова опубликовала текст «Хождения Арсения Селунского» по трем редакциям [2]. Вопрос о национальности Арсения, а также о языке и времени написания памятника В. П. Адрианова оставила открытым, хотя, опираясь на название города Селунь, где был дьяконом Арсений, и на чисто славянское слово «чвекотъ» (шум), она склонна была считать автора болгарином.

В «Русс. Фил. Вест.» (1914, № 2) появилась статья А. Маркова «Родина паломника Арсения Селунского», в которой автор на основе беглого обзора особенностей языка памятника приходит к решительному заключению, что Арсений писал по-русски, что язык его великорусский, но с некоторыми западнорусскими элементами. «Арсений был родом из такой северновеликорусской местности, которая находилась под влиянием белорусских говоров. А такой областью являются теперешние губернии Псковская и Тверская. Здесь следует искать и «Селуня града», дьяконом которого был Арсений». Выводы А. Маркова лингвистически слабо были аргументированы.

Это заставило С. П. Обнорского взяться за анализ языка «Хождения». Исходя из принципа, что «филологическое изучение памятника должно отправляться не от единичного факта, как бы он ни был своеобразен, а должно идти от изучения всей совокупности данных памятника к объяснению сомнительных в нем частностей», Сергей Петрович переходит к анализу графики, фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики древнейшего списка (XVI в.) памятника, особо отмечая все типически русское. Выводы из этого анализа таковы: «Хождение» Арсения есть памятник б о л г а р с к о й паломнической литературы; древнейший список его, известный нам в рукописи XVI в.,— русской редакции, но, прибавим, безличной, не имеющей никаких данных для суждения о диалекте переписчика; следовательно, все особенности лексики и синтаксиса «Хождения», равно уцелевшие от переписчиков следы особенностей графики и фонетики, должны получить объяснение только на почве болгарского языка» (стр. 11). Что же касается вопроса о хронологии «Хождения», то высказывается предположение, что данный список является к о п и е й оригинала, относящегося к XV в. Эти наблюдения, рассуждения и выводы Сергея Петровича сохраняют свою убедительность и в наши дни.

Известно, что в русском языкознании в прошлом недостаточное внимание уделялось вопросам развития морфологического строя языка. Методология исследования морфологических явлений в дол-

[1] Извест. ОРЯС А. Н., т. IX, кн. 3, 1914.

[2] Извест. ОРЯС АН, т. XVIII, кн. 3, 1913.

жной степени не была разработана. В развитии морфологических явлений чрезмерное значение придавали то фонетическим факторам, то законам аналогии, то семасиологическим причинам. Инвентарь морфологических категорий и форм и условия их употребления в живом русском языке не были выяснены и описаны. Письменные источники и народные говоры слабо были изучены с точки зрения морфологического состава.

Заслуга С. П. Обнорского перед нашей наукой заключается в том, что он широко разработал приемы научного анализа морфологических явлений русского языка и дал обстоятельное, всестороннее исследование русского именного склонения.

Интерес к проблемам морфологии у Сергея Петровича зародился давно, еще до революции. В 1913 г. он опубликовал две статьи по русскому именному склонению: 1) об употреблении род. ед. на *-у, -ю* от существ. м. р. в языке К. Н. Батюшкова [1]; 2) о формах склонения имен существительных по сатирам Кантемира [2]. В 1924—1925 гг. вышли из печати еще две статьи, посвященные именному склонению, с широким привлечением данных народных говоров. Это статьи о формах звательного падежа [3] и о двойственном числе в русском именном склонении [4]. В 1927 г. выходит из печати первый выпуск монументального исследования «Именное склонение в современном русском языке». Вып. I. Единственное число. Второй выпуск, посвященный множественному числу, был опубликован лишь в 1931 г.

Это исследование как по охвату материала, по четкости лингвистического анализа и обоснованности многих выводов, так и по своим принципиальным положениям является крупным событием в советской русистике. Автор поставил перед собой огромную задачу— определив исходный момент изучаемого явления, проследить процесс дальнейшего его развития до современного состояния не только в литературном языке, но и во всех русских диалектах. Для разрешения такой сложной задачи прежде всего необходимо было привести в ясность все факты многочисленных народных диалектов, извлекая их из печатных и рукописных источников диалектологического характера (из описаний, исследований, ответов на программы, из записей различных произведений народного творчества и т. п.). И эта работа была выполнена почти с исчерпывающей полнотой. Распределенный по географическому принципу, диалектный материал дал во многих случаях четкие изоглоссы. Большие данные были извлечены из литературных источников.

Для объяснения явлений русского языка широко привлекались параллельные факты из украинского и белорусского языков, а

---

[1] Одна особенность языка К. Н. Батюшкова Сборник статей в честь Д. Ф. Кобеко, Спб., 1913.

[2] «Формы склонения по сатирам Кантемира», Рус. Фил. Вест. 1913, т. 69, № 1.

[3] Zeitschrift für Slav. Phil., 1924, Bd, 1.

[4] Zeitschrift, 1925, Bd. 2, H. 1—2.

также по мере надобности из других славянских языков. Учитывались и показания древних русских памятников. Хотя исследование и носит ограничительное название «в современном русском языке», но по существу перед нами обстоятельный труд по истории русского именного склонения.

Анализ морфологических явлений производится всесторонне, с учетом воздействий со стороны фонетических, акцентологических, семасиологических, стилистических факторов. Особое значение придается акцентологическим закономерностям, прекрасным знатоком которых показал себя автор. Крупнейшие явления в области русского именного склонения (род. мест. пад. ед. ч. на *-у* (*-ю*), имен. п. мн. ч. муж. р. на *-а* (*-я*), *-ья*, многие формы род. п. мн. ч. и др.) в исследовании получили новые, оригинальные, научно обоснованные толкования.

Все исследование завершается выводами, имеющими общетеоретическое значение. Главные из них следующие: 1. Принцип аналогии, которым часто пользуются при объяснении изменений морфологических явлений, на самом деле имеет ограничительное значение в развитии морфологических процессов: воздействие аналогии здесь само имеет свои причины и оправдывается наличностью известных факторов, обыкновенно фонетического порядка. 2. Изучение определенных явлений русского именного склонения показывает, что в эпоху сложения великорусского единства в языке сохранялись еще унаследованные из старейших эпох интонационные различия в ударении. 3. Развитие морфологической системы русского литературного языка протекает в условиях непрерывного воздействия со стороны живой народной речи. Влияние же литературного языка в области именного склонения на народную речь ничтожно. 4. На русский литературный язык длительное и устойчивое влияние оказывало московское наречие. Начиная с Петровской эпохи, наряду с продолжающимся воздействием московской и вообще южновеликорусской народной речи, началось довольно значительное влияние и северновеликорусской народной стихии.

Большую научную ценность представляют отдельные статьи Сергея Петровича, посвященные частным вопросам морфологии и фонетики. Небольшие по объему, предельно сжатые по изложению, они опираются на богатый материал (литературный и диалектный), специально подобранный, всесторонне проверенный, критически изученный и обследованный. Поэтому выводы автора звучат убедительно и обоснованно. Таковы, например, статьи: «Глагол «использовать» и «использовывать» в современном русском языке» (сб. «Язык и мышление», 1935, т. 3—4), «Префикс «без» в русском языке» (в кн. «Памяти акад. Н. Я. Марра», 1938), «Сочетания *чн* в русском языке» («Труды комиссии по русскому языку» 1931, т. 1), «Переход *е* в *о* в современном русском языке» (в кн. «Акад. А. А. Шахматов», 1947).

В статье «Глагол *использовать — использовывать* в современном русском языке» С. П. Обнорский исследует развитие значения и употребления этого глагола.

Глагол *использовать* образован от *пользовать*, который в свою очередь образовался от существительного *польза*. Область употребления глагола *использовать* ограничена литературным языком. Исконное его значение было «приносить пользу», от него обособился оттенок «приносить пользу в болезни, больному», отсюда новое значение *лечить*. Последнее значение, имея семантические дублеты в глаголах *врачевать* и *лечить*, не удержалось в языке и было вытеснено указанными глаголами.

Книжный характер происхождения глагола *использовать* объясняет принадлежность его одновременно и к совершенному и несовершенному виду (ср. такие глаголы, как *казнить, телеграфировать, организовать* и т. д.).

Этот глагол был воспринят по чисто внешним признакам как глагол совершенного вида, ср. такие глаголы совершенного вида, как *избаловать, изрисовать, излиновать*. Отсюда возникла потребность образовать при помощи суффикса *-ывать* параллельный к нему глагол несовершенного вида (по образцу *организовать — организовывать*). Так появился глагол *использовывать*. Насколько это новообразование закономерно?

От глаголов на *-овать* с отвлеченным значением вообще не употребительны образования на *-овывать*, ср. напр. глаголы — *израсходовать, истребовать*. Однако ряд глаголов этой группы имеет параллельные формы несовершенного вида на *-овывать*: *избало́вать — избало́вывать, срисова́ть — срисо́вывать, разлинова́ть — разлино́вывать*. Как видно из приведенных примеров, все такие глаголы имеют наконечное ударение — *ова́ть*. Так как глагол *использовать* не отвечает этому фонетическому условию, т. е. не имеет ударения на *-ать*, то образование от него несовершенного вида *использовывать* нельзя считать закономерным, нормальным для литературного языка.

Статья «Префикс *без-* в русском языке» интересна не только наблюдениями и выводами, но и методикой исследования. Поэтому проследим за ходом мыслей автора.

Степень употребления приставки *без-* в разных грамматических категориях неодинакова: в группе прилагательных она имеет наиболее широкое распространение, значительно реже она употребляется с именами существительными (если не считать производных на *-ость* и др.) от осложненных уже приставкой прилагательных типа *беззаботность* (от *беззаботный*), *безбожник* (от *безбожный*), *бестолковщина* (от *бестолковый*) и совсем редко в кругу глаголов.

Значительное число образований с *без-* принадлежит литературному языку. Народному же языку свойственны лишь небольшие слои образований с *без-*. Однако это не значит, что этот тип словообразования в литературном языке непременно болгарского (церковнославянского) происхождения. Дело в том, что образования

с *без-* имеются во всех славянских языках. Следовательно, они были еще в общеславянском языке. Отсюда они перешли во все славянские языки, в том числе и в русский язык. Судьба этих образований в разных славянских языках разная. В одних они получили широкое развитие (напр., в болгарском), в других они употреблялись в более узких сферах. Только конкретная история сложений с *без-* в отдельных славянских языках может вскрыть закономерности развития этого морфологического явления в данном языке.

В русском языке среди имен прилагательных прежде всего выделяется старшая по происхождению группа — бессуфиксные образования типа *беззубый*, *безглазый*, *бескрылый*. Этот тип прилагательных одинаково свойствен и литературному языку и диалектам. Для современного языка он не является продуктивным.

Вторую и наиболее многочисленную группу прилагательных с приставкой *без-* составляют образования с суффиксом *-н-*, причем в производящей основе лежит существительное преимущественно с отвлеченным значением: *бесстрашный*, *безгласный*, *безгрешный*, *беспокойный*, *беспросветный*. Этот тип прилагательных является принадлежностью литературного языка и по происхождению относится к церковнославянскому языку, в котором он получил широкое распространение благодаря влиянию греческого языка. При переводах с греческого языка частица (приставка) *а-* (*-ан-*), ср. *аполитичный*, *анонимный* (безыменный), передавалась не только приставкой *без-*, но и приставкой *не-*. Поэтому в церковнославянском языке имеется немалое количество слов с колебанием приставки *без-* и *не-*: *безболезньнъ — неболезньнъ*, *безмилостивъ — немилостивъ*, *безнадежьнъ — ненадежьнъ*. Но в русском языке приставки *без-* и *не-* хотя и близки по значению, но не тождественны: *без-* имеет значение «лишенный» известного признака, содержащегося во второй части сложения, *не-* обозначает лишь «не обладающий» известным признаком; сложения с *без-* имеют безусловное, абсолютное значение лишенности определенного признака, в сложениях с *не-* лишь обозначается непричастность к данному признаку. Ср., напр., *бесчестный — без чести* и *нечестный* — не обладающий признаком *честности*; *безумный* и *неумный*, *безвкусный* и *невкусный*, *бессознательный* и *несознательный*, *безграмотный* и *неграмотный*, *безвинный* и *невинный*.

В связи с усилением образующей функции прилагательных, сложившихся на основе сочетания предлога и род. п. имени существительного (*безответственный* из без ответа, *беззубый* из без зуба), в русском языке стало возможным образование прилагательных путем сочетаний *без-* с именем прилагательным. Таковы прилагательные *безнравственный*, *бестолковый*, *беззастенчивый* (они образованы от прилагательных *нравственный*, *толковый*, *застенчивый*).

Среди имен существительных особое место занимают образования, возникшие на основе рассмотренных выше прилагательных: *бездеятельность* (от *бездеятельный*), *бестактность* (от *бестактный*), *беспутник* (из *беспутный*), *бестолковщина* (от *бестолковый*).

Затем самостоятельную группу чисто книжного происхождения составляют существительные на *-ство* (*-ствие*): *бесчинство*, *безумство*, *бездействие*. Эти существительные обычно имеют параллельные глагольные образования на *-ствовать* (*бесчинствовать*, *безумствовать*, *бездействовать*).

Выделяется также группа существительных на *-ие* (*-ье*): *безрыбье*, *бесплодье*, *безлюдье*, *безденежье*. В основе этих образований лежат существительные с конкретным значением. Параллельно этим существительным имеются образования на *-ица*: *безрыбица*, *бесплодица*, *безлюдица*. Первый тип (на *-ие*) церковнославянского происхождения, второй (на *-ица*) исконно русского. Интересна небольшая группа существительных с *без-* бессуффиксного образования: *безбоязнь*, *безмилость*.

Среди глаголов образования с *без-* в большинстве возникли на основе сложений соответственных прилагательных и существительных: *бездельничать (безделье)*, *бездействовать (бездействие)*.

Но есть группа глаголов совершенного вида, осложненных приставкой *обез-*, которые возникли из сочетания предлога и род. п. существительных, *обессмертить*, *обеспокоить*, *обездолить*, *обескровить*, *обезвредить*. Глаголы этого типа также восходят к церковнославянскому языку.

Интересны и серьезно аргументированы наблюдения автора в статье «Сочетания *чн* в русском языке». Звукосочетание *чн* в русском языке сравнительно нового происхождения. Всякое *чн* образовалось в историческую пору развития русского языка (XII—XIII вв.) из сочетания *чьн* (с глухим между согласными). Из сочетания *чн*, т. е. *т' ш' н*, после отпадения первого элемента — взрывного *т'* получилось *шн*, свидетельствуемое памятниками русского языка с XIV—XV вв. Однако современный язык содержит огромное количество слов с сохранением в них звукосочетания *чн* (без перехода в *шн*). Все эти случаи обыкновенно объясняются влиянием аналогии. Например, *начну*, потому что *начать*, *дачный*, потому что *дача*, и т. п. Аналогия, безусловно, играла тут большую роль, но ею нельзя объяснить все случаи произношения *чн* вместо теоретически ожидаемого *шн*.

Слова старого книжного происхождения, в частности древнеболгаризмы, сохраняют сочетания *чн*. К ним, например, относятся слова: *вечный*, *удачный*, *срочный*, *прочный*, *источник*, *точный*, *личный* и т. п. По их типу заимствования, в более позднюю пору, слова также стали произноситься с *чн*: *публичный*, *тактичный*, *симпатичный*, *энергичный* и т. д. Что же касается произношения *чн* в следующих словах некнижного характера: *мучной*, *ночной*, *речной*, *ручной*, то, по мнению С. П. Обнорского, это объясняется наконечным ударением, т. е. ударяемость слова на слоге непосредственно за сочетанием *чн* фонетически обеспечивала сохранность *ч* в этом сочетании.

На основе лингвистического анализа данных русских диалектов и показаний толковых русских словарей С. П. Обнорский при-

ходит к следующему выводу: «Литературный язык, московский в своей основе, как норму, знал формы с *шн*. Но в нем имелись пласты старой книжной лексики, по традиции, в книжной среде, сохранявшейся в старом виде, с *чн*. Слои новых заимствований, широкой волной вливавшихся в язык с XVI в. и далее, составляя книжный пласт языка, также вообще произносились с *чн*. В языке таким образом противостояли слой лексики книжного происхождения и употребления в книжной среде, с *чн*, и прочий слой лексики, жившей по нормам московского произношения, с *шн*». В связи с развитием и ростом литературного языка, в особенности в течение XVIII в., на нормы литературного языка постепенно стали оказывать воздействие черты северновеликорусского происхождения. В результате этого процесса стали сглаживаться различия в употреблении лексики с *чн* и *шн*: лексические группы, которые раньше произносились с *шн*, стали произноситься с *чн*. «Этот процесс был длительным, он оказался связанным с эволюцией самого правописания интересующего круга слов, приведшей к концу XIX в. к утверждению единой правописной нормы за данными словами, к написаниям их с *чн*. Все это в совокупности объясняет смешанный характер интересующей лексики в современном литературном языке, которому известно и выдержанное произношение одних рядов слов с *шн*, иных рядов слов с *чн*, и колеблющееся произношение многих групп слов и с *чн* и с *шн*».

Ценность этих статей не только в том, что в них раскрывается конкретная история движения изучаемых языковых явлений, но и в том, что в них показано, какими сложными путями шло развитие русского литературного языка, как рост «литературного языка, книжного в своем о́стове, протекал и протекает в условиях непрерывного воздействия на него со стороны диалектной стихии, этой основной питающей среды, дающей силы и жизненность самой литературной базе языка» [1].

Вторая монография С. П. Обнорского о русской морфологии — «Очерки по морфологии русского глагола» (1953) — задумана в плане «Именного склонения», но выполнена она не во всех частях так обстоятельно и цельно, как первая монография. Объясняется это отчасти тем, что «Очерки» представляют собой изложение курса лекций по истории русского глагола, читанного автором в тридцатых годах в Ленинградском университете.

Лучшим разделом книги является раздел об образовании форм 3-го лица ед. и мн. ч. у глаголов в наст. вр., в котором выдвигается новое объяснение происхождения указанных форм [2]. По теории С. П. Обнорского, образование форм 3 л. на *-т* было явлением вторичным, сложившимся на основе первоначальных форм без *-т*. По морфологическому строению формы на *-т* содержали в своей флек-

---

[1] С. П. Обнорский, Сочетание *чн* в русском языке, стр. 96.

[2] Раздел этот был опубликован отдельной статьей в 1941 г. на страницах Изв. Отд. лит. и яз. АН СССР, № 3.

тивной части элементы местоименного происхождения. Этими придаточными элементами в древнерусском, как и в старославянском, были *-тъ* и *-ть*, которые по происхождению являются указательными местоимениями *тъ*, *та*, *то*.

Вопрос о происхождении русского литературного (письменного) языка в его отношении к старославянскому (церковнославянскому) языку был в центре научных интересов русских лингвистов с начала возникновения научного, сравнительно-исторического языкознания.

А. Востоков в своем знаменитом «Рассуждении о славянском языке» (1820) говорит: «Какому бы диалекту первоначально ни принадлежал язык церковных славянских книг, он сделался теперь как бы собственностью россиян, которые лучше других славян понимают сей язык и более других воспользовались оным для обогащения и для очищения собственного своего народного диалекта» [1]. Развитие славянского языка Востоков делит на три периода: «Древний язык заключается в письменных памятниках от 9-го и за 13-е столетие. Он неприметно сливается с языком средним 15-го и 16-го столетия, а за сим уже следует новый славянский, или язык печатных церковных книг» [2]. Соответственно на три периода делит Востоков и развитие русского литературного языка: «В последней половине 14-го столетия, при Димитрии Донском, русский язык начинает приметнее отделяться от церковнославянского, и так как сей последний около сего времени переходит из древнего своего периода в средний, так точно и русский язык с того времени берет на себя отличный от прежнего вид: из древнего русского, на каком писаны Правда Ярославова, Поучение Мономахово и Слово о полку Игореве, делается средний русский — язык Судебника и Уложения, уступивший наконец место новейшему русскому языку 18-го столетия» [3].

В этих рассуждениях Востокова трудно ожидать четкости и полной ясности, но для нас важно то, что он признает язык Русской Правды, Поучения Владимира Мономаха и Слова о полку Игореве русским, а не «славянским».

И. И. Срезневский в своих «Мыслях об истории русского языка» (1849 г.) также выделяет из состава памятников древнерусской литературы такие произведения, как сочинения Владимира Мономаха, Слово Даниила Заточника, Хождение Даниила Паломника, летописи, Слово о полку Игореве; они, по его мнению, особо отличаются народностью слога, русской народной манерой выражения мыслей и образов [4].

---

[1] Труды Общества любителей российской словесности, ч. 17, М., 1820, стр. 32.
[2] Там же, стр. 6.
[3] Там же, стр. 53.
[4] И. И. Срезневский. Мысли об истории русского языка, Спб., 1850, стр. 114.

Более последовательную и выдержанную картину происхождения и развития русского литературного языка рисует А. И. Соболевский [1]. По его мнению, древняя Русь имела два языка письменности: 1) литературный и 2) деловой. Русский литературный язык по происхождению был церковнославянским языком русского извода: «Церковнославянский язык был для Руси языком литературы в течение всего древнего периода русской истории, т. е. до конца XVII в.». «Другим языком древнерусской письменности, деловым, был р у с с к и й язык. Им пользовались при составлении законов и документов; он употреблялся в дипломатических сношениях».

Литературный церковнославянский язык отличался сложностью своего синтаксиса и богатством словарного состава. Деловой же русский язык характеризовался крайней простотой синтаксических оборотов и однообразием своего словаря. На литературном языке могли писать люди высокообразованные. Люди со слабым образованием невольно писали свои произведения на языке, где русских элементов было больше, чем церковнославянских. Но все русские люди «желали писать на церковнославянском языке и пускали в оборот весь свой запас сведений по этому языку. Таковы были, между прочим, наши летописцы и автор «Слова о полку Игореве».

Таким образом и А. И. Соболевский, считавший русский литературный язык церковнославянским по происхождению, не отрицал чисто русской основы древнейших наших памятников законодательного и делового характера, а также таких первоклассных литературных произведений, как летописи и «Слово о полку Игореве».

А. А. Шахматов, как и А. И. Соболевский, противопоставлял древнерусский книжный язык как язык литературный деловому (актовому) языку древней Руси.

Книжный язык, по Шахматову, русские заимствовали вместе с христианством из Болгарии, но они «стали смотреть на этот язык как на свое достояние; произнося его звуки, употребляя его для своих нужд, они не справлялись с законами живого болгарского произношения или синтаксиса, а подчиняли его требованиям своего языка» [2]. Этот инославянский по происхождению книжный язык, постепенно все более и более воспринимавший русские элементы, делается родоначальником современного русского литературного языка, в котором и теперь содержится наполовину слов, форм и оборотов древнеболгарской книжной речи.

Так думали наши крупнейшие языковеды прошлого о происхождении русского литературного языка. Все они сходились в том, что истоки современного русского литературного языка восходят к древнерусскому книжному, по происхождению древнеболгарскому, языку.

---

[1] А. И. С о б о л е в с к и й, Русский литературный язык (Лекция на первом съезде преподавателей русск. яз. в военно-учебных заведениях), Спб., 1904 г.

[2] А. А. Ш а х м а т о в, Очерк древнейшего периода истории русского языка. Петр., 1915, стр. XXXIX. Ср. также его «Очерк соврем. русск. литер. языка», гл. I.

Нельзя сказать, что это мнение сложилось у языковедов в результате тщательного, всестороннего и глубокого изучения языка древнерусских памятников разного жанра. Исходили преимущественно из того самоочевидного факта, что вся книжная церковная, богослужебная и поучительная литература в Киевской Руси была написана на церковнославянском языке и что эта литература была самой распространенной и многочисленной, среди которой совершенно терялись оригинальные русские произведения нецерковного характера. К тому же язык этих русских памятников также заметно был пронизан церковнославянизмами. Особняком стоял лишь язык деловых памятников, в русской основе которого сомнений ни у кого не могло быть. Но деловые памятники занимали периферийное положение в письменной литературе и в силу этого не могли оказать определяющего влияния на развитие литературного языка.

Кроме того, господствовавшее в нашей дореволюционной науке общее представление о всей духовной культуре древнего Киева, как о культуре несамобытной, несамостоятельной, а во всех своих ведущих линиях зависимой от византийской культуры, укрепляло убеждение в иноземном, южнославянском происхождении русского литературного языка.

С. П. Обнорский до тридцатых годов также стоял на традиционной точке зрения по вопросу о происхождении русского литературного языка. Так, в статье «К истории словообразования в русском литературном языке» (в сб. «Русская речь», под ред. Л. В. Щербы. Новая серия. I) он пишет: «Призванный к жизни наш литературный язык был по происхождению своему не русским, а именно церковнославянским языком». И вслед за своим учителем, А. А. Шахматовым, повторяет, что «церковнославянский язык был орудием нашего просвещения, что на нем стала пробовать свои первые силы наша оригинальная литература», что он «вступил в полные права нашего литературного языка, притом не только письменного, но, очевидно, и живого разговорного».

Но в 1934 г. С. П. Обнорский опубликовал статью, в которой выдвинул совершенно новую теорию о происхождении русского литературного языка.

Это статья «Русская Правда как памятник русского литературного языка» («Известия АН СССР. Отделение общественных наук», 1934, № 10). Памятник этот хорошо был известен русским языковедам, и все отмечали преобладание в его языке чисто русских черт, но никто не придал этому факту принципиального значения и не сделал из него логического вывода.

С иной точки зрения подошел к памятнику С. П. Обнорский. Он поставил перед собой задачу на основе изучения языка пространной редакции «Русской правды» по Синодальному списку 1282 г. восстановить лингвистический облик протооригинала. Задача довольно сложная, так как между списком 1282 г. и предполагаемым протографом лежит более 250 лет, в течение которых памятник неоднократ-

но переписывался и соответственно видоизменялись отдельные его языковые черты.

Выполнение этой задачи облегчалось тем, что методика анализа древнего текста с постепенным снятием языковых наслоений разных эпох была детально разработана А. А. Шахматовым. Пользуясь этой методикой, С. П. Обнорский тщательно обследовал язык «Русской правды» во всем его объеме (фонетику, морфологию, синтаксис, лексику) и пришел к следующим выводам:

1. Синодальный список «Русской правды» содержит основную, первичного сложения, редакцию Правды. Эта редакция относится к началу XI в. Она была составлена в Новгороде одним из советников (не духовным лицом) кн. Ярослава.

2. Во второй половине XII в. уже в Киеве был составлен новый вариант первоначальной редакции «Русской правды». Этот вариант и явился прямым оригиналом Синодального списка.

3. В языке изучаемого списка Правды четко отложились три слоя языковых явлений различного хронологического и территориального происхождения:

а) непосредственно языку писца Синодального списка принадлежат такие явления, как цоканье и второе полногласие (черты новгородские); б) от ближайшего оригинала (киевского происхождения) в языке Синодального списка отложился ряд черт: употребление *ѣ* на месте *е* в закрытом слоге, отсутствие следов ассимиляции по глухости в группе согласных, формы дат. ед. *сынови* (не сыноу), 3 л. ед. наст. вр. на *-ти* (перед следующим *и*, формой вин. ед. местоимения), может быть, устойчивость флексии *-ыи*, *-ии* в им.-вин. ед. муж. рода, отдельные книжные формы склонения и спряжения, отдельные элементы книжной лексики; в) богаче всего выделяется третий слой, привнесенный в Синодальный список из основного, новгородского по месту сложения оригинала «Правды». Это совокупность языковых явлений, характерных для русского языка старшего периода и чуждых следов болгарско-византийского воздействия.

Таковы конкретные выводы из лингвистического анализа памятника. Опираясь на эти выводы, С. П. Обнорский высказал смелую научную гипотезу о том, что «русский литературный язык старшей эпохи был в собственном смысле русским во всем остове».

Ход его рассуждения был такой.

«Русская правда», старейший памятник русского литературного языка, свидетельствует о существовании уже в X в. высокой культуры русского письменного слова. Существенными чертами русского литературного языка старшей поры были близость по структуре к разговорному стилю русской речи, полное отсутствие следов взаимодействия с болгарской культурой, совершенное отсутствие церковной и вообще византийской лексики. Объясняется это тем, что русский литературный язык складывался в старом культурном центре в Новгороде, вдали от влияний юга. Но зато на этот язык оказали заметное влияние иные культурные центры — со стороны

германского (скандинавского) и, по-видимому, западнославянского мира (ср. наличие в языке Правды лексики германского происхождения и выдержанное употребление в флексии ѣ (е) в известных формах именного и местоименного склонения в соответствии с древнеболгарским ѧ и книжным русским ѫ).

На этот русский литературный язык позднее оказала сильное воздействие южная, болгарско-византийская культура. «Оболгарение русского литературного следует представлять как длительный процесс, шедший с веками crescendo».

Эта гипотеза С. П. Обнорского, с одной стороны, перекликается со старым утверждением акад. И. В. Ягича, что на юге Руси «духовное просвещение поддерживало более тесные сношения с Константинополем и южными славянами, господство чистого церковного языка продолжало быть сильнее и сознательнее, чем на далеком севере, завязавшем очень рано сношения с западным иноземством»[1]. С другой стороны, она опирается на труд акад. Н. К. Никольского «Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры» (Ленинград, 1930), в котором автор исследует вопрос о древнейших культурных связях восточных славян с западными.

Новая гипотеза по кардинальной проблеме русского языкознания, идущая вразрез с твердо установившимся в науке положением, настоятельно требовала дальнейших исследований и более обстоятельной аргументации[2]. Это прекрасно понимал и сам автор этой гипотезы. С этой целью он приступил к изучению языка древнейших русских памятников (нецерковного жанра), на русскую природу которых обратили внимание и предшествующие русские языковеды, а именно: Русской Правды (в краткой редакции), Сочинений Владимира Мономаха, Моления Даниила Заточника, Слова о полку Игореве. Исследования этих памятников языка объединены и изданы в одной книге — «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» (1946 г.).

Задача и методика изучения остались те же: исследователя интересовало не простое описание языка данного памятника, а выявление языковых особенностей первичного его оригинала.

Лингвистическое изучение указанных памятников окончательно убедило ученого в безусловной справедливости своей точки зрения на происхождение русского литературного языка. Правда, С. П. Обнорский более уже не выдвигает положения о исконных культурных, в том числе и языковых, связях русского севера с германским и западнославянским миром, но во всем остальном он считает свою гипотезу подкрепленной новыми данными и безоговорочно правильной.

---

[1] И. В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, Спб., 1889, стр. 5.

[2] Ср. Критический отзыв А. М. Селищева «О языке «Русской Правды» в связи с вопросом о древнейшем типе русск. лит. яз.», «ВЯ», 1957, № 4.

www.ruslang.ru

Общие признаки русского литературного языка старшей поры теперь стали более отчетливо вырисовываться: во-первых, это общий русский его облик и в фонетике, и в морфологии, а особенно в синтаксисе и лексике; во-вторых, это архаический тип языка, характерный для русского языка XI—XII вв.; в-третьих, очень слабая доля церковнославянского влияния, к тому же чем старше памятник, тем меньше в нем церковнославянских элементов. На основании новых данных С. П. Обнорский рисует такую картину сложения и движения русского литературного языка. Русский литературный язык сложился еще в доисторическую пору. В историческую же пору в связи с общим поступательным движением всей русской культуры он совершенствует свой грамматический строй и непрерывно обогащается в лексическом составе. Этот нормальный естественный рост осложняется появлением рядом с ним болгарского книжного языка как языка церковной письменности. Церковнославянский язык, хотя и был относительно близок к русскому языку, но как литературный язык, притом церковной книжности, он резко отличался от русского литературного языка, сложившегося на основе живого русского языка. Поэтому церковнославянский язык не мог ассимилироваться с русским языком. Этим объясняется слабое общее отражение церковнославянского языка на системе русского языка. Сильнее всего было лексическое влияние церковнославянского языка на книжный (преимущественно церковный) стиль русского языка. Отсюда уже определенные пласты церковнославянской лексики переходили в общий русский литературный язык. В процессе усвоения этой лексики русский язык обогатился некоторыми морфологическими средствами.

«Этот процесс ассимилирования русским литературным языком элементов церковнославянского языка шел постепенно, из века в век нарастая. Его значение в общем развитии русского литературного языка было положительным. Русский язык обогатился лексически, особенно в стилистических своих средствах... И все же воздействие церковнославянского языка на русский литературный язык не следует преувеличивать. Оно было односторонним, проявившимся в лексическом и стилистическом обогащении нашего языка, и почти не затронуло общих структурных его основ» [1].

Необходимо указать, что выводы С. П. Обнорского перекликаются с разысканиями советских историков и литературоведов о культуре древнего Киева, в особенности с монументальным исследованием акад. Б. Д. Грекова «Киевская Русь» (1-е изд. 1939 г.), в котором показаны самобытность и высокий уровень общей культуры Киевского государства.

Гипотеза С. П. Обнорского о первичности восточнославянской основы в русском литературном языке получила в советском языкознании широкое распространение и приобрела большую популярность. Она вошла во все официальные программы и учебники по

[1] С. П. Обнорский, Культура русского языка, 1948, стр. 14.

истории русского языка. Понятно, гипотеза С. П. Обнорского, как всякая другая новая научная гипотеза, еще нуждается в дальнейшей проверке и более широком обосновании. В частности, необходимо, пользуясь методикой лингвистического анализа памятника, так широко применяемой С. П. Обнорским, детально обследовать язык всех древнейших оригинальных русских памятников, и в первую очередь наших летописей и повестей.

Но одно бесспорно: любой ученый, занимающийся историей русского литературного языка, не сможет пройти мимо теории С. П. Обнорского. В свете этой теории теперь ясны односторонность и схематическая прямолинейность господствовавших до сих пор представлений о церковнославянской основе русского литературного языка в целом. И в этом огромная заслуга С. П. Обнорского в истории нашей науки.

Вопросы становления норм русского литературного языка всегда были в сфере научных интересов С. П. Обнорского. Прекрасное знание истории нашего книжного языка и народных диалектов во всем их объеме давало ему возможность наметить пути развития грамматического строя и лексического состава русского литературного языка не только старшей поры, но и XVIII—XIX вв., при этом излюбленной темой его было выявлять элементы северовеликорусской стихии в составе русского литературного языка.

В этом отношении характерны и интересны его две статьи: «Ломоносов и русский литературный язык» (Изв. Отдел. лит. и яз. АН СССР, 1940, № 1) и «Пушкин и нормы русского литературного языка» («Труды юбилейной научной сессии Ленингр. госуд. унив.», 1946).

В статье «Ломоносов и русский литературный язык» С. П. Обнорский поставил перед собой задачу показать место Ломоносова в формировании литературного языка, его роль в разработке фонетических и морфологических норм литературного языка. «Российская грамматика» Ломоносова (1755) — первая подлинно научная грамматика русского языка, составленная по строго продуманной системе и со всей широтой показа явлений литературного языка средины XVIII в. Важное значение «Российской грамматики» заключается в том, что она задумана нарочито как грамматика нормативная. «В Петровскую эпоху характер русского литературного языка сильно изменился: церковнославянская стихия несколько оттеснена была в нем на задний план, сильным напором хлынула в язык живая разговорная речь, а кроме того, язык стал заполняться иноязычными элементами, приток которых в послепетровскую эпоху еще более усилился (немецкие, французские заимствования), не всегда при этом оправдываясь достаточными к тому основаниями». В ломоносовскую пору литературный язык находился на распутье, необходимо было научно разработать его теоретические основы, наметить обоснованные пути его дальнейшего движе-

ния. Эту задачу гениально разрешил Ломоносов как в своих теоретических работах, так и в практике своего поэтического творчества. «Ломоносов именно установил тот путь развития нашего литературного языка, который прямой линией сомкнет его с Пушкиным, этим мощным создателем современного нашего литературного языка. В этом была историческая миссия Ломоносова, которую он блестяще выполнил, в этом основная заслуга Ломоносова перед русским обществом, перед русской наукой».

Ломоносов теоретически обосновал и практически создал новый тип литературного языка, в котором гармонически сочетались элементы книжного церковнославянского языка с активными элементами русского разговорного языка, чем было обеспечено дальнейшее нормальное развитие нашего литературного языка.

Основная задача исследования языка Ломоносова должна, по мнению С. П. Обнорского, заключаться во всестороннем выявлении норм литературного языка, как они складывались в языковой деятельности этого великого реформатора литературного языка. Прежде всего необходимо определить фонетические и морфологические нормы в языке Ломоносова. Рассмотрев в языке Ломоносова отражение основных фонетических явлений (оканье, переход *е* в *о*, задненебный согласный *г*, твердость *р* в сочетании *ер* перед согласным) и характерных явлений в области морфологии глагола и существительных, С. П. Обнорский приходит к следующему выводу:

«Основной костяк выдвинутых Ломоносовым норм языка определил дальнейшие судьбы его развития, пережил эпоху творческой деятельности Пушкина и служит живой основой современного нашего языка».

Статья о Пушкине посвящена вопросам произносительных норм поэта и его времени. Изучение фонетики пушкинских рифм дало основание Сергею Петровичу утверждать, что оканье Пушкина «мягкого, северного типа», характерного и для норм современного литературного произношения; что произношение сочетания *чн* в известных группах лексики в языке Пушкина доминирует в виде *чн*, не по московской норме (не в виде *шн*), что также отвечает нормам современного литературного языка; что в языке Пушкина постепенно изживалось архаически сохранившееся в отдельных словах фрикативное произношение согласного *г*. Таким образом, «можно видеть, что нормы литературного языка, отраженные Пушкиным, примыкают к северной разновидности литературного языка» (стр. 98).

Со статьями о литературном языке близко соприкасаются многочисленные работы С. П. Обнорского по вопросам культуры речи, по унификации правописания, по нормализации грамматических правил и правил словоупотребления. С этими вопросами Сергею Петровичу приходилось иметь дело длительное время в процессе редактирования академического словаря русского языка.

В 1934 г. он выступил на заседании Отделения общественных наук АН СССР с докладом о русском правописании и языке в издательской практике. Доклад этот был опубликован на страницах Известий АН СССР [1]. Подвергнув критическому рассмотрению основные руководства-справочники по правописанию и по полиграфическому делу, выпущенные различными советскими издательствами, а также их печатную продукцию, Сергей Петрович показал большой разнобой между ними и низкий научный уровень почти всех ведомственных орфографических и грамматических справочников.

Чтобы направить важную проблему унификации и нормализации русского правописания и спорных случаев русского словоупотребления по научному пути, Сергей Петрович предложил Академии наук возглавить эту работу. Отделение приняло предложение докладчика и создало специальную Орфографическую комиссию АН СССР под председательством С. П. Обнорского.

В серии статей С. П. Обнорский разработал и изложил принципы унификации русского правописания и определил основные направления нормализации русской речи, осветил центральные проблемы культуры русского языка[2].

С. П. Обнорский — наш старейший и лучший лексикограф. В течение двадцати пяти лет (1912—1937) он работал над Словарем русского языка, издаваемым Академией наук. Длительное время он был руководителем и вдохновителем всей словарной работы в Академии. В настоящее время как член Главных редакций академических словарей русского языка он принимает активное участие в их разработке. Ему принадлежит первая «Инструкция для редакторов», которая легла в основу дальнейших аналогичных изданий АН [3].

Лично сам ученый составил восемь выпусков словаря русского языка на букву *л*. Первый свой выпуск, содержащий статьи на *л — легкий*, Сергей Петрович издал еще при жизни А. А. Шахматова (в 1915 г.).

Пройдя лексикографическую школу под непосредственным руководством А. А. Шахматова, С. П. Обнорский твердо усвоил шахматовские принципы составления словаря и в своих выпусках творчески их применял.

Основательное знание русского языка во всем его объеме, общая высокая филологическая подготовка, острый взгляд лингви-

---

[1] С. П. Обнорский, Русское правописание и язык в практике издательств, «Известия АН СССР. Отдел обществ. наук», 1934, № 6.

[2] Основные из этих статей следующие: 1) «Основные принципы орфографической нормализации» — «Русс. яз. в школе», 1939, № 5—6. 2) «Борьба за культуру русского языка»— «Совет. педагогика», 1945, № 10. 3) «Правильности и неправильности современного русского литературного языка» — Изв. Отд. лит. и яз., АН СССР, 1944, вып. 6. 4) «Культура русского языка» — Изв. Отд. лит. и яз., АН СССР, 1945, вып. 2. 5) «Культура русского языка, АН СССР. М—Л., 1948.

[3] С. П. Обнорский, Словарь русского языка. Инструкция для редакторов. Л., 1936.

ста-исследователя, природное чувство родного языка — все это дало Сергею Петровичу возможность вести свои лексикографические труды на высоком уровне. По тщательности и четкости построения словарных статей, по широте показа словоупотребления, по обилию иллюстративного материала, по краткости и точности толкования значений слова выпуски С. П. Обнорского не уступают выпускам, составленным самим Шахматовым.

Сергей Петрович — наш первый знаток и исследователь народной речи. В отличие от многих диалектологов, он знает народные диалекты во всем их объеме, т. е. не только фонетические и грамматические особенности, но, что особенно важно, и лексику диалектов. В своей исследовательской деятельности Сергей Петрович никогда резко не отделял изучение явлений литературного языка от фактов народных говоров, и свои научные концепции он строил на изучении русского языка в его целом, прослеживая взаимное действие литературного языка и живой народной речи.

Этим объясняется, что работ на узко диалектологические темы у него мало. Сюда относятся его «Заметки по русской диалектологии», в которых рассматриваются южновеликорусские формы вин. ед. ж. р. прилагательных на *-уя* [1]; исчезновение *д* между гласными и диссимиляция согласных в русском языке [2]. Здесь следует упомянуть его небольшую, но очень содержательную работу — «Русское «сегодня» [3].

Как историк языка, С. П. Обнорский не смог не интересоваться вопросами этимологии слов, неясных или спорных по своему происхождению. Этимологические этюды Сергея Петровича по сути дела являются историей изучаемого слова с учетом морфологического типа его сложения, сферы его распространения и движения его значений. Таковы, например, его работа «К этимологии слова *лахудра*» (Рус. Фил. Вест., 1914, № 3—4) [4]. Установив, что слово это известно лишь русскому языку к тому же в народном, но большей частью в областном, употреблении, исследователь определяет географическое его распределение и развитие его семантики. Выясняется, что слово *лахудра* широко распространено в средней полосе и юго-востоке России; что оно представляет собой не первичное имя существительное, а позднейшее образование, происшедшее от формы имени прилагательного (*лахудрый — лахудрая — лахудра*); что первичным значением слова было «растрепанный» с дальнейшими изменениями — «оборванный», «неряшливый»; о женщине: «(нравственно) истрепанная», «распутная». На основе частных значений сложилось общее значение — «худой, изможденный, слабый».

---

[1] «Slavia», 1929, Ročn, Z, seš. 4.

[2] «Slavia», 1932, Ročn, 11, seš. 1.

[3] «Zeitschrift für slav. Philol.», 196. Bd. 3. H. 1—2.

[4] См. также его статью «Один мнимый финнизм в русском языке (ответ А. Маркову)», Русск. Фил. Вест., 1915, № 2.

Семантически слово связано с темой *лох-, лах-, лахм-*. Но как объяснить морфологическое строение слова? Расчленение слова на *лах-удр-ый* было бы непонятно, так как суффикс *-удр-* в русском словообразовании неизвестен. Поэтому остается одно предположение, что перед нами словосложение, состоящее из *лах-* и *кудр-* и восходящее к «*лах- кудрый*» или «*лахокудрый*», откуда фонетически закономерно получилось «*лахудрый*».

По такому же плану, но с привлечением обширного материала и детальным его анализом, написана статья по истории слова *хороший* [1].

Слово *хороший* в словарном составе русского языка занимает особое положение: его нет ни в западнославянских, ни в южнославянских языках, не имеет оно и родственных образований в других индоевропейских языках. Оно является специфической принадлежностью одной восточнославянской языковой ветви. Однако и тут следует отметить слабую распространенность его в белорусском языке, большую употребительность в украинском и еще большую в русском литературном языке. В русских же диалектах, хотя оно и встречается, но не имеет широкого и повсеместного распространения. Это дает основание утверждать, что в народную речь слово *хороший* попало из литературного языка, в котором оно употреблялось еще в древний период (с XIII в.).

Каково же происхождение слова *хороший*?

С. П. Обнорский считает наиболее вероятным предположение о связи слова *хороший* с названием одного из представителей древнерусского Олимпа — с Хорсом. Слово хорс по происхождению иранское (а именно осетинское) thors «искусный, хороший». Слово это было получено южной Русью в доисторическую пору, когда еще действовал закон полногласия. Отсюда закономерная форма Хорос. «Слово *хороший* представляло нормальную притяжательную форму прилагательного от *Хорос*, образование при помощи суффикса *-jo-*, и означало собственно — принадлежащий, свойственный Хоросу, откуда далее, с забвением Хороса, как реального имени божества, естественные значения — искусный, добрый, хороший». Прилагательное *хороший*, как известно, не изменяется по степеням сравнения. Это объясняется именно тем, что оно по происхождению является притяжательным прилагательным.

С иными задачами написаны этимологические заметки Сергея Петровича о так называемых доисторических заимствованиях из готского языка. Сюда относятся две статьи: «Общеславянское смягчение и готские заимствования» («Известия ОРЯС», АН, 1914, кн. 4) и «Готское ли заимствование слово *блюдо*?» (Рус. Фил. Вест., 1915, № 1). Обе статьи имеют целью показать, что господствующие в науке представления о размерах славянских заимствований из готского значительно преувеличены. Исходя из фонетического закона, со-

---

[1] С. П. Обнорский. Прилагательное *хороший* и его производные в русском языке. Сб. «Язык и мышление», 1929, т. 3.

гласно которому в эпоху гото-славянского сожительства звук *к* в известных условиях в славянском смягчался в *ц* (а не в *ч*), Сергей Петрович считает слово *чадо* словом славянского (индоевропейского) происхождения, а не готским заимствованием. Слово *блюдо*, а также *штоуждь* он также не признает (по фонетическим соображениям) заимствованными, а считает исконно славянскими.

Интересны и содержательны рецензии Сергея Петровича. Они принадлежат к тому типу научного разбора книги, которые были характерны для наших известных языковедов Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, Б. А. Ляпунова. Отличительной чертой таких рецензий является то, что в них рецензент не только оценивает наблюдения, утверждения и концепцию автора, но в нужных случаях излагает свои собственные мысли, подкрепляя их анализом дополнительно привлеченного материала. Такие рецензии способствуют выяснению научной истины, обогащают науку новыми данными, оригинальной постановкой вопроса, новыми выводами.

Таковы и критические отзывы С. П. Обнорского. Наиболее ценными из них являются рецензии на «Грамматику русского языка, II. Морфология» Р. Кошутича [1], на «Историческую грамматику русского языка» К. Мейера [2], на «Очерк истории русского языка» Н. Дурново [3], на его же «Диалектологические разыскания в области великорусских говоров. Южновеликорусское наречие, т. 1» [4].

Несмотря на тематическое многообразие исследований С. П. Обнорского, вся научная деятельность его была подчинена одной проблеме — проблеме формирования и дальнейшего развития русского литературного языка. С этой целью он изучал язык древнейших памятников, язык произведений наших классических писателей, богатые данные народных говоров, показания прочих славянских языков. Этой задаче были подчинены фонетические, морфологические, лексические разыскания Сергея Петровича. С этой целью он занимался вопросами нормализации русского литературного языка, культурой русской речи.

Труды Сергея Петровича отличаются одной особенностью, типичной для его исследовательского метода: доказывая какую-нибудь общую мысль путем привлечения и анализа специально подобранного обильного материала, он, в связи с изучением изолированных групп слов или их форм, попутно высказывает оригинальные мысли, делает тонкие наблюдения, имеющие самодовлеющую ценность.

Таким образом около основного центра исследования группируются частные наблюдения, рассуждения, свидетельствующие о щи-

---

[1] «Изв. ОРЯС АН, 1916, кн. 1.
[2] Изв. ОРЯС АН, 1925, т. XXX.
[3] Zeitsch. für Slav. Philol. 1927 Bd. 4, H. 1—2.
[4] Zeitsch. für Slav. Philol. 1924. Bd. 1.

роком круге знаний и интересов ученого, о его огромной эрудиции. Будучи собраны вместе, эти лингвистические экскурсы представляют большой научный интерес.

В статье «Памяти А. М. Селищева» [1] Сергей Петрович пишет: «Есть два типа ученых. Одни ученые, богато одаренные интуицией, опираясь на результаты предшествующей разработки, ломают и переворачивают науку, определяя для нее новые пути роста, или в самом основании сильно продвигают ее вперед, открывая новый этап ее развития. Этого типа ученые, конечно, редки... Другие ученые неутомимым исследованием интенсифицируют изучение науки, обрабатывают материалы, из кропотливого их анализа извлекают проверенные факты, комбинированием которых приходят к постулированию известных явлений более общего характера».

Своего учителя, акад. А. А. Шахматова, Сергей Петрович справедливо относит к первому типу ученых, себя же, по всей вероятности, причисляет к ученым второго типа. Эти ученые, не ломая направления науки, не перестраивая ее основ, своими знаниями, выдающимися способностями, кропотливым трудом обеспечивают рост в общем движении науки.

Ученый большой творческой силы, богатой эрудиции, мастер тонкого лингвистического анализа, Сергей Петрович — прекрасный продолжатель дела Шахматова, историка русского языка.

С. Г. Бархударов

---

[1] «Доклады и сообщения» филол. фак-та МГУ, 1947, вып. 4.

Происхождение русского литературного языка

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА СТАРЕЙШЕЙ ПОРЫ

Происхождение русского литературного языка является центральной проблемой истории русского языка. Еще сто лет назад по этому вопросу высказался И. И. Срезневский, никак специально не аргументируя своего взгляда, и этот взгляд как-то сразу вошел в научный обиход и сохранился в нем до нашего времени. По мнению Срезневского, наш русский литературный язык в своем зарождении был не русским языком, а церковнославянским (древнеболгарским), пришедшим к нам, в связи с принятием христианства, в богатой церковно-богослужебной и иной церковно-религиозной книжности, представлявшей собой перевод с греческого языка на болгарский. Считается, что этот пришлый, книжного типа язык сразу оказался у нас с правами и в роли нашего литературного языка. Для объяснения этого явления Срезневский неоднократно подчеркивает, что именно церковнославянский язык по сравнению с иными славянскими языками был особенно близок к русскому языку. «Всего было легче утверждение старославянского наречия в русской письменности,— читаем мы в «Мыслях об истории русского языка и других славянских наречий» И. И. Срезневского (стр. 76),— потому что русский язык к старославянскому наречию был гораздо ближе всех других наречий славянских и по составу и по строю». В настоящее время это положение для нас, конечно, не может служить аргументом. Все славянские языки в старую пору (в IX—X вв.) были относительно близки друг к другу, каждый вместе с тем характеризуясь совокупностью своих черт применительно ко всем сторонам языка. Вместе с тем именно старославянский язык, как книжный язык, сложившийся на основе переводов, язык жанрово ограниченный, должен был представляться языком далеким в отношении к любому иному живому славянскому языку, в том числе и к языку русскому. Таким образом, с точки зрения высказанного положения о том, что русский литературный язык в своем происхождении был церковнославянским языком, вся дальнейшая его история должна была представляться как длительный процесс постепенного и непрерывного проникновения в него элементов собственно русского языка. Этот общий взгляд на происхождение русского литературного языка стал на последующие десятки лет

стереотипным. Он, между прочим, был повторен и крупнейшим современным представителем науки русского языка — академиком А. А. Шахматовым. Должно, однако, заметить, что Шахматов специально проблемами истории русского литературного языка не интересовался и не занимался. Но в лекционном своем курсе современного русского литературного языка, читанном в 1911 г. в Петербургском университете, он в своем введении к курсу должен был коснуться вопроса об образовании русского литературного языка и изложил его в согласии с обычными представлениями своего времени.

Приведенный взгляд на происхождение русского литературного языка, как будто не противоречащий общему представлению исторической обстановки прошлого, мог существовать в старую пору, когда не было четкого, научно расчлененного понятия старославянского языка, с одной стороны, и русского литературного языка старшего периода — с другой. Насколько соотносительно эти понятия были туманными в старой науке русского языка, видно, например, из следующей цитаты из «Мыслей» И. И. Срезневского: «До XIII в. язык собственно книжный (т. е. литературный язык) — язык произведений духовных, язык летописей и язык администрации — был один и тот же, до того, что и Слово Луки Жидяты, и Поучение Илариона, и Русскую правду, и Духовную Мономаха, и Слово Даниила Заточника, и Слово о полку Игореве, и Грамоту Мстислава некоторые позволяли себе считать написанными одинаково на наречии не русском, а церковнославянском» (стр. 77). Понятно, что высказанный взгляд на происхождение русского литературного языка с непосредственным обращением к исследованию собственно литературных памятников старой поры не мог не столкнуться с противоречивым материалом, шедшим от самих памятников.

Десять лет назад, в работе над исследованием языка Русской правды (в так называемой пространной редакции), в исчерпывающем анализе языкового материала памятника, мне пришлось столкнуться с фактом полного отсутствия в тексте Правды церковнославянских наслоений. Этот факт был известен академику А. А. Шахматову и Е. Ф. Карскому (издателю текста Правды по старейшему — Синодальному списку 1282 г.) и остался ими непонятным. Однако Русская правда — памятник слишком большого значения в разных отношениях; неизмеримо его значение и как источника русского литературного языка старшей поры. Данные его языка говорят о многом. Поэтому в работе над языком Русской правды, на вопрос о том, на каком же языке она была написана, не мог не последовать один ответ — что это был русский язык, русский литературный язык старейшей поры.

Анализ языка Русской правды позволил облечь в плоть и кровь понятие этого литературного русского языка старшего периода. Его существенные черты — близость к разговорной стихии речи и полное отсутствие следов взаимодействия с болгарско-византийской культурой.

Отсюда естественно напрашивался вывод о русской основе нашего литературного языка, а соответственно — о позднейшем столкновении с ним церковнославянского языка и вторичности процесса проникновения в него церковнославянских элементов. Это положение, выросшее на основе данных, представляемых Русской правдой, нуждалось в подкреплении на материале иных старейших русских литературных памятников. С этой целью в «Очерках по истории русского литературного языка старшего периода» (М., 1946) мы подвергли тщательному изучению язык основных наших ценнейших памятников, важнейших источников русского литературного языка старейшей поры, а именно: сочинений Владимира Мономаха, Моления Даниила Заточника, Слова о полку Игореве, Русской правды (в краткой ее редакции).

Анализ всех исследованных памятников показывает, что язык их один и тот же — общий русский литературный язык старейшей поры. Сила единого содержания языка всех этих памятников становится особенно значительной, если принять во внимание, что исследованные памятники охватывают относительно широкий отрезок времени — около двух столетий (от начала XI по конец XII в.), принадлежат по своему происхождению к разным пунктам русской территории — и северу, и югу, и средней Руси — и, наконец, являются литературными произведениями, разными по жанру. Можно отметить общие признаки этого, старейшей поры, русского литературного языка. Основной и важнейшей чертой его является общий русский облик, дающий себя знать во всех сторонах языка (и в звуковой стороне, и в морфологии, а особенно в синтаксисе и лексике). Второй общей его чертой служит относительно архаический тип языка, понятный сам по себе ввиду того, что памятники принадлежат к старейшей поре (XI—XII вв.). Наконец, третьей, также замечательной особенностью языка, является очень слабая доля церковнославянского воздействия на него. Замечательно при этом, что незначительная сама по себе доля церковнославянского влияния, по свидетельству непосредственных памятников, колеблется в зависимости от жанра памятника, а также от времени его сложения. Памятники более ранние имеют меньше наслоений церковнославянизмов по сравнению с памятниками позднейшими. В жанровом отношении выделяется Русская правда с полнейшим отсутствием церковнославянизмов; собственно таково же и Слово о полку Игореве. Показательны неодинаковые свидетельства отдельных произведений Владимира Мономаха о церковнославянском воздействии на язык: оно заметно в «Поучении», совсем незначительно в письме Мономаха к Олегу и почти отсутствует в его автобиографии.

Все эти данные, покоящиеся на материале непосредственных памятников, должны служить достаточным основанием для признания ложности старого взгляда на происхождение русского литературного языка как языка в основе нерусского.

Самая мысль эта и теоретически, с разных точек зрения, не может не считаться совершенно неправдоподобной. Уровень русской

культуры с ранней поры, еще на заре русской государственности, был очень высок. Мы имеем много разнообразных свидетельств этого. И, конечно, с общим высоким уровнем культуры не могла не быть связана и достаточно сложившаяся культура русского слова уже в ранюю пору. Лучшее свидетельство этого — появление в то отдаленное время таких образцовых произведений языка и художественного творчества, как Слово Илариона, или сочинения Мономаха, или Слово о полку Игореве и др. Конечно, такие высочайшие образцы языка и творчества не могли бы получиться из ничего и вдруг, если бы до этого у нас уже не упрочилась своя традиция художественного слова, художественного творчества. Все это требует предположения о ранней сложившейся у нас культуре слова.

Нельзя не отметить также, что с ранней поры русская культура во всех своих проявлениях обращает на себя внимание своей самобытностью. Сам русский язык издавна развивался собственным путем. Замечателен факт, что, сталкиваясь в старейшую пору с различными языками, например финскими, тюркскими, греческим и др., русский язык развивался совершенно самостоятельно и из чужих языков в него проникали лишь изолированные слова. Впрочем, и это наследие почти незаметно. Так, о финских заимствованиях совсем не приходится говорить — настолько незначительно было проникновение их в живой оборот русской речи. При таком выраженном самобытном характере русского языка тем более противоестественной представляется самая возможность мысли о том, чтобы основу русского литературного языка мог составить язык нерусский.

Положение о происхождении русского литературного языка на русской основе имеет большое методологическое значение в дальнейшем изучении русского языка. Стоя на ложном пути, усматривая истоки нашего литературного языка в церковнославянском пришлом языке, мы в изучении русских памятников методологически неправильно и односторонне ставили вопрос о рамках русских элементов в свидетельствах того или иного памятника. Необходимо в равной мере освещать и другой вопрос: о доле церковнославянских элементов, принадлежащих каждому данному памятнику или серии памятников. Тогда на объективную почву исследования будет поставлена общая проблема об истории церковнославянизмов в русском языке, о судьбах церковнославянского языка в развитии русского литературного языка. Это исследование должно объективно показать роль древнеславянизмов в нашем языке, ибо представление об их влиянии у нас преувеличено. Многие церковнославянизмы, свидетельствуемые теми или иными памятниками письменности, имели значение условных, изолированных фактов языка, в систему его не входили, а в дальнейшем вовсе выпали из него, и сравнительно немногие слои их прочно вошли в обиход нашего литературного языка.

1947

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

1

«Слово о полку Игореве» занимает совершенно исключительное положение среди памятников старейшей русской письменной культуры. Безмерно велико значение «Слова» как памятника высочайшего художественного творчества. В этом отношении трудно подыскать среди источников старой русской письменности объект для сравнения со «Словом». По силе выраженной в памятнике художественности «Слово» может быть сравниваемо лишь с немногими образцами мирового эпоса. Памятник по сложению конца XII в., «Слово», несмотря на протекший период 750-летнего своего бытования, сохранило всю свою жизненность до нашего времени, и это значение обеспечено за ним на будущие века. Такова вечно живая идейность поэмы, созвучная всем временам, — горячая любовь к родной земле, клич к единению всех сил страны за ее целостность и свободное самостоятельное развитие, призывы к борьбе единой землей против врагов ее. Эти идеи памятника, простые, всякому русскому сердцу понятные, сами же по себе вечно живые, сделали из памятника, созданного на юге старой Руси, произведение, которое обошло всю русскую землю, сохранили до нас самый памятник, несмотря на мирской его характер, наконец, отпечатлелись в живых своих следах в умах и чувствах русских людей времени значительно позднейшего, чем пора собственного сложения памятника. Таково известное место из записи, содержащейся в псковском «Апостоле» 1307 г., по поводу борьбы между князем Михаилом Тверским и Юрием Даниловичем Московским: «при сихъ князехъ сѣяшется и ростяше усобицами гыняше жизнь наша въ князѣхъ которы и вѣци скоротишася человѣкомъ». Это место представляет собой почти дословную цитату из «Слова» — «тогда при олзѣ гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами погибашеть жизнь даждьбожа внука въ княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомь скратишась». А еще позднее, спустя столетие, когда, после знаменитой победы над татарами в 1380 г., у нас слагался ряд повестей о Мамаевом побоище, создана была (в начале XV в.) известная «Задонщина». Это произведение, посвященное славной победе Московского князя Дмитрия Донского над татарами в 1380 г., уже целиком подражает «Слову», повторяя многие его сравнения и метафоры, может быть не всегда их понимая, но зато полностью разделяя основные идеи своего великого памятника-образца.

«Слово о полку Игореве» имеет громадное, не одно историко-литературное, значение, как свидетель прошлой русской истории и культуры. Очень большое значение принадлежит «Слову», как источнику русского литературного языка старшей поры. До нас дошли в небольшом числе оригинальные памятники русского языка от начальной поры его существования, и в своем большинстве памятники эти узко жанрового характера. Систему литературного языка они поэтому показывают односторонне и недостаточно. В этом отношении выделяются лишь сочинения Владимира Мономаха, бла-

годаря разнообразию своего содержания шире вскрывающие нормы литературного языка своего времени. По своему значению к этому источнику для изучения русского литературного языка примыкают и данные «Слова»: в этих двух общелитературного характера памятниках перед нами основной и величайшей ценности материал для суждения о русском литературном языке старшей поры.

Научное изучение «Слова о полку Игореве» было непрерывным в течение всего 150-летнего существования памятника в общем научном обороте. Литература исследований и статей, посвященных «Слову», очень большая. В этом длительном, не останавливавшемся внимании к изучению «Слова» доминировало, однако, общее филологическое его изучение. Обстоятельства открытия памятника всего в одной лишь рукописи и публикации его в 1800 г., гибель самой рукописи «Слова» (от пожара, в 1812 г.) приковали общее внимание к тексту памятника, как он был опубликован в издании 1800 г. В этом издании не могло не быть изъянов. У издателей не было твердых выдержанных принципов воспроизведения текста, не все в рукописи было разобрано и понято издателями. В результате в опубликованном тексте не могли не обратить на себя внимание многие с разных точек зрения представлявшиеся сомнительными места, с другой стороны — сами по себе невразумительные, «темные» места в контексте памятника. Этим критическим замечаниям и поправкам к тексту издания «Слова» 1800 г., как к основному источнику наших сведений о памятнике, равным образом попыткам истолковать «темные» места в контексте «Слова» и были, главным образом, посвящены многообразные работы по изучению памятника за весь полуторастолетний протекший период времени общего его исследования. В результате можно сказать, мы в настоящее время обладаем более совершенным представлением о тексте «Слова»; что касается «темных» мест памятника, то, хотя на истолкование их потрачено было много усилий исследователей, в своем большинстве они и до настоящего времени не могут считаться разгаданными и объясненными с убедительностью. Это узкое филологическое изучение памятника, само по себе важное и необходимое в общем исследовании литературной истории всякого источника, заслонило, однако, необходимость одновременного изучения «Слова» в его целом с разных точек зрения. Больше всего здесь пострадало изучение языка памятника.

Впрочем, одна сторона в изучении языка «Слова о полку Игореве» привлекла к себе внимание, это именно вопрос о языке данного дошедшего списка памятника с точки зрения диалектологического его приурочения. С давней поры высказано было предположение о псковском происхождении дошедшей рукописи «Слова». Наиболее аргументированно и полно эта точка зрения развита проф. Н. М. Каринским [1]. Проф. Н. М. Каринский специально занимался изучением, по рукописным источникам, псковского наречия XV в.

[1] В специальной статье «Мусин-Пушкинская рукопись Слова о полку Игореве, как памятник псковской письменности XV—XVI вв.», 1917.

Может быть, этим увлечением, увлечением специалиста, объяснялось бы то слишком уже пристрастное отношение к поискам псковизмов в тексте «Слова», о котором свидетельствует названная статья. Ср. справедливые в этом отношении упреки, делаемые акад. А. С. Орловым [1] по поводу отдельных «псковизмов» в тексте «Слова», усвояемых ему Н. М. Каринским. Однако следует сказать больше того: вообще предположение о псковском происхождении рукописи «Слова» должно считать предположением недоказанным и самим по себе малоправдоподобным.

К числу наиболее типичных особенностей старого, как и современного, псковского говора следует относить мену *з* и *ж*, *с* и *ш*, своеобразную судьбу *ѣ*, наконец аканье.

Среди этих особенностей наиболее резкая первая черта, но в современной стадии она уже является ослабленной чертой, сходящей на нет; с другой стороны, она тем более ярко дает о себе знать, чем далее мы идем в прошлое. Старый письменный источник, если он псковский, обычно дает красочную иллюстрацию примерами этой диалектной особенности. Для оправдания этой черты в тексте «Слова» обычно приводится форма — *шизымъ* орломъ (3) вм. *сизымъ*; кроме того, во фразе «а ты буи романе и мстиславе храбрая мысль носитъ *васъ* умъ на дѣло» слово *васъ* читается (Н. М. Каринский, акад. А. С. Орлов) в виде *вашъ* с предположением отражения в данном написании основной отмеченной псковской диалектной особенности. Если даже признать оба эти факта за псковизмы, нельзя было бы не отметить, что для характеристики явления, как присущего памятнику, этих фактов, конечно, недостаточно. Впрочем, ближайший анализ самых примеров заставляет их считать сомнительными и не позволяет усматривать в них действительную иллюстрацию интересующего явления в памятнике. Форма слова *шизыи*, на первый взгляд рисующаяся бесспорным фактом, с «псковским» *ш* вместо *с*, в действительности представляет собою форму неясную. Следует обратить внимание на то, что слово *сизыи* само по себе этимологически неизвестного происхождения. Не невозможно было бы в этом отношении признавать первичною формою слова именно вариант с начальным *ш*, считая современную форму *сизый*, с *с*, образованием вторичного происхождения, возникшим в процессе слоговой ассимиляции согласных. Таким образом, это написание в тексте «Слова» представляет сомнительный «псковизм» памятника. Еще менее убедителен второй приведенный пример — *васъ* вм. *вашъ*. Прежде всего псковская мена *з—ж*, *с—ш* должна пониматься как явление в области палатальных согласных, следовательно, в соответствии с ожидаемой формой *вашь* псковский вариант должен был бы звучать в виде *вась*, не *васъ*. Но независимо от этого, общий контекст с данной формой требует употребления местоимения в форме двойственного числа. В приведенном контексте содержится обращение к князьям Роману и Мстиславу Ростиславичам. «Храбрые

[1] «Слово о полку Игореве», 1938, стр. 61 и сл.

замыслы,— читаем мы в интересующей фразе,— направляют ум именно васъ о б о и х князей, Романа и Мстислава, на ратное дело». В дальнейшем продолжении контекста (во фразе — «суть бо у *ваю* желѣзныи папорзи подъ шеломы латинскими») мы и находим прямое использование местоимения в форме двойственного числа, в обращении к тем же двум князьям Роману и Мстиславу. Все это убеждает в том, что в приведенной выше фразе с формою *васъ* в тексте содержится порча, эту форму *васъ* надо исправить, вместе с тем не постановкою здесь местоимения *вашь*, соотносительного с формой мн. числа *вы*, а использованием формы родительного двойственного числа *ваю* от *вѣ*. Ср. подобное употребление в «Слове» формы *ваю* в притяжательном значении в обращении князя Святослава к Игорю и Всеволоду: «*ваю* храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована а въ буести закалена» (26); то же в словах князя Святослава, обращенных к Рюрику и Давыду Ростиславичам: «*не ваю* ли (вои) злачеными шеломы по крови плаваша не *ваю* ли храбрая дружина рыкаютъ акы тури ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ» (29). Итак, можно видеть, в тексте «Слова» нет достоверных примеров с колебанием *з—ж*, *с—ш*, этой наиболее характерной чертой псковского говора.

Судьба *ѣ* в псковском наречии носила свои специфические черты, отличные от отражения его в новгородском говоре. В псковском диалекте *ѣ*, с одной стороны, совпало с *е*, а, с другой стороны, в определенных условиях, отличных от пути его изменения в новгородском говоре, переходило в *и*. Следует согласиться с мнением проф. В. В. Виноградова, в специальном исследовании, посвященном судьбе *ѣ* в севернорусских говорах [1], остановившегося в связи с мыслями Н. М. Каринского в указанной статье и на данных с употреблением *ѣ* в тексте «Слова» и пришедшего к заключению, что характерного «псковского» в употреблении *ѣ* в памятнике ничего не наблюдается, возражавшего и вообще на основе прочих особенностей памятника против предположения о псковском происхождении рукописи «Слова». Ниже, в специальном разделе, придется остановиться на данных «Слова» с употреблением *е—ѣ—и*. Анализ подходящего материала позволит сделать предположение о новгородском, а отнюдь не о псковском, происхождении рукописи «Слова», притом не только дошедшей рукописи, но и ее ближайшего списка-предшественника.

Последняя, наконец, основная особенность псковского говора, аканье, можно сказать, совсем не имеет достоверной документации в данных памятника. Единичные, формально сюда относящиеся, примеры все должны считаться описочными случаями (с *а* вместо *о* под воздействием *а* в смежном, предшествующем или последующем, слоге) [2]. Ср. написание горн*аста*емъ (40), род. дв. с*ама*ю вм. само*ю*

[1] Исследования в области северновеликорусского наречия, вып. 1, Изв. Отд. русск. яз. и словесн. Ак. наук, 1922—1923.

[2] Как и в иных источниках старого языка, в памятнике различаются существительные *заря* (10, 98), с *а*, в значении вечерней зари, и *зоря* (12,18), с *о*, в зна-

(24), тьмутораканьскыи (9) при постоянном тьмуторокань (15, 24, 36). Подобный тип описок, нередкий в памятнике, может быть иллюстрирован и иными из него примерами: ярослову (3) вм. ярославу, брячяслава (34) вм. брячислава.

Итак, наиболее характерные черты, специфически свойственные псковскому говору, данными памятника не подтверждаются. Однако псковскому говору принадлежали и иные черты, сами по себе достаточно резкие, вместе с тем отличавшие не один псковский говор, но псковский говор вместе с новгородским. Из наиболее характерных черт этого рода таковым, например, было цоканье, наблюдаемое и в старейших, псковских и новгородских, памятниках, и в современном состоянии псковского и новгородского диалекта. Известны примеры цоканья и в данных «Слова». Но, в согласии со сказанным выше, понятно, что это явление цоканья, как и иные диалектные особенности, общие для псковского и новгородского говоров, при наличии их в памятнике должны именно служить прямым свидетельством его новгородского происхождения, поскольку оно находит себе оправдание в наличности в тексте «Слова» ряда иных признаков специфически новгородских, чуждых псковскому наречию.

Изучение языка «Слова о полку Игореве» важно не с одной стороны выяснения происхождения памятника в данном, дошедшем до нас его списке, как и во всех могущих предположительно быть вскрытыми предшествовавших ему списках. Исследование языка памятника, в согласии со сказанным в начале статьи, имеет особенно большое значение и со стороны определения тех общих литературных языковых норм, которые принадлежали памятнику в пору его непосредственного сложения и которые должны были характеризовать систему нашего литературного языка старшего периода. Изучение языка «Слова» в таком масштабе не производилось. Большие трудности препятствовали самой постановке подобной задачи исследования. Памятник дошел до нас всего в одном списке, дошедший список сравнительно поздний (XV—XVI вв.), т. е. на 300 лет, если не более, отстоящий от непосредственного оригинала, этот единственный дошедший список «Слова» безвозвратно погиб, и в фактическом нашем обладании осталось лишь печатное его издание 1800 г. (не считая современной изданию копии памятника, сделанной для Екатерины II) с известными недочетами, с неразобранными местами в рукописи и т. п.,— все эти обстоятельства, в каких фактически дошел до нас текст «Слова», не могут не затруднять разработки поставленного вопроса о языке памятника. Однако исследование вопроса возможно, а само по себе оно с точки зрения научных потребностей необходимо; считаясь же с трудностями его изучения из-за свойств самого текста памятника, фактически находящегося в нашем распоряжении, следует примириться с тем, что известные постро-

---

чении зари утренней. В этих словах два разные образования с чередованием гласного в корне.

ния в разрешении вопроса могут быть неполными или гадательными. Историк языка, как и литературовед или иной исследователь «Слова», делая те или иные в изучении его гипотетические построения, оказался бы в этом отношении в одном положении: для всех них в выдвигаемых предположениях прочная опора мыслилась бы лишь в дополнительных свидетельствах какого-либо нового списка памятника, если ему суждено быть найденным.

2

С изучением фонетической стороны памятника связываются наибольшие трудности: в дошедшем тексте «Слова», рукописи XV—XVI вв., конечно, не могли сохраниться очень многие особенности, характеризовавшие оригинал «Слова»; с другой стороны, в наличном списке памятника могли прихотливо сочетаться особенности, привнесенные его последним писцом, с чертами, унаследованными, в механической копировке памятника, от ближайшего предшествующего его списка, как и от более отдаленных промежуточных его списков, если они фактически существовали и проследимы в тексте памятника. Расчленить все эти пласты в единственном сохранившемся списке «Слова», конечно, очень трудно.

Невозможно представить по данным дошедшего списка памятника, какова была картина с отражением истории редуцированных звуков ъ, ь в оригинале «Слова». Возможно думать, что слабые ъ, ь в основном уже не были представлены в тексте памятника. Судить о судьбе сильных ъ, ь в ту пору по данным наличного списка «Слова» нет возможности. В материале памятника картина с старым употреблением ъ, ь в связи с общей историей редуцированных звуков, протекавшей в жизни русского языка в период XII—XIII вв., под пером позднейших переписчиков должна была подвергнуться сильным изменениям, отражая итоги пройденной истории редуцированных звуков. Действительно, по общей норме в тексте памятника слабые ъ, ь (не считая положения их в исходе слов, где они графически сохраняются) отсутствуют, сильные ъ, ь уступили место гласным *о*, *е*. И в одном и в другом направлении, однако, есть немногие отступления, в отдельных частностях представляющие известный интерес. Слабые ъ, ь иногда сохраняются в написаниях памятника В корневом положении подобные случаи падают обычно на слова со скоплением согласных, особенно в начале слова, ср. инъгварь (32), къмети (8), тъщими (23), тьма (тъма) (5, 8, 25, bis), тьмуторокань и произв. (9, 15, 24), но — тмутороканя (36), мьгла (*мъгла*) (10 35, 39, 41, 42), дьскы (23), орьтъмами (11), седьмомъ (35), льзъ (37), шельбиры (27), ольберы (27), ольга род. (15) (но — олзѣ 16), ольговъ (1, 11, 44) (но — олговъ (14, 16), олговичи 32); обычно с ь пишется святъславъ и произв. святъславль, святъславличь 15 сл. (ср. с опущением ъ — святславъ, святславлича (16, 30 bis)[1] и с *о* —

[1] В Екатерининской копии в первом и последнем из отмеченных случаев написание без опущения ъ.

*свято*славль (39), ср. также святоплъкь 16). Изредка наблюдается написание *ь* в суффиксальном положении в слове, например, в окончании *-ьми* существительных (чрьнядьми (42), костьми (17, 36), напастьми (20), пѣсьми 43), в адъективном суффиксе *-ьск* (14 сл.) и в иных суффиксах *-ьк*,- *ьн*,- *ьц*, особенно в положении их после основ, оканчивающихся на плавный *л* (ср., с одной стороны, иноходьцы (16), с другой стороны, только (43), васильковъ (33), сильныи, насильно (21, 26, 38), крильца (24), сокольца (44) при велми (12), крилцю (38), шестокрилци (33), соколца (43). Вообще же этот материал — необильный, и разграничить в нем то, что было вынесено из оригинала и что внесено в последующей его переписке, было бы трудно, а само по себе не столь существенно. Выдержанною графической чертой памятника, вероятно, обязанной последнему его писцу, отдавшему дань позднему югославянскому влиянию, служит устойчивое употребление ъ в исходе предлогов. Таковы написания не только тех предлогов, которые исконно оканчивались на ъ (въ 46 сл., къ 23 сл., отъ 12 сл., подъ 14 сл., предъ 3, 18, съ 28 сл., чресъ 6, 34 и чрезъ 7, 30, 45), но в подравнение к ним и предлогов, не имевших первоначально в исходе ъ (таковы безъ 23, 44 и изъ 21, 22, 34 bis., 35, 36, 39)[1]. Отклонения от этого выдержанного типа написаний совершенно единичны: *в* моемъ теремѣ златовръсѣмъ (23), *с* тугою (43), ср. также бес щитовь (27); в немногих примерах встречается вокализация ъ в предлоге: во днѣ каялы (22), ко святѣи софіи (16), ко гзѣ (43). Обращает на себя внимание наличность и отсутствие ъ (в слабом положении) в префиксах въ, въз, съ. В словах (глаголах) конкретного значения, в обычной русской лексике, почти во всех случаях можно наблюдать, согласно с живыми нормами старого русского языка, исчезновение редуцированного звука: *в*змути (21), *в*зыдоша (18), *в*сядемъ (5), *в*ступити (19, 29), *в*троскоташа (43), свивая (6), *св*ѣдоми (8), *с*думати (20), *с*кована (26), *с*кратишась (17), *слѣтѣ*ста (24), *с*мыслити (20), *с*мысленыи (37), *см*ѣшено (23, 26), снесеся (26), *с*пала (6), *с*рони (32), *ств*ористе (26), сюда же *з*би (9) (в порченом контексте). Напротив, в лексике отвлеченной или употребляемой фигурально, или эмоционально насыщенной обычно в префиксах сохранение ъ: възбиваетъ (27), възграяху (23), възлелѣяти (8,39), въскладаше (4), въскрѣмлени (8), въсплакашась (20), въсплескала (19), въспѣти (7, 25), въвръжеся (41), въсрожатъ (9), въстати (9 (в порченом контексте), 19 bis), въстона (20), въступити (8), въшумѣ (40), съглядати (20), съпряже (39). В этом последнем слое лексики, в известной части сохраняющейся и в современном языке в произношении с *о* в префиксальном элементе, перед нами старое болгарское напластование в нашем литературном языке. Ср. в современном языке *во*спеть, *во*зграять, *во*сплескать и т. п., а с другой стороны — *в*змутить (воду), *в*зойти, скоротать (время) и т. д. В приведенных рядах слов могли бы вызвать замечания отдельные экземпляры лексики по отсутствию или, напротив, наличию в них ъ в префиксальной

[1] Ср. также изъ- в качестве префикса: изъострени (8).

части. Но подобных примеров было бы немного, и наличность их не является существенной. Ср. без ъ форму *с*кратишась (17): ожидалось бы, при отсутствии полногласия в корневой части, употребление префикса в болгаризованном виде, с ъ. Однако, как об этом будет идти речь ниже, есть основания думать, что в оригинале глагол содержался в русском обличии, т. е. читался с полногласием — скоротишася, перелицовка же этой формы на болгарский тип, без полногласия, была произведена позднейшим переписчиком в пору второго южнославянского у нас влияния. Ср., между прочим, в записи к Апостолу 1307 года, куда попала соответственная фраза с данным глаголом из «Слова о полку Игореве», употребление глагола именно в русском обличии, с полногласием: ск*оро*тишася. Можно обратить внимание в приведенном перечне глаголов на то обстоятельство, что и в написании без ъ и в написании с ъ в памятнике встречается глагол *в*(ъ)ступити; объяснение этому различию написаний (если не усматривать здесь графического изъяна) должно было бы искать в стилистических нюансах отдельных случаев употребления глагола, ср. глагол въстати, дважды употребляющийся в известном лирическом контексте, связанном с представлением о деве-обиде, и в обоих случаях пишущийся с сохранением ъ.

Содержащийся в болгарском слое лексики ъ в префиксальном элементе, конечно, имел в произношении значение гласного *о*. Однако приемы именно новой болгаризованной орфографии вменяли в необходимость устойчивое написание в этих случаях ъ. Можно отметить, что в сильном положении в соответственных случаях пишется также ъ, но может писаться и *о*, ср. възрѣ (5) и вонзить (34) и с порчей в тексте воззни (35).

Известны в тексте памятника немногие случаи с написанием (в слабом положении) ь вместо ъ или обратно ъ вместо ь. В корневом положении, где вообще слабые редуцированные редки в употреблении, подобных случаев немного. Таковы приведенные выше написания дьскы (23), с другой стороны, мъгла, мъглами (10, 42) при мьглѣ, мьглами (35, 39, 41), также тъмою (8, 24) при тьма, тьмою (5, 25). Более часто употребление в исходе слов ь вместо ъ, причем текст Мусин-Пушкинского издания здесь расходится с Екатерининской копией, представляя большее соответственно количество написаний с ь вместо ъ. Таковы здесь случаи: дат. мн. былинамь (2) (Ек.: ъ), дивь (25), днѣпрь (42), женчюгь (23), святоплъкъ (16), род. мн. соколовь (3) (Ек.: ъ), (4) (Ек.: ъ), умь (5) (Ек.: ъ), (6) (Ек.: ъ), (24), дат. мн. человѣкомь (17), род мн. щитовь (27), велесовь внуче (7) (Ек.: ъ), дат. мн. имь (2) (Ек.: ъ), (39). В Мусин-Пушкинском тексте, таким образом, в 15 случаях вместо ъ написано ь, в тексте Екатерининской копии подобных примеров 8. С несомненностью можно думать, из случаев расхождений обоих текстов, что в рукописи «Слова» начертание ъ и ь в известных случаях не различалось с четкостью одно от другого. Что касается прочих примеров, одинаково свидетельствуемых обоими списками, то в них можно усматривать след, оставленный последним писцом памятника, отразившим общее

воздействие новой болгаризованной орфографии своего времени. Можно не останавливаться на случаях обратного рода, с употреблением ъ вместо ь, за их малочисленностью (пример единичный: вихръ 22). В тв. падеже ед. числа существительных, также в тв.-местн. падежах ед. числа прилагательных (и местоимений) во флексии обычно -мъ; ср. архаическое -мь лишь в двух случаях: трудомь (23), шеломомь (6). В глагольной флексии, в 3-м лице наст. времени и имперфекта, колеблются -тъ и -ть, о чем речь должна быть в отделе морфологии.

В сильном положении, как сказано, ъ, ь по общей норме должны были уступить место гласным полного образования *о*, *е* еще в период XII—XIII вв. В памятнике обычны соответственные написания с *о*, *е*, каковое явление нет необходимости иллюстрировать примерами. Написание с сохранением редуцированного ъ, притом выдержанное, можно отметить лишь для союза нъ—7 сл.; это написание обязано нормам новой болгаризованной орфографии. Можно заметить, что в соответствии с старой формой местоимения тъ встречается правильный позднейший вариант с *о*: «*то* же звонъ слыша...» (15). В одном случае, в написании *пяткъ* (10) отсутствует эквивалент суффиксального ъ (в сильном его положении); можно предположить, что в данном написании неудачная передача в издании 1800 г. рукописного пат҃, с надписанным над строкой под титлом суффиксальным *k*. Какая-то порча текста в написании местоименной формы дат. ед. ж. *тъи* пѣсни (1) с ъ вместо нормального исконного *о*. Особую категорию случаев с сильными ъ, ь составляют слова, содержащие в положении между согласными сочетания ъ, ь с последующими плавными. В период общего перехода сильных ъ, ь в *о*, *е* произошло изменение и этих ър, ьр, ъл в *ор*, *ер*, *ол*. Однако подобные написания встречаются в памятнике редко: выторже (22), папорзи (32), чернигов҃ъ, чернигов҃ьскыи (15, 20, 27), помѣркоста (25), волгу (28), солнце — 6 сл. Обычно под воздействием новой болгаризованной орфографии соответственные сочетания передаются на болгарский лад как сочетания плавного с последующим ъ (в редких случаях с ь). Ср. в соответствии с приведенными написаниями болгаризованные разновидности их: чрънигова (13), дат. влъзѣ (9), слънце (39) и т. д. Подобных написаний в памятнике 69 (см. перечень их в издании акад. А. С. Орлова «Слово о полку Игореве», с. 53 и сл.), причем с ь лишь — чрьнядьми (42), чрьленыи (10, 11 bis) (но — чрълены 10), и, по изданию 1800 г., тльковинъ 23) (в Ек.: лъ). В двух случаях в издании 1800 г. редуцированный опущен: мркнетъ (10), утрпѣ (32); в Екатерининской копии здесь в первом случае рь, во втором ръ. Можно обратить внимание на то, что этот, доминирующий в памятнике, способ передачи сочетаний «*о*, *е*+*р*, *л*» по типу болгарской орфографии был освоен писцом «Слова» не сразу: по началу писец держался приблизительно старорусского типа написаний этих сочетаний, т. е. пользовался употреблением ъ перед плавным, ср. на 1-й стр. печатного издания «Слова» написание пълку (но здесь и— плъку), на 3-й стр.—вълкомъ, първыхъ, на 4-й стр. — пълкы (но

здесь и — пръсты), а далее уже у него вырабатывается устойчивый прием написаний соответственных слов на болгарский лад, с ъ после плавного, если в отдельных случаях не пробиваются у него нормальные русские написания с *о*, *е* перед плавными. Действительно, в дальнейшем тексте написаний типа ъ с последующим плавным уже не встречается, зато в единый тип «болгаризованного» письма включается внешне подходящая лексика вроде слова *полночь* (здесь в пол- было исконным *о*, а не ъ), которое механически перелицовывается под новое правописание и пишется — плъночь (35). Интересно обратить внимание на приведенный выше слой лексики, в которой писец позволил себе отклониться от болгарского типа написаний и отразил нормальный тип русского письма: это, главным образом, русские слова — река *Волга*, город *Чернигов*, слова, внешний вид написаний которых на болгарский лад мог представиться зрительно несколько необычным, таково же слово *папорзи*, неизвестное в болгарском языке; с подобной окраской, видимо, воспринималось и существительное *солнце*, которое в 6 случаях из 7 пишется по нормам русского письма, ср. еще *выторже*, глагол с специфическим русским префиксом. Навыки письма у переписчика были довольно механическими, и в отмеченном кругу слов попадаются, правда в единицах, примеры написаний их на болгарский лад (эти примеры приведены выше).

Напряженные ъ̂, ь̂ (в положении перед неслоговым *і*) в значительном числе показаний сохраняются в памятнике в архаическом виде. Слабый напряженный ь̂ в подавляющем большинстве случаев изображается помощью *и*, не *ь*. Таковы многообразные существительные на *-іе*, *-іи* (*веселіе*, *копіе*, *дубіе* и т. п., зват. *славію* и др.), притяжательные прилагательные на *-ій* (*божіа* 37), формы твор. ед. числа от существительных жен. рода на *-ію* (*кровію* (18), *крѣпостію* (5), *мыслію* (3, 20, 28, 40), *сѣнію* 42), примеры на корневое положение ъ̂ (*проліясте* (26), *розліяся* 20). Примеров подобного сохранения напряженного ь̂ в памятнике 48. Соответственные случаи с опущением слабого ь̂, т. е. примеры написаний аналогичных слов не помощью *и*, а помощью *ь*, очень незначительны: в корнях слов — *вьются* (45), *выльяти*, *прольяна* (18, 28), *бья* (20), в суффиксальных элементах существительных, прилагательных — вин. мн. *ручьи* (42), тв. мн. *узорочьи* (11), *третьяго* (18), ср. еще — *христьяны* (45). Наличный список «Слова», как видно, сохраняет в значительной мере в нетронутом виде соответственные написания оригинала памятника. Это, конечно, надо объяснить стремлением писцов не нарушить ритмической стороны «Слова». Здесь можно также отметить, что разновидность напряженного ь̂, известная в отдельных грамматических категориях в исходе слов, в показаниях памятника также сохраняется не порушенной, всюду будучи представлена в виде *и* (не в виде *ь*). Ср. имя существительное *мати* (42), 2-е лицо ед. числа глаголов в наст. времени постоянно на *-ши*, инфи-

нитив постоянно на *-ти* [1]. И здесь бережность писцов к тексту памятника подсказывалась необходимостью сохранить его ритмику. В сильном положении напряженные ъ̂, ь̂ также в подавляющем большинстве подходящих случаев сохраняются в прежнем своем виде, как *ы*, *и*. Ср. вин. ед. *жребіи* (35), род. мн. существительных *повѣстіи* (1), *лебедѣи* (т. е. *лебедии* 3, 4), им. падеж ед. числа прилагательных — обычно на *-ыи*, *-іи* (*вѣщіи* (2), *славіи* (10), *великыи* 5 сл., *грозныи* (21), *давныи* (15) и т. д.), таково же местоимение *тъи* (15, 35). Нарушение этой нормы содержится лишь в написаниях род. мн. *князеи* (17), им. ед. *вѣщви* (7, 37).

Последствия истории редуцированных звуков дают себя знать в тексте памятника в незначительном виде. Это преимущественно явления в области консонантизма — явления ассимиляции, диссимиляции согласных, стяжения и иных видов упрощения групп согласных. Ср., например, написания — рѣ*т*ко (17), *з*драви (45), *з*би (9) (если здесь не порча текста), сви*с*ну (40), род. ед. *ч*ти (от *чьсть*) (8, 10, 13), *сл*езами смѣшено (=с слезами) (26), ру*с*кыи (из *русьскыи*), половецкыи (из *половьчьскыи*), галичкы (30), ляцкіи (33) и др.[2]. Рядом с унаследованной от оригинала формой предлога чересъ («*чресъ* поля на горы», «*чресъ* злато ожерелі*е*» 6, 24) имеется и позднейший его правописный вариант чрезъ («*чрезъ* поля широкая», «*чрезъ* облаки», «чрезъ море» 7, 30, 45), образовавшийся по сближению с предлогами-префиксами *без*, *из*, *въз*, *роз*, *низ*. Колеблются написания, с одной стороны, же*н*чюгь (23), восходящее к оригиналу (др. рус. *жьньчюгъ*), с другой стороны, прилагательное же*м*чюжну (34), с диссимилятивным изменением группы *нч* в *мч*. Последнее написание могло быть вынесено из промежуточного списка, который, следовательно, можно было бы относить ко времени не ранее конца XIII — начала XIV в. (написание *жемчюгъ*, с *м*, известно по письменным памятникам лишь с этой поры).

В области вокализма специального внимания заслуживает вопрос об употреблении в памятнике ѣ. Общее соотносительное употребление ѣ и *е* в памятнике правильное. Однако наблюдаются в тексте памятника отдельные случаи написаний ѣ вместо *е*, встречаются, в меньшем числе фактов, и обратные случаи с написанием *е* вместо ѣ. Случаи первого типа могли бы быть сгруппированы в следующем виде: 1. Существительное сѣдло, производные глагольные образования сѣдлати, осѣдлати постоянны в памятнике в написании с ѣ (7 bis, 22 bis). В этой теме первоначально имелся гласный *е*, не ѣ (*седьло* и т. п.), но по связи с сѣдѣти в ней рано произошло замещение гласного *е* гласным ѣ. Таковы и устойчивые, с ѣ, написания данной группы слов в памятнике. 2. В ряде приме-

---

[1] В одном лишь случае инфинитив в памятнике читается на *-ть*: князю игорю не *быть*... (40). Здесь либо порча текста, либо неудачная передача написания рукописи (в сокращении, с выносом согласного флексии над строкой, под титлом).

[2] Можно отметить здесь искусственное написание инф. *итти* (12), обязанное, конечно, последнему писцу памятника.

ров в памятнике наблюдается, видимо описочное, написание *ѣ* вместо *е* в словах, содержащих *ѣ* в смежном слоге. Таковы написания: тѣлѣгы (9), полѣтѣти (17), слѣтѣста (24). 3. Специальную группу составляют случаи с употреблением *ѣ* вместо *е* в исходе слов в вокативных образованиях от имен существительных: землѣ (12), всеволодѣ (13), осмомыслѣ (30), вѣтрѣ (38). Эти случаи также должны быть признаны описочными. 4. К последней категории должны быть отнесены все остающиеся, разрозненные, факты с употреблением *ѣ* вместо *е*: помѣркоста (25), зелѣну (42), вин. себѣ (19), им. мн. ратаевѣ (17), вин. ед. половѣцькую (5), тв. мн. половѣцкыми (11), ср. еще прѣклонило (43), хотя в Екат. копии здесь *е* (пр*е*клонило), как с *е* пишется этот префикс и в различных иных глагольных образованиях в памятнике (пр*е*клонитися (19), пр*е*градити, пр*е*городити (10, 13 bis), пр*е*летѣти (28), пр*е*рыскати (36), пр*е*тръгнути (41). По-видимому, и здесь изолированные примеры с *ѣ* вместо *е* случайного происхождения. Однако здесь обращают на себя внимание два случая написания с *ѣ* прилагательного половѣц(ь)кыи, также форма ратаевѣ. О последней форме речь будет несколько ниже. Прилагательное половѣц(ь)кыи содержит *ѣ* из *е*, которое само по себе образовалось из *ь* в сильном положении (половьчьскыи → половечскыи → половецкыи) в общую эпоху перехода сильных редуцированных в *о*, *е*. Не может быть никакого сомнения в том, что в данном написании, дважды встречающемся в тексте «Слова», перед нами свидетельство звукового изменения *е* в *ѣ*, вызванного влиянием следующего смягченного согласного. Это известное диалектное, и именно новгородское, явление. Написания эти не могут, однако, быть относимы к руке последнего писца памятника. Как об этом будет сказано ниже, в языке последнего писца «Слова» согласный *ц* подвергся уже процессу отвердения. Мы должны поэтому на оба эти написания смотреть как на вынесенные из предшествующего списка памятника, предполагая при этом соответственно несомненное и его новгородское происхождение. Стоит обратить внимание на то, что в одном из этих написаний слова, с *ѣ*, после *ц* стоит *ь*: это единственный из 18 случаев употребления прилагательного в тексте «Слова» пример его написания с *ь* в суффиксе; и по этой черте данное написание должно рассматриваться как перенесенное из предшествующего списка. Случаи второго типа, с написанием *е* вместо *ѣ*, значительно беднее количеством, в общей же оценке все производят впечатление случайных, изолированных написаний. Таковы: зват. дн*е*пр*е* (38), вин. ед. у*е*дi*е* (17), местн. мн., с одной стороны, вѣтрехъ (31), с другой стороны, вѣтрѣхъ (42), дат. себ*е* (8, ср. с *ѣ* — себѣ (10, 17, 26, 35), собѣ (33), примеры с *е* вместо *ѣ* во флексии архаического книжного типа прилагательных — местн. ед. жестоцемъ (26, ср. с *ѣ*: 38), дат. жен. ед. сребрен*е*и (26). Общий вывод, который можно было бы сделать из рассмотрения всего представленного материала памятника с употреблением как *ѣ* вместо *е*, так и *е* вместо *ѣ*, тот, что *е* и *ѣ* в памятнике различны, и следовательно нельзя предполагать о слиянии этих звуков в языке «Слова».

Однако, если в памятнике нет материала для предположения о звуковом совпадении в нем *е* и *ѣ*, то он содержит данные о звуковой близости *ѣ* и *и*. Таковы факты с употреблением, с одной стороны, *и* вместо *ѣ*, с другой стороны, написания обратного типа, с *ѣ* вместо *и*. Эти факты, правда, немногочисленны. Употребление *и* вместо *ѣ* наблюдается не только в срединном положении в слове, — таковы случаи тв. ед. д*и*вицею (43), ся помолод*и*ти (27), но и в абсолютном конце слов: дат. сул*и* (32), хинов*и* (25). Обратное явление с употреблением *ѣ* вместо *и* свидетельствуется следующим материалом: им. мн. брез*ѣ* (36), вин. мн. темн*ѣ* берез*ѣ* (42), род. мн. лебед*ѣ*и (3, 4), местн. ед. небес*ѣ* (44). Приведенные факты одного и другого ряда — бесспорные свидетельства о диалектной, и именно новгородской, черте в языке памятника — совпадении *ѣ* и *и* или звуковой их близости. Нельзя не обратить внимания на то, что в памятнике совершенно отсутствует типическая старая флексия *ѣ* в известных падежных формах от существительных с основами на **-jo* и **-ja* (также от прилагательных и местоимений): во всех соответственных случаях, если не оказывается в употреблении (вообще в редких примерах) флексия книжного, болгарского типа, т. е. *я*, окончанием выступает *и*: род. ед. земл*и*, софе*и*, им. мн. веж*и*, галиц*и*, д*ѣ*вици, лисиц*и* и т. д., вин. мн. во*и*, князь*и*, комон*и*, корабл*и* и т. п. (то же у прилагательных и местоимений).

Можно предполагать, что если не во всех случаях, то в известных примерах и в списке-предшественнике современной рукописи «Слова» это флективное *и* было «новгородским» *и*, т. е. графическим эквивалентом старой флексии *ѣ*. Несомненно, в этом предшествующем списке памятника были и формы собственно на *ѣ*. Такова форма вин. мн. усобиц*ѣ* (3), представляемая дошедшим списком «Слова». С уверенностью об этом можно говорить также на основании формы род. ед. д*ѣ*вице (44) в тексте памятника. Это написание, выше в перечне случаев с *е* вместо *ѣ* не отмеченное, должно быть объясняемо из д*ѣ*виц*ѣ* предшествующего списка, с графическою заменой конечного *ѣ* через *е*. Можно также отметить, что у существительных, с основами на **-jo* и **-ja*, также в подходящем типе прилагательных в дат.-местн. ед. числа в памятнике редка в употреблении старая флексия *и* (которая, конечно, принадлежала оригиналу), а вместо нее обычным окончанием выступает *ѣ*: гридниц*ѣ*, мор*ѣ*, пол*ѣ*, путивл*ѣ*, тьмутороканѣ, син*ѣ*. И здесь, по-видимому, в предшествующем списке «Слова» подобные формы на *ѣ*, по крайней мере в отдельных примерах, должны были читаться как формы на «новгородское» *ѣ*, т. е. с графическим *ѣ* вместо *и*. Ср. в тексте памятника один случай написания местн. ед. мор*е* (13), с *е* (при — мор*ѣ* (25, 38), пол*ѣ* — 6 сл.): здесь *е* графически заместило *ѣ* предшествующего списка именно потому, что *ѣ* в данной форме было особым, диалектным. Все изложенное с несомненностью позволяет заключить о диалектной, и именно новгородской, особенности звуковой природы *ѣ* в памятнике. Эта черта могла принадлежать и последнему писцу «Слова», но она являлась и особенностью пред-

шествующего списка памятника. В этом отношении особенно показательны следующие два написания, принадлежащие тексту памятника, понятные лишь при предположении, что они перенесены из предшествующего списка именно с новгородским *ѣ* вместо *и*. Такова форма им. мн. внуце (34), с *е*, конечно, графическим, вместо *ѣ*, т. е. форма, предполагающая наличность в списке-предшественнике написания внуцѣ, с конечным *ѣ* «новгородским», равным *и*. Аналогична форма им. мн. ратаевѣ (17) (подобный тип форм обычен в новгородских памятниках с конца XIII в., см. Соболевский, Лекции, стр. 180), несомненно целиком перенесенная из предшествующего списка, с тем же новгородским *ѣ=и*.

Из иных явлений в области гласных в памятнике могут быть отмечены немногие изолированные факты. Единично в памятнике представлено вынесенное несомненно из оригинала написание — владимера род. (5), ср. в 4 случаях написания с *и* (15, 28, 37, 45). Вряд ли серьезно можно придавать значение написанию которую (21) вместо которою — тв. ед. от существительного *котора*, предполагая здесь «псковское» звуковое изменение *о* в *у*. Соответственный общий контекст —с известными дефектами; в написании *которую* ошибка от неправильного его понимания в значении местоимения и согласования с предшествующим вин. ед. *лжу*. Видимо, от того же ошибочного восприятия слова как местоимения и от неправильного его согласования с дальнейшим во фразе существительным «насиліе» произошло написание *которое* (35) вм. ожидаемой формы тв. ед. числа от существительного *котора*, т. е. вместо формы *которою*. В обоих отмеченных случаях пострадавшими оказались отдельные формы от существительного *котора*. Видимо, эти изъяны написаний обязаны позднейшим писцам памятника и должны объясняться из непонимания ими слова *котора*, ветшавшего в литературном употреблении. Интересно написание чолка (11), с *о*, в памятнике, отражающее живое в языке изменение *е* в *о*. В памятнике встречается ряд написаний, внешне, формально как будто свидетельствующих о редукции неударяемых гласных в абсолютном исходе слова. Однако в действительности о редукции можно говорить в отношении одного примера с частицей в форме *жъ* вместо обычной формы ее *же* («луце *жъ* бы потяту быти...» 5). Во всех прочих случаях, с разрозненными категориями слов, мы, видимо, имеем дело с неправильной передачей в издании 1800 г. написаний рукописи с выносом под титлом конечного элемента (слога) слов. Таковы написания: 1) *речь* (3) вм. *рече* (аор. 3 л. ед.), 2) *въсплакашас* (20), *рассушясь* (10), *скратишась* [1] (17), *преклонилось* (19) — вместо использования форм с возвратной частицей в нормальном ее виде «ся», 3) формы повел. наклонения — *вонзить* (34), *понизить* (34) вместо нормальных, обычных в памятнике, форм на *-те*, 4) наречное *средь* (20) — вместо *среди*. В немногих случаях в памятнике

[1] Ср. в записи Апостола 1307 г. в данной фразе, заимствованной из «Слова» глагол в форме *скоротишася* (17).

встречается колебание с употреблением *ы — и*: при *давыде* (29) читаем *давидовы* (37) (результат слоговой диссимиляции?); форма вин. мн. *салтани* (30) подлежит оговорке в морфологическом разделе, как свидетельствующая о явлении, связанном с взаимовлиянием во мн. числе именительного и винительного падежей; в примерах написаний *кроваты* местн. ед. (23), *ярославнынъ* (37) (если не считать последний случай описочным) возможно усматривать отзвук воздействия новой болгарской орфографии.

В области консонантизма следует остановиться на употреблении *ы* и *и* после задненебных согласных. По принадлежности оригинала «Слова» хронологически концу XII в. можно предполагать, что тексту его были уже известны случаи употребления *и* после *г*, *к*, *х*. Картина дошедшего списка памятника представляет совершенно иное, сравнительно с оригиналом, соотносительное употребление *ы* и *и*, определяющееся положениями новой болгаризованной орфографии с предпочтительным по ее нормам написанием *гы*, *кы*, *хы*. Действительно, написания последнего типа являются преобладающими в памятнике: по изданию 1800 г. их 62 случая при 37 примерах написаний в словах *ги*, *ки*, *хи*; в Екатерининской копии, следует отметить, написаний *ги*, *ки*, *хи* еще меньше: в ней в 13 случаях, почти исключительно во флексии, читается *гы*, *кы*, *хы* в соответствии с *ги*, *ки*, *хи* по изданию 1800 г. Интересно обратить внимание на преобладающее написание темы *киев-* (существительное *киевъ* и производное от него прилагательное) и на исключительное написание имени *хинова*, также образованного от него прилагательного, с *и*. Тема *киев-*, с *и*, встречается в 8 примерах (16, 20, 21, 22, 23, 30, 35, 37) при 4 случаях (7, 35, 36 bis) написаний ее с *ы*, слово *хинова* и прилагательное *хиновьскыи* во всех (трех) случаях своего употребления (25, 32, 38) пишутся с *и* после *х*, при этом все случаи написаний этих слов оказываются совпадающими в показаниях как издания 1800 г., так и Екатерининской копии. Нельзя отсюда не сделать предположения, что и *киевъ* и *хинова* (как и производные от них прилагательные) уже в оригинале «Слова» читались с *и*, и эти их написания, поддержанные промежуточным списком, в нетронутом виде перешли в дошедший до нас список памятника. Причины этого, с одной стороны, в давней общепринятости изображения слова *киевъ* в этом написании, которому соответствовало определенное призношение, и трудности правописного изменения этого слишком говорящего имени, с другой стороны, напротив, в малораспространенности слова *хинова*, которое, содержась в оригинале памятника в написании с *и*, в дальнейшем писцами переносилось от списка к списку без изменений во избежание ошибочного его понимания

В тексте «Слова» в отдельных словах колеблются написания *ри* и *ры*. Ср. кр*и*лы тв. мн. (34), также кр*и*лцю, кр*и*льца (24, 32), шестокр*и*лци (23), и — кр*ы*лы тв. мн. (19), кр*и*чать (27) и — кр*ы*чать (9); с другой стороны, р*ы*скаше, прер*ы*скаше (36) и — дор*и*скаше (36), р*и*за (16), нар*и*щуще (21) (правильны и устойчивы написания —

прыщеши (13), прысну (39), рыкаютъ (29). Сторонники псковского происхождения рукописи «Слова» в этих данных усматривают псковское отвердение *р*. Однако в последней группе приведенных варирующих написаний можно бы говорить не об отвердении, а о палатализации *р*. Что касается колебания написаний в теме крил — крыл, то оно известно во многих рукописных памятниках. Наконец, с точки зрения диалектологической принадлежности фактов с *ри* → *ры*, приурочение одних этих фактов самих по себе невозможно, так как они известны во многих пунктах русской территории. Уверенное суждение поэтому о приведенном материале, ограничивающемся вообще всего тремя темами, затруднительно.

В одном примере в тексте памятника встречается возвратная глагольная частица в виде *са* («уже *врѣжеса* дивь на землю» 25), т. е. с отвердением *с*. Эта черта должна быть отнесена к языку последнего писца памятника. Неосновательно в этой особенности текста «Слова» сторонники псковского происхождения памятника усматривали псковизм. Дело в том, что в современном языке диалектное распространение соответственных глагольных форм с отвердением согласного в возвратной частице широко представляется новгородскими говорами и почти отсутствует на территории псковского наречия. Поэтому в диалектологическом разрезе приведенный пример следует рассматривать как отражение новгородского говора последнего писца памятника.

Исконно смягченные согласные альвеолярного ряда, исключая *ч*, можно думать, уже подверглись в языке дошедшего списка «Слова» процессу отвердения. Однако показания этого ряда в памятнике очень незначительны: сложная графическая наша система, унаследованная от прошлого, препятствовала сколько-нибудь широкому выражению этого явления. В памятнике наблюдаются, при постоянных написаниях *жи* (21 сл.) и *ши* (15 сл.), постоянные написания *жу* (4 сл.), *шу* (10 сл.), также почти выдержанные написания *жа* (10 сл.) и *ша* (43 сл.) — в одном лишь примере — *рассушясь* (10) — встречается *я* после *ш*; рядом со всем этим наблюдаем в 3 случаях *жь* (*всеволожь* (15), *дажьбожа* (19), *касожьскыми* (3), но единично и *жъ* — луце *жъ* (5) (на *шь* вообще нет примеров в тексте). После *ц* пишется всегда *а*, не *я* (14 сл.), с другой стороны, всегда *ю*, не *у* (6 сл.), вместе с тем при почти постоянном *ци* (26 сл.) в одном примере читается и *цы* (*иноходьцы* 16), равным образом при преобладающем *ць* (6 сл.) в трех примерах наблюдается *цъ* (*отецъ* (21), *птицъ* (27), *донецъ* (41). После согласного *ч* пишется всегда *и*, не *ы* (48 сл.), всегда *ь*, не *ъ* (8 сл.), почти постоянно *ю* (10 сл.) при всего двух примерах написания *у* (*чужи* (42), *игоревичу* (46), колеблющимся образом *а* (29 сл.) и *я* (11 сл.). По всем этим данным графики с уверенностью можно утверждать о наличии в языке данного списка памятника твердого *ц* (ср. написания после него *ъ* и *ы*), вероятно, и твердого *ж* (ср. написание луце *жъ*), а следовательно и глухого его варианта, т. е. *ш*. Обращает на себя внимание в памятнике один случай написания *ы* после *щ* (*полунощы* (9) при *полунощи* (19) и

10 иных примеров с написанием в словах *и* после *щ*; ср. еще *щь* в *нощь* (8, 23), но постоянные *ща* — 7 сл. и *щу* — 7 сл.). В этом написании можно усматривать диалектное, и именно новгородское, отвердение *щ*, как особенность последнего писца памятника. Диалектного же характера, и того же новгородского, видимо, два случая в памятнике с написанием *щ* вместо *ш* (аорист, 3 л. мн. *повръгоща* (32), имперф. 3 л. ед. *хотяще* 3). Эти последние случаи могли быть вынесены из предшествующего списка памятника, как указывалось выше, также новгородского по происхождению.

Тою же новгородскою диалектною чертой памятника является цоканье. В тексте «Слова» наблюдаются и примеры с *ч* вместо *ц* (им. мн. *вѣчи* 14), вин. мн. *лучи*, от *лук* (39), зват. дв. *сыновчя* (26), им. муж. ед. *галичкы* (30) и преобладающие случаи с *ц* вместо *ч* (*луце* нареч. (5) зват. *русици* (6, 13), разные падежные формы от существительного *птиць* ← птичь в собир. значении (9, 20, 27, 34, 37), зват. *словутицю* (39), им. мн. *сморци* (39). Трудно судить, обязаны ли все эти примеры с цоканьем последнему писцу памятника или в какой-то части они были перенесены из предшествующего списка.

Наконец, диалектною же особенностью может считаться исчезновение *в* в положении между согласными в прилагательном *чрь(в)леныи* (10 bis, 11 bis), предполагающее здесь произношение *в* в виде неслогового *ў*. В этой черте можно также усматривать новгородскую по происхождению особенность памятника (в дошедшем ли его списке или в списке-предшественнике), в старом же новгородском диалекте частично было известно явление с переходом *в* в *ў*. Малообоснованным было бы признание отмеченного факта за свидетельство псковского происхождения памятника: рассматриваемое явление было известно и псковскому говору, и в широком масштабе, мы вправе поэтому были бы ожидать, исходя из предположения о псковском происхождении списка «Слова», более широкой иллюстрации примерами этого явления, между тем в памятнике оно свидетельствуется одним словом *чрьленыи*, во всех же прочих подходящих случаях (в частности, в обильной в памятнике категории притяжательных прилагательных на *-вль* и производных от них, в образованиях типа *святъславль*, *святъславличь*, *ярославль*, *всеславль*, *вячеславличь*, *гореславличь* и др.) *в* устойчиво сохраняется, не подвергаясь опущению.

3

Морфологический раздел представлен в памятнике достаточным материалом, относящимся к формам склонения и спряжения. Однако морфологические особенности «Слова» в том виде, как они характеризовали его оригинал, в значительной мере в последовавшей переписке памятника оказались стертыми, будучи обновлены под пером позднейших его переписчиков.

Система двойственного числа, и в склонении и в спряжении, в памятнике представлена довольно богато и выступает в нем в относительной сохранности. Ср. «ту *ся брата* (т. е. Игорь и Всеволод)

разлучиста...» (18), «*вступита господина* (т. е. Рюрик и Давыд) въ злата стремень...» (29), «*претръгоста* бо (т. е. Игорь и Влур) *своя бръзая комоня*» (41), «*оба багряная стлъпа погасоста* и съ нимъ *молодая мѣсяца* олегъ и святъславъ тъмою *ся поволокоста*» (25), «се бо *два сокола слѣтѣста* съ отня злата стола» (24), «*о моя сыновця* игорю и всеволоде рано *еста начала* половецкую землю мечи цвѣлити» (26), «одинь братъ одинъ свѣтъ свѣтлыи ты игорю *оба есвѣ святъславличя*» (7), «тіи бо *два храбрая святъславлича* игорь и всеволодъ... » (21), «свивая славы *оба полы* сего времени» (6), «а владимиръ по вся утра *уши* закладаше въ черниговѣ» (15), «тяжко ти головы кромѣ *плечю*» (44), «уже *соколома* крильца припѣшали поганыхъ саблями» (21), «уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслію смыслити... ни *очима* съглядати» (20), «чему мычеши хиновьскыя стрѣлкы на *своею нетрудною крилцю* на моея лады вои» (38), «а *самаю* опустоша въ путины желѣзны» (24), «а *въ* соколца *опутаевѣ* красною дивицею» (43), «то почнутъ *наю* птици бити въ полѣ половецкомъ» (44), «ни *нама* будетъ сокольца на *нама* красны дѣвице» (44), «*ваю* храбрая сердца...» (26, 29, bis, 31), «соколича *рострѣляевѣ* своими злачеными стрѣлами» (43), «аще его *опутаевѣ* красною дѣвицею...» (44), «*два* солнца *помѣркоста*» (25), «... и въ морѣ (*ся*) *погрузиста*» (25). Немногие нарушения системы двойственного числа в значительной мере падают на сомнительные места или места с порчей в тексте. Ср. в обращении Святослава к Игорю и Всеволоду — «нъ нечестно *одолѣсте* нечестно бо кровь поганую *проліясте*... се ли *створисте* моеи сребренеи сѣдинѣ» (26) — употребление аористических форм во множественном числе (как бы с отнесением слов и к Игорю с Всеволодом и к их дружине) вместо ожидаемого двойственного числа. Во фразе (в том же обращении к Игорю и Всеволоду) — «ваю *храбрая сердца* въ жестоцемъ харалузѣ *скована* а въ буести *закалена*»—стоит тоже множественное число вместо двойственного, обязанное, можно думать, руке последнего переписчика памятника. То же представляется фразою — «*два солнца* помѣркоста» (25), видимо, с позднейшею заменой сочетанием *два солнца* сочетания оригинала *двѣ солньци* (дъвѣ *с*ълньци). Подобное употребление формы им. муж. множ. *тіи* вместо ожидаемой формы двойств. числа во фразе «*тіи* бо два храбрая святъславича игорь и всеволодъ...» (21). О несомненной порче текста (возможно из-за ошибочной передачи в издании 1800 г. соответственного чтения рукописи) свидетельствуют следующие случаи: «тіи бо два храбрая святъславлича игорь и всеволодъ уже лжу *убуди*» (21) — вместо *убудиста;* «оба багряная стлъпа погасоста и съ *нимъ* молодая мѣсяца олегъ и святъславъ тъмою ся поволокоста» (25) — вместо *с нима*; «и великое буиство *подасть* хинови» (25) — вместо *подаста*. Отступления текста «Слова» от оригинала, как видно, очень незначительны.

В склонении имен существительных обращают на себя внимание частые в памятнике и правильные в употреблении вокативные образования: *бояне* (7), *братие* 9 сл., *брате* (7), *внуче* (7), *всеволоде*(ъ)

(13 bis, 26, 28), *вѣтрѣ* (38), *господине* 5 сл., *давыде* (29), *днепре* (38), *донче* (41), *дружино* (5), *земле(ѣ)* (10, 12), *игорю* 4 сл., *княже* 7 сл., *мстиславе* (31), *осмомыслѣ* (30), *половчине* (11), *романе* (31), *рюриче* (29), *словутицю* (39), *соловію* (*славію*) (6), *туре* (13 bis), *ярославе* (30, 34). В очень немногих случаях в вокативной функции употребляется именительный падеж, при сочетании существительного с атрибутом: «одинъ *братъ* одинъ *свѣтъ светлыи* ты игорю» (7), «тебѣ *тьмутораканьскыи блъванъ*» (9), «ни тебѣ *чръныи воронъ* поганыи половчине» (11). Во фразе «*инъгваръ* и *всеволодъ* и вси три *мстиславичи* не худа гнѣзда шестокрилци непобѣдными жребіи собѣ власти расхытисте» (32) существительные *ингварь*, *всеволод*, *мстиславичи* понимались как нормальные подлежащие; поэтому они употреблены в форме именительного падежа.

Существительные с основами на **-о* в ряде падежей характеризуются новой флексией, из основ на **-и*. Таковы формы родительного падежа ед. числа — *дону* («да позримъ синего *дону*» (6), «искусити *дону* великаго» (6), «испити шеломомь *дону*» (6, 24), «у *дону* великаго» (12), «съ *дону* великаго» (12), «отъ великаго *дону* до малого донца» (40), «у *дону* плещучи» (19), ср.— «половци идуть отъ *дона* и отъ моря и отъ всѣхъ странъ» (13), *луку* («а поганаго кобяка изъ *луку* моря от желѣзныхъ великыхъ плъковъ половецкихъ яко вихръ выторже» 22), *плъку* («а игорева храбраго *плъку* не крѣсити» 20,32), «ты лелѣялъ еси на себѣ святославли носады до *плъку* кобякова» (39); дательного падежа ед. числа — *дунаеви* («полечю рече зегзицею по *дунаеви*» (38), ср. «затворивъ *дунаю* ворота» (30), *игореви* («пѣти было пѣсь *игореви*» (6), «*игореви* князю богъ путь кажетъ...» (39), ср. «князю *игорю* не быть» (40), «пѣти слава *игорю*» (45), *кончакови* («млъвитъ гзакъ *кончакови*» (43), «и рече гзакъ къ *кончакови*» (44), ср. «не мало ти величія а *кончаку* нелюбія» (41), «заступивъ *королеви* путь» (30), «...та преди пѣсь пояше... красному *романови* святъславличю» (4), «великому *хръсови* влъкомъ путь прерыскаше» (36); местного падежа ед. числа — *плъку* («слово о *плъку* игоревѣ» (1), «начати старыми словесы трудныхъ повѣстіи о *пълку* игоревѣ» (1), «на *слѣду* игоревѣ ѣздитъ гзакъ съ кончакомъ» (43); во множественном числе в именительном падеже — «*дятлове* тектомъ путь къ рѣцѣ кажутъ» (43), «тогда по рускои земли рѣтко *ратаевѣ* кикахуть» (17), в родительном падеже — «отъ желѣзных великихъ *плъковъ* половецкихъ» (22), «тогда пущашеть 10 *соколовь*» (3, 4) «тіи бо бес *щитовь* съ засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ» (27), ср. «изъ кыева дорискаше до *куръ* тмутороканя» (36), «сыпахуть ми тъщими тулы поганыхъ *тльковинъ* великыи женчюгь на лоно» (23). В приведенном материале — новообразования, принадлежавшие уже оригиналу памятника. Следует обратить внимание на то, что в дательном падеже ед. числа и в именительном падеже мн. числа воздействие основ на **-и* простиралось лишь на одушевленные имена существительные, согласно с общими нормами старого языка. В форме именительного мн. числа *ратаевѣ*, как указано выше, в конечном *ѣ* = *и* след позднейшего отражения флексии *и*, общей

флексии у существительных с основами на *-*о*, отражения, имевшего место в промежуточном списке «Слова». Ср. подобное образование в тексте памятника — им. мн. куряни (*«а мои ти куряни свѣдоми къмети»* 8). С отмеченным широким воздействием основ на *-*и* на существительные с основами на *-*о* можно сопоставить обратное явление — объединение в склонении имен с основами на *-*и* с именами существительными с основами на *-*о*. Так существительное *сынъ* по данным памятника, если оставить в стороне форму род. мн. *сыновъ* (36) (ср. выше формы *плъковъ* и др.), представляет падежные образования по основам на *-*о*: род. ед. *сына* (1), дат. ед. *сыну* (28), тв. мн. *сыны* (29). В отличие от процесса взаимодействия основ на *-*и* и на *-*о*, протекавшего в языке в более раннюю пору, воздействие основ на *-*і* на имена с основами на *-*о* и объединение обеих этих категорий склонения развивалось более медленно и оформилось в языке в более позднюю пору. В тексте памятника можно отметить один подобный пример новообразования — род. мн. *князеи* (*«о стонати рускои земли помянувше пръвую годину и пръвыхъ князеи»* 37). Эта форма должна быть относима поэтому не к оригиналу, а к ближайшему с него списку: ср. в приведенной фразе более позднюю синтаксическую конструкцию с употреблением родительного-винительного прямого объекта вместо нормального в показаниях памятника (во мн. числе) винительного падежа. К этому же списку должны быть возведены новообразования в форме им. мн. числа от существительных с основами на *-*і*: *звѣри* (84), *къмети* (8), *пути* (8).

Выдержанную особенность памятника, как черту его оригинала, составляют известные формы от существительных с задненебным согласным в исходе с изменением задненебных на смягченные согласные *з*, *ц*, *с*. Ср. у существительных муж. рода формы местн. падежа ед. числа — *брезѣ* (18, 25), *вѣцѣ* (35), *олзѣ* (16), *розѣ* (20), *тоцѣ* (36), *харалузѣ* (26), им. падежа мн. числа — *брезѣ* (36), *влъци* (8, 9), *внуци(е)* (12, 34), *вѣц(ч)и* (14, 17), *греци* (22), *луци* (8), *плъци* (14), *пороси* (12), *стязи* (7, 12, 18, 37), *ятвязи* (32), те же формы в функции вин. падежа — *березѣ* (42), *лучи* (от *лукъ*) (39), *стязи* (34), местн. падеж мн. числа — *брезѣхъ* (42); у существительных жен. рода (основы на *-*а*) то же в формах дат. падежа ед. числа — *влъзѣ* (9), *рѣцѣ* (43) и местн. падежа ед. числа — *немизѣ* (36 bis), *рѣцѣ* (12, 25, 38). Рядом с этим типом форм встречается единственное образование без смягчения задненебного — *полотскѣ* (36), несомненно также принадлежавшее оригиналу: новообразования подобного типа (с аналогическим восстановлением задненебного на месте смягченного согласного), особенно в именах существительных на *-ск-*, принадлежали уже старейшей системе русского литературного языка. Не составляет отклонения в группе рассматриваемых фактов форма им. мн. *плъкы* (13), представляющая собою явление с употреблением в функции именительного падежа формы винительного падежа, явление, известное в памятнике и по иному материалу (об этом см. ниже).

Имена существительные со смягченным согласным в исходе по системе старого русского языка в известных падежных формах оканчивались на -ѣ, в книжной разновидности литературного языка употреблялась при этом и церковнославянская флексия -*я* (-ѧ). Как указано выше, в памятнике очень редко наблюдается несомненно принадлежавшее оригиналу окончание — ѣ (или графический его вариант — *е*). Таковы в памятнике лишь два случая в образованиях от существительных жен. рода: род. ед. дѣвиц*е* (44) и вин. мн. усобіцѣ (3). В прочих случаях (не считая употребления книжной флексии — *я*), представляемых большим количеством примеров, в памятнике наличествуют формы на -*и*. Ср. от имен существительных жен. рода формы род. ед.— земл*и* (17, 20, 35, 39), софе*и* (36), им. мн. вежи (40), галиц*и* (7, 17, 43), дѣвиц*и* (44), за(о)р*и* (12, 40), лисиц*и* (9), млъні*и* (12), птиц*и* (44), сабл*и* (8, 17), сулиц*и* (33), вин. мн. сулиц*и* (32), от имен существительных муж. рода вин. мн.— во*и* (9, 13, 38, 39), князи (32), корабл*и* (38), мечи (32,34), комони (5, 7), ручьи (42). То же в образованиях от прилагательных и местоимений: жен. род — род. ед. быстро*и* (18), половецкы*и*(-*ои*) (17, 35, 39), рускы*и* (21), которы*и* (3), сице*и* (17), им. мн. городеньскі*и* (34), желѣзны*и* (32), ляцкі*и* (33), половецкі*и* (40), сині*и* (12), вин. мн. угорскы*и* (30); муж. род — вин. мн. бръзы*и* (7), вѣщ*ia* (4), святославл*и* (39), харалужны*и* (32), чужи (42), ср. еще те же формы в значении им. мн. сѣры*и* (8), храбры*и* (22), сво*и* (5, 7, 34 bis), ты*и* (32). Книжная флексия, как несомненный след воздействия новой болгаризованной орфографии дошедшей рукописи «Слова», вообще встречается относительно часто, притом, главным образом, в образованиях от прилагательных и местоимений. У имен существительных таковы лишь два случая — им. мн. тучя (12) и вин. мн. воя (5); соответственные формы от прилагательных и местоимений: жен. род — род. ед. красныя (14), милыя (14), половецкі*я* (22), святыя (36), моея (38), своя (вместо *своея*) (14), тоя (16), им. мн. готскі*я* (25), красныя (25), кровавыя (12, 38), поганыя (13), половецкыя (13), рускі*я* (20), чръныя (12), твоя (30), вин. мн. каленыя (17), каменныя (39), красныя (10), половецкыя (10), своя (32 bis); муж. род— вин. мн. вѣщ*ia* (4), бръзыя (5), драгыя (10), литовскі*я* (39), поганыя (10, 19, 35, 45), половецкыя (10, 12), хиновьскыя (38), храбрыя (5,12), чръленыя (10), вся (5), своя (4, 5 bis), сі*а* (6), ср. еще те же формы в значении им. мн. оварьскыя (13), рускыя (13). Уже это преобладание, а собственно подавляющее употребление форм с книжною флексией лишь в образованиях от прилагательных и местоимений свидетельствует о внешней, графической почве их употребления. Почти исключительные в памятнике формы на -*и* у имен существительных (не на -ѣ, несомненно имевшееся в оригинале) должны поэтому рассматриваться как черта не оригинала, а позднее отложившаяся в тексте памятника под пером ближайшего его переписчика. В этой черте почти полного замещения флексии ѣ оригинала помощью *и* мог сказаться новгородский диалект самого переписчика, в языке которого совпали ѣ и *и*, но в какой-то мере могло отразиться и из-

вестное морфологическое явление в истории русского языка, п дающее на период с половины XII —XIV в., с образованием в о дельных падежах отмеченной категории существительных (также прилагательных и местоимений) нового окончания *-и*, явившегос под влиянием склонения соответственных существительных п твердому различию. В этом предположении можно думать, чт промежуточный список «Слова» принадлежал времени от половин XIII—XIV в.

В той же категории имен существительных (со смягченными сс гласными в исходе) по нормам старого языка в дат. и местн. падежа ед. числа у слов жен. рода и в местн. падеже ед. числа у слов муж и ср. рода окончанием служило *-и*. Позднее, по свидетельству па мятников в тот же период XIII—XIV вв., и здесь флексия *-и* стал замещаться (из твердого различия существительных) новым окон чанием *-ѣ*. В оригинале «Слова», конечно, имелась лишь старшег типа флексия *- и*. В дошедшем списке памятника в употреблени соответственных форм не наблюдается устойчивости. В словах жен рода преобладает флексия *-и*: дат. ед. богородиц*и* (45), земл*и* 13 сл софі*и* (16), местн. ед. земл*и* (44), но — гридницѣ (22); ср. еще у при лагательных — местн. падеж святъславл*и* (22), но дат. синѣ (35) У существительных муж. рода неустойчивое употребление одних других форм: местн. падеж ед. дунаи (37, 47), князи (42), уноши (42), гориславличи (16), то же у прилагательного троян*и* (35), но — путивлѣ (7, 38, 39), тьмутороканѣ (15). В ср. роде только оконча ние *-ѣ*: полѣ (8, 11, 17, 29, 39, 44), морѣ (25, 38) (мор*е* 19), то же прилагательного синѣ (38). И эта неровность отражения флексии различных группах имен существительных, принадлежащая дошед шему списку памятника, подсказывает предположение, что она уж характеризовала предшествующий, промежуточный, список «Сло ва»: в нем известные случаи новых форм на *-ѣ* могли появиться ка свежие новообразования, но в известном слое их употребления (ср концентрацию их в словах ср. рода) представляется более правдо подобным усматривать не примеры новых образований, а стары формы, принадлежавшие оригиналу, формы на *-и*, которое графиче ски лишь передавалось переписчиком-новгородцем помощью *-ѣ*.

С XIII в., всё расширяясь, наблюдается в истории русског языка явление взаимовлияния между формами именительного винительного падежей мн. числа у существительных мужског рода (также у прилагательных и местоимений), выражающееся обычно в замещении старой формы именительного падежа падежо винительным, иногда — обратным употреблением именительного значении винительного падежа. Факты одного и другого рода значительном числе примеров наблюдаются в памятнике. Он должны быть относимы к списку-предшественнику дошедшей рукс писи «Слова». Таковы примеры употребления форм именительног падежа мн. числа не на *-и* (нормальный тип форм в памятнике, на

[1] В памятнике это существит. употребляется в форме *уношь*, ср. дат. ед. *уноши*

пример — вран*и* (17, 23, 43), вѣтр*и* (12), голос*и* (34, 45), град*и* (45), орл*и* (9), тул*и* (8), тур*и* (29), ср. выше аналогичные примеры форм от существительных на *г*, *к*, *х* в исходе; то же у прилагательных и местоимений — босув*и* (23), бѣсов*и* (13), весел*и* (45), готов*и* (7), жадн*и* (26), здрав*и* (45), кроват*и* (36), погани (19, 21), храбр*іи* (13, 18), въскръмлен*и* (8), вѣдом*и* (8), напряжен*и* (8), осѣдлан*и* (7), повит*и* (8), свѣдом*и* (8), сам*и* 7 сл., т*іи* (21, 27), друз*іи* (37), а на *-ы* — плък*ы* (13), шелом*ы* (13, 33), щит*ы* (33), то же у прилагательных — давидов*ы* (37), игорев*ы* (18), олгов*ы* (14), рюриков*ы* (37), злат*ыи* (33), сѣр*ыи* (8), храбр*ыи* (32), възлелѣян*ы* (хотя в Екат. списке:-н*и*) (8), поскепан*ы* (13), ранен*ы* (29), ср. еще унылы голоси (34)[1]. С другой стороны, формы именительного падежа на *-и* употребляются в функции винительного падежа: град*и* (32), салтан*и* (30), тул*и* (39), хлъм*и* (21), темнѣ березѣ (42), луч*и* (от *лукъ*) (39), стяз*и* (34), такова же форма причастия — вережен*и* (34). Это сравнительно значительное количество новообразований в тексте памятника заставляет предполагать, что промежуточный список «Слова», из которого они были перенесены, принадлежал относительно более позднему времени, концу XIII века или, еще правдоподобнее, XIV веку, поре широкого в языке развития данного типа новообразований.

От промежуточного списка памятника унаследованы также встречающиеся в тексте «Слова» примеры с употреблением у прилагательных и местоимений форм именительного падежа мн. числа мужского рода в функции женского рода. Ср. «он*и* же сам*и* (т. е. струны) княземъ славу рокотаху» (4), «страны рад*и*, гради весели» (45); подобные примеры встречаются и в категории страдательных причастий: «луци у нихъ напряжени ... сабли изъостр*ени*» (8), «яругы имъ знаем*и*» (8), «крычатъ тѣлѣгы полунощы рци лебеди роспущен*и*» (9). В одном примере у прилагательного вместо формы женского рода употреблен средний род: «боянъ же братіе ... своя вѣщіа пръсты на жив*ая* струны въскладаше» (4); обратный случай имеем в употреблении формы харалужн*ыя* («трещать копіа харалужн*ыя*» (17) в значении именительного падежа мн. числа среднего рода.

Из прочих явлений, относящихся к склонению существительных, следует отметить архаические образования форм дательного, творительного, местного падежей мн. числа (с отсутствием новых форм на *-амь*, *-ами*, *-ахъ*). Впрочем, здесь неясна форма тв. мн. *чепи* («молотятъ *чепи* харалужными» 36) вместо *чепьми*.

В числе изолированных фактов в тексте памятника следует отметить архаическую форму существительного *пустыни* им. ед. (19), род. ед. от *дьнь* — *дни* (12, 28). Из существительных с основами на *-ес-* по книжному типу склонения идут *небо* — «солнце свѣтится на *небесѣ*» (44) и *слово* — «начяти старыми *словесы* трудныхъ повѣстіи о пълку игоревѣ» (1), но ср. склонение существительного *тѣло* — род. ед. *тѣла* (34, 36), дат. ед. *тѣлу*, местн. ед. *тѣлѣ* (37,

[1] Ср. также приведенные выше примеры им. мн. числа от существительных с основами на **-і—звѣри* и др.

38). Из примеров имен существительных с основами на *-ъв-* обращает на себя внимание форма им. ед. *хорюговь* (11), по происхождению являющаяся формой винительного падежа. Нового типа образование, как существительное мужеского рода, представляет в памятнике имя существительное *стремень* — «въступи, ступаетъ въ златъ *стремень*» (7, 15); это образование диалектного происхождения и проникло в текст памятника под пером последнего его переписчика. Указанное существительное представляет еще один случай употребления в памятнике, но в порченом контексте — «вступита господина въ злата *стремень*...» (29). Имя существительное *шеломя* имеет вторичного происхождения суффиксальный элемент в виде *-ян-*, не *-ен-* (за *шеломянемъ* 10, 12); в таком виде существительное могло содержаться в промежуточном списке «Слова». Диалектным явлением, отраженным последним писцом памятника, является употребление у существительных среднего рода в винительном падеже мн. числа флексии *-ы*, в подравнение к соответственному окончанию существительных мужеского и женского рода. Таковы в памятнике формы — *забралы* (22), *озеры* (21); может быть, такова и форма *колоколы* (36). Встречающаяся в памятнике форма вин. мн. *облаки* (в Екат. копии: *облакы*, 30) может рассматриваться как нормальное образование от отправной формы существительного *облакъ*, муж. рода. Формы приведенного типа широко известны в современном диалектном употреблении [1]. Особенно характерны они для Новгородского края, известны они, хотя не в столь широком виде, и в Псковской области. Конечно, их наличие в тексте памятника должно расцениваться как свидетельство новгородского происхождения дошедшего списка «Слова». Этому же новгородскому диалекту последнего писца памятника или предшествующего его переписчика обязаны примеры употребления от существительных женского рода на **-а* форм родительного падежа ед. числа на *-Ѣ* — «ищучи себѣ чти а князю *славѣ*» (8), «уже бо выскочисте изъ *дѣдней славѣ* (35), а с другой стороны, дательного падежа ед. числа на *-ы* — «тяжко ти *головы* кромѣ плечю» (44).

В склонении имен прилагательных отдельные явления, связанные с именным склонением, отмечены выше. Здесь следует остановиться на особенностях склонения прилагательных членного типа. Слой книжных форм дает себя знать в памятнике довольно широко, доминируя или выступая в исключительном употреблении в одних падежах, чередуясь с параллельным типом русских образований или полностью уступая им место в других падежах.

В мужеском роде именительный падеж ед. числа почти постоянно, как отмечено выше, оканчивается на *-ыи,-ии* (великы*и* (15, 21, 23, 26, 28), вѣщ*ии* (2), грозны*и* (21), давны*и* (15), киевски*и* (21), погани*и* (11), свѣтлы*и* (7), слави*и* (10), смыслены*и* (37), тьмутараканьски*и* (9), чръны*и* (11), ср. еще галичкы (30), также местоимение другы*и*; этому материалу противостоят лишь два случая упо-

[1] С. Обнорский, Именное склонение, т. II, стр. 118 и сл.

требления формы вѣщ*еи* (7, 37). В родительном падеже почти исключительна болгарская флексия *-аго*, *-яго* (21 сл.); [1] окончание *-ого*, *-его* представлено лишь формами бу*его* (30 bis, 33) и погано*го* (30). В дательном падеже исключительно окончание *-ому*, *-ему* (12 сл.). В местном падеже преобладает книжная флексия — жестоцѣ(*е*)*мъ* (26, 38), златоврьсѣ*мъ* (23), златокованнѣ*мъ* (30), ср. в одном примере русское окончание — половецко*мъ* (44).

В женском роде в родительном падеже формы колеблющиеся: с одной стороны,— красн*ыя*, мил*ыя* («забывъ... своя мил*ыя* хоти красн*ыя* глѣбовны свычая и обычая» 14), половецк*ія* — «во днѣ каялы рѣкы половецк*ія*» (22), свят*ыя* — «тому въ полотскѣ позвониша заутренюю рано у свят*ыя* софеи въ колоколы» (36), также вариант приведенных форм на *-ыи* — половецк*ыи* («среди земли половецк*ыи*» (17), «которое бо бѣше насиліе отъ земли половецк*ыи*» 35), рускыи — «печаль жирна тече средь земли рускыи» (21), с другой стороны, формы на *-ои* — быстр*ои* («на брезѣ быстр*ои* каялы» (18), половецк*ои* — «игореви князю богъ путь кажетъ изъ земли половецк*ои* на землю русскую» (33). Те же колеблющиеся формы в дательном-местном падежах — с одной стороны, святѣ*и* — «ко святѣ*и* софіи къ кіеву» (16), «къ святѣ*и* богородици пирогощеи» (45), сребрен*еи* — «се ли створисте моеи сребренеи сѣдинѣ» (26), с другой стороны, русские формы на-*ои*, *-еи*: дѣдн*еи* — «уже бо выскочисте изъ дѣдн*еи* славѣ» (34), пирогощ*еи* — «къ святѣи богородици пирогощ*еи*» (45), руск*ои* 9 сл. (по руск*ои* земли (17, 18, 20 bis, 25), о стонати руск*ои* земли (37, 41, 44), въ руск*ои* земли (44). Об употреблении во мн. числе прилагательных в именительном и винительном падежах мужеского и женского рода сказано выше.

Можно еще ко всему этому материалу присоединить пример местного падежа двойственного числа с русским окончанием *-ою* — «чему мычеши хиновьскыя стрѣлкы на своею нетрудно*ю* крилцю на моея лады вои» (38). Пласт книжных форм, как видно из приведенного материала, относительно значительный, вместе с тем он неровно выступает по отдельным падежам. В отдельных случаях употребления болгарской флексии с несомненностью можно было бы утверждать о стилистическом ее использовании в самом оригинале «Слова». Таковы все примеры ее употребления в местном падеже ед. числа мужеского рода, в родительном и дательном падежах ед. числа женского рода. Однако этот материал не так обилен. Во всем остальном материале, по-видимому, можно предполагать чисто графическое воздействие в тексте памятника, связанное с отражением на нем нового болгаризованного правописания.

Категория местоимений и особенно числительных слабо представлена в памятнике. В отношении местоимений следует отметить абсолютно преобладающие формы дательного и местного ед. числа местоимения 2-го лица, также возвратного местоимения, с гласным *е*, не *о*, в корне: дат. тебѣ (9, 11), себѣ(е) (8, 10. 17, 26 35), местн.

[1] Такова же форма от адъективировавшегося местоимения друг*аго* (12, 34).

себѣ (39). В памятнике одним лишь примером представлена старшая русская форма, с *о* в корне,— дат. *собѣ* (33). В преобладании в «Слове» интересующих местоименных форм *тебѣ, себѣ* следует усматривать позднейшее наслоение в тексте памятника, связанное с общей болгаризацией нашего письма и языка. Архаическую особенность языка памятника, сохраненную от его оригинала, составляет преобладающее употребление в нем первичных форм от личных местоимений 1-го и 2-го лица над образованиями вторичного типа. Ср. дат. ед. *ми* (18 bis, 23 bis, 27), при единичной форме *мнѣ* — «възлелѣи господине мою ладу къ *мнѣ*» (39), дат. ед. *ти* (28, 32, 38, 41 bis), при *тебѣ* — «и *тебѣ* тьмутораканьскыи блъванъ» (9), «ни *тебѣ* чрьныи воронъ поганыи половчине» (11), вин. ед. *мя* (23 bis), дат. мн. *ны* (1), при *намъ* — «уже *намъ* своихъ милыхъ ладъ ни мыслію смыслити...» (20), ср. еще *вами* — «хощу бо рече копіе приломити конець поля половецкаго съ *вами* русици» (6). В памятнике, можно видеть, норму составляют еще первичные соответственные формы местоимений. Это старшая норма русского литературного языка, согласно которой местоименные формы вторичного образования употреблялись лишь в особых стилистических условиях (при сопоставлении или противопоставлении их иному объекту, при нарочитой их ударяемости во фразе, при сочетании их с предлогами и др.). Этим условиям удовлетворяют и приведенные из памятника примеры с употреблением местоименных форм вторичного типа образования.

Склонение числительных не вызывает замечаний. Здесь можно лишь отметить употребление в значении среднего рода не архаической формы числительного *двѣ*, а соответственной формы мужского рода *два* — «*два* солнца помѣркоста» (25). Это новообразование могло быть перенесенным в текст «Слова» из предшествующего списка памятника.

Глагол — после имени существительного наиболее распространенная категория в «Слове». Это обстоятельство связано с жанром памятника, дающего богатое изображение «действия». Общая система спрягаемых форм в памятнике мало подверглась изменениям в процессе его переписки. Это определяет значение соответственного материала, извлекаемого из памятника, для изучения системы русского литературного языка старшей поры.

В образовании настоящего времени следует отметить постоянные формы 2-го лица ед. числа на *-ши* (11 сл.). Сохранение этих архаических форм, можно думать, поддерживалось стремлением оберечь ритмическую сторону памятника. Таково же, как выше указано, употребление в памятнике постоянных инфинитивных образований на *-ти* (45 сл.). Такая выдержанность в употреблении форм для списка «Слова» XV—XVI вв. мало объяснялась бы одним предположением о механичности копировки текста под пером переписчиков: со всею необходимостью здесь приходится апеллировать к сознательной работе писцов, к нарочитому сохранению ими внутренней особенности оригинала, ритмики «Слова», в чтении несомненно живо ощущавшейся. В памятнике в одном случае читается инфи-

нитив в форме *быть* — «князю игорю не *быть*...» (40), но здесь должно предполагать порчу текста.

В 3-м лице ед. и мн. числа колеблются формы на *-тъ* (формы преобладающие: 61 сл.) и на *-ть* (19 сл.). Следует при этом иметь в виду, что по этой черте издание 1800 г. в отдельных примерах расходится с написаниями, представляемыми Екатерининской копией «Слова». Это обстоятельство заставляет предполагать, что в оригинале самой рукописи, как об этом уже замечено выше, начертания *ъ* и *ь* не совсем четко различались одно от другого. Впрочем, самый факт этот в данном случае не может иметь существенного значения: даже если откинуть соответственные двойственные написания отдельных глагольных форм, в памятнике оставалось бы то же отношение сильно преобладающих интересующих форм на *-тъ* к соответственно разреженным (на одну треть) формам на *-ть*. Если не усматривать в написаниях с *-ть* графической черты последнего списка памятника, в них можно было бы признавать отзвук форм, сохранившихся от первичного оригинала «Слова». Соответственные параллельные формы на *-тъ* в памятнике вторичны, они могли быть отражены писцом или промежуточного, или наличного, дошедшего его списка и должны считаться диалектными, а именно новгородскими по происхождению формами, но не псковскими, ср. в современном псковском наречии наличие форм на *-ть* или вообще без приставочного *-t*.

Прошедшее время представлено в памятнике всеми его разновидностями. Наиболее широко употребление в памятнике имперфекта (40 сл.) и особенно аориста (155 сл.), перфект сравнительно беднее в употреблении (25 сл.), плюсквамперфект представлен всего лишь одним примером — «игорь и всеволодъ уже лжу убуди (ста) которую то *бяше успилъ* отецъ ихъ святъславь грозныи великыи киевскыи» (21). Обилие употребления имперфекта и аориста в «Слове», памятнике художественного жанра, само по себе должно служить важным свидетельством принадлежности одного и другого прошедшего времени общим нормам русского литературного языка поры сложения памятника, т. е. конца XII в. Обращающая на себя внимание особая распространенность аориста в «Слове» находит себе объяснение в повествовательном характере памятника, ср. подобное преобладающее употребление аориста у Владимира Мономаха, притом среди его сочинений лишь в автобиографии, повествующей о многочисленных его «путях» и «ловах».

Формы имперфекта в показаниях памятника носят характер русских образований: они в суффиксальном элементе содержат *я*, не *ѣ* (хотяще вм. *хотяше* (3), бяшеть(ъ) (1, 91, 38). но единично — *бѣше* (35), все они в стяженном виде. От глаголов с основами на **-i*, рядом с образованиями старшего типа со смягчением конечного согласного корня и его трансформацией (*пущаше*, *пущашеть* (1, 4), *прихождаху* 19), встречаются новообразования с сохранением корневого согласного (*рядяше* (36), *судяше* 36). В 3-м лице ед. и мн. числа имеются примеры образований с надставочным *-ть*: «тогда *пущашеть* ·і·

соколовь на стадо лебедѣи» (3) (ср. «боянъ же братіе не ·і·соколовь на стадо лебедѣи *пущаше*, нъ...» 4), «грозою *бяшеть*... (?)» (21), «не лѣпо ли ны *бяшетъ* братіе начяти...» (1), «мало ли ти *бяшетъ* горъ подъ облакы вѣяти» (38) (ср. «которое бо *бѣше* насиліе отъ земли половецкыи» 35), «*помняшеть* бо речь първых временъ усобіцѣ» (3), «тогда при олзѣ гориславличи *сѣяшется* и *растяшеть* усобицами *погибашеть* жизнь даждьбожа внука» (16), «тогда по рускои земли рѣтко ратаевѣ *кикахуть* нъ часто врани *граяхуть*... а галици свою рѣчь *говоряхуть*» (17), «си ночь съ вечера *одѣвахъте* мя... (вм. *одѣвахуть*)... *чрънахуть* ми синее вино съ трудомь смѣшено *сыпахуть* ми тъщими тулы поганыхъ тльковинъ великыи женчюгь на лоно и *нѣгуют*ь (вм. *нѣговахуть*) мя» (23), «тогда врани не *граахуть*» (43), «...то *растѣкашется* мыслію по древу» (3). Трудно уяснить с определительностью, в каких условиях использовались формы имперфекта с надставочным элементом. В приведенном цитатном материале это предикаты в бессубъектных предложениях (1, 16, 38) или в предложениях с подлежащим в неопределенно-личной форме (23), также примеры с выдвинутым вперед сказуемым, стоящим соответственно перед подлежащим (3ter, 16), иногда фактически отсутствующим, но подразумеваемым. Впрочем, употребляются эти формы и во фразах с нормальным следованием сказуемого вслед за подлежащим (17, 43). Как видно, надставочным элементом в 3-м лице служит *-ть*, старый соответственно приставочный элемент в 3-м лице ед. и мн. числа настоящего времени. Все эти формы принадлежали уже оригиналу памятника; позднее для последующих писцов формы должны были представляться изживавшими архаизмами, и они в копировке воспроизводились чисто механически. Следует в этом отношении обратить внимание на то, что при нормальном приставочном элементе в виде *-ть* в двух случаях он оказывается в варианте с ъ на конце: такова дважды встречающаяся форма *бяшетъ* (1, 38) (при ней известны также *бяшеть* и *бяше*). Особенно показателен первый случай употребления формы *бяшетъ*. Он содержится в начальной фразе «Слова». Можно думать, что писец дошедшего списка самое начало, первое предложение скопировал с лежавшего перед ним списка правильно. Следует поэтому предполагать, что форма *бяшетъ* в начале памятника имелась в предшествующем его списке, с которого она механически и скопирована. В предшествующем списке она, в свою очередь, была отражена писцом-новгородцем, знавшим соответственные формы на *-тъ* в образованиях настоящего времени, этим *-тъ* и заменившим автоматически форму *бяшеть* оригинала, первый пример имперфекта надставочного типа в памятнике. Встречаясь в дальнейшем с примерами подобных имперфективных форм на *-ть* (*помняшеть* (3), *пущашеть* (3) и т. д.), писец уже сохранял их в своей копировке без изменений. Второй случай употребления *бяшетъ*, с ъ, можно считать графически или палеографически сомнительным.

Аористические формы со стороны своего образования, согласуясь с общим строем русского языка старшей поры, не вызывают заме-

чаний. Здесь можно лишь отметить вариирующие образования аориста от глагола *рѣчи*: ср., с одной стороны, обычный тип форм — 3-е лицо ед. числа *рече* (13 сл.), 2-е лицо мн. числа *рекосте* (27), 3-е лицо дв. числа *рекоста* (19), с другой стороны, образование с редуцированным гласным в корне — 3-е лицо мн. числа *ркоша* (24). С этим образованием можно сопоставить причастие настоящего времени действ. залога *аркучи* (20, 38 bis, 39).

Перфект по общим нормам старшей поры употребляется в памятнике в 3-м лице без связки («пѣти *было* пѣсь игореви...» (6), «чили въспѣти *было* вѣщеи бояне...» (7), «то *было* въ ты рати» (17), «*были* вѣчи трояни... *были* плъци олговы» (14), «невеселая година *въстала въстала* обида въ силахъ дажьбожа внука *вступилъ* (вм. *-ла*) дѣвою на землю трояню... *въсплескала* лебедиными крылы» (19), «олговичи храбрыи князи *доспѣли* на брань» (32), «далече *залетѣло* (олгово хороброе гнѣздо)» (11), «*минула* лѣта ярославля» (14), «мъгла поля *покрыла*» (10), «на рѣцѣ на каялѣ тьма свѣтъ *покрыла*» (25), «уже княже туга умь *полонила*» (24), «и древо с тугою къ земли *прѣклонило* (*преклонилось*)» (19, 43), «уже пустыни силу *прикрыла*» (19), «уже соколома крильца *припѣшали* поганыхъ саблями» (24), с порчею в тексте — «*спала* князю умь похоти» (6), «*притрепеталъ* своими сильными плъкы» (21), в иных случаях — со связкой при отсутствии личного местоимения в подлежащем (пример один: «о моя сыновчя игорю и всеволоде рано *еста начала* половецкую землю мечи цвѣлити» 26). При наличии личного местоимения в субъекте связка при перфекте также употреблена в памятнике. Таковы два примера: «о днепре словутицю *ты пробилъ еси* каменныя горы... *ты лелѣялъ еси* на себѣ святославли носады до плъку кобякова» (39). Однако, как видно из приведенных примеров, здесь вставка местоимения *ты*, эмоционально подчеркнутого во фразе, вызвана стилистическими условиями.

Будущее время представлено одним примером в памятнике — «...то *почнутъ* наю птици *бити* в полѣ половецкомъ» (44); оно образовано по нормам русского языка сложением с *почати*, не с *быти*.

Выше приведен единственный пример употребления в «Слове» плюсквамперфекта (*бяше успилъ* 81), образованного помощью имперфекта, а не перфективной формы вспомогательного глагола.

Сослагательное наклонение носит черты старого правильного образования — «а *бы* ты сіа плъкы *ущекоталъ*» (6), «аже *бы* ты *былъ* то *была бы* чага по ногатѣ» (28), «а *быхъ* не *слала* къ нему слезъ на море рано» (39).

В образовании повелительного наклонения выделяется в памятнике форма 1-го лица мн. числа *мужаимѣся* — «нъ рекосте *мужаимѣся* сами преднюю славу сами похитимъ а заднюю ся сами подѣлимъ» (37). Если здесь не описка с *ѣ* вместо *ъ* (рукописно близких начертаний), то форма должна считаться диалектным (новгородским) образованием. О формах 2-го лица мн. числа *понизить*, *вонзить* (34), как о примерах сомнительных в тексте памятника, сказано выше.

Широко употребление в памятнике причастных форм, особенно причастий действ. залога (42 сл.). Это обстоятельство связывается с художественным литературным жанром «Слова». Причастия страдательного залога прошедшего времени (страдательные причастия настоящего времени не встречаются в памятнике, подходящие образования выступают в адъективированном виде: «пути имь *вѣдоми*, яругы имъ *знаеми*» (8), «мои ти куряни *свѣдоми* къмети» (8), «въ полѣ *незнаемѣ*» 17), обычно употребляются в составе сказуемого («ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ *скована* въ буести *закалена*» (26), «луци у них *напряжени* тули *отворени*» (8), «чрьна земля подъ копыты костьми *была посѣяна* а кровію *польяна*» (18), «а сицеи рати не *слышано*» (17), «не *было* нъ обидѣ *порождено*» (11), «а самъ... *притрепанъ* литовскыми мечи» 34), ср. еще два примера употребления причастий в функции обособленных членов предложения — «и видѣ отъ него (солнца) тьмою вся своя воя *прикрыты*» (5), «чрѣпахуть ми синее вино съ трудомь *смѣшено*» (26). Причастия действительного залога не употребляются в склоняемой форме, они, будучи связаны с подлежащим, имеют полунаречное значение. В одной лишь фразе, внушающей к себе известное подозрение, содержится несколько причастных форм с функцией обособленных членов предложения— «игорь рече о донче не мало ти величія *лелѣявшу* князя на влънахъ *стлавшу* ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезѣхъ *одѣвавшу* его теплыми мъглами подъ сѣнію зелену древу *стрежаше* е (порча текста) гоголемъ на водѣ чаицами на струяхъ чрьнядьми на ветрѣхъ» (42). Относясь к подлежащему, причастия по форме стоят в именительном падеже, оканчиваясь в единственном числе на *-а* (*-я*) в мужеском роде («о далече заиде соколъ птиць *бья* къ морю» (20), «кая раны дорога братіе *забывъ* чти и живота...» (13), «галичкы осмомыслѣ ярославе высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ *подперъ* горы угорскыи своими желѣзными плъки *заступивъ* королеви путь *затворивъ* дунаю ворота *меча* времены чрезъ облаки суды *рядя* до дуная» (30), «и полетѣ соколомъ подъ мьглами *избивая* гуси и лебеди завтроку и обѣду и ужинѣ» (41), «а бы ты сіа плъкы ущекоталъ *скача* славію по мыслену древу *летая* умомъ подъ облакы *свивая* славы оба полы сего времени *рища* въ тропу трояню чресъ поля на горы» (6), «и... *наплънився* ратного духа (игорь) наведе своя храбрыя плъкы на землю половѣцькую...» (5), «тъи клюками *подпръся* окони» (35), «камо туръ поскочаше своимъ златымъ шеломомъ *посвѣчивая* тамо...» (13), «тогда влуръ влъкомъ потече *труся* собою студеную росу» (41), «высоко плаваеши на дѣло въ буести яко соколъ на вѣтрехъ *ширяяся хотя* птицю въ буиствѣ одолѣти» (31), с порчею в тексте — *рекъ* (34, 44), на *-и* в жен. роде («ярославна рано плачетъ въ путивлѣ на забралѣ *аркучи*» (38 bis, 39), «за нимъ кликну карна и жля поскочи ко рускои земли смагу *мычючи* въ пламянѣ розѣ» (20), «въсплескала (обида) лебедиными крылы на синѣмъ море у дону *плещучи*» (19), «не тако ли рѣка стугна худу струю имѣя *пожрѣши* чужи ручьи и стругы ростре на кусту» (42), «нощь *стонущи* ему грозою птичь убуди» (8), во множественном числе на *-е* или на *-и* в му-

жеском роде («нъ часто врани граяхуть трупіа себѣ *дѣляче*» (17), «а поганіи сами побѣдами *нарищуще* на рускую землю емляху дань по бѣлѣ отъ двора» (21), «страны ради гради весели *пѣвше* пѣснь старымъ княземъ» (45), «сами скачуть акы сѣрыи влъци въ полѣ *ищучи* себе чти а князю славѣ» (8), «русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша *ищучи* себѣ чти а князю славы» (10), «тіи бо бес щитовь съ засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ *звонячи* въ прадѣднюю славу» (27). Отмеченная норма, старая норма русского литературного языка, имеет немного нарушений. Таковы случаи употребления отправной формы причастия настоящего времени на *-я* (формы именительного падежа ед. числа мужеского рода) в расширенной функции — в отношении к единственному и к множественному числу — «здрави князи и дружина *побарая* за христьяны на поганыя плъки» (45), в отношении к мужескому роду и роду женскому — «не тако ли... рѣка стугна худу струю *имѣя* пожръши чужи ручьи...» (42), «*звоня* рускымъ златомъ поютъ (т. е. «готскія красныя дѣвы») время бусово...» (35). Не составляет отклонения от общей системы старого русского языка употребление причастных форм на *-е*, *-и* (по множественному числу) при сочетании их с безличным предложением: «о стонати рускои земли *помянувше* пръвую годину и пръвыхъ князеи» (37), «мало ли ти бяшетъ горъ подъ облакы вѣяти *лелѣючи* корабли на синѣ морѣ» (38).

Возвратные глаголы в памятнике обычно имеют частицу *ся* непосредственно вслед за глаголом (*бишася* (18 bis), *вражеса*, *въвражеся* (25, 41), *въсплакашась* (20), *вьются* (45), *дотчеся* (35), *мужаимѣся* (27), *наплънився* (25), *обѣсися* (35), *подпръся* (35), *преклонилось* (19), *простроша* (25), *разліяся* (20), *рассушясь* (10), *растѣкашется* (3), *скратишась* (17), *снесеся* (25), *сѣяшется* (16), *ширяяся* (31), *падеся* (22), *плачется* (42), *свѣтится* (44), в одном случае ее отделяет от глагола частица *же* — «*начати* же *ся* тъи пѣсни по былинамь сего времени» (1), и в немногих случаях отделенная от глагола частица *ся* занимает препозитивное в отношении глагола положение («ту *ся* брата *разлучиста* на брезѣ быстрои каялы» (18), «и съ нимъ молодая мѣсяца олегъ и святославъ тъмою *ся поволокоста*» (25), «на ниче *ся* годины *обратиша*» (27), «ту *ся* саблямъ *потручяти* о шеломы половецкыя» (12), «а чи диво *ся* братіе стару *помолодити*» (27), ср. еще пример — «вежи *ся* половецкіи *подвизашася*» 40). Возвратная частица, как видно, употребляется в одном виде — *ся*; о варианте *сь*, можно думать, по ошибке представленном в печатном тексте «Слова», сказано выше. В приведенном материале обращают на себя внимание примеры с глаголами в возвратной форме *плакатися* («*плачется* мати ростислава по уноши князи ростиславѣ» (42), ср. *плачетъ* (38 bis, 39), *свѣтитися* («солнце *свѣтится* на небесѣ» 44), *пастися* («и *падеся* кобякъ въ градѣ кіевѣ» 22), *помолодитися* («а чи диво *ся* брате стару *помолодити*» 27), известными в старом русском языке в том же значении и в невозвратной форме. Встречаются отдельные случаи употребления глаголов без *ся* вместо соответственных возвратных форм глаголов. Таковы следующие примеры: «и древо

с тугою къ земли *прѣклонило* (43) (ср. «а древо с тугою къ земли *преклонилось*» 19), «и въ морѣ *погрузиста* и великое буиство подасть хинови» (25), «*зби* дивъ кличетъ връху древа...» (9) [1]. Среди этих примеров последний, как известно, падает вообще на порченое место в памятнике, в остальных двух случаях вероятнее предполагать ошибочный недосмотр — недописку возвратной частицы, в рукописи стоявшей над строкой под титлом (собственно не частицы, а одного согласного *с* из ее состава). Ср. приведенные написания *прѣклонило*, а рядом *преклонилось*; последнее написание, как указано, предполагает написание в рукописи в виде — *преклонило*с; можно думать, что так было написано в «Слове» и в первом случае *прѣклонило*с, но в этом написании по той или другой причине (внешней, случайной) переписчиком не было воспроизведено это надстрочное *с*. Интересен следующий случай с формальным отсутствием *ся* при требующемся по смыслу возвратном глаголе: «тъи клюками подпръся *окони*» (35). В этом примере *ся* отсутствует при *окони*, так как в данной фразе впереди еще имеется глагол в возвратной форме, и *ся* этого последнего глагола распространяет свою силу и на дальнейший в предложении (возвратный по смыслу) глагол, делая ненужным повторение при нем частицы *ся*. Это явление опущения *ся* при возвратном глаголе, если в данной фразе уже был употреблен глагол с *ся*, свидетельствуется и иными памятниками старого русского языка. С точки зрения внешнего восприятия текста обратный случай представляется следующим примером, содержащим при глаголе двойное, и препозитивное и постпозитивное, возвратное *ся* — «вежи *ся* половецкіи *подвизашася*» (40). Конечно, в оригинале «Слова», как и в ближайшем его списке, читалось *ся подвизаша*; в этой форме писец дошедшего списка заменил *подвизаша* через *подвизашася*, не обратив внимания на то, что *ся* имелось в препозиции, так как в его языке и в общем русском языке того времени уже стабилизовались в употреблении формы возвратных глаголов с слившеюся постпозитивно с ними частицею *ся*.

4

В синтаксической области памятник, можно предполагать теоретически, должен содержать материал, подвергшийся наименьшим изменениям в процессе последовательной переписки «Слова». В этом отношении данные «Слова» должны иметь основополагающее значение для исследования вопроса о нормах русского литературного языка старшего периода.

В обозрении синтаксических явлений, связанных с категорией имен существительных, следует отметить, что собирательное *дружина* по данным «Слова» сохраняет исконное значение собирательности.

---

[1] Правилен, согласуясь с нормами старого языка, глагол *слышитъ* в значении возвратного глагола во фразе — «ярославнынъ гласъ *слышитъ*» (37).

Ср. согласование глагола-сказуемого с именем существительным *дружина*, как подлежащим, во множественном числе: «а мы уже дружина *жадни* веселія» (26), «не ваю ли храбрая дружина *рыкаютъ* акы тури...» (29). Но ср. существительное *птиць* (*птичь*), с которым глагол согласуется в единственном числе: «уже бо бѣды его *пасетъ птиць*» (9), «дружину твою княже *птиць* крылы *пріодѣ*» (34).

Прямой объект от одушевленных имен существительных в единственном числе выдержанно выражается в памятнике не винительным, а родительным падежом. Ср. соответственные примеры родительного-винительного — *бориса вячеславлича* (15), *мила брата всеволода* (7), *князя* (42), *князя игоря* (22), *поганого кобяка*, *кончака* (21, 30), *кощея* (30), *своего отца* (16), *соколича*, *соколца* (43), *пѣстворца* (44), то же с местоимением 3-го лица: *его* (41, 44) (ср. еще недописку *е* (42), вместо *его*). В этом цельно отраженном в памятнике явлении свидетельствуется позднейшая общая стадия развития русского языка, ср. в Русской правде употребление в соответственных случаях еще старого винительного падежа. Во множественном числе и в «Слове» от всех имен существительных объект выражается лишь формой винительного падежа: «избивая *гуси* и *лебеди*» (41), «орли клектомъ на кости *звѣри* зовутъ» (9), «а всядемь братіе на свои бръзыя *комони*» (5), «сѣдлаи брате свои бръзыи *комони*» (7), «*сваты* попоиша а сами полегоша за землю рускую» (18), «не буря *соколы* занесе чрезъ поля широкая» (7), «донъ ти княже кличетъ и зоветь *князи* на побѣду» (32), «чему мычеши хиновьскыя *стрѣлкы* на моея лады *вои*» (38, 39), «побарая за *христьяны*» (45), то же в жен. роде — «помчаша красныя *дѣвкы* половецкыя» (10); ср. еще соответственный пример с существительным в форме двойственного числа: «претръгоста бо своя бръзая *комоня*» (41). В одном лишь случае во множественном числе встречаем выражение прямого объекта формой родительного падежа существительного: «о стонати рускои земли помянувше пръвую годину и пръвыхъ *князеи*» (37). В данном случае, как на это обращено внимание выше (ср. здесь морфологическое новообразование — форму род. мн. *князеи*, не старейшую форму *князь*), несомненное подновление текста оригинала под пером позднейшего переписчика памятника, притом, возможно, ближайшего его переписчика. В тексте еще встречается родительный-винительный двойственного числа от местоимения *самъ* — «а *самаю* опустоша въ путины желѣзны» (24), но подобное употребление от местоимений возможно и для русского литературного языка старшей поры [1].

В употреблении падежей следует подчеркнуть обильные случаи дательного падежа существительного в функции принадлежности, чаще при этом характеризующегося препозитивным положением в отношении к зависящему имени: «погасоша *вечеру* зари» (40), «ярославна рано плачеть *путивлю городу* на заборолѣ» (38), «чему господине простре горячюю свою лучю на *ладѣ* вои» (39), «въ полѣ безводнѣ жаждею *имь* лучи съпряже тугою *имъ* тули затче» (39),

[1] Соболевский, Лекции, стр. 199.

уныша бо *градомъ* забралы и веселіе пониче» 22), «затворивъ *дунаю* ворота» (30), «оттворяеши *кіеву* врата» (30), «нъ уже... утрпѣ *солнцю* свѣтъ» (32), «загородите *полю* ворота своими острыми стрѣлами» (33), «*немизѣ* кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни» (36); примеры постпозитивного употребления дательного принадлежности: «усобица *княземъ* на поганыя погыбе» (19), «подъ сѣнію *зелену древу*» (42), «въ княжихъ крамолахъ вѣци *человѣкомь* скратишась» (17), «се бо готскія красныя дѣвы въспѣша на брезѣ *синему морю*» (25), «оттвори врата *новуграду*» (35), «разшибе славу *ярославу*» (35).

Нередки в памятнике примеры употребления родительного партитивного: «начати старыми словесы *трудныхъ повѣстіи* о пълку игоревѣ» (1), «и поостри *сердца своего* мужествомъ» (5), «да позримъ *синего дону*» (6), «искусити *дону великаго*» (6), «а любо испити шеломомь *дону*» (6, 24), «забывъ *чти* и *живота* и града чрънигова *отня злата стола* и своя милыя хоти красныя глѣбовны *свычая* и *обычая*» (14), «рано еста начала... себѣ *славы* искати» (26).

В числе беспредложных конструкций следует отметить употребление: а) родительного падежа — «*которыи* дотечаше (т. е. сокол до лебеди) та преди пѣсь пояше» (3), «изъ киева дорискаше до куръ *тмутороканя*» (36), «нъ часто *бѣды* страдаше» (37), б) дательного падежа — «избивая гуси и лебеди *завтроку* и *обѣду* и *ужинѣ*» (41), ср. пример с порчею в тексте —«не было нъ *обидѣ* порождено ни соколу ни кречету...» (11), в) винительного падежа — «хощу бо рече копіе приломити *конець* поля половецкаго съ вами русици» (6), «а мои ти куряни... *конець* копія въскръмлени» (8). При *речи* обычно употребление с предлогом *къ*: «и рече игорь *къ* дружинѣ своеи» (5), «рече кончакъ *ко* гзѣ» (43), «и рече гзакъ *къ* кончакови» (44), но ср. «*млъвитъ* гзакъ *кончакови*» (43); впрочем, здесь может быть чтение (более правильное), предполагающее сочетание с предлогом *къ*: «млъвитъ гза *къ* кончакови» (ср. выше в приведенном примере: *ко* гзѣ).

Следует отметить постоянное употребление предлогов *къ*, *въ* в сочетании с географическими именами в направительном значении — *въ* кыевѣ (7, 36), *въ* новѣградѣ (7), *въ* путивлѣ (7) и т. д., *къ* кіеву (16), *къ* граду кыеву (35).

Страдательные причастия прошедшего времени представлены сочетаниями двоякого типа: а) с творительным падежом — «а самъ... притрепанъ *литовскыми мечи*» (34), б) с родительным падежом и предлогом *отъ* — «и видѣ *отъ него* тьмою вся своя воя прикрыты» (5), «поскепаны саблями калеными шеломы оварьскыя *от тебе* яръ туре всеволоде» (13).

В категории имен прилагательных существенное значение представляет вопрос об употреблении их в членной и нечленной форме. В показаниях памятника в этом отношении четко выделяется группа притяжательных прилагательных, постоянно употребляющихся в одной нечленной форме. Таковы прилагательные *игоревъ* 9 сл., *кощіевъ* (22), *кобяковъ* (39), *ольговъ* 4 сл., *давидовъ*, *рюриковъ* (37),

глѣбовъ (28, 29), *велесовъ* (7), *васильковъ* (33), *бѣсовъ* (13), *бусовъ* (23, 26), *боянь* (2), *галичь* (10), *когань* (44), *пардужь* (25), *всеволожь* (15), *даж(д)ьбожь* (17, 19), *всеславль* (34, 35), *святъславль* 5 сл., *стрибожь* (12), *троянь* 4 сл., *шарокань* (25), *ярославль* (14, 44), *божіи* (37), *славіи* (10), *отень* 5 сл., *звѣринъ* (9). В членной форме встречаются лишь прилагательные *дѣднии*, *прадѣднии* («уже бо выскочисте изъ *дѣднеи* славѣ» (34), «звонячи въ *прадѣднюю* славу» 27), видимо, с значением относительных прилагательных. Кроме того, в одном примере — «въ *княжичъ* крамолахъ вѣци человѣкомь скратишась» (17) — форма местного мн. числа *княжихъ* предполагает образование от прилагательного *княжии*, членного типа. Доминирующее положение притяжательных прилагательных — постпозитивное в отношении определяемых (38 сл.). Препозитивное употребление прилагательных значительно более разреженное: таковых всего 16 случаев, притом в 7 случаях из них оказывается при существительном сочетание двух прилагательных, одного, первого, притяжательного и следующего относительного («а *игорева* храбраго плъку не крѣсити» (20, 32), «дремлетъ въ полѣ *ольгово* хороброе гнѣздо» (11), «*отня* злата стола» 4 сл.), в каковом положении постпозиция притяжательного прилагательного являлась бы необычной. Преобладающее постпозитивное употребление притяжательных прилагательных, согласуясь с соответственным употреблением иных прилагательных (о чем см. ниже), составляет выраженную стилистическую особенность «Слова», как памятника художественного творчества. Нарочитый стилистический характер постпозитивного употребления притяжательных прилагательных в отношении своих определяемых оправдывается не одним фактом преобладания постпозиции в положении прилагательного над препозицией, он непосредственно воспринимается из наблюдения материала с препозитивным употреблением прилагательных, как и из сопоставления прилагательных, встречающихся и препозитивно и постпозитивно. Прилагательные в препозиции к определяемому существительному служат лишь носителями реального признака, принадлежащего данному прилагательному, никак особенно в соотнесении к существительному не выдвигаемого, не подчеркиваемого: «чили въспѣти было вѣщеи бояне *велесовь* внуче» (7), «погибашеть жизнь *даждьбожа* внука» (17, 19), «се вѣтри *стрибожи* внуци вѣютъ съ моря стрѣлами» (12), «по рускои земли простршася половци аки *пардуже* гнѣздо» (25), «въ *княжихъ* крамолахъ вѣци человѣкомь скратишась» (17), «*ярославнынъ* гласъ слышитъ» (37). Напротив, с постпозитивным положением прилагательного в отношении существительного сочетается известный оттенок эмоционально подчеркиваемой связи адъективного признака с именем: не «слово о *игоревѣ* плъку», а «слово о плъку *игоревѣ*», не «за *игоревы* раны», а «за раны *игоревы*», не «были *трояни* вѣчи минула *ярославля* лѣта», а «были вѣчи *трояни* минула лѣта *ярославля*» и т. п. Ср. поэтому постоянную постпозицию в примерах вроде «слово о плъку игоревѣ игоря сына *святъславля*» (загл.), «и падеся кобякъ въ градѣ кіевѣ въ гридницѣ *святъславли*» (22), «ту

нѣмци и венедици поютъ славу *святъславлю*» (22), но—препозицию в примере «ты лелѣялъ еси на себѣ *святославли* носады до плъку кобякова»(39), с прилагательным в объективно даваемом одном своем реальном лишь значении.

Столь же четко выделяется категория прилагательных (и страдательных причастий), употребляемых только в краткой форме, когда они служат составной частью сказуемого: «а мои ти («комони») *готови осѣдлани* у курьска напереди» (7), «а мои ти куряни свѣдоми къмети подъ трубами *повити* подъ шеломы *възлелѣяны* конець копія *въскръмлени*» (8), «пути имь *вѣдоми* яругы имъ *знаеми* луци у нихъ *напряжени тули отворени* сабли *изъострени*» (8), «а сицеи рати не *слышано*» (17), «чрьна земля подъ копыты костьми была *посѣяна* а кровію *польяна*» (17), «*темно* бо бѣ въ ·ї· день» (25), «а мы уже дружина *жадни* веселія» (26), «ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ *скована* а въ буести *закалена*» (26), «а самъ... *притрепанъ* литовскыми мечи» (34), «немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть *посѣяни посѣяни* костьми рускихъ сыновъ» (36), «аще и *вѣща* душа въ друзѣ тѣлѣ нъ...» (36), «свѣтлое и тресвѣтлое слънце всѣмъ *тепло* и *красно* еси» (39), «*зло* ти тѣлу кромѣ головы» (44), «страны *ради* гради *весели*» (46), «*здрави* князи и дружина» (46). Страдательные причастия, впрочем, и во всех иных случаях своего употребления представлены в памятнике одними краткими формами: «и видѣ отъ него (солнца) вся своя воя *прикрыты*» (5), «луце жъ бы *потяту* быти неже *полонену* быти» (6), «крычатъ тѣлѣгы полунощы рци лебеди *роспущени*» (9), «акы тури *ранены* саблями калеными» (29), «вонзить свои мечи *вережени*» (34), «чрѣпахуть ми синее вино съ трудомь *смѣшено*» (23), «тогда великыи святславъ изрони злато слово слезами *смѣшено*» (26).

Вне отмеченных групп прилагательные в известной части, определяясь семантически, употребляются либо в одной членной, либо в одной нечленной форме, либо и в той и в другой форме. Трудно с определительностью установить категории прилагательных, употреблявшихся в русском литературном языке времени составления «Слова» в одной членной или в одной нечленной форме. Материал памятника нередко в применении к отдельным прилагательным содержит очень ограниченную иллюстрацию (одним, двумя) примерами. С другой стороны, возможно думать, что в дошедшем, позднем, списке памятника в отдельных случаях отразилась позднейшая стадия русского языка, с расширением общего употребления членного типа прилагательных над нечленным, вызвавшая в том или другом случае замещение под пером переписчика нечленной формы оригинала типом членного образования. По имеющемуся в памятнике материалу все же можно думать, что устойчивым тип нечленных форм был у прилагательных с значением «сделанный из чего-либо, из какого-либо материала», при этом у прилагательных обычно сменялся нечленный тип форм типом членных образований, как только они выступали с оттенком переносности в значении. Ср. «омочю *бебрянъ* рукавъ въ каялѣ рѣцѣ» (38), «единъ же изрони

жемчужну душу изъ храбра тѣла чресъ злато ожереліе» (34), «смагу мычючи въ *пламянѣ* розѣ» (20), «на кроваты *тисовѣ*» (23); прилагательное *златъ* в 12 сл. дает примеры употребления в нечленных формах — «*златъ* стремень» (8, 15, 29), «изъ сѣдла *злата*» (22), «чресъ *злато* ожереліе» (34), «отня *злата* стола» и т. п. (14, 24, 28, 30, 35, 40), даже — «тогда великіи святъславъ изрони *злато* слово слезами смѣшено и рече» (26), но дважды встречается в образованиях членного типа: «камо туръ поскочяше своимъ *златымъ* шеломомь посвѣчивая, тамо...» (13), «кое ваши *златыи* шеломы и сулици ляцкіи и щиты» (33), как возможное позднейшее наслоение в тексте памятника; прилагательное *желѣзнъ* в прямом своем значении употребляется в нечленном виде: «а самаю опустоша въ путины *желѣзны*» (24), но и в членном виде: «суть бо у ваю *желѣзныи* папорзи подъ шеломы латинскими» (32), в фигуральном же употреблении оно представлено формами членного типа: «отъ *желѣзныхъ* великихъ плъковъ половецкихъ» (21), «подперъ горы угорскыи своими *желѣзными* плъки» (30); прилагательное *кровавъ* в реальном значении употреблено в формах нечленного типа: «а сам подъ чрълеными щиты на *кровавѣ* травѣ притрепанъ литовскими мечи» (34), «немизѣ *кровави* брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни...» (36), но в образном употреблении оно представлено членными образованиями: «другаго дни велми рано *кровавыя* зори свѣтъ повѣдаютъ» (12), «ту *кровавaго* вина не доста» (18), ср. также — «утру князю *кровавыя* его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ» (38); прилагательное *сребренъ* представлено, с одной стороны, примером нечленного типа образования в прямом значении — «*сребрено* стружіе храброму святъславличю» (11), с другой стороны, в фигуральном употреблении рядом примеров в формах членного типа — «се ли створисте моеи *сребренеи* сѣдинѣ» (26), «уже бо сула не течетъ *сребреными* струями къ граду переяславлю» (33), «стлавшу ему зелѣну траву на своихъ *сребреныхъ* брезѣхъ» (42). Как нарушение приведенной нормы можно отметить лишь прилагательное *каменныи* (ср. пример с употреблением его в членном типе — «ты пробилъ еси *каменныя* горы сквозѣ землю половецкую» 39); возможно здесь усматривать позднейшее подновление текста оригинала, ср. новизну и морфологической структуры прилагательного: *каменныи* вм. *камянъ* оригинала.

Следует еще отметить прилагательное *харалужныи*, дающее лишь примеры употребления в членном типе — *харалужными* мечи, чепи (13, 17, 21, 32, 35); можно думать, что это прилагательное имело несколько переносный оттенок (с значением «крепкий»), что объясняло бы устойчивость употребления от него в памятнике одних членных форм. Кроме отмеченной категории прилагательных с значением «сделанный из какого-либо материала», характеризовавшейся употреблением лишь в типе нечленных форм, таковым же, по-видимому, было прилагательное *гораздъ* — «ни хытру ни *горазду* ни птицю *горазду* суда божіа не минути» (37), может быть, и *многъ* (в памятнике один лишь пример — «тѣми тресну земля и *многи* страны хинова литва...» 32). Впрочем, рядом с *многъ*, при-

лагательным местоименного происхождения, того же происхождения прилагательное *великыи* известно в памятнике лишь в членном типе (17 сл.).

К категории прилагательных, постоянных в употреблении в типе членных образований, по данным памятника относятся изолированные прилагательные, как *давныи* — «то же звонъ слыша *давныи* великыи ярославь сынъ...» (15), *нынѣшнии* — «отъ стараго владимера до *нынѣшняго* игоря» (5), *преднии* и *заднии* — «*преднюю* славу сами похитимъ а *заднюю* ся сами подѣлимъ» (27), *поганыи* (8 сл.), кроме того широкая группа относительных (первично — притяжательных) прилагательных с суффиксом *-ск-* (*рускыи*, *половецкыи*, *кіевскыи* и т. д.). Выше отмечены относительные прилагательные (притяжательные по происхождению) *дѣднии*, *прадѣднии*, употребляющиеся поэтому как прилагательные членного типа. Можно еще отметить при чистом притяжательном прилагательном *звѣринъ* — «свистъ *звѣринъ* въста» (9), в членной форме прилагательное *лебединыи* «въсплескала *лебедиными* крылы на синѣмъ море у дону плещучи» (19), употребляющееся в переносном значении («белый»).

За вычетом отмеченных групп прилагательных все остающиеся прилагательные, наблюдаемые в памятнике, должны представляться как такие, от которых в языке были возможны образования и по нечленному и по членному типу. Отличие одних и других форм в оригинале было семантическим, отвечая общим соотношениям определенности и неопределенности в восприятии означаемого прилагательным основного признака. Ср. отдельные примеры употребления в памятнике прилагательных в нечленной или членной форме с более или менее четким различением соответственных признаков, как представлявшихся неопределенными или известными, определенными: н е ч л е н н ы е формы — «въ полѣ *безводнѣ* жаждею имь лучи съпряже» (39), «убуди *жирня* времена» (19), «печаль *жирна* тече средь земли рускыи» (20), «а святъславь *мутенъ* сонъ видѣ» (23), «а половци *неготовами* дорогами побѣгоша къ дону великому» (9), «велитъ послушати земли *незнаемѣ*, трещатъ копіа харалужная въ полѣ *незнаемѣ*» (9, 17, 29) и др.; ч л е н н ы е формы — «... то бяше успилъ отецъ ихъ святъславь *грозныи* великыи кіевскыи» (21). «и двина болотомъ течетъ *онымъ грознымъ* полочаномъ» (33), «отъ великаго дону до *малого* донца» (40), «загородите полю ворота *своими острыми* стрѣлами» (33), «ко *святѣи* софіи къ кіеву» (16, 36, 45), «*своими сильными* плъкы» (21), «та преди пѣсь пояше *старому* ярослову» (3, 37) и др. Можно было бы, кроме того, это различие иллюстрировать примерами одних и других форм от одних и тех же прилагательных, например — «въвръжеся (игорь) на *брьзъ* комонь» (41), т. е. на какого-то коня, которого удалось сыскать для Игоря во время его бегства, но — «а всядемъ братіе на *свои брьзыя* комони» (5, 7, 41); «аще его опутаевѣ *красною* дѣвицею (т. е. пока неизвестною, в будущем — невестою) ни нама будетъ сокольца ни нама *красны* дѣвице» (44), но — «та преди пѣсь пояше... *красному* ро-

манови святъславличю» (4), «и своя милыя хоти *красныя* глѣбовны свычая и обычая» (14); «обѣсися *синѣ* мьглѣ» (35), «лелѣючи корабли на *синѣ* морѣ» (38), но — «да позримъ *синего* дону» (6), «на *синѣмъ* морѣ у дону плещучи»(19),«себо готскія красныя дѣвы въспѣша на брезѣ *синему* морю» (25) и др. Однако, нужно думать, что в дошедшем списке «Слова» общая картина с употреблением членных и нечленных форм рассматриваемых прилагательных содержит новшества сравнительно с оригиналом в сторону именно расширения употребления типа членных форм, в согласии с общим ростом их в языке, за счет нечленных образований оригинала. Об этом свидетельствуют частные случаи наличия в памятнике членных форм там, где следовало бы ожидать употребления нечленных соответственных образований. Об этом же говорит и общее значительное преобладание в памятнике типа членных образований (106 сл.) над образованиями нечленного типа (41 сл.).

Подобно притяжательным прилагательным и в рассматриваемых группах прилагательных при нормальном их препозитивном положении в отношении существительных нередки случаи постпозиции, особенно у прилагательных членного типа, т. е. у прилагательных с значением ярко представляемым, хорошо известным. Так, в группе прилагательных, представленных формами нечленного типа, из общего количества (с округлением) 70 случаев их употребления на постпозитивное положение падает 10 примеров; в соответственном членном типе, дающем 275 случаев употребления, примеров с постпозитивным положением прилагательного 60. Стилистический характер употребления прилагательных в постпозиции, подчеркнутый выше для категории притяжательных прилагательных, еще более заметен в рассматриваемых группах прилагательных, отчасти по причине большей их распространенности в памятнике. Прилагательные, с эмоциональной насыщенностью в окружении данного контекста, получали свое внешнее выражение у автора «Слова» в использовании в соответственных случаях постпозитивного для них положения при существительном. Ср. примеры вроде— «печаль *жирна* тече средь земли рускыи» (20), «въ полѣ *безводнѣ* жаждею имь лучи съпряже» (39), «си ночь съ вечера одѣвахъте мя рече чрьною паполомою на кроваты *тисовѣ*» (23), «уже дьскы безъ кнѣса въ моемъ теремѣ *златовръсѣмъ*» (23), «не буря соколы занесе чрезъ поля *широкая*» (7) и т. п. Прилагательное *каленыи* (в отношении к стрелам, саблям) для автора «Слова» всегда эмоционально насыщенно, поэтому во всех случаях употребления в памятнике оно дано в постпозиции к существительным — «съ вечера до свѣта летятъ стрѣлы *каленыя*» (17), «поскепаны саблями *каленьми* шеломы оварьскыя отъ тебе яръ туре всеволоде» (13), «не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ аки тури ранены саблями *каленьми*» (29). Таково же слово *харалужныи*, в 4 примерах из 5, наличных в памятнике, представляемое с постпозицией — «гремлеши о шеломы мечи *харалужными*» (13), «трещатъ копіа *харалужныя* въ полѣ незнаемѣ среди земли половецкыи» (17), «а главы своя поклониша

подъ тыи мечи *харалужныи*» (32), «молотятъ чепи *харалужными*» (35), ср. «... бяшеть притрепеталъ своими сильными плъкы и *харалужными* мечи» (21). Понятно, что для автора «Слова», так любящего русскую землю и ратующего за нее, самое слово *рускыи*, как, с другой стороны, и прилагательное *половецкыи* были понятиями особенно говорящими. Ср. в тексте памятника из 18 случаев употребления слова *половецкыи* в 17 примерах постпозитивное его положение в отношении существительного; единственный пример с препозицией — «рано еста начала *половецкую* землю мечи цвѣлити» (26) — содержит сочетание «половецкая земля» в реальном своем, чисто географическом значении территории половцев. Таково же прилагательное *рускыи*, дающее примеры и препозитивного (16 сл.) и постпозитивного (9 сл.) употребления: первого — в одном прямом своем реальном значении, ср. примеры: «*рускыя* плъкы отступиша» (13), «*рускаго* злата насыпаша ту» (22), «звеня *рускымъ* златомъ поютъ время бусово» (25), «немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни посѣяни костьми *рускихъ* сыновъ» (36), «о *руская* земле уже за шеломянемъ еси» (10, 12), «тогда по *рускои* земли рѣтко ратаевѣ кикахуть» (17), «тугою взыдоша по *рускои* земли» (18) и другие случаи с сочетанием «*руская* земля» в прямом значении Руси (20 bis, 21, 25, 37, 41, 44 bis), второго — в основном значении, но с эмоциональной подчеркнутостью, ср. примеры — «жены *рускія* въсплакашась аркучи» (20), «наведе своя храбрыя плъкы на землю половѣцькую за землю *руськую*» (5), «сваты попоиша а сами полегоша за землю *рускую*» (18), «а поганіи съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами на землю *рускую*» (19), «печаль жирна тече средь земли *рускыи*» (21), «вступита господина въ злата стремень за обиду сего времени за землю *рускую* за раны игоревы» (30 bis, 33), «вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю *рускую*» (35). Не может не обратить на себя внимания также прилагательное *великыи*. Оно встречается и в препозиции и в постпозиции. По общей норме оно препозитивно (9 сл.), например — «русичи *великая* поля чрьленими щиты прегородиша» (10), «а поганого кобяка изъ луку моря отъ желѣзныхъ *великихъ* плъковъ половецкихъ яко вихръ выторже» (21), «сыпахуть ми... *великыи* женчюгь на лоно» (23), «и *великое* буйство подасть хинови» (25), «*великому* хръсови влъкомъ путь прерыскаше» (36) и др. Редко встречается оно и в постпозитивном положении — «быти грому *великому*...» (12), «...бяше успилъ отецъ ихъ святъславь грозныи *великыи* кіевскыи» (21), однако постпозитивно оно во всех случаях употребления в сочетании с именем существительным *Донъ* (6 примеров), ср.— «и жалость ему знаменіе заступи искусити дону *великаго*» (6), «галици стады бежать къ дону *великому*» (7), «а половци неготовами дорогами побѣгоша къ дону *великому*» (9), «кончакъ ему слѣдъ править къ дону *великому*» (11), «итти дождю стрѣлами съ дону *великаго*» (12), «на рѣцѣ на каялѣ у дону *великаго*» (12). Прилагательное *великыи* в сочетании *великыи донъ* для автора «Слова» не то прилагательное *великыи*, которое содержится в ряде приведенных выше примеров

с препозитивным его употреблением, это — слово поэтическое, эпитет, сильно эмоциональное слово, оно поэтому во всех случаях употребления постпозитивно. Напротив, как только оно в том же сочетании с существительным *донъ* выступает лишь носителем одного реального своего значения, оно, как обычное прилагательное, характеризуется нормальной препозицией. Ср. в памятнике пример—«игорь мыслію поля мѣритъ отъ *великаго* дону до малаго донца» (40). Представленный материал с препозитивным и постпозитивным употреблением прилагательных в памятнике имеет большое значение в характеристике поэтической стороны «Слова». Постпозитивное употребление прилагательных, цельным образом отраженное в памятнике, составляет одну из наиболее ярких особенностей «Слова». Этой чертой вместе с тем «Слово», роднясь с общими источниками народно-поэтического языка, преемственно связывается с современным нашим художественным литературным языком.

Субстантивированные прилагательные незначительны по употреблению в памятнике. Таковы в числе представленных в образованиях членного типа *заутренняя* (36) (старое нормальное образование от относительного прилагательного *заутрьнии*) и *поганыи* (6 сл.), кроме того, абстрактные образования среднего рода *великое*, *малое* — «и начяша князи про *малое* се *великое* млъвити» (19); субстантивированных прилагательных в краткой форме всего два примера — *старъ* мужеского рода — «а чи диво ся братіе *стару* помолодити» (27) и *зло* среднего рода — «нъ се *зло* княже ми не пособіе» (27).

Личные местоимения 1-го и 2-го лица в роли подлежащего по общей норме в памятнике не употребляются. Так, местоимение 1-го лица ед. числа *я* совсем не встречается в памятнике. Ср. постоянные бесподлежащные предложения в «Слове» вроде — «а уже не *вижду* власти сильнаго и богатаго и многовои брата моего ярослава» (26), «*хощу* бо рече копіе приломити конець поля половецкаго съ вами русици *хощу* главу свою приложити...» (6), «*полечю* рече зегзицею по дунаеви *омочю* бебрянъ рукавъ въ каялѣ рѣцѣ *утру* князю кровавыя его раны...» (38), «възлелѣи господине мою ладу къ мнѣ а *быхъ* не *слала* къ нему слезъ на море рано» (39). Таковы же обычные предложения в памятнике с глаголом-сказуемым в 1-м лице мн. числа, без употребления местоимения *мы* в роли подлежащего — «нъ рекосте *мужаимѣся* сами преднюю славу сами *похитимъ* а заднюю ся сами *подѣлимъ*» (27) и др. В одном лишь случае наблюдается в подлежащем *мы*, стилистически необходимое, с нарочитой его подчеркнутостью — «а *мы* уже дружина жадни веселія» (26). Та же картина в двойственном числе. Замечательно следующее место (стр. 43—44) в тексте «Слова», содержащее диалог половецких князей Гзака с Кончаком, с 3 примерами глагола-сказуемого в 1-м лице двойственного числа и с употреблением в одном лишь случае при них личного местоимения. Начало диалога, по общей норме языка, выражено обычной фразой с глаголом-сказуемым без личного местоимения — «млъвитъ гзакъ кончакови аже

соколъ къ гнѣзду летитъ соколича *рострѣляевѣ* своими злачеными стрѣлами»; в следующем предложении уже содержится смысловое выделение субъекта, соответственно и выступающего при глаголе сказуемом в виде *вѣ* — «рече кончакъ ко гзѣ аже соколъ къ гнѣзду летитъ а *вѣ* соколца *опутаевѣ* красною дивицею»; окончание диалога, не содержа концентрации мысли на подлежащем, опять выражено, подобно первой приведенной фразе, одним глаголом без сопровождения его личным местоимением — «и рече гзакъ къ кончакови аще его *опутаевѣ* красною дѣвицею ни нама будетъ сокольца ни нама красны дѣвице» (43—44). В предложениях с глаголом во 2-м лице то же обычное отсутствие подлежащего в виде личного местоимения — «о руская земле уже за шеломянемъ *еси*» (10, 12); «высоко *плаваеши* на дѣло въ буести» (31), «грозы твоя по землямъ текутъ *оттворяеши* кіеву врата *стрѣляеши* съ отня злата стола салтани за землями» (30), «чему *мычеши* хиновьскыя стрѣлкы на моея лады вои» (38), «чему господине мое веселіе по ковылію *развѣя*» (38), «нъ *рекосте* мужаимѣся...» (27), «се ли *створисте* моей сребренеи сѣдинѣ» (26), «о моя сыновчя игорю и всеволоде рансе *еста начала* половецкую землю мечи цвѣлити» (26) и др. Однако понятно, что в обращении, в призывах к лицу или лицам, в целях усиления, стилистически бывает неизбежна вставка в предложение личного местоимения 2-го лица, как подчеркиваемого субъекта, как субъекта, противопоставляемого другому субъекту, и т. п. Примеры такого употребления личных местоимений 2-го лица в роли подлежащего в памятнике встречаются. Таково, главным образом, употребление в подлежащем местоимения 2-го лица ед. числа *ты* — «о бояне, соловію старого времени а *бы ты* сіа плъкы *ущекоталъ*...» (6), «*ты* бо (великыи княже всеволоде) *можеши* волгу веслы раскропити... *ты* бо *можеши* посуху живыми шереширы стрѣляти...» (28—29), «о днепре словутицю *ты пробилъ еси* каменныя горы... *ты лелѣялъ еси* на себѣ святославли носады до плъку кобякова» (39), «аже *бы ты былъ* то была бы чага по ногатѣ» (28); в одном примере встретилось подобное употребление местоимения во мн. числе *вы* —«*вы* бо своими крамолами *начасте* наводити поганыя на землю рускую» (35).

Подобно именам прилагательным местоимения (притяжательные, указательные) обычно препозитивны в отношении к определяемым существительным. Лишь притяжательные местоимения преимущественно представляют примеры и постпозитивного употребления. Так *мои* известно в препозитивном (6 сл) и постпозитивном употреблении — «а уже не вижду власти сильнаго и богатаго и многовои брата *моего* ярослава» (26); *твои* представлено двумя примерами, в обоих случаях с постпозицией — «грозы *твоя* по землямъ текутъ» (30), «дружину *твою* княже птиць крилы пріодѣ» (34); *свои* дает 19 случаев препозитивного и 10 случаев постпозитивного употребления — «... иже истягну умь крѣпостію *своею* и поостри сердца *своего* мужествомъ» (5), «хощу главу *свою* приложити...» (6), «и рече игорь къ дружинѣ *своеи*» (5), «съ тоя же каялы

www.ruslang.ru

святоплъкь повелѣя отца *своего*... ко святѣи софіи къ кіеву» (16), «коли соколъ въ мытехъ бываетъ высоко птицъ възбиваетъ не дастъ гнѣзда *своего* въ обиду» (27), «многи страны... сулици *своя* поврѣгоща а главы *своя* поклониша подъ тыи мечи харалужныи» (32), «притрепа славу дѣду *своему* всеславу» (33); «уже понизить стязи *свои*» (34). Постоянно в постпозиции местоимение *самъ* — «они же *сами* княземъ славу рокотаху» (4), «а князи *сами* на себе крамолу коваху а поганіи *сами* побѣдами нарищуще на рускую землю емляху данъ по бѣлѣ отъ двора» (21). Прочие местоимения (как и числительные) — *весь*, *всякъ*, *онъ*, *сиць*, *тъи* — постоянно препозитивны. Только *сь*, обычно также препозитивное (6 сл.), представляет один пример с постпозицией — «почнемъ же братіе повѣсть *сію* отъ старого владимера до нынѣшняго игоря» (5).

Выдержанною чертой памятника является полное отсутствие конструкций со связкой *есть*, *суть* в составном сказуемом. Ср. из многих (33 сл.) подходящих примеров следующие: «а мои ти куряни свѣдоми *къмети*» (8), «нъ се зло княже ми не *пособіе*» (27), «а мы уже дружина *жадни* веселія» (26), «страны *ради* гради *весели*» (45), «*здрави* князи и дружина» (46), «се *мое* а то *мое же*» (19), «пути имь *вѣдоми* яругы имъ *знаеми*» (8), «луци у нихъ *напряжени* тули *отворени* сабли *изъострени*» (8), «уже дьскы *безъ кнѣса* в моемъ теремѣ златовръсѣмъ» (22), «*княземъ* слава а *дружинѣ*» (46) и др.

В одном лишь примере употреблена в качестве связки форма 3-го лица мн. числа *суть* — «*суть* бо у ваю желѣзныи папорзи подъ шеломы латинскими» (31). В 1-м и 2-м лице в аналогичных случаях связка обязательна к употреблению — «оба *есвѣ святъславличя*» (7), «о руская земле уже за шеломянемъ *еси*» (10, 12), «свѣтлое и тресвѣтлое слънце всѣмъ *тепло* и *красно еси*» (39).

Бессубъектные предложения в памятнике характеризуются следующими типами:

1. инфинитивный тип, наиболее распространенный в «Слове» (13 сл.): «*начати* же *ся* тъи пѣсни по былинамь сего времени» (1), «*пѣти было* пѣсь игореви...» (6), «*быти* грому великому *итти* дождю стрѣлами съ дону великаго» (12), «ту *ся* копіемъ *приламати* ту *ся* саблямъ *потручяти* о шеломы половецкыя» (12), «а игорева храбраго плъку не *крѣсити*» (20, 31), «о *стонати* рускои земли» (37), «*пѣти* слава игорю» (46) и др.;

2. предложения с сказуемым, выраженным прилагательным (причастием) в форме среднего рода: «не *лѣпо* ли ны *бяшетъ* братіе начати...» (1), «*луце* жъ *бы* потяту быти неже полонену быти» (5), «не *мало* ти величія» (41 bis), «*темно* бо *бѣ* въ ·г̃· день» (25), «*тяжко* ти головы... *зло* ти тѣлу» (44), «а сицеи рати не *слышано*» (17);

3. предложения с сказуемым, выраженным безличным глаголом: «тогда при олзѣ гориславличи *сѣяшется* и *растяшеть* усобицами» (16), «ту кроваваго вина не *доста*» (18), «въ полѣ безводнѣ жаждею имь лучи *съпряже* тугою имъ тули *затче*» (39);

4. предложения с *есть*, *было*, *будеть* при отрицании: «*не мыслію* ти прелѣтѣти издалеча» (28), «*не бысь* ту брата брячяслава» (34), «*ни* нама *будетъ* сокольца ни нама красны дѣвице» (44);

5. предложения с *жаль*, *нельзѣ*: «*жаль* бо ему мила брата всеволода» (18), «того старого владимира *нельзѣ бѣ* пригвоздити къ горамъ кіевскимъ» (37).

Синтаксис предложения носит в памятнике в основном те же особенности, которые характеризуют и иные оригинальные русские памятники старшей поры, только здесь, в памятнике художественного литературного языка, они выражены в более широком и цельном виде. Сочинение в памятнике выступает в абсолютно преобладающем виде сравнительно с подчинением. Может быть, здесь в известной мере сказался жанр памятника. Так, сочинение в памятнике нередко соединяется с бессоюзием. Известное сочетание предложений, связанное единством целого, очень часто выражается как сумма внешне не спаянных между собою, как бы самостоятельных предложений, в совокупности образующих период. Ср. например — «солнце ему (Игорю) тъмою путь заступаше // нощь стонущи ему грозою птичь убуди // свистъ звѣринъ въста // збиди дивъ // кличетъ връху древа // велитъ послушати земли незнаемѣ...» (8—9), «уже бо бѣды его (Игоря) пасетъ птиць подобію // влъци грозу въсрожатъ по яругамъ // орли клектомъ на кости звѣри зовутъ // лисици брешутъ на чръленыя щиты» (9—10), «длъго ночь мркнетъ // заря свѣтъ запала // мъгла поля покрыла // щекотъ славіи успе // говоръ галичь убуди» (10), «дремлетъ въ полѣ ольгово хороброе гнѣздо // далече залетѣло // не было нъ обидѣ порождено ни соколу ни кречету...» (11), «гзакъ бѣжитъ сѣрымъ влъкомъ // // кончакъ ему слѣдъ правитъ къ дону великому» (11), «другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ // чрьныя тучя съ моря идутъ // хотятъ прикрыти ·д· солнца...» (12), «се вѣтри стрибожи внуци вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрыя плъкы игоревы // земля тутнетъ // рѣкы мутно текуть // пороси поля прикрываютъ // стязи глаголютъ» (12) и т. д. Примеров подобного «сказа» в «Слове» много.

Такое построение фраз, в известной мере оправдывающееся повествовательным жанром памятника, вообще связывает его с источниками народно-поэтического творчества. Широкое использование подобного типа «периодов» в «Слове» само по себе делает понятной бедность в памятнике в самом способе изложения всякого рода подчинительных конструкций, объясняет и, в доминирующем в памятнике использовании сочинения, тенденцию к выражению его без помощи союзов. Обращает внимание также в «Слове о полку Игореве», как это наблюдается и в иных памятниках русского литературного языка старшего периода, русский облик собственно союзов, используемых для выражения и сочинения и подчинения.

Среди сочинительных союзов основными в памятнике являются *а* (55 сл.), *и* (83 сл.), *нъ* (6 сл.). Союз *а* выступает главенствующим образом в функции союза, начинающего предложение, в какой-то степени связанное содержанием с предшествующим изложением

(9 сл.) — «*а* всядемъ братіе на свои бръзыя комони да позримъ синего дону» (5), «о бояне соловію стараго времени *а* бы ты сіа плъкы ущекоталъ...» (6), «*а* мои ти куряни свѣдоми къмети» (8), «*а* половци неготовами дорогами побѣгоша къ дону великому» (9), «*а* въстона бо братіе кіевъ тугою...» (20), «*а* святъславь мутенъ сонъ видѣ...» (22), «*а* мы уже дружина жадни веселія» (26), «*а* чи диво ся братіе стару помолодити» (27), «*а* ты буи романе и мстиславе храбрая мысль носитъ васъ умъ на дѣло...» (31), или в функции сопоставления (44 сл.), например — «сѣдлаи брате свои бръзыи комони *а* мои ти готови осѣдлани у курьска напереди» (7), «ищучи себѣ чти *а* князю славѣ» (8, 10), «и рассушясь стрѣлами по полю помчаша красныя дѣвкы половецкыя *а* съ ними злато и паволокы...» (10), «чрьныя тучя съ моря идутъ хотятъ прикрыти ·д· солнца *а* въ нихъ трепещуть синіи млъніи» (12), «дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша *а* храбріи русици преградиша чрълеными щиты» (13), «тогда по рускои земли рѣтко ратаевѣ кикахуть нъ часто врани граяхуть трупіа себѣ дѣляче *а* галици свою рѣчь говоряхуть хотять полетѣти на уедіе» (15) и т. п. В функции начинательного союза кроме *а* употребляется также союз *и* (6 сл.) — «*и* рече ему буи туръ всеволодъ» (7, 43), «*и* ркоша бояре князю» (24), «*и* начяша князи про малое се великое млъвити» (19), «*и* падеся кобякъ въ градѣ кіевѣ...» (22), «*и* схоти ю на кровать...» (34) и *нъ* (4 сл.) — «*нъ* нечестно одолѣсте...» (26), «*нъ* уже княже игорю утрпѣ солнцю свѣтъ...» (32), «*нъ* рекосте мужаимѣся сами...» (27), «*нъ* се зло княже ми не пособіе» (27). Основное значение союза *и* — соединительное, связывающее как отдельные предложения, так и члены предложения (74 сл.). В этом значении союз *а*, известный, между прочим, Русской правде, в памятнике встречается в одном лишь примере — «княземъ слава *а* дружинѣ» (46). В качестве сопоставительного союза рядом с основным союзом *а* иногда употребляется *нъ* — «тогда по рускои земли рѣтко ратаевѣ кикахуть *нъ* часто врани граяхуть трупіа себѣ дѣляче» (17). По одному случаю в памятнике встречаются союзы *а* и *нъ* с чистым противительным значением — «начати же ся тъи пѣсни по былинамь сего времени *а* не по замышлению бояню» (2), «боянъ же братіе не ·і·соколовь на стадо лебедѣи пущаше *нъ* своя вѣщіа пръсты на живая струны въскладаше» (4).

Из иных сочинительных союзов следует отметить *а любо* в разделительном значении, с вторым компонентом старейшего типа в виде *любо*,— «хощу главу свою приложити *а любо* испити шеломомь дону» (6, 24). В качестве сравнительного союза употребляется, с одной стороны, *неже* — «луце жъ бы потяту быти *неже* полонену быти» (5), с другой стороны, *яко* — «а поганого кобяка изъ луку моря отъ желѣзныхъ великихъ плъковъ половецкихъ *яко* вихръ выторже» (22), «высоко плаваеши на дѣло въ буести *яко* соколъ на вѣтрехъ ширяяся» (31) и болгаризованный союз *аки* (*акы*) — «скачють *акы* сѣрыи вълъци въ полѣ» (8), «по рускои земли простроша половци *аки* пардуже гнѣздо» (25), «не ваю ли храбрая

дружина рыкаютъ *акы* тури ранены саблями калеными» (29). Сх
еще в значении сравнительном *рци* — «крычатъ тѣлѣгы полунощ
рци лебеди роспущени» (9).

Подчинительные отношения, редко, как замечено выше, находя
щие себе место в памятнике, выражаются бессоюзием, например –
«а галици свою речь *говоряхуть хотять* полетѣти на уедіе» (17
или помощью сочинительных союзов, например — «възлелѣи гс
сподине мою ладу къ мнѣ *а* быхъ не слала къ нему слезъ на мор
рано» (39), наконец, средствами союзов собственно подчинители
ных. Соответственный материал в памятнике, однако, очень не
значителен. Условная связь выражается помощью *аже*, *аже* — *а*
аже — *то* — «*аже* соколъ къ гнѣзду летитъ соколича рострѣля
евѣ своими злачеными стрѣлами» (43), «*аже* соколъ къ гнѣзду ле
титъ *а* вѣ соколца опутаевѣ красною дивицею» (43), «*аже* бы т
былъ *то* была бы чага по ногатѣ» (28), но также помощью болгар
ского союза *ащ* — «*аще* его опутаевѣ красною дѣвицею ни нам
будетъ сокольца ни нама красны дѣвице» (44), ср. еще *аще* — *н*
с условно-уступительным значением — «*аще* и вѣща душа въ друз
тѣлѣ *нъ* часто бѣды страдаше» (36). Не может быть сомнения в том
что *аще* в тексте памятника вторично, результат замещения по
внешний болгаризованный тип всего вероятнее *аже* оригинала
ср. в приведенном контексте с диалогом Гзака с Кончаком *аже*
первых двух условных предложениях и *аще* лишь в последнем
третьем, одностильном предложении. Временные отношения выра
жены в памятнике типически русским союзом *коли*, *коли* — *то*
гда — «*коли* соколъ въ мытехъ бываетъ высоко птицъ възбиваетъ
(27), «*коли* игорь соколомъ полетѣ *тогда* влуръ влъкомъ потече
(41). Имеется один пример с *да* в целевом значении — «а всядем
брате на свои бръзыя комони *да* позримъ синего дону» (5). Опреде
лительная связь обычно выражается помощью *иже* — «...храбром
мстиславу *иже* зарѣза редедю предъ пълкы касожьскыми» (3)
«...до нынѣшняго игоря *иже* истягну умь крѣпостію своею...» (5)
«кають князя игоря *иже* погрузи жиръ во днѣ каялы рѣкы поло
вецкія» (22), но в одном примере встречается и местоимение *кото
рыи* — «*которыи* (т. е. лебеди) дотечаше (т. е. сокол) та преди пѣс
пояше» 3).

По общим нормам старого языка соединительный союз *и*, свя
зывая однородные члены предложения в количестве более двух
повторяется обычно при всех членах предложения, начиная с
второго: «велитъ послушати земли незнаемѣ влъзѣ *и* поморію *и*
посулію *и* сурожу *и* корсуню *и* тебѣ тьмутораканьскыи блъванъ
(9), «помчаша красныя дѣвкы половецкыя *а* съ ними злато *и* па
волокы *и* драгыя оксамиты» (10), «орьтъмами *и* япончицами *и* ко
жухы начашя мосты мостити по болотамъ *и* грязивымъ мѣстомъ *и*
всякыми узорочьи половѣцкыми» (11), «половци идуть отъ дона *и*
отъ моря *и* от всъхъ странъ» (13), «два солнца помѣркоста об
багряная стлъпа погасоста *и* съ нимъ молодая мѣсяца олегъ *и*
святъславъ тъмою ся поволокоста... *и* въ морѣ погрузиста *и* вели

кое буиство подасть хинови» (25), «а уже не вижду власти сильнаго *и* богатаго *и* многовои брата моего ярослава съ черниговьскими былями съ могуты *и* съ татраны и съ шельбиры *и* съ топчакы *и* съ ревугы *и* съ ольберы» (25—26), «инъгварь *и* всеволодъ *и* вси три мстиславичи» (32), «въвръжеся на бръзъ комонь *и* скочи съ него босымъ влъкомъ *и* потече къ лугу донца *и* полетѣ соколомъ подъ мьглами избивая гуси и лебеди завтроку *и* обѣду *и* ужинѣ» (41).

Аналогично повторение предлогов при однородных членах предложения. Ср. кроме примеров, содержащихся в материале с повторяющимся союзом *и*, еще следующие: «то было *въ* ты рати и *въ* ты плъкы» (17), «*по* рсі и *по* сули гради подѣлиша» (32). Интересно отметить повторяемость предлога в сочетании *рѣка каяла* — «*на* рѣцѣ *на* каялѣ» (12, 25), но отсутствие повторяемости предлога при инвертированном порядке слов в этом сочетании — «омочю бебрянъ рукавъ *въ* каялѣ рѣцѣ» (38).

Широко употребление в памятнике частиц. Помимо отрицательной частицы *не*, при повторении (*не*) — *ни*, *ни* — *ни*, *ни* — *ни* — *ни* особенно распространенными являются *бо* (25 сл.) и *же* (11 сл.), также *се*, вводящая в предложение: «*се* вѣтри стрибожи внуци вѣютъ съ моря стрѣлами...» (12), «*се* бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата» (24), «*се* бо готскія красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю» (25), «*се* у римъ кричатъ подъ саблями половецкыми» (27). Интересны *а* и *и* в качестве усилительных частиц: «ту игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла злата *а* въ сѣдло кощіево» (22), «аще *и* вѣща душа въ друзѣ тѣлѣ нъ часто бѣды страдаше» (36), «тому вѣщеи боянъ *и* пръвое припѣвку смысленыи рече» (37). С усилительным значением употребляется также частица *ти*: «а мои *ти* (комони) готови осѣдлани у курьска напереди» (7), «а мои *ти* куряни свѣдоми къмети» (8), «тяжко *ти* головы кромѣ плечю зло *ти* тѣлу кромѣ головы» (44). В качестве вопросительной частицы употребляется обычно *ли*: «не лѣпо *ли* ны бяшетъ братіе...» (1), «се *ли* створисте моеи сребренеи сѣдинѣ» (26), «не ваю *ли* храбрая дружина рыкаютъ акы тури...» (29), «мало *ли* ти бяшетъ горъ подъ облакы вѣяти» (38), «не тако *ли* рече рѣка стугна худу струю имѣя...» (42), кроме того частица *чи*: «а *чи* диво ся брате стару помолодити» (27) или эта же частица в сочетании с *ли*: «*чи ли* въспѣти было вѣщеи бояне велесовь внуче...» (7).

Характерно для стиля изложения «Слова» нередкое употребление в нем междометия *о*. Оно выступает как усилительный элемент при обращении: «*о* бояне соловію стараго времени» (6), «*о* руская земле (ѣ)» (10, 12), «*о* моя сыновчя игорю и всеволоде» (26), «*о* вѣтрѣ вѣтрило» (38), «*о* днепре словутицю» (38—39), «*о* донче» (41), а также вводит в целые предложения: «*о* далече заиде соколъ птиць бья къ морю» (19), «*о* стонати рускои земли помянувше пръвую годину и пръвыхъ князеи» (37).

Значительный материал представляет памятник в отношении порядка слов в предложении, ср. данные выше указания, относящиеся к положению определения (прилагательных, местоимений)

к определяемому [1]. Весь этот материал — материал к стилистическому синтаксису «Слова». Нормальное следование в предложении сказуемого за подлежащим является преобладающим в памятнике. Однако много примеров (до 60 сл.) обратного построения предложений с положением на первом месте сказуемого и следованием за ним подлежащего. В известной части этот порядок расположения в предложении основных его членов связан с общим повествовательным жанром памятника. Ср. обычные фразы типа — «и *рече игорь* къ дружинѣ своеи» (5), «и *рече* ему буи туръ *всеволодъ*» (7), «*рекоста* бо *братъ брату*» (19), «и *ркоша бояре* князю» (24), «*млъвитъ гзакъ* кончакови» (43), «*рече* кончакъ ко гзѣ» (43), «и *рече гзакъ* къ кончакови» (44), или еще примеры — «тогда *въступи игорь* въ златъ стремень» (8), «*дремлетъ* въ полѣ ольгово хороброе *гнѣздо*» (11), «*были вѣчи* трояни *минула лѣта* ярославля *были плъци* олговы» (14), «с зараніа до вечера съ вечера до свѣта *летятъ стрѣлы* каленыя *гримлютъ сабли* о шеломы *трещатъ копіа* харалужныя въ полѣ незнаемѣ» (17), «третьяго дни къ полудню *падоша стязи* игоревы» (18) и т. п. Но и помимо связи с жанром общие требования художественного стиля в тех или иных случаях вызывали ту же инверсию. Можно, например, отметить сцепления однотипно построенных предложений, составляющие одно композиционное целое, с чередующимся в них одним и другим порядком следования подлежащего и сказуемого. Ср. сочетания предложений, как — «*комони ржуть* за сулою *звенить слава* въ кыевѣ *трубы трубять* въ новѣградѣ *стоять стязи* въ путивлѣ» (7), «а *половци* неготовами дорогами *побѣгоша* къ дону великому *крычатъ тѣлѣгы* полунощы рци лебеди роспущени» (9), «камо *туръ поскочаше* своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая тамо *лежатъ* поганыя *голсєы* половецкыя» (13), «тогда при олзѣ гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами *погибашеть жизнь* даждьбожа внука въ княжихъ кромолахъ *вѣци* человѣкомь *скратишась*» (16—17), «*ничить трава* жалощами а *древо* с тугою къ земли *преклонилось*» (18—19), «*уныша* бо градомъ *забралы* а *веселіе пониче*» (22), «на рѣцѣ на каялѣ *тьма* свѣтъ *покрыла* по рускои земли *простроша́ся полсвци* аки пардуже гнѣздо» (25), «аже бы *ты былъ* то *была бы чага* по ногатѣ» (28), «тѣми *тресну земля* и многи *страны*... сулици своя *поврѣгоща* а главы своя *поклониша* подъ тыи мечи харалужныи» (32), «нъ уже княже игорю *утрпѣ* солнцю *свѣтъ* а *древо* не бологомъ листвіе *сроні*»

[1] Приложение нормально предшествует своему определяемому: «*отецъ* ихъ святъславь» (21), «*брата моего ярослава*» (26), «*великыи княже* всеволоде» (28), «*дѣду* своему всеславу» (33) и др. Колеблется положение приложения в сочетаниях *рѣка каяла*, ср. «*на рѣцѣ* на каялѣ» (12,25) при «*въ каялѣ рѣцѣ*» (38), «во днѣ каялы *рѣки половецкія*» (22), ср. еще препозитивное положение приложения в *рѣка* стугна (42), особенно же в сочетании *князь игорь* (ср. «*княже* игорю» (32, 41), «*князю* игорю не быть» (40), но — «игорь *князь* высѣдѣ...» (22), «тогда въступи игорь *князь* въ злать стремень» (8), «игореви *князю* богъ путь кажетъ из земли половецкои» (39), «а игорь *князь* поскочи горнастаемъ къ тростію» (40), «игорь *князь* въ русскои земли» (44), ср. еще — «всеславъ *князь* людемъ судяше» (36), но — «уношу *князю* ростиславу, по уноши *князи* ростиславѣ» (42).

(32), «*уныли голоси пониче веселіе трубы трубятъ* городеньскіи» (34), «*стукну земля въшумѣ трава вежи ся* половецкіи *подвизашася*» (40), «*уныша цвѣты* жалобою и *древо* с тугою къ земли *прѣклонило*» (42—43), «*дѣвици поютъ* на дунаи *вьются голоси* чрезъ море до кіева» (45).

Широко практикуется в «Слове выдвижение вперед в предложении, перед сказуемым, объекта, особенно прямого (около 100 сл.) объекта, с смысловым соответственно на нем ударением (например — «боянъ же братіе не ·і· *соколовь* на стадо лебедѣи пущаше нъ своя вѣщіа *пръсты* на живая струны въскладаше» (4), «хощу бо рече *копіе* приломити конець поля половецкаго съ вами русици хощу *главу* свою приложити...» (6), «русичи великая *поля* чрьлеными щиты прегородиша» (10), «тъи бо олегъ мечемъ *крамолу* коваше и *стрелы* по земли сѣяше» (14), «а галици свою *рѣчь* говоряхуть хотять полетѣти на уедіе» (17), «ту кровавого вина не доста ту *пиръ* докончаша храбріи русичи *сваты* попоиша а сами...» (18), «ты бо можеши *волгу* веслы раскропити а *донъ* шеломы выльяти» (28) и т. д.). Косвенный объект с значением лица, выражаемый местоимением, обычно предшествует сказуемому («не лѣпо ли *ны* бяшетъ братіе начяти...» (1), «баянъ бо вѣщіи аще *кому* хотяще пѣснь творити то...» (3), «пути *имь* вѣдоми яругы *имъ* знаеми луци у *нихъ* напряжени» (8), «кончакъ *ему* слѣдъ править къ дону великому» (11) и т. д.). Дательный падеж принадлежности, выше отмеченный среди особенностей памятника, обычно (в 11 случаях из 18) предшествует своему определяемому. Подобно дополнению, и обстоятельство в одинаковой мере, будучи подчеркиваемо, выдвигается вперед в предложении, предшествуя сказуемому («которыи (т. е. лебеди) дотечаше (т. е. сокол) та *преди* пѣсь пояше» (4), «дремлетъ в полѣ ольгово хороброе гнѣздо *далече* залетѣло» (11), «рѣкы *мутно* текуть» (12), «тогда *по рускои земли рѣтко* ратаевѣ кикахуть нъ *часто* врани граяхуть» (17) и т. д.). Это стилистическое выдвижение вперед, в положение перед сказуемым, зависящих от него членов предложения приводило нередко (23 сл.) к тому, что в предложении с несколькими членами в его составе сказуемое падало на самый конец: «игорь къ дону вои *ведетъ*» (9), «орли клектомъ на кости звѣри *зовутъ*» (9), «русичи великая поля чрьлеными щиты *прегородиша*» (10, 13), «бориса же вячеславича слава на судъ *приведе*» (16), «по рсі и по сули гради *подѣлиша*» (32) и т. п. Иногда можно наблюдать, как по типу одного предложения с сказуемым в его исходе строились по требованиям внутренней ритмики и следующие предложения, составлявшие с ним одно композиционное целое. Ср. примеры вроде — «боянъ же братіе не ·і· соколовь на стадо лебедѣи *пущаше* нъ своя вѣщіа пръсты на живая струны *въскладаше* они же сами княземъ славу *рокотаху*» (4), «солнце ему тьмою путь *заступаше* нощь стонущи ему грозою птичь *убуди*» (8), «тъи бо олегъ мечемъ крамолу *коваше* и стрѣлы по земли *сѣяше*» (15), «всеславъ князь людемъ *судяше* княземъ грады *рядяше* а самъ въ ночь влъкомъ *рыскаше*... великому хръсови влъкомъ путь *пре-*

рыскаше» (36), «дятлове тектомъ путь къ рѣцѣ *кажутъ* соловіи веселыми пѣсьми свѣтъ *повѣдаютъ*» (43).

5

Лексика «Слова» богата и красочна. Данные лексики памятника имеют первостепенное значение в общем изучении русского литературного языка старшего периода, важны они также в изучении поэтики памятника, как и в суждении по вопросу об авторстве «Слова». Лексическая сторона памятника с давней поры была предметом внимания со стороны исследователей памятника. В последнее время крупным вкладом в этом отношении в научную литературу о «Слове» явилось известное исследование академика В. Н. Перетца. Однако во всем этом изучении лексики памятника дело сводилось в большинстве случаев к подыскиванию сопоставлений лексических элементов «Слова» с разнообразными иными старыми, русскими и славянскими, письменными источниками. Подобное изучение вообще старой русской лексики имеет свое значение. Но из этих сопоставлений трудно прийти к каким-либо твердым выводам в изучении собственно «Слова».

Лексический состав памятника может быть охарактеризован как особенно «предметный» и «действенный». Доминирующие слои лексики в памятнике принадлежат, с одной стороны, категории существительных, с другой стороны, глаголу. Если оставить в стороне служебные части речи (соответственный материал охарактеризован выше), то вся полнозначная лексика в памятнике (исключая известные места с порченым контекстом) может быть представлена с следующими цифровыми показателями применительно к отдельным грамматическим категориям. Всего в памятнике 857 полнозначных слов, из них существительных — 380, прилагательных — 145, глаголов — 298, наречий — 34.

Фактическая употребляемость этих разделов лексики, ввиду повторяемости отдельных слов в контексте памятника, такова: имена существительные дают 1023 случая употребления, имена прилагательные — 368 случаев, глаголы — 464 случая, наречия — 82 случая. Имена существительные, таким образом, составляют 58,8% всей встречающейся в памятнике лексики (полнозначной), глаголы — 24%, прилагательные 19%, наречия 4,2%. В этих данных является сравнительно повышенной употребляемость в памятнике существительных и глаголов и соответственно сниженным употребление прилагательных, особенно же наречий, что в совокупности должно определяться жанром и стилем «Слова».

В лексике, относящейся к категории имен существительных, обращает на себя внимание почти полное отсутствие слов церковно-религиозного оборота. Единично упоминание *бога* в памятнике («игореви князю *богъ* путь кажетъ изъ земли половецкои на землю рускую» 39), *христиан* («здрави князи и дружина побарая за *христьяны* на поганыя плъки» 46), *заутрени* («тому въ полотскѣ по-

звониша *заутренюю* рано» 36); помянуты новгородский храм — *святая София* (16, 36), и киевский — *святая богородица пирогощая* (45). В этом ясное свидетельство принадлежности автора «Слова» не к классу церковников, а к мирским людям, ср. его воспоминания о Велесе, Даждьбоге, Стрибоге, Хорсе и др. Обильна в памятнике военная лексика, притом не только слова общего распространения вроде *рать, плъкъ, дѣло* (ратный подвиг) (31 bis), *боронь* («яръ туре всеволодѣ стоиши на *борони*...» 13) и *брань* («ольговичи храбрыи князи доспѣли на *брань*» 32) или *вои, дружина, къметь* (8), *стрѣлокъ* (38) и т. п., но разнообразные специальные именования, относящиеся к области воинского вооружения и военного вообще снаряжения, например *копіе, лукъ, мечь, сабля, стрѣла, сулица, тулъ, харалугъ, шеломъ, щитъ, папорзи, стругъ, стружіе, стягъ, хорюговь, чолка, труба, сѣдло, стремень* и др. Широкое и свободное употребление этого круга лексики в памятнике заставляет предполагать в авторе лицо не только близкое к дружинникам, но человека, лично побывавшего на поле брани, непосредственно хорошо изведавшего воинское дело, может быть, близкого участника самого похода Игоря. Особенно обращает на себя внимание в памятнике обильное употребление лексики, отражающей различные предметы или явления природы: *небо, земля, солнце, мѣсяцъ, зо(а)ря, свѣтъ, тьма, облако, роса, пороси* («*пороси* поля прикрываютъ» 12), *буря, вихръ, вѣтръ, гроза, громъ, млъніи, дождь, сморци* («идутъ *сморци* мьглами» 39), *туча, море, озеро, ручіи, рѣка, потокъ, болото, гора, хлъмъ, шеломя, яруга, трава, цвѣты, болого, древо, дубіе, ковылiе, лозіе, тростіе* и т. д., и т. п. Автор живет неразрывно с природой, автор мыслит, расценивает самые факты в цепи исторического своего повествования как факты, протекавшие во взаимодействии с жизнью самой окружающей природы. *Игорь князь въ рускои земли* и — *солнце свѣтится на небесѣ* (44), но *падоша стязи игоревы* и — *ничить трава жалощами а древо с тугою къ земли преклонилось* (17—18). Очень близки автору в непосредственной его связи с природой представители живой именно природы — из мира животных (*влъкъ, туръ, лисица, комонь, иноходецъ* (16), *горностаи* (40), вообще *звѣрь* (9, 35 bis), особенно же из царства птиц (*воронъ* и *вранъ, галица, дятелъ* (43), *зегзица, кречетъ, куръ, орелъ, соколъ, соловей* и *славіи, сорока, чаица* (42), *гоголь*, (41, 42), *гусь, лебедь, чрьнядь* (42), вообще *птичь* (8, 9, 20, 27, 34, 37), *птица* (31, 44). И этот ассортимент лексики — говорящий в характеристике личности автора «Слова», может быть, лица, близкого к князю, непосредственного его соучастника в охотничьих развлечениях. Можно обратить внимание на то, что особенно часто в употреблении в памятнике, с одной стороны, слово *влъкъ* (9 сл.), с другой стороны, особенно существительное *соколъ*, в уменьшительной форме *соколецъ, соколичь* (16 сл.): автор, несомненно, был знаком с соколиной охотой. Типичность для автора «Слова», с одной стороны, военной лексики, с другой стороны, лексики, связанной с жизнью природы, обнаруживается и в том отношении, что эта же лексика преимущественно

выступает в памятнике в образном и переносном употреблении, в сравнениях и т. п. Таково образное персонифицированное употребление существительных *свѣтъ* —«один *свѣтъ* свѣтлыи ты игорю» (7), *солнце* и *мѣсяцъ* — «два *солнца* помѣркоста... и съ нимъ молодая *мѣсяца* олегъ и святъславъ тъмою я поволокоста» (25), *вѣтръ* — «се *вѣтри* стрибожи внуци...» (12); в плаче Ярославны содержится олицетворение *солнца*, *ветра*, реки *Днепра* и т. п. Обычно образное употребление в памятнике *соловья*, как постоянного эпитета Бояна, особенно же *сокола* — «се бо два *сокола* слѣтѣста съ отня стола злата...» (24 bis, 43, 44 и др.). В сравнениях фигурируют *стрѣлы* — «и рассушясь *стрѣлами* по полю» (10), «вѣютъ съ моря *стрѣлами*» (12), *вихрь* — «яке *вихръ* выторже» (22), особенно же существительные со значением отдельных представителей из мира животных — «скочи отъ нихъ лютымъ *звѣремъ* въ плъночи» (35), скочити рыскати, потечи *влъкомъ* (35, 36, 41), «растѣкашется... сѣрымъ *вълкомъ* по земли» (11), «гзакъ бѣжитъ сѣрымъ *влъкомъ*» (11), «и скочи съ него босымъ *влъкомъ*» (41), «скачють акы сѣрыи *влъци* въ полѣ» (8), «не ваю ли храбрая дружина рыкають аки *тури* ранены саблями калеными» (29), «по руской земли прострошася половци аки *пардуже гнѣздо*» (25), или из мира птиц — «растѣкашется шизымъ *орломъ* подъ облакы» (3), *зегзицею* кыкати, полетѣти (37, 38), «а князь игорь поскочи *горностаемъ* и бѣлымъ *гоголемъ* на воду» (40), «высоко плаваеши на дѣло въ буести яко *соколъ* на вѣтрехъ ширяяся» (31), «и полетѣ *соколомъ* подъ мьглами» (41 bis), «крычатъ тѣлѣгы полунощы рци *лебеди* распущени» (9). Можно отметить параллельно с образным употреблением существительного *соколъ* в ласкательном смысле аналогичное употребление слова *воронъ* в бранном обращении — «ни тебѣ чрьныи *воронъ* поганыи половчине» (11). Прочие имена существительные — отвлеченные, общественно-политического характера, относящиеся к хозяйственной стороне и др., не выделяясь специфически на общем лексическом фоне памятника, тем не менее в частностях содержат не мало данных, служащих к характеристике и автора «Слова» и общего русского литературного языка старшей поры. Среди отвлеченных имен существительных обращает на себя внимание обильная, притом дифференцированная, группа слов со значением звуков, издаваемых человеком или представителями мира животных, или птиц, или принадлежащих различным неодушевленным предметам. Таковы, с одной стороны, *кликъ* — «дѣти бѣсови *кликомъ* поля прегородиша» (13), «тіи бо бес щитовь *кликомъ* плъкы побѣждаютъ» (27), «подъ *кликомъ* поганыхъ» (33), *гласъ* и мн. *голоси*, о пении — «ярославнынъ *гласъ* слышитъ» (37), «унылы *голоси* веселіе пониче» (34), «вьются *голоси* чрезъ море до кіева» (45), с другой стороны, *говоръ* и *рѣчь* — «*говоръ* галичь убуди» (10), «а галици свою *рѣчь* говоряхуть» (17), *щекотъ* — «*щекотъ* славіи успе» (10), *клекотъ* — «орли *клектомъ* на кости звѣри зовутъ» (9), *текотъ* — «дятлове *тектомъ* путь къ рѣцѣ кажуть» (43), *свистъ* — «*свистъ* звѣринъ въста» (9); ср. еще *звонъ* — «то же *звонъ* слыша давныи великыи

ярославъ...» (15), «а онъ въ кыевѣ *звонъ* (т. е. колокольный) слыша» (36). Это богатство имен существительных в рамках отмеченного семантического ряда согласуется с аналогичным разнообразием глаголов в значении «издавать звук» (о чем см. ниже). В памятнике можно отметить и ряды иных существительных синонимического типа или близких к синонимам, своею наличностью свидетельствующих об общем разнообразии и богатстве лексического состава «Слова». Таковы, например, *ратныи духъ* (5), *буесть* (26, 31), *буиство* (25), *мужество* (5), или *слава* 14 сл., *хвала* (25), *честь* (8, 10, 13), или *печаль* (20), *тоска* (20, 28), *туга* 7 сл., или *бѣда* (9, 37), *напасть* (20), или *зло* (27), *нелюбіе* (41), *котора* (21, 35), *усобица* (3, 19), *крамола* 5 сл., или *обычаи* и *свычаи* (14), *жалоба* («уныша цвѣты *жалобою*» 43) и *жалощи* («ничить трава *жалощами*» 18), ср. еще *время* и мн *времена* — 8 сл., *година* (13, 37) и мн. *годины* (27), мн. *вѣци* (14, 17) и мн. *лѣта* («были *вѣчи* трояни минула *лѣта* ярославля» 14) и др. Следует отметить также, что при существительном *жизнь* (16, 35) (vita) в том же значении встречается и слово *животъ* («на тоцѣ *животъ* кладутъ» 36), употребляющееся кроме того в значении «имущества» («забывъ что и *живота* и града чрънигова...» 13). В прочих группах имен существительных интересно отметить существительное *братия* в формуле постоянного обращения (9 сл.) автора памятника к слушателям (читателям), также князя Игоря к своим воинам («*братіе* и дружино... а всядемъ *братіе* на свои бръзыя комони» 5), таково же слово *господинъ* в формуле обращения (6 сл.) к князьям, также от лица Ярославны — к персонифицированным *ветру*, *солнцу*, реке *Днепру*. Рядом с *жена* (замужняя женщина) (20) употребляется существительное *хоть* (14, 45) в применении к женам высшего класса. Различаются в памятнике существительные *дѣва* (19, 25) (молодая незамужняя женщина) *дѣвица* (35, 43, 44 bis) (то же в смысле «невеста») и *дѣвка* (10) (в отношении к половецким, не русским, молодым девушкам). Замечательно различие в памятнике *носада* и *корабля*, как речного и морского судна, ср. в плаче Ярославны в обращении к ветру — «мало ли ти бяшетъ горъ подъ облакы вѣяти лелѣючи *корабли* на синѣ морѣ» (38) и в обращении к реке Днепру — «ты лелѣялъ еси на себѣ святославли *носады* до плъку кобякова» (39). Существительное *страна* известно в памятнике в значении «страна» — «съ всѣхъ *странъ*»=отовсюду (13, 19), но также во мн. числе как синоним слова *земля*=государство (32, 45); в этом последнем значении обычно в памятнике существительное *земля*, и в ед. числе и во мн. числе — «грозы твоя по *землямъ* текутъ... стрѣляеши съ отня злата стола салтани за *землями*» (30).

Со стороны морфологической структуры следует отметить имя существительное *комонь*, постоянное в этой форме в памятнике (5 сл.). Как существительные мужского рода выступают в памятнике *уношь* (42 bis), *куръ* (36), как имена женского рода — *лжа* (21), *лучя* (39), *ужина* (41). Нередки в памятнике собирательные имена существительные на *-ие*: *дубіе* (9), *ковылiе* (38), *листвіе* (32), *лозіе*

(43), *тростіе* (40), *трупіе* (17). Уменьшительные и увеличительные образования существительных встречаются в памятнике в незначительном числе. Таковы уменьшительно-ласкательные *крыльце*, *соколецъ*, встречающиеся в образном лишь употреблении в «Слове»: «уже соколома (т. е. князю Игорю с сыном) *крильца* припѣшали поганыхъ саблями» (24), «чему мычеши (о вѣтрѣ вѣтрило!) хиновьскыя стрѣлкы на своею нетрудною *крилцю* на моея лады вои» (38); «рече кончакъ ко гзѣ аже соколъ (т. е. Игорь) къ гнѣзду летитъ а вѣ *соколца* (т. е. Владимира, сына Игоря) опутаевѣ красною дивицею» (43, 44). С оттенком ласкательности также образование *соколичь* (собственно детеныш сокола, соколенок): «млъвитъ гзакъ кончакови аже соколъ къ гнѣзду летитъ *соколича* (т. е. сына Игоря) рострѣляевѣ своими злачеными стрѣлами» (43). Ср. также — «о днепре *словутицю*» (38) и образование *русичи* 4 сл. Категория увеличительных существительных представлена одним примером: «о вѣтрѣ *вѣтрило*» (38). В бранном смысле, как указано выше, используется образ птицы *во́рона*; кроме того бранный характер носят сочетания — «тьмутораканьскыи *блъванъ*» (9) (о половецком крае) и «поганыи *ко̀щеи*» (30) (о половецком князе Кончаке).

Лексике, охватывающей имена прилагательные, т. е. обозначающей признаки, принадлежащие именам существительным, естественно, свойственны те же черты, которые выше отмечены для категории субстантивных слов. И здесь почти отсутствует слой церковно̀-религиозной лексики (ср. единичное употребление прилагательного *божии*: «ни хытру ни горазду ... суда *божіа* не минути» 37), но ср. прилагательные *даж(д)ьбожь*, *стрибожь*, *велесовъ* и др. И здесь выделяются значительные группы прилагательных, с разных сторон характеризующих слои субстантивной лексики военного характера, например, в характеристике лиц (воинов) — *буи*, *яръ*, *храбрыи*, *удалыи*, *сильныи*, *многовои* и др., в характеристике предметов вооружения или воинского снаряжения — *сребренъ* («*сребрено* стружіе», 11), *златъ* (шеломъ, стремень), *харалужныи* (мечь, копіе), *каленыи*, *желѣзныи*, *острыи*, *тъщии* (тулъ), *латинскии* (шеломъ), *литовскии* (мечь, шеломъ), *ляцкии* («сулицы *ляцкіи*» 33) и т. п. Обращает на себя внимание в памятнике обильный слой прилагательных со значением цвета — *багряныи*, *босыи* (41) и особенно частое *сѣрыи* (влъкъ), *бѣлыи*, *зеленыи*, *пламянъ* («въ *пламянѣ* розѣ» 20), *свѣтлыи*, *синии*, *темныи*, *чрьленыи*, *чръныи*, *шизыи* и др. Многие прилагательные и особенно из последней отмеченной их группы, постоянно сочетаясь с известными существительными, выступают как эпитеты. Со стороны образования следует отметить постоянное в памятнике (5 сл.) притяжательное прилагательное к *отецъ* в виде типически русского варианта *отень* (не в виде *отечь*). Сложные прилагательные представлены, с одной стороны, образованиями народно-поэтического характера — *златовръхыи* (теремъ) (23), *златокованныи* (столъ, т. е. престол) (30), с другой стороны, образцами более книжного типа — *многовои* (26), *тресвѣтлыи* («свѣтлое и *тресвѣтлое* слънце» 39).

Глагольная лексика, богато представленная в памятнике, особенно разнообразна и красочна. Здесь помимо лексики военного содержания, специального или более общего характера, как *битися, одолѣти, побѣждати, полечи, потяти, полонити, ранити, стрѣляти, приломити* копіе, *вонзити* мечь, *цвилити* мечи, *сѣдлати* комонь, *ступати* въ стремень, *оконитися* и т. п., значительную группу составляют глаголы с значением движения=*ити, заити, ѣхати, ѣздити, поѣхати, бѣчи, побѣчи, течи, потечи, летѣти, залетѣти, полетѣти, прелетѣти, слетѣти, скочити, скакати, поскочити, выскочити, рыскати, дорыскати, прерыскати, прыскати, помчати, лелѣяти, полелѣяти, въвръгнутися, заворочати, отступити* и др. Широкое употребление этого слоя глагольной лексики оправдывается жанром памятника и самим его сюжетом, но в известной мере должно связываться и с стилистическими приемами изложения автора. Можно, например, отметить сравнительно широкое использование в памятнике однократных глаголов на *-ну-* (30 сл.), стилистически придающих определенную окраску всему повествованию. Очень богато представлены в памятнике многообразные глаголы, обозначающие проявление звуков живой и мертвой природы. Ср. «что ми *шумить* что ми *звенить* дывечя рано предъ зорями» (18), «*гримлютъ* сабли о шеломы *трещатъ* копіа харалужныя» (17), «тѣми *тресну* земля...» (32), «*стукну* земля *въшумѣ* трава» (40), «они же сами (струны) княземъ славу *рокаташу*» (4), «ту *ся* саблямъ *потручяти* о шеломы половецкыя» (12), «*звоня* рускымъ златомъ поютъ (готскія красныя дѣвы) время бусово» (25) и т. п., ср. еще глаголы *пѣти, въспѣти, кикати, кликнути, кричати, рыкати, свистнути*, о животных и птицах — «комони *ржуть* за сулою» (7), «лисици *брешутъ* на чръленыя щиты» (10), *граяти, възграяти* (о вороне), *троскотати* (о сороке), *ущекотати* (о соловье, образно). Это богатство звуков, отражаемое глагольною категорией в памятнике, находит себе параллелизм в обилии красок, выражаемых соответственными адъективными образованиями в «Слове»; то и другое в совокупности создает впечатление общей чрезвычайной колоритности во всем художественном повествовании памятника. Интересно употребление, семантически дифференцированное, в памятнике обычных в языке глаголов, относящихся к выражению издаваемых человеком звуков речи, глаголов *речи, млъвити, глаголати, говорити*. Общим в соответственном употреблении глаголом является *речи* (22 сл.). В двух случаях используется в «Слове» глагол *млъвити* — «и начяша князи про малое се великое *млъвити*» (19), «*млъвитъ* гзакъ кончакови аже соколъ къ гнѣзду летитъ...» (43), судя по контексту в значении «беседуя говорить», т. е. употребляющийся в обстановке диалога. Замечательно, что оба остающиеся глагола в свидетельствах памятника не употребляются в том же значении, относящемся к выражению человеческой речи: глагол *говорити* служит к обозначению издаваемых галками звуков — «а галици свою рѣчь *говоряхуть* хотять полетѣти на уедіе» (17), *глаголати*, видимо, в образном употреблении,

имеет значение шелестить, переливаться шелестом — «земля тутнетъ рѣкы мутно текуть пороси поля прикрываютъ стязи *глаголютъ* половци идуть отъ дона и от моря и отъ всѣхъ странъ» (12). С отмеченным значением глагола *говорити* следует сопоставить указанное выше употребление существительного *говоръ* — «*говоръ* галичь убуди» (10). Богатство и разнообразие, а вместе с тем тонкая семантическая дифференцированность глагольной лексики в памятнике в значительной мере достигается широким использованием префиксации глаголов, позволяющей отразить многообразные нюансы основных, выражаемых ими, значений. Таково в памятнике параллельное употребление рядов глаголов, не осложненных префиксами и соединенных с префиксами *въ-* и *въз-*, например *сѣдѣти* и *въсѣсти* («а *всядемъ* братіе на свои бръзыя комони» 5), *троскотати* и *втроскотати* (43), *стонати* и *въстонати* (20), ср. еще *въшумѣти* («стукну земля *въшумѣ* трава» 40), или *граяти* и *възграяти* (23), *пѣти* и *въспѣти* (7, 25), *плакати(ся)* и *въсплакатися* (20), *плескати* и *въсплескати* (19), *лелѣяти* и *възлелѣяти* (39) и др.

Особенно широко использование в памятнике глаголов, соединенных с префиксами *по* и *при*, получающих вместе с своеобразными оттенками в общей своей семантике и специфическое стилистическое значение. Ср., например, глаголы *позрѣти* — «а всядемъ братіе на свои бръзыя комони да *позримъ* синего дону» (6), *поискати* — «се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата *поискати* града тьмутороканя...» (24), *поклонити* — «а главы своя *поклониша* подъ тыи мечи харалужныи» (32), *полелѣяти* — «съ тоя же каялы святоплъкь *повелѣя* отца своего...» (16), *полизати* — «дружину твою княже птиць крилы пріодѣ а звѣри кровь *полизаша*» (34), *помлъкнути* — «тогда врани не граахуть галици *помлъкоша*...» (43), *попоити* — «сваты *попоиша* а сами полегоша за землю рускую» (18), или *приложити* — «хощу главу свою *приложити* а любо испити шеломомь дону» (1), *приломити* — «хощу бо рече копіе *приломити* конець поля половецкаго съ вами русици» (6), *приодети* — «дружину твою княже птиць крилы *пріодѣ*...» (34) и т. д., ср. *потоптати* — «съ заранія въ пяткъ *потопташа* поганыя плъкы половецкыя» и *притоптати* — «*притопта* хлъми и яругы» (21), *потрепати* и *притрепати*, *летѣти* и *залетѣти*, *полетѣти*, *прелетѣти*, *слетѣти*, *скочити* и *выскочити*, *доскочити*, *поскочити*, *течи* и *дотечи*, *потечи*, *рыскати* и *дорыскати*, *прерыскати* и т. д.

Общей особенностью всей лексики, принадлежащей памятнику, является выраженный русский по происхождению ее характер. Эта черта, основная для памятника, должна иметь первостепенное значение и для характеристики общего русского литературного языка времени составления памятника, конца XII в. По этой черте «Слово о полку Игореве», смыкаясь с основными оригинальными памятниками русского языка старшей поры, как Русская правда, произведения Владимира Мономаха и др., вместе с ними входит в единую линию свидетелей нашего литературного языка старшего периода, согласно показывающих единый тип языка, русского в

своем субстрате, в своем происхождении. Действительно, иноязычная лексика в «Слове» дает знать себя в очень слабой степени. Можно было бы отметить в памятнике немногие примеры лексических элементов латино-греческого или греческого происхождения, ср. такие слова, как *вино*, *къметь*, *поганыи*, *корабль*, *теремъ*, *кровать*, *оксамитъ*, *паполома*, прилагательное *пардужь*. Несколько более ощутительна струя заимствований из тюркских языков. Таковы, например, слова *бояринъ*, *коганъ* (ср. прилагательное *когань*), *кощеи*, *салтанъ*, *чага*, *носадъ*, *телѣга*, *харалугъ*, с вероятием *сабля*, *ногата*, *резана*, *женчюгъ*, *орьтъма*, *япончица*. Но в памятнике очень скудно отражение в лексической области болгарского языка. Так, среди существительных в положении изолированной подходящей лексики оказались бы лишь слова *жизнь*, *лоно*, *очи*. В группе абстрактных имен существительных также спорадичными примерами выступают в памятнике образования на *-ние* (пример единичный: «по *замышленію* бояню» 2), *-ость* (два примера: *крѣпость* (5), *буесть* 26, 21), *-ство* (*буиство* (25, 31), *мужество* 5). Из числа прилагательных к книжному источнику, как отмечено выше, относились бы сложения *тресвѣтлыи*, *многовои*. В глагольной лексике можно было бы указать лишь на единичные примеры образований с *из-* выделительного значения, не *вы-*. Таковы лишь два глагола в памятнике — *изронити* (26, 34) и *испити* (6, 24); ср. русского типа сложения с *вы-* в глаголах *выльяти* (28), *выскочити* (34), *высѣдѣти* (22), *вытъгнути* (22) [1]. Среди наречий можно отметить единичное употребление *велми* — «другого дни *велми* рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ» (12). Союзы, как выше указано, носят в памятнике выраженный русский характер. Если в памятнике при *аже* встречается и *аще*, при *яко* в функции сравнительного союза также *акы*, в последних вариантах союзов следует усматривать подновление текста памятника, механическую замену отдельных примеров *аже*, *яко* оригинала помощью позднее типизовавшихся в литературном языке в период второго южнославянского влияния вариантных их форм *аще* и *акы*. Как можно видеть, следы болгарского воздействия в памятнике в области изолированной его лексики очень незначительны. Однако внешне болгарское влияние дает себя знать в тексте «Слова» более широко в отдельных слоях лексики, принадлежавшей одинаково и русскому и болгарскому языку, отличавшейся при этом здесь и там по внешнему звуковому своему облику. Эта лексика в значительной части представлена в памятнике в облике, свойственном болгарскому языку. Не может быть, однако, никакого сомнения в том, что болгаризованный облик этой лексики есть подновление текста памятника, обязанное перу позднейшего его переписчика, отразившего в своем письме влияние новой болгарской орфографии.

---

[1] Здесь можно попутно сказать о принадлежности памятнику кратных глагольных образований и старшего типа, ср. *побарая* (45), *ся приламати* (12), и позднейшего, типически русского типа на *-ыва-*, ср. *посѣчивая* (13).

Та́к, лексика с старым *dj*, которому в русском языке должно отвечать *ж*, а в болгарском *жд*, почти всюду в памятнике представлена в болгарском облике, с *жд*: ср. *жаждею* (38), *нужда* (25), *вижду* (26), *побѣждаютъ* (27), *порождено* (11), *прихождаху* (19), *междю* (16). В одном лишь случае, в слове заведомо русском, мы встречаем *ж* без перелицовки его на *жд*: *вережени* (34). Таково же прилагательное *чюжь* (42). Ср. еще колебание *ж* и *жд* в прилагательном *даж(д)ьбожь* (17, 19). Старое *tj* (и *kt*) подобным образом на русской почве изменялось в *ч*, но в болгарском языке в *щ*. Соответственная лексика в дошедшем тексте памятника неустойчива.

Ср. русское *ч* в *плечю* (44), *птичь* (8), *злаченыи* (29, 43), *чюжь* (42), *горячюю* (38), *полечю* (37), *заворочаетъ* (18), *посвѣчивая* (13), *меча* (от *метати*) (30), колебание *ч* и *щ* в *ночь* (10, 23, 36) и *нощь* (8, 23), *полуночи*, *плъночи* (35, 40) и *полунощи(ы)* (9, 39), ряд причастных (деепричастных) образований на *-че*, *-чи* — *аркучи*, *цщучи*, *плещучи*, *лелѣючи*, *мычючи*, *звонячи*, *дѣляче* (10 сл.) и на *-ще*, *-щи* — *стонущи* (8), *нарищуще* (21), наконец, только *щ* в *хощу* (6 bis), *трепещуть* (12), ср. также союз *аще* (3, 36, 44). Начальное *je* в известных условиях, сохраняясь в болгарском языке, в русском языке переходило в *о*. В памятнике встречается один подходящий пример в двойственном показании: при *одинъ* — «*одинъ* братъ *одинъ* свѣтъ свѣтлыи ты игорю» (7 bis) также в болгарском обличии — в форме *единъ* — «*единъ* же изяславъ сынъ васильковъ...» (33), «*единъ* же изрони жемчужну душу изъ храбра тѣла» (34).

Сложную картину в показаниях памятника представляет лексический материал с старыми сочетаниями *ор*, *ер*, *ол*, *ел* между согласными. На русской почве в соответствии с этими сочетаниями образовались полногласные звуковые комплексы *оро*, *ере*, *оло*, в болгарском же языке сочетания типа *ра*, *рѣ*, *ла*, *лѣ*. В дошедшем списке памятника подходящая лексика представлена и в закономерном для русского языка полногласном типе и в болгарском обличии, без полногласия.[1]. Полногласная лексика при этом, если исходить из внешних цифровых показаний, дает значительно меньшее количество случаев употребления (66 сл.), чем лексика болгарского типа, неполногласная (132 сл.). Однако ближайший анализ употребления в контексте памятника одного и другого типа лексики не оставляет никакого сомнения в том, что оригинал «Слова», в основном, знал лишь нормальную для русского языка полногласную лексику, но эта картина употребления лексики, принадлежавшая оригиналу, подверглась значительной перелицовке на болгарский лад под рукой позднейшего переписчика, отразившего в тексте «Слова», в разных отношениях, воздействие новой болгаризованной орфографии, отразившего его и в данном слое лексики. Что перелицовка полногласной лексики оригинала на неполно-

[1] В одном примере, кроме того, — *горнастаемъ* (40) — содержится вторичное образование, с *ор*, из нормального первоначального образования с *оро* (*гороностаемъ*), принадлежавшего оригиналу «Слова».

гласную производилась в значительной степени писцом чисто механически, как механически написания оригинала вроде *межю, ночь, одинъ* и т. п. писец заменял через *между, нощь, единъ* и т. п., свидетельствует сам материал с употреблением неполногласной лексики в памятнике. Не всякий лексический элемент в форме с полногласием фактически замещался писцом «Слова» болгарским его вариантом, без полногласия. В памятнике не мало оказывается слов, во всех случаях своего употребления представленных в полногласном виде. Не говоря о таких словах, как *всеволодъ, городеньскіи*, также грецизме *паполома* (с *оло* особого происхождения), при которых вообще «болгаризованные» варианты с *ла, ра* не были возможны, в памятнике всегда в русском, с полногласием, типе встречаются следующие слова: *дорога* (via) (9), *король*, им. мн. *пороси* (12), *сорока* (43 bis), *узорочье* (11), страд. прич. *вережени* (34), *ожереліе* (34), *болого* (32, 36), *болонь* (23), *болото* (11, 21, 33), тв. мн. *колоколы* (36), *молотити* (36), *полонити* (5, 24), аор. *ся поволокоста* (25), *человѣкъ* (17), *шеломъ* 13 сл., *шеломя* (10, 12). Из всех этих слов только *шеломъ* и *полонити* могли бы быть представлены на болгарский лад в виде *шлемъ, плѣнити*, все же прочие слова, отчасти по причине специфической своей принадлежности русскому языку, существовали в языке лишь в полногласном виде и поэтому не могли подвергнуться перелицовке на болгарский, неполногласный, лад.

Интересна противоположная группа лексики — слова, во всех случаях своего употребления в памятнике представленные в одном болгаризованном, неполногласном, виде. Это следующие слова: *крамола* (4 сл.), *страна* (4 сл.), *время* (8 [9] сл.) [1], *древо* (6 сл.), *жребіи* (33, 35), имперф. *стрежаше* (42) (форма с порчею в тексте), *среди* 3 сл., *чрес(з)ъ* 5 сл., *власть* (в обоих значениях) (26, 33), существительное *злато* и др. производные — 22 сл., *облако* 4 сл., *пламянъ* (20), *глаголати* (12), *скратишась* (17), таковы же географические имена — *новуграду, новѣградѣ* (7, 35), *бѣлаграда* (35). Из этих слов немногие, как старые болгаризмы нашего литературного языка, известны были в языке в одном неполногласном виде (таковы — *глаголати, пламянъ*) или более обычны были в неполногласном виде (таковы — *крамола, страна* в значении географического понятия, *время, власть* в абстрактном значении, *облако*), все же прочие слова в старом литературном языке, как элементы русской лексики, нормально употреблялись в полногласном типе. Наличность их поэтому в неполногласном виде, притом в словах с частым употреблением, как *златъ* и проч., *древо* и т. п., в словах, специфических по своей принадлежности русскому языку, как *власть* в значении «волость», как названия городов *новградъ, бѣлградъ*, не может объясняться иначе, как предположением, что во всей этой лексике, полногласной в оригинале «Слова», писцом чисто

[1] Сюда причислена и форма тв. мн. *времены* (30), обычно считающаяся порченой и исправляемая на *бремены*.

механически была произведена ее перелицовка на болгарский неполногласный, тип[1].

Тот же вывод напрашивается при обозрении остающейся лексики, представленной в памятнике в колеблющемся виде — с полногласием и без полногласия. Здесь также примеры полногласных вариантов слов обращают на себя внимание по малой своей употребляемости в памятнике сравнительно с болгарскими, неполногласными, вариантами. Иногда они, в случаях с более или менее широкой фактической употребительностью того или иного слова в памятнике, выступают резко спорадически. Так, например, на один случай с полногласием дат. ед. *городу* — «ярославна рано плачеть путивлю *городу* на заборолѣ» (38), падает 10 примеров неполногласных форм слова *градъ*, при одном примере прилагательного *хоробрыи* с полногласием — «дремлетъ въ полѣ ольгово *хороброе* гнѣздо» (11) вариант *храбрыи* встречается в 15 случаях, ср. также *воронъ* (11) при 3 случаяхъ *вранъ*, *забороло* (38) и при 3 случаях *забрало*, *берегъ* (42) при 4 случаях *брегъ*, *напереди* (7) при *преди* (3), *предъ* (3, 18), *предними* (27), ср. также в постоянном употреблении (8 сл.) префикс *пре-*, *володимиръ* (28) при 4 случаях *владими(е)ръ*; ср. сходный материал с лексикой, более редкой по общему своему употреблению в памятнике: *ворота* (30,33) при *врата* (30, 35), *дорогыи* (13) (порча в тексте) при *драгыи* (10), *заворочаетъ* (18), ср. *ся обратиша* (27), *загородите* (33), *прегородиша* (10, 13) при *прегради ша* (13), *боронь* (13) при *брань* (32), *голова* (4 сл.) при *глава* (6, 32), им. мн. *голоси* (34, 45) при *гласъ* (37), *соловіи* (6, 43) при *славіи* (6 bis, 10), *молодыи* (25, 45), *ся помолодити* (27) при *младыи* (16). Эта картина употребления полногласных и неполногласных вариантов от одних и тех же слов (или групп слов с близкой семантикой) заставляет думать, что во многих случаях при механической замене полногласных вариантов оригинала на варианты неполногласные переписчик по каким-либо особым (иногда внешним, случайным, иногда более глубоким) причинам не производил подобной перелицовки. Так ближайший анализ всего приведенного материала колеблющейся в показаниях памятника, полногласной и неполногласной, лексики показывает, что при безусловной общей механической замене полногласных форм оригинала вариантами неполногласными переписчик все же считался с какими-то, в основном, стилистическими условиями, которые уже не позволяли в тех или других случаях производить изменения в контексте, с полногласием, оригинала. Например, колебание вариантов *голова* и *глава* в памятнике несомненно должно объясняться из стилистической дифференцированности соответственных отрезков контекста памятника. Полногласный вариант слова сохранен во фразах, связанных с источниками народно-поэтического характера,— «на

[1] Ср. сказанное выше о форме *скратишась* (17) в наличном тексте «Слова», с несомненностью заменившей форму *скоротишася* оригинала.

немизѣ снопы стелютъ *головами...*» (35), «тяжко ти *головы* кромѣ плечю зло ти тѣлу кромѣ *головы*» (44), кроме того, в примере —«тамо лежатъ поганыя *головы* половѣцкыя» (13) — с отношением к «поганым» половцам; но ср. болгарский вариант слова *глава* в примере — «хощу *главу* свою приложити...» (6) и еще в подобной же, «высокого» стиля, фразе — «тѣми тресну земля и многи страны хинова литва ятвязи деремела и половци сулици своя повръгоша а *главы* своя поклониша подъ тыи мечи харалужныи» (32). В отдельных случаях существительные при употреблении в прямом своем конкретном значении оказываются представленными в болгарском обличии, без полногласия, но они же сохраняются в первоначальном своем полногласном виде, будучи употреблены в образном или переносном смысле. Так, обычному употреблению слова *вранъ* в данном неполногласном виде — «нъ часто *врани* граяхуть» (17), «всю нощь съ вечера босуви *врани* възграяху» (23), «тогда *врани* не граахуть» (43) отвечает полногласная форма *воронъ*, употребленная как бранное обращение к половцу — «... ни тебѣ чръныи *воронъ* поганыи половчине» (11). Таков же характер употребления в памятнике вариирующих форм существительного *ворота — врата:* в прямом значении — «отворяеши кіеву *врата*» (30), «отвори *врата* новуграду» (35), но в образном употреблении — «затворивъ дунаю *ворота*» (30), «загородите полю *ворота* своими острыми стрѣлами» (33). Можно еще отметить пример неполногласной формы имени существительного *гласъ* в собственном значении слова — «ярославнынъ *гласъ* слышитъ» (37), но это же существительное во мн. числе в значении «пение» уже представлено в форме с полногласием — «унылы *голоси* пониче веселіе» (34), «вьются *голоси* чрезъ море до кіева» (45). Может быть, этими же «стилистическими» условиями должно объяснять вариантность имени *Володимиръ* и *Владимиръ*. В памятнике форма *владими(е)ръ* имеет три случая употребления с отношением к святому Владимиру (5) и к Владимиру Мономаху (15, 37): для этих старых, высоких имен в истории русской земли должна была подходить именно указанная форма именования — *владимиръ*. В упоминании о молодом сыне Игоря в памятнике уже встречаем полногласную форму слова *володимиръ* (28), и лишь в конце «Слова» в здравице в честь князей, и его в том числе, говорится о «славе *владимиру* игоревичу».

Можно наблюдать в памятнике случаи с повторным употреблением по близости слова с ожидаемым полногласием в одном цельном контексте. В этих случаях, может быть, для того чтобы соблюсти внутреннее «благозвучие» в течении фразы, переписчик, сохраняя в начале контекста слово в форме оригинала (с полногласием), при дальнейшем его повторении уже заменял его неполногласным вариантом. Ср. пример: «дѣти бѣсови кликомъ поля *прегородиша*, а храбріи русици *преградиша* чрълеными щиты» (13), таков же, видимо, и следующий пример: «о бояне *соловію* стараго времени а бы ты сіа плъкы ущекоталъ скача *славію* по мыслену древу летая

умомъ подъ облакы свивая *славы* (порча текста вм. *славію*) оба полы сего времени» (6) [1].

6

Все изложенное можно резюмировать в следующем виде.

1. Представленный анализ языка дошедшего списка «Слова о полку Игореве» позволяет в нем выделить прежде всего ряд особенностей, которые были обязаны непосредственному его переписчику. Последний именно писец памятника отразил в его тексте особенности новой болгаризованной орфографии (употребление гласного *а* без йотации вместо *ѧ*, написания известных старорусских сочетаний, «*ъ, ь+р, л*», позднее перешедших, в сочетаниях «*о, е+ +р, л*», в виде плавных с последующим обычно *ъ*, случаи с написаниями в исходе слов *ь* вместо *ъ*, главенствующее употребление *ы*, не *и*, после *г, к, х* и др.); затронул он при этом в известных группах лексики и собственно язык, русский язык памятника, подчинив его нормам болгарского произношения, представив отдельные слои лексики в типе, свойственном болгарскому языку (замена *аже* через *аще*, *яко* через *акы*, полногласного типа лексики лексикой неполногласной, слов известного происхождения с начальным *о*, или с *ж, ч* вариантного типа словами с начальным *е*, или с *жд*, *щ* и др.). Писец дошедшего списка «Слова», кроме того, будучи новгородцем по происхождению, отразил в тексте памятника отдельные диалектные свои особенности (произношение *ѣ* в виде *и*, отвердение *щ*, отвердение *сь* в возвратно-глагольной частице, возможно — цоканье, исчезновение *в*, т. е. неслогового *ў*, между согласными, ср. *чрьленыш*, в области морфологии — новые образования именительного мн. числа на *-ы* от существительных среднего рода, возможно — формы 3-го лица, наст. времени на твердое *-тъ*, 1-го лица мн. числа на *-ме*, в склонении существительных формы родительного ед. на *-ѣ* и дательного ед. на *-ы* от имен жен. рода на *-а*). В известной части, наконец, в наличный список памятника должны были проникнуть явления общего позднейшей поры развития русского языка (ср. отвердение *ш, ж* и *ц*, отдельные случаи нарушения системы двойственного числа, новообразование *стремень*, формы местоимений *тебѣ, себѣ* с *е*, не *о*, возвратные глагольные образования с слиянием *ся* с глаголом, ср. на этой почве двойное *ся* в *ся подвизашася* и др.).

2. Наличный список «Слова» не может считаться непосредственным списком с оригинала памятника. В дошедшем списке вскрываются особенности, характеризующие общее развитие русского языка позднейшее, чем время составления (конец XII в.) памят-

[1] Из вариантов глагольного префикса *раз-, роз-* в памятнике обычна болгарская его разновидность — *раз-*, ср. *развѣяти* (38), *разлиятися* (20), *разлучитися* (18), *разшибе* (35), *раскропити* (28), *расеутися* (10), *растѣкатися* (3); русский вариант префикса *роз-* сохранился в тексте «Слова» лишь в двух случаях — «рци лебеди *роспущени*» (9), «аже соколъ къ гнѣзду летитъ соколича *рострѣляевѣ*...» (43) (написание «*ровтрэ* на кусту» (42) падает на порченый контекст).

ника, особенности вместе с тем поры более ранней, чем время, к которому относится составление дошедшего до нас списка «Слова» (конец XV — начало XVI в.). По наличию этих черт в памятнике следует предполагать о существовании еще промежуточного списка, отделявшего оригинал от наличного дошедшего до нас списка «Слова». Можно думать, что это был непосредственный список с оригинала, что сделан он был в конце XIII или в XIV в., что принадлежал он также новгородской территории. На отдельные его новгородские особенности, таким образом, напластовались новгородские же черты, которые внесены были и последним писцом памятника. В этом отношении об отдельных диалектных чертах трудно с уверенностью утверждать (таковы — цоканье, написание *чрьленыи* с опущением *в=ў*, формы родительного ед. *славѣ* и дательного ед. *главы*, 3-е лицо наст. времени на твердое *-тъ*), принадлежали ли они только промежуточному списку и из него были перенесены в наличный список «Слова», отражены ли они лишь последним переписчиком памятника, или, отраженные и в списке XIII—XIV вв., они под пером позднейшего переписчика были лишь усилены. Во всяком случае и независимо от отмеченных черт промежуточному списку памятника принадлежал, кроме того, ряд типичных диалектных особенностей (например, произношение *ѣ* как *и*, переход *е* в *ѣ* в положении перед смягченным согласным, ср. половѣцькыи, написания *щ* вместо *ш* и др.).

Характеризовался промежуточный список, помимо диалектных особенностей, также рядом черт, относящихся преимущественно к области морфологических новообразований, по своему развитию в языке специфических для периода XIII—XIV вв. (таковы, например, у существительных с основами на *-jo*, *-ja* новые образования с проникновением в отдельных падежах флексий из твердого различия в склонении, формы именительного мн. числа на *-и* типа куряни, или родительного мн. на *-еи* типа князеи, явление с употреблением старых форм винительного мн. числа существительных в значении именительного падежа и обратные случаи с употреблением именительного мн. в функции винительного падежа и др.).

3. Если освободить памятник от всего того, что согласно пп. 1—2 было внесено в его текст одним и другим переписчиком, перед нами должна вскрыться совокупность особенностей, характеризовавших собственно оригинал памятника. В числе этих особенностей почти не находятся черты, относящиеся к фонетической области (они не могли сохраниться в списке XV—XVI вв., хотя ср. в памятнике *ки*, *ги*, *хи* из *кы*, *гы*, *хы*, принадлежавшие уже оригиналу памятника, и некоторые другие черты), но в большом числе встречаются черты морфологические и особенно принадлежащие области синтаксиса и лексики. Таковы, например, следующие, более или менее широкие по общему своему проявлению в памятнике, особенности: правильное употребление в склонении и в спряжении двойственного числа, правильное употребление от существи-

тельных звательных форм старого образования (употребление в функции звательной формы именительного падежа возможно лишь в сочетаниях существительного с именем прилагательным), следы значительного воздействия в отдельных падежах имен с основами на -*и на имена с основами на -*о (между прочим, с распространением этого влияния в дательном ед. числа и именительном мн. числа лишь на категорию одушевленных существительных), устойчивые образования отдельных падежных форм от существительных с задненебными согласными в исходе с изменением последних в *з, ц, с*, употребление от личных местоимений 1-го и 2-го лица как нормы падежных форм первичного типа (с использованием форм вторичного образования лишь в особых условиях стилистического их подчеркивания), нормальное употребление форм имперфекта и аориста, употребление будущего простого не помощью «буду», нормальное отсутствие связочного глагола в 3-м лице перфекта, широкое использование причастий действительного залога, притом почти исключительно в одной несклоняемой форме, употребление возвратной частицы *ся* в случаях с наличием во фразе двух возвратных по смыслу глаголов лишь при первом из них, замена винительного падежа родительным от имен с значением лица в е д и н с т в е н н о м числе (при сохранении во мн. числе старого винительного падежа), широкое употребление дательного падежа принадлежности, сохранение в основном еще первоначальной картины соотносительного употребления членных и нечленных форм прилагательных, отсутствие личных местоимений 1-го и 2-го лица как субъектов в предложении (с возможностью их употребления лишь в особых стилистических условиях), отсутствие связочных глаголов *есть, суть* в составном сказуемом, абсолютное преобладание сочинительной связи в построении предложений над подчинением, повторяемость союзов и предлогов при соединении однородных членов предложения, в лексической области — безраздельно широкое использование русской по происхождению лексики, и полнозначной и служебного характера, и очень слабое соответственно воздействие болгарской стихии на круг используемой в памятнике лексики. Эта совокупность общих особенностей языка оригинала «Слова» (а они могли бы еще быть увеличены) выдает в языке памятника нормальный русский литературный язык старшей поры, язык, который свидетельствуется и иными основными источниками вроде Русской правды, творений Владимира Мономаха, Моления Даниила Заточника. Во всех этих источниках перед нами единый русский литературный язык старшего периода, одинаковый на севере и на юге, отличающийся от источника к источнику в основном лишь большею цельностью отражения той или иной черты в соответственном памятнике старейшем по происхождению по сравнению с тем или иным источником позднейшей поры сложения. Так, в «Слове о полку Игореве», памятнике по сложению конца XII в., на отдельных явлениях не могли не отразиться известные черты позднейшего развития самой системы русского языка, и поэтому они не носят

того характера выдержанности, какой им присущ, например, в показаниях Русской правды и т. п. Ср. в «Слове о полку Игореве» позднейшие явления с употреблением родительного-винительного объекта от одушевленных имен существительных, несколько порушенную картину старейшего соотносительного употребления членных и нечленных форм прилагательных, отсутствие беспредложного употребления дательного и местного падежей в направительном значении и др., ср. также здесь вообще незначительную, но все же бóльшую долю лексического воздействия со стороны церковнославянского языка и т. п.

4. «Слово о полку Игореве» было сложено на юге, всего вероятнее в северской земле, в княжение самого Игоря. Из анализа лексики памятника следует думать, что автором «Слова» было лицо военного класса, дружинник Игоря. Автор «Слова» был близким лицом к самому князю, вместе с ним участвовал в княжеских потехах (соколиная охота и пр.), вместе с ним был живым участником и самого похода на половцев. Мировоззрение автора «Слова» было не новое, христианское, а дохристианское, с живой любовью к природе, с олицетворением ее сил, с опоэтизированным поклонением им.

5. «Слово о полку Игореве», являясь ценнейшим памятником русского литературного языка, как высочайшее художественное произведение, содержит богатый материал, относящийся к области русской стилистики. По особенностям стилистического характера, проявленным в памятнике с большой широтою, а в отдельных пунктах с поражающей цельностью, «Слово» обнаруживает свою несомненную связь с старыми источниками народно-поэтического жанра, а с другой стороны, преемственно связывается с лучшими образцами современного поэтического, народного и художественно-литературного творчества. Ср. в «Слове» как повествовательном памятнике обилие употребления аористических глагольных образований, в типе изложения — излюбленный прием сочетания цепи предложений без использования связывающих их союзов, в построении предложений — нередкое инверсированное положение подлежащего в отношении к сказуемому, ср. в «Слове», как в памятнике чисто художественном, обилие употребления причастий (действ. залога), особенности порядка слов в построении предложений — постпозицию прилагательных в отношении к своим определяемым, чередование в сцеплении предложений следования и подлежащего в сопровождении сказуемым и обратного порядка — сказуемого в сопровождении подлежащим, выдвижение вперед, в положение перед сказуемым, объекта, особенно прямого объекта, и обстоятельства, построение групп предложений, связанных единством целого, с сказуемым в исходе, в общем лексическом составе памятника таково преобладающее (сравнительно) употребление существительных и глаголов, в категории глаголов — обилие глаголов движения, заметное тяготение к использованию глаголов однократного действия, в общей лексике, охватывающей существительны е

прилагательные, глаголы,— обильный семантический круг слов с понятиями, относящимися к обозначению звуков и цветов.

6. Не может считаться основательным мнение о том, будто памятник в своем содержании дошел до нас далеко не в первоначальном виде. Текстуально, не считая известных «темных» мест в памятнике, он в своем целом, с уверенностью можно считать, сохранился в том виде, в каком был первоначально сложен. Лучшее свидетельство этого — в цельности сохранившихся в дошедшем, позднем, списке памятника многих черт архаического строя языка, характеризовавшего оригинал памятника. Памятник переписывался писцами с большою бережностью. Писцы особенно оберегали текст памятника, чтобы не нарушить его ритмичности. Ср. замечательное по своей цельности сохранение в тексте «Слова» напряженного слабого *ъ* во всех его положениях, ср. также правильное, согласное с состоянием старого русского литературного языка, отражение префиксов *въ-*, *възъ-*, *съ-* с сохранением в одних случаях и опущением в других случаях гласного в префиксе.

7. Еще менее правдоподобными и отвечающими современному состоянию разработки филологической науки должны считаться изолированные высказывания некоторых современных зарубежных исследователей-литературоведов, готовых вновь возбуждать вопрос о подлинности «Слова о полку Игореве». Подобный абстрактный скептицизм был понятен 100 лет назад при слабом уровне филологических знаний того времени. В настоящее время с успехами исследования в области истории русского языка, русской литературы, русской истории и т. п. нельзя отвлеченно «сомневаться» в подлинности источника, не опираясь на какие-то научные основания, которые оправдывали бы законность такого скепсиса. Язык «Слова о полку Игореве», язык с признаками старого строя, язык, вскрывающийся в поражающей цельности в отношении длинного ряда своих частных особенностей, должен служить непререкаемого значения материалом, достаточным для элиминирования всяческих предположений, клонящихся к заподозрению подлинности «Слова». Подобным же образом именно на основании языка «Слова» должна быть отметена продиктованная тем же бездоказательным скепсисом к подлинности памятника совершенно противоестественная мысль, недавно высказанная проф. Мазоном, о «Задонщине», памятнике начала XV в., сложившемся в явном подражании «Слову о полку Игореве», как о памятнике, напротив того, якобы послужившем именно базой для позднее сложившегося в подражание ему «Слова о полку Игореве».

Помимо многих чисто историко-литературных аргументов против этого взгляда, со всею красноречивостью ему противоречит норма языка «Слова о полку Игореве», языка цельного в своей системе и а р х а и ч е с к о г о по самому своему строю.

1939

ЯЗЫК ДОГОВОРОВ РУССКИХ С ГРЕКАМИ

Договоры русских с греками составляют замечательные, но вместе с тем и загадочные в разных отношениях памятники старой письменности. Значительность их содержания вызвала большой интерес со стороны различных исследователей. Но среди последних по большей части мы встречаем имена наших историков и историков права, также историков русской литературы, и меньше всего видим здесь лингвистов, историков языка. В последнем отношении собственно выдается одна крупная работа Н. А. Лавровского «О византийском элементе в языке договоров русских с греками» (1853 г.), исследование, выводы которого о неоригинальности, о переводном характере договоров составляют общепризнанное положение нашего времени.

В последние годы замечательная по сжатости, четкости и оригинальности выводов статья, посвященная договорам, написана акад. В. М. Истриным (Изв. ОРЯС, т. XXIX, 1924 г.). В этой статье, между прочим, подведены итоги всей предшествующей разработке вопроса о договорах. Итоги получились невелики. Кроме положения о греческой основе договоров, добытого, как замечено, еще в результате исследования Н. А. Лавровского, во всех прочих отношениях мы имеем еще неразрешенные проблемы. Такова проблема о реальности договоров, об их современности, о языке в собственном смысле договоров.

Как известно, договоры дошли до нас в составе Повести временных лет. Здесь они, в числе четырех, помещены под 907, 912, 945 и 972 гг., будучи отнесены к деятельности русских князей Олега (договор 907 и 912 гг.), Игоря (договор 945 г.) и Святослава (договор 972 г.). Однако текстуально из всех этих четырех договоров мы имеем лишь договоры 912, 945 и 972 гг. Что касается первого договора князя Олега, то летописец лишь от своего имени под 907 г. (после повествования, в преувеличенных красках, об удачном походе Олега на Константинополь) говорит об обстоятельствах заключения договора, попутно при этом сообщая эксцерпты самого договора в числе его семи пунктов. Далее в летописи под 908, 909, 910 гг. нет никаких сообщений; все содержание событий 911 г. исчерпывается сообщением о появлении на западе большой в виде копья звезды, и начинается повествование о событиях 912 г. приведением текста самого договора (912 г.) после короткой вводящей фразы об отправке Олегом послов своих, чтобы «построити мира и положити рядъ межю Русию и грекы». Что же перед нами — два самостоятельных договора, заключенных в 907 г. и вторично, в какой-то сложившейся новой обстановке, в 912 г.? Сама летопись в своем повествовании не дает фактических оснований для предположения двукратности заключения договора на протяжении этого короткого промежутка времени. Текстуально договор 912 г. не содержит никаких указаний на то, чтобы до него было заключено какое-нибудь договорное условие между Русью и Византией. С дру-

гой стороны, показательно полное отсутствие в тексте договора 912 г. тех статей, которые приведены в летописи под 907 г., между тем по своему содержанию они таковы, что не могли не быть обязательными элементами договора (это статьи о взимании послами «слебного», или гостями «месячины», также брашна и судного оборудования на обратный путь и т. д.), и действительно, все они вошли в позднейший договор 945 г. Необходимо, очевидно, согласиться с заключением академика А.А. Шахматова о том, что в действительности договора между Русью и Византией в 907 г. не было, и сообщение в летописи под этим годом о заключении договора с приведением отдельных его статей обязано целиком домыслу летописца, по своему разумению связавшего в своем повествовании факты удачного похода русских в Византию 907 г. и заключения между ними договора. Самый акт заключения договора и выработка соответственного текста договора, очевидно, имели место позднéе, т. е., считаясь с свидетельством летописи, принадлежали 912 г. Но был ли этот договор, договор 912 г., реален? Дело в том, что текст этого договора по содержанию входящих в него статей во многих пунктах одинаков с договором 945 г., содержащим в себе, как отмечено выше, и статьи, помещенные в летописи под 907 г. Но эта близость содержания не может служить основанием к тому, чтобы заподозрить истинность договора 912 г. Вполне возможно, и это само по себе было бы понятно, что содержание позднейшего договора должно было считаться с соответственным актом договорного соглашения предшествующего времени и в известной мере исходить из него, повторно используя из него те пункты, которые не утратили со временем своей актуальной силы. Этим должно объяснять близость постатейного содержания договоров 912 и 945 гг. Оба договора вместе с тем содержат в себе ряд признаков внешних и внутренних различий, заставляющих видеть в них два раздельных юридических акта. Договор 945 г. имеет ряд статей, отсутствующих в договоре 912 г. (напр., о военной помощи русских, о мерах против черных болгар, об обеспечении условий рыбной ловли для корсунян у Днепровского устья, о возбранении военных действий в Корсунской области и др.), или иную формулировку отдельных статей и под.; с другой стороны, не все статьи договора 912 г. вошли в состав договора 945 г. Все эти различия обоих договоров, как, с другой стороны, и их связь, естественны и понятны сами по себе. Обращает на себя внимание троекратная ссылка договора 945 г. на предшествующий договор по формуле «якоже уставлено есть (преже)». Первая соответственная ссылка относится к статье, предоставляющей русским право посылать в Византию корабли с послами и гостями, вторая ссылка относится к пункту об обеспечении возвращающихся обратно в Русь русских пищей и ладейным снаряжением, в третьем месте говорится об обязанности греков, «как положено прежде», уплачивать две паволоки за бежавшего русского челядина в том случае, если бы он не был разыскан в Греции. Что же это за прежнее установление? Это, конечно, соответствующие статьи предшествовавшего (договору 945 г.) договора,

т. е. договора 912 г. Но в тексте этого договора, 912 г., как раз нет этих статей. Однако из трех приведенных пунктов для двух первых находятся подходящие места в изложении летописца под 907 г. Только для третьего места ссылки договора 945 г. на прежнее установление не находится подходящего контекста в договорах и 907, и 912 гг. Мы должны на основании всего этого сделать вывод, к которому в свое время пришел еще Сергеевич (Ж. М. Н. Пр., 1882, январь, стр. 92), о том, что в контексте договора 912 г. перед нами фактически договор неполный. Первоначальный текст этого договора был сокращен летописцем и за счет отдельных его статей, перенесенных им в повествование под 907 г., и в ряде иных мест. Ср. по изданию «Повести временных лет» акад. А. А. Шахматова содержащееся в тексте договора одно лишь заглавие статьи «о възимающихъ куплю Руси», без самого содержания статьи, и другие испорченные места в тексте договора.

Что касается договора 945 г., то и в его контексте с давней поры наблюдена несогласованность в изложении статей — в начале и в конце договора от имени Руси, в срединной части, т. е. собственно в договорных статьях, от лица Византии. В объяснение этого факта еще Гедеоновым высказано предположение о наличности у переводчиков договора двух разных его оригиналов — одного, содержавшего текст договора, шедшего от русских к грекам, и другого, напротив, исходившего от греков к русским, причем под рукою переводчиков произошла указанного вида компоновка обоих оригиналов. Ср. в связи с этим именно в тексте договора 945 г. изобилующие случаи смешения слов «наш», «ваш», «нам», «вам» и под., легко объясняющиеся из соединения в тексте двух противоположных по отправной линии изложения оригиналов договора.

Договор 972 г., заключенный Святославом после его неудачного выступления против Византии, сам по себе сжатый, скупо в своем содержании оформленный именно по причине свежих впечатлений от неудачи похода Святослава, вообще не вызывает сомнений ни в отношении своей реальности, ни в отношении своего содержания и формы.

В указанной статье акад. В. М. Истрин впервые заострил внимание на вопросе об отношении дошедших текстов договоров, точнее сказать — их перевода, ко времени собственно заключения отдельных договорных актов, также на вопросе о том, что же был за язык, на который переведены были эти договоры. Оба эти вопроса в предшествующих исследованиях не были поставлены в прямой своей форме. С одной стороны, вообще лингвистическое изучение договоров, как отмечено выше, было незначительным. С другой стороны, этих вопросов не возникало ввиду общей недостаточности разработки самого русского языка и истории русского языка, при которой, напр., отсутствовало в научном обороте четкое представление как различных понятий — понятия русского и славянского языка в отношении к старшей поре и под. В таком положении вещей естественно, что отдельные исследователи, попутно затрагивая во-

прос о времени написания договоров и о языке, на который они были переведены, обычно высказывались, не приводя особых доказательств, в пользу предположения современности перевода договоров реальным актам договоров и в пользу болгарского языка, как языка их переводов. По предположению акад. А. А. Шахматова, в летопись договоры впервые были включены Нестором, нашедшим их в княжеском книгохранилище и использовавшим в своем труде по составлению Повести временных лет, следовательно, в начале XII в. Неясным при этом остается вопрос, в каком виде, по представлению акад. А. А. Шахматова, содержались договоры в княжеском книгохранилище, были ли это греческие оригиналы или уже сделанные ранее с них переводы. Акад. В. М. Истрин, не находя в тексте дошедших договоров таких данных, которые убедительно свидетельствовали бы о разновременности сделанных их переводов, или черт, которые позволили бы отнести перевод ко времени заключения самых договоров, напротив, усматривая в отдельных местах порчи текста договоров указание на то, что перевод их производился поздно, когда само содержание договоров уже было чем-то забытым и непонятным, что и сделало возможным появление в переводе искажений,— заключил об общем одновременном и вместе с тем позднем переводе договоров — во второй половине XI в. Это была пора, по мысли акад. В. М. Истрина, первоначального составления у нас хронографа. В нем византийская история, составленная по хронике Георгия Амартола, была продолжена событиями русской истории, начиная с 852 г. Сюда, наряду с прочими источниками, были включены и договоры, на сей предмет переведенные в том же литературно-переводческом кружке, организованном деятельностью Ярослава Мудрого, в котором производилось составление хронографа, которому принадлежал и ряд иных переводов византийских памятников. Так, разрешая вопрос о времени перевода договоров, акад. В. М. Истрин соответственно считал язык, на который были переведены договоры, нормальным русским литературным языком того времени, тем же, которым писалась и вся летопись, т. е. это был церковнославянский язык, но воспринявший в себя известные, иногда в большей, иногда в меньшей мере, в зависимости от характера памятника, черты русского языка. Таким образом, в разрешении акад. В. М. Истриным вопроса о времени и языке перевода договоров перед нами тот же основной его взгляд, что и в его оценке происхождения ряда иных переводных произведений старой нашей письменности вроде хроники Георгия Амартола и др.

Изучение языка договоров представляет большие трудности. Перед нами произведения по происхождению X—XI вв., но представленные списком для двух договоров 945 и 972 гг., лишь последней четверти XIV в., так наз. Лаврентьевским списком летописи 1377 г., этим старейшим из летописных списков, содержащих Повесть временных лет; для двух же остальных договоров приходится пользоваться списками еще более поздними — XV в. Таким образом, от периода первоначального появления договоров до вре-

мени старшего, свидетельствующего о них, списка оказывается промежуток в 300—400—500 лет. Понятно, что в дошедших списках XIV—XV вв. не могли сохраниться фонетические черты его первооригинала; должны были за этот промежуток времени стереться и многие морфологические особенности основного оригинала договоров. Но теоретически можно ожидать наличности известных черт из области лексики и синтаксиса, по которой из данных списков XIV—XV вв. представима была бы первоначальная соответствующая картина словарных и синтаксических особенностей языка договоров. В этих направлениях — главным образом лексики и синтаксиса, и в малой степени — морфологии — сосредоточено мною изучение языка договоров. Результаты сделанных соответствующих наблюдений представляются в следующем виде.

В области склонения можно отметить несколько форм дат. ед. числа одушевленных имен существительных на *-ови* (*-еви*): ко цр̃е*ви* вашему (рядом — ко цр̃ю вашему) — договор 912 г., къ великому князю русскому Игоре*ви* — договор 945 г., к вамъ Лво*ви* и Александро*ви* и Костянтину — договор 912 г. Здесь можно усматривать след прямого или косвенного воздействия живой южнорусской, по терминологии акад. А. А. Шахматова, стихии на первоначальный текст договоров.

В области глагольных образований следует отметить наличность в договоре 945 г. формы имперфекта. Форма встречается здесь два раза: яко мы *свѣщахомъ* напсахомъ... 185; *ношаху* сли печати злати 56. Этот факт употребления имперфективных форм может служить общим показателем принадлежности договоров старой стадии жизни книжного русского языка.

Аорист в тексте договоров встречается относительно очень часто: *договор 912* — и таковое написание *дахомъ*... 146; мы же *кляхомся* ко цр̃ю вашему 142; и гостие (аще) *погубиша* челядинъ и жалують... (Шахматов исправляет: погубивъше) 120; (и) отдасть тое еже *смѣ* створити 72; мир *сотворихомъ* Ивановым написаниемъ 137; многажды право *судихомъ* 21; *договор 945* — мы же... *кляхомъся* цр̃квью стго Ильѣ 187; мы же съвѣщанье (Лавр.: -ньемь) се (Лавр.: есе) *написахомъ* на двою харатью 177; яко мы свѣщахомъ *напсахомъ* (на) харатью сию 187; и гостье да приносять (Лавр.:-ить) грамоту пишюче сице яко *послахъ* корабль селько 61; и великий князь нашъ Игорь... и людье вси рустии *послаша* ны 37; и да будеть клятъ от б̃а и от Перуна яко преступи свою клятву 206; *договор 972* — се же имѣите во истину яко же *створихъ* нынѣ къ вамъ (и) *написахомъ* на харатьи сеи и своими печатьми *запечатахомъ* 29; якоже *кляхъ ся* ко цр̃мъ гречьскимъ 21.

Это частое употребление аористических форм особенно обращает на себя внимание ввиду того, что здесь соответственно оказываются редкими по употреблению формы перфекта: в договорах 907 и 972 гг. их совсем нет, в договоре 912 г. имеется лишь одна форма — сутѣ якоже нѣ (Ш.: яко понеже) мы *ся имали* о б̃жьи вѣре и о любви

главы таковыя 25, в договоре 945 г. их 4 случая — нынѣ же *увѣдѣлъ есть* князь нашь... 57, мы же елико насъ *хрти̃ли ся есмы* кляхомъ ся 187, и елико ихъ крщ̃нье *прияли суть* да приимуть месть... 44, и аще створить (то же) грьчинъ русину да прииметь ту же казнь якоже *приялъ есть* и онъ 112. Можно вспомнить в связи с этим, что в Русской правде, памятнике по сложению начала XI в., картина оказывается диаметрально противоположная: здесь совершенное отсутствие имперфективных форм, ничтожное количество аористических форм, которыми позволительно пренебречь, но соответственно почти сплошное пользование формами перфекта. Такое расхождение между памятниками, однородными по типу представляемого ими делового стиля языка, можно объяснить либо общим болгарским происхождением договоров, либо, признавая перевод договоров русским, предположением старейшинства по происхождению договоров сравнительно с Русской правдой, либо различиями социальных пластов, в недрах которых слагались, с одной стороны, тексты договоров, с другой стороны, Русская правда (в первом случае — переводные памятники с отражением языка верхнего слоя старых книжников, во втором случае — оригинальный русский памятник, выросший в среде служилого среднего класса). Но правильнее считаться с возможностью совместного действия всех указанных факторов, именно в своем соединении давших столь разную характеристику по указанной черте договоров, с одной стороны, Русской правды —с другой.

Любопытно различие договоров и Русской правды в пользовании формами будущего простого. В договорах обычно образование этих форм сложением с глаголом *буду*. Употребление иных форм будущего времени, соединением с иными видами вспомогательного глагола, здесь совершенно спорадично. Таковы две формы в договоре 912 г. — а емуже *начнуть* не *ати* вѣры... 42, аще украденъ будеть челядинъ рускыи... и *жаловати начнуть* Русь 117, и один случай в договоре 945 г. — аще ли *хотѣти начнеть* наше цр̃тво от васъ вои... 172. В Русской правде, напротив, именно формы будущего простого с глаголом *буду* являются спорадическими, уступая место, как норме, образованиям с иными вспомогательными глаголами, обычно с глаголом *начати*. Перед нами воздействие тех же факторов и, в частности, то же свидетельство разных социальных слоев, из которых произошли эти оба вида памятников.

Из области морфологии можно еще отметить единично представленную текстом договора 912 г., книжную, можно сказать, болгарскую форму *створшии* (да повинни будуть то *створшии* 96); в прочих случаях обычны в договоре соответствующие образования на *-ив(ъш)* (*погубившаго* 66, *сотворивыи* 48, 33, 58, *уря(ди)въ* 124).

Возвратные глаголы в договорах обычны в форме, при которой *ся* непосредственно следует за соответствующей невозвратной формой глагола. В двух только случаях в договоре 912 г. попадаются примеры с раздельным, притом препозитивным, употреблением *ся*— суть якоже мы *ся имали* о б̃жьи вѣре и о любви главы таковыя 25,

а о главахъ иже *ся ключить* проказа урядим(ся) сице 39. В Русской правде наблюдается относительно широкое употребление возвратной частицы *ся* при глаголах в свободном виде и препозитивно и постпозитивно.

В числе синтаксических черт следует отметить общую правильность выражения категории двойственного числа в показаниях договоров (912 и 945 гг.), как она и теоретически ожидается для старшей стадии языка.

Прямой объект в случаях выражения категориями слов муж. рода с значением одушевленности может означаться в договорах формой винительного падежа: *договор 912* — и гостие (аще) погубиша *челядинъ* 120; или мниться над *нь* челядинаа цѣна 103; да поимуть (*и*) в Русь 119; *договор 945* — в паволоцѣ за *челядинъ* 102; аще ли кто ускочить *челядинъ нашь* къ вамъ 104; аще ускочить *челядинъ* от Руси по *не* же (=по *нь* же) придуть в страну цр̃твия вашего и от стго Мамы аще будеть да поимуть *и* 96, 122, 124, да убьють *и* 96, 105, 157. Но есть и пользование в соответствующих случаях формой родительного падежа: *договор 912* — хотя почти(ти) *цр̃я вашего* 107; *договор 945* — *ненавидящаго* добра *враждолюбца дьявола* разорити от многъ лѣтъ 34; да ищють *его* дондеже обращются 161. Это пользование не винительным, а родительным падежом обязательно в тех случаях, когда во фразе и субъект и объект, выраженные именем или местоимением муж. рода, притом в значении одушевленном, находятся или рядом, или поблизости один от другого. Напр., в *договоре 912* — аще кто убьеть или *хрестьанина* русинъ или хрестьянинъ *русина* 46, в *договоре 945* — аще ударить мечемъ ... русинъ *грьчина* или грьчинъ *русина* 165, аще убьеть хс̑янинъ *русина* или русинъ хс̑янина 154; ср. еще в том же договоре —аще ли от нея взыщеть кто что ли *чл̃ка* поработить 139. Отмечу один случай во фразе договора 912 г.— мы Русь допроводимъ *ихъ* (т. е. лодки) поздорову 116; здесь внешняя связь контекста требует под *ихъ* разуметь «лодки», но, очевидно, писавшие или переписывавшие договор имели в виду под «*ихъ*» живых владельцев лодки, почему и оказалась здесь в употреблении форма родительного падежа. Общая картина употребления родительного-винительного падежа прямого объекта от одушевленных существительных или местоимений в тексте договоров, как видно, неровна. Но материал не дает возможности определить, что в этой неровности принадлежит позднейшим писцам договоров и что первоначальному их тексту. Мог бы и вообще встать вопрос, не была ли в основном тексте договоров всюду налицо (исключая тип — аще убьеть хрестьянин *русина*) лишь форма винительного падежа. Ср. подобное свидетельство в показаниях текста Русской правды.

Употребление членных и нечленных форм в категории склоняемых слов по данным договоров носит вообще признаки древности. В функции чисто определяющей прилагательные, как норма, упот-

требляются в членной форме. Отступления здесь вообще редки. В нечленной форме прилагательные употребляются: а) притяжательные или местоименного происхождения — о *бжьи* вѣре 912, на землю *чюжю* 912, *црву* мужю 945, сынъ *Игоревъ* 945, *скотья* ба 972, и под.; б) в функции второго члена сказуемого — да аще есть *домовитъ* 912, аще есть *неимовитъ* 912, да *повинни* будуть 945, да будеть *повиненъ* 945, будеть *достоинъ* 945, *достоино* есть 945, аще будеть *имовитъ*, аще ли есть *неимовитъ* 945, аще ли будеть *старъ* 945, и азъ буду *противенъ* ему 972; в) прилагательные в положении после местоимения — да проводимъ ю (т. е. лодку) сквозѣ всяко *страшно* мѣсто 912, аще кто... явѣ возметь что любо *дружне* 912, а еже что принеслъ будеть все *цѣло* 945; г) могут в нечленной форме употребляться прилагательные, стоящие в постпозитивном положении в прямых падежах — любовь *непревратну* и *непостыжиму*, любовь *непреложну* 912, аще будеть уноша или дѣвица *добра* 945, ношаху сли печати *злати* и гостье *сребрени* 945, а некрщении Русь полагають щиты своя и мечѣ своѣ *наги* 196, ни на страну *болгарьску* 972. Отклонений в договорах от этой приведенной нормы всего два случая—да жалують *хртьяньску* цртву 912, и от *многъ* лѣтъ 945. Первый случай, собственно, может не считаться отступлением от нормы, так как здесь прилагательное имеет значение притяжательное. Второй пример — от *многъ* лѣтъ — не вполне ясен; ср. в договоре 912 г. чтение — от *многихъ* лѣтъ 14. Все сочетание в целом составляет переводный грецизм, и возможно употребление здесь нечленной формы объяснить результатом внешнего воздействия греческого оригинала. Отмечу в области местоимений колебания в договоре 912 г. форм *такъ* и *такыи*— *такую* любовь 19 и *таку* любовь 35, о *тацѣхъ* явленияхъ 42; здесь же при обычной членной форме местоимения *таковыи* (7 случаев) один раз попадается нечленная форма — идеже аще ключиться *таково* 135. В тексте договора 945 года последнее местоимение вообще отсутствует, местоимение же *такъ* и под. здесь употребляется лишь в нечленном виде — *кацѣмь* любо оружьемъ 164, увѣдять ины страны *каку* любовь имѣють грьци съ Русью 176, ци аще ключится проказа *никака* от грекъ 151, иже помыслить от страны руския разрушити *таку* любовь 44. Причастия с чистым определительным значением и в соответствующем препозитивном положении постоянно употребляются в договорах в членной форме. Только по одному случаю в договорах 945 и 972 гг. встретилось нарушение этой нормы — кляхомъся ... *предлежащемъ* чтнымъ крстомъ 188, хочу имѣти миръ и *свершену* любовь съ... 9. Ничто не препятствует эти формы, за их единичностью, признать формами, обязанными переписчикам, и не возводить их к основному оригиналу договоров. Причастия в нечленной форме постоянны в функции второго члена сказуемого как при связочных глаголах (напр., в формах страдательного залога), так и в соединении с глаголами иного типа. Ср. из случаев последнего типа в *договоре 912 г.*— да *пребываеть* тяжа отоле *невзыскаема* 62, *продаемы бываютъ* по... 114, в *договоре 945 г.*— иже *посылаемы*

бываютъ от нихъ... 59, аще украденное *обрящется продаемо* 117. В нечленной же форме обычно употребление причастий в постпозитивном положении: *договор 912 г.* — любовь *непревратну* и *непостыжиму* 34; *договор 945 г.* — а иже преступить се от страны нашея ли князь или инъ кто ли *крщнъ* или *некрщенъ* 192, аще обрящють Русь кубару *въвержену* на коемь любо мѣстѣ 137, аще обрящють... Русь корсуняны рыбы *ловяща* 143, аще ли *обрящются* Русь *работающе* у грекъ 126. От этой нормы, однако, есть отступления. В договоре 907 г. причастие в препозитивном положении содержится в нечленном виде — *приходяще* Русь да витають у стго Мамы. В этом случае, однако, следует предполагать подновленную искусственную форму причастия, так как именно в договоре 907 г., в отличие от последующих договоров, в данном типе почти адвербиального употребления причастной формы здесь нормальна форма на *-чи*: *поидучи* Русь (домовь) ... да емлють..., да *приходячи* Русь слебное емлють, елико *хотячи*, а иже *приходячи* гостие... емлють мѣсячину; ср. еще исправленное по Ипатьевскому и другим спискам место — да творять куплю... не *платяче* мыта ни в чем же (в Лаврентьевском списке очевидная порча текста: *платити*). Имеются, и в относительно большем количестве случаев, отклонения обратного типа — с употреблением причастий в постпозитивном положении в членной форме: *договор 912* — равно другаго свѣщанья *бывшаго* при... 4, удержати и извѣстити такую любовь *бывшюю* межи... 19; *договор 945* — равно другого свѣщанья *бывшаго*... 8, да аще ключится проказа никака оть грекъ *сущих* подъ властью цртва нашего 151; *договор 972* — о тѣхъ самѣхъ *прежереченыхъ* 23. Эти отклонения, однако, как видно из приведенного контекста, искусственны и происхождением своим обязаны базе греческого оригинала с употреблением в нем в соответственных местах члена. Любопытно колебание в показаниях договоров 912 и 945 гг. следующего места: мы... иже *послани* отъ Олега — в первом договоре; во втором же договоре, в аналогичном контексте, употреблена членная форма причастия — мы... *послании* от Игоря. Здесь, можно думать, перед нами иллюстрация двух разнородных течений, одного, отправлявшегося от указанной русской нормы соответственного употребления членных и нечленных причастных форм, и другого (контекст договора 945 г.) — искусственного, продиктованного греческим оригиналом.

Причастия, употребляющиеся в современном адвербиальном значении, имеют в договорах нечленную форму. При отношении к субъекту в ед. числе причастие оканчивается на *-я* (наст. вр.) и *-въ* (прош. вр.), соединяясь с подлежащим, выраженным собирательным именем или именем существительным в форме мн. числа, причастие оканчивается соответственно на *-ще* и *-(в)ше*: *договор 907* — *приходяще* Русь да витають у стго Мамы; *договор 912* — и ятъ будеть таковыи и възвращенъ будеть не *хотя* в Русь 133, наша свѣтлость... многажды право судихомъ... *кленшеся* оружьемъ своимъ 22, аще ли есть неимовить сотворивыи убои и *убѣжавъ* да держиться

тяжи 53, аще кто умреть не *уря(ди)въ* своего имѣнья 124; *договор 945 — входяще* же Русь въ градъ (да не творять пакости) 85, и ти *принимающе* харатью на роту идуть 183, аще ли *убѣжавше* в Русь придуть 68, а опроцѣ да на роту ходить по своеи вѣре яко не *имѣя* ничтоже 171. В одном случае — наша свѣтлость болѣ инѣх *хотящихъ* еже о бзѣ удержати... 18 — в приведенном чтении Лаврентьевского списка причастная форма ошибочно согласована с соседней местоименной формой инѣхъ; в основном оригинале, конечно, стояла форма *хотяще* (не *хотящи*, как ее восстанавливает Шахматов).

Обращает на себя внимание отмеченная выше черта договора 907 г. с употреблением здесь причастных форм в адвербиальном значении не на *-ще*, а на *-чи* (при отношении к субъекту, стоящему во множ. числе или выраженному собирательным именем). В тексте договора 912 г. подобные формы отсутствуют. В договоре 945 г. встречается одна данного типа форма — и гостие да приносять грамоту *пишюче* сице 60. Судя по тому, что обилие этого типа форм характеризует лишь договор 907 г., который не есть собственно договор, а лишь изложение отдельных договорных пунктов от лица летописца, можно думать, что все эти формы на *-че*, *-чи* не содержались в основном тексте договоров, а принадлежали позднейшей руке летописца, позволившего себе в непосредственном изложении от своего имени договора под 907 г. широко воспользоваться этими формами, в прочих же договорах оставившего текст вообще в нетронутом, имевшемся от прежней поры, виде.

Причастия входят еще в состав оборота дательного самостоятельного. Здесь они, употребляясь препозитивно, согласно с отмеченной выше нормой для стоящих препозитивно адъективных и причастных образований, постоянны в членной форме:

договор 907 — да запрѣтить князь сломъ своимъ *приходящимъ* Руси здѣ да не творять пакости въ селѣхъ въ странѣ нашеи; *договор 912* — многажды от коеа любо страны *пришедшимъ* Руси и *продаемымъ* в хрестьяны III (в Лавр. списке порча в тексте: множаиши... в Русь...); *договор 945 — приходящимъ* имъ да витають у стго Мамы 74, *отходящеи* Руси отсюда взимають от насъ еже надобѣ 91.

Из иных синтаксических явлений следует отметить нормальное согласование в договорах по мн. числу существительных собирательных, в частности слова *Русь*. Ср. *договор 907* — да приходячи Русь слебное *емлють*, *приходящимъ* Руси здѣ...; *договор 912* — си вся да *створять* Русь грекомъ 134, о *взымающихъ* куплю Руси 129; *договор 945* — аще *придуть* Русь бес купли да не взимають мѣсячна 70 и мн. др. Отклонения здесь очень немногочисленны, отчасти сомнительны, отчасти явного позднего происхождения на почве позднейших списков договоров. Ср. в примере из договора 945 г. — *отходящеи* Руси отсюда *възимають* от нас... 90 — разноречивое согласование причастной формы *отходящеи* со словом Русь по ед. числу, но глагола *възимають* по правильной норме — по мн. числу. В этом же договоре читается фраза: *аще обрящеть* в вустье Днѣпрьс-

комь Русь корсуняны рыбы ловяща 141. Это чтение Лаврентьевского списка. Но в показаниях Радзив. и Акад. списков содержится форма *обрящють* (вм. *обрящеть*), очевидно, восходящая к первооригиналу. Можно еще привести один случай в договоре 972 г. — и со мною боляре и Русь *вся* 22; но здесь возможно ожидать местоимение и в форме ед. (*вся*) и в форме мн. (*вси*) числа. Большое число случаев нормального употребления в соединении со словом Русь мн. числа (свыше 20 примеров) при этом ничтожном количестве кажущихся нарушителей нормы позволяет предполагать выраженное в основном оригинале договоров употребление во всех подходящих случаях мн. числа.

Всем договорам свойственна черта с повторением одинаковых союзов или одинáковых предлогов при однородных членах предложения: *договор 907* — да емлють хлѣбъ *и* вино *и* мясо *и* рыбы *и* овощем, да емлють брашно *и* якори *и* ужа *и* парусы *и* елико имъ надобе; *договор 912* — к вамъ Львови *и* Александрови *и* Костянтину 11, *по* вѣре и *по* закону нашему 24, *о* хр̑тьанехъ *о* полоненыхъ 112, и др.; *договор 945* — послании *от* Игоря великого князя рускаго *и от* всякого княжья *и от* всѣхъ людии руския земли 30, створити любовь *съ* самѣми цр̑и *со* всѣмь болярьствомъ и *со* всѣми людьми гречьскими 41 и др.:, *договор 972* — хочю имѣти миръ и свершену любовь *с*... великимъ цр̑мъ гречьскимъ *съ* Васильем и Костянтиномъ и *съ* бо̑дохновеными цр̑и и *со* всѣми людьми вашими 9 и др.

Связь предложений во всех договорах выражается в духе памятников старой болгарской письменности. Во всех договорах обычны союзы *аще*, *аще ли*, *ако*, *ако же*, *елико*, или еще, по договорам 912 и 945 гг.,— *дондеже*, *егда*, *не точию*, *но и*. Отмечу в договоре 912 г. как грецизм союз *еже* в сочетании с инфинитивом — *еже* о бозѣ удержати 18. В договоре 945 г. единично союз *еже* встречается в условном значении — и *еже* что принеслъ будеть... 106. Здесь же дважды встречается союз *оже*, в этой русской внешней огласовке, с временным значением — и от тѣхъ да увѣмы и мы *оже* съ миромъ приходять 62, а о сихъ *оже* то приходять чернии болгаре... 147. Интересно усилительно-противительное *ти* и *ци*, известное договорам 912 и 945 гг.: в первом договоре — *ти* аще ключится... 87, аще кто умреть не уря(ди)въ своего имѣнья *ци* своихъ не имать... 125; в договоре 945 г. *ти* аще будеть уноша или дѣвица добра... 121, а опроцѣ да на роту ходить по своеи вѣрѣ... *ти* тако пущенъ будеть 171, *ци* аще ключится проказа никака от грекъ 150, *ци* аще ударить мечемь или... 163. По-видимому, в этой черте можно усматривать русскую особенность в тексте договоров. В договоре 912 г. употребляется *иже* в функции союзного слова без согласования с соответственно определяемым — да кленется часть та *иже* ищеть неятью вѣры 43 (в своем восстановлении Шахматов исправляет на яже), да часть его сирѣчь *иже* его будеть по закону да возметь ближнии убьенаго 50; это *иже* обязано греческому тексту, ср. аналогичный еще пример из того же договора — мы же кляхомъся ко цр̑ю вашему *иже*

от бā суща 142 (в исправлении Шахматова: сущю). Отмечу еще из того же договора *иже* в чистом союзном значении, подобном выше указанному *еже*: а о главах *иже* ся ключить проказа урядим(ся) сице 39.

Из особенностей управления в тексте говоров, обязанных в своем большинстве греческим оригиналам, можно отметить употребление *отъ* после глаголов в форме страдательного залога: мы... иже послани ѿ Олга, мы... послании *от* Игоря — договоры 912 и 945 гг., иже посылаеми бывають *от* нихъ (посли) и гостье — договор 945, да покажется таковое *от* челядина — договор 912, да держимъ будеть створивыи убийство *от* ближнихъ убьенаго — договор 945. Глагол *клятися* управляет дательным падежом лица в соединении с предлогом *къ*: мы же *кляхомъ ся ко* цр̃ю вашему — договор 912, яко же *кляхъся* ко цр̃мъ гречьскимъ — договор 972. У этого же глагола согласно тексту договора 945 г. оказывается двойное управление с творительным падежом вещи и с местным падежом в соединении с предлогом *о*: да *кленутся о* всемь яже суть написана на харатьи сеи 197, *кляхомъ ся цр̃квью* с̃тго Ильѣ 187. Глагол *воевати* сочетается с местным падежом при помощи предлогов *на* и *въ*: да *воюеть на* тѣхъ странахъ — договор 945, *воюеть въ* странѣ — договор 945. Глагол *сътворити* в договоре 972 г. сочетается с дательным падежом лица в соединении с предлогом *къ* — се же имѣите во истину яко же *створихъ* нынѣ *къ* вамъ 29.

Бессубъектные предложения в договорах представлены в относительно большом числе и обнимают следующие типы:

а) относительно-бессубъектные предложения с глаголом, выраженным формою 3 лица мн. числа: и после(ть) цр̃ство наше и да *испишуть* имена их и тогда возмуть мѣсячинное свое — договор 907; в договоре 945 г. — а отходячи (с) посломъ цр̃тва нашего да *допроводять* к великому князю рускому Игореви и к людямъ его 180; особенно интересен здесь следующий случай: а иже преступить се... да не *имуть* помощи от бā 191, — Радзив. и Акад. список дает здесь чтение имать, т. е. глагол в личной форме, представляя соответственно личную конструкцию предложения;

б) те же предложения с глаголом в форме 3 л. ед. числа: имеется единичный пример в договоре 912 г. — да продають рухло моя ладьи и аще что *можеть* продати от ладьи ... 90.

в) бессубъектные предложения с глаголом возвратного и невозвратного типа, выраженным формою 3 л. ед. числа: *договор 912 г.* — аще *лучится* кому... 94, жена убившаго да имѣеть толицѣм же *пребудеть* по закону 52; *договор 945 г.* — аще ли *ключится* украсти русину от грекъ 113, *достоить* ему да возьметь цѣну свою 129;

г) те же предложения при страдательном обороте — яко же *речено есть* — договор 912, от тѣхъ *заповѣдано* обновити ветхии миръ — договор 945, яко же имъ *уставлено есть* — там же (3 сл.), *писано* при Фефеле синкеле — договор 972;

д) бессубъектные предложения, выраженные формой прилагательного со связкой: в договоре 945 г. — яко имъ *любо* тако створять, *достоино есть* да възворотити е;

е) бессубъектные предложения, выраженные формою инфинитива: договор 912 г. — да опроцѣ да ротѣ ходить своею вѣрою яко никакоже иному *помощи* ему 61;

ж) бессубъектные предложения при наречиях: *договор 907* — елико имъ *надобѣ*, яко имъ *надобѣ*; *договор 912 г.* — да елико *явѣ будеть* 40, елико ихъ *придеть* 108; *договор 945* — и да творять куплю яко же имъ *надобѣ* 82, и... взимают от насъ еже *надобѣ* брашно на путь и еже *надобѣ* лодьямъ 91, *елико же есть* городовъ на тои части 131, да дамъ ему *елико* ему *будеть требѣ* 136; *договор 972* — *елико есть* под властью гречьскою 16, *елико есть* городовъ ихъ 17.

Наибольший интерес в исследовании языка договоров представляет исследование их лексики. Договоры являются безусловными памятниками переводного, с греческого языка, происхождения. В этом смысле результаты, к которым пришел в свое время Лавровский, должны признаваться бесспорными. В своем исследовании Лавровский отметил значительные пласты в тексте договоров, которые должны рассматриваться как слой, обязанный греческой основе этих памятников. Наше время, благодаря последовавшей вслед за деятельностью Лавровского разработке русского языка, в состоянии указать тем больший слой грецизмов в тексте договоров сравнительно с тем, как вскрыт он был исследованием Лавровского. Грецизмы договоров содержатся и в чертах синтаксического характера и в особенностях лексики договоров. Грецизмы свидетельствуются текстом всех, дошедших до нас, договоров. Поэтому все договоры должны признаваться как переведенные с греческого оригинала дипломатические акты. Для иллюстрации можно указать на следующие факты.

В области лексики из договора 907 г. можно отметить слово купля и в значении предмета торга (аще приидуть Русь бес *купли* да не взымають мѣсячины) и в смысле торга вообще (да творять *куплю* яко же имъ надобѣ), ср. греч. πραγματεία; сочетание *цр̃ство наше* в смысле «царь наш» (и после(ть) *цр̃ство наше* и да испишуть имена ихъ и тогда возмуть мѣсячинное свое),— то же в договорах 912 и 945 гг., сочетания *творити* куплю, мовь, не *творити* пакости,— то же в договорах 912, 945 гг.

Особенно много грецизмов лексического характера в договоре 912 г.: глава в значении деления, раздела чего-либо (суть о бж̃ьи вѣрѣ и любви *главы* таковыя 26; от уставленныхъ *главъ* мира и любви, и др.), греч. κεφάλαιον, κεφαλή; изволение (да любимъ друг друга от всеа душа и *изволениа* 28, елико наше *изволение* 29); извѣща(е) ние (на *извѣщание* межи вами бывающаго мира 149, на удержание и на *извещение* от многихъ летъ межи хрестианы и Русию бывшюю любовь 19), ср. здесь же *извещати* любовь, в договоре 945 г. — *извѣстити* любовь; искусъ в значении истязания, пытки (аще кто от

крт҃ьянъ или от Руси мученья образомъ *искꙋ* творить 74), ср. греч. πεῖρα; любовь в значении мира, мирного договора=греч. ἀγάπη (суть...о *любви* главы таковыа 26, не преступити намъ... от уставленыхъ главъ мира и *любви* 146, и др.), то же в договорах 945 и 972 г.; написание, писание в значении грамоты= греч. γράμμα (и таковое *написание* дахомъ цр҃ства нашего 146, исповѣдаемую и *написаниемъ* со клятвою извѣщаемую любовь 34, многажды право судихомъ... и *писаниемъ* и клятвою твердою 22), ср. в договоре 945 г. слово *грамота*, отсутствующее здесь, в договоре 912 г.; равно в значении списка = греч. ἴσον (*равно* другого свещанья), то же в прочих договорах 945 и 972 гг.; рука в выражении руку, руцѣ дати — в смысле «подчиниться», встречается в договорах 912 и 945 гг. (аще *дасть руцѣ* свои украдыи да ятъ будет тѣмъ же у него же будеть украдено — договор 912 г., аще ли *руку* не *дадять* и противяться да убьени будуть —договор 912 г.); самодержець (великимъ о бз҃ѣ *самодержьцемъ*, црмъ греческымъ 13); наша светлость в отношении к царю = греч. περιφάνεια, также свѣтлыи как эпитет князей=греч. περιφανέστατος, λαμπρότατος (напр., наша *свѣтлость* ... многажды право судихомъ 19, подъ рукою *свѣтлаго* кнзя нашего 38, и др.); в прочих договорах нет этих слов; свѣщание в значении договора = греч. συμβόλαιον (равно другого *свещанья*), то же в прочих договорах 912 и 945 гг.; удержание = греч. ἐποχή (на *удержание* и на извещение); языкъ в значении народа = греч. ἔθνος (по закону *языка* нашего 153), то же в договоре 972 г. (ни сбираю вои ни *языка* 14). Среди имен прилагательных можно отметить как возникшую на базе перевода лексику—любовь *непревратну* и *непостыжиму*, любовь *несоблазную непреложну*, из глагольных образований — частые формы *сущий*, *бываюший*, *бывшии* = греч. ὤν, γινόμενος (иже суть подъ рукою его *сущихъ* Руси 17, 29, *бывшии* миръ сотворихомъ 137, *бываюшаго* мира 149, и др.); из этих форм в единичных примерах встречаются в договоре 945 г. причастия *сущии* и *бывшии*; ср. еще примеры глагольной лексики — предлежащии (*предлежащимъ* чтнмъ крт҃мъ 139, — то же в договоре 945 г.), прежереченныи (*прежереченною* епитемьею 96,— то же в договоре 972 г.), работати в значении греч. πραγματεύεσθαι (о *работающихъ* в грекохъ Руси 123,— то же в договоре 945 г.), сотворити убиистьо, мир, татьбу, искусъ (то же в договоре 945 г.), право судити = греч. δίκαιον κρίνειν (многажды...*право судихомъ* 21) и др. В договоре 945 г., кроме указанных выше случаев, можно еще отметить следующие примеры грецизмов: существительное *власть* (волость) в значении «право» (в сочетании «да не имать, да не имѣють власти (волости)» с инфинитивом — да *не имѣють власти* зимовати у стго Мамы 94, 144, да не *имать волости* князь рускии... 132, и др. под. 87, 152), также в смысле «подвластности, подчинения» (под *властью* цртва нашего 152,— то же в договоре 972 г.); в последнем случае в договоре 912 г. употребляется

сочетание *подъ рукою* (иже суть *подъ рукою* его сущихъ Руси и др.); *грѣхъ* в значении проступка вообще (аще ударить мечемъ... русинъ грьчина или грьчинъ русина да того дѣля *грѣха* заплатить сребра литръ е, 166); *спасение* в смысле «безопасности» (и да возъвращаются съ спниемъ въ страну свою 93); интересен еще, ведущий к греческому же оригиналу, глагол *увѣдѣти* в сочетании с инфинитивом — в значении «повелеть» (нынѣ же *увѣдѣлъ есть* князь вашь посылати грамоту ко цртву нашему 56). Из договора 972 г. можно привести имя существительное *власть* в значении страны, области (ни сбираю вои ни языка ни иного приведу на страну вашю... ни на *власть* корсуньскую 17).

Помимо лексики, как таковой, понятной как возникшей на базе перевода с греческого оригинала, в тексте договоров в одних в большей, в других в меньшей степени наблюдаются случаи синтаксических нарушений или известного синтаксического несогласования отдельных частей фразы, объяснимых теми же условиями переводного происхождения договоров. Особенно много (сравнительно) фактов этого рода в тексте договора 912 г., изобилующего по сравнению с прочими договорами и грецизмами лексического характера, в чем можно было убедиться из приведенного выше материала. Ср. здесь разнобой в согласовании с самого начала текста договора — равно другаго свещания бывшаго *при тѣхъ же црьхъ Льва и Александра*; этого же характера нарушение согласования, объясняющееся из вербального, слово за словом, перевода греческого контекста, встречаем и в договоре 945 г.: равно другога свѣщанья бывшего *при цри Раманѣ и Костянтинѣ* и *Стефанѣ хлюбивыхъ влдкъ*. Иные примеры подобного рода синтаксических грецизмов в тексте договора 912 г.: ...*на удержание и на извещение* от многихъ лѣтъ межи хрестианы и Русью *бывшюю любовь* (последний винительный падеж соответствует прямому дополнению греческого текста, зависевшему от переходных глаголов, переданных в переводе посредством существительных «удержание», «извѣщение»); *на утвержденье же и неподвижение быти* межи вами хртьаны и Русью бывшии миръ сотворихомъ; и таковое написание дахомъ на *утвержение* обоему *пребывати* таковому совещанию.

Отмечу еще примеры разнобоя с употреблением конструкций однородных членов предложения: *в договоре 912 г. — похотѣниемъ* нашихъ великихъ кнзь и *по повелѣнию* от всѣхъ иже суть подъ рукою его сущихъ Руси; *в договоре 945 г.* — да посѣчени будуть *мечи своими от стрѣлъ* и *от иного оружья своего 50.*

Греческая лексика, оставленная в тексте договоров без перевода, не так в общей своей совокупности численна. Почти отсутствует соответствующая лексика в отрывках договора 907 г. (ср. здесь лишь слово *парусъ*). В незначительном по своему объему договоре 972 г. мы находим лишь подходящую лексику терминологического

характера — *индиктъ*, *июль*, *синкелъ*, *харатья*, *цр̑ь*. Более интересны соответственные показания договоров 912 и 945 гг., договоров значительных и приблизительно одинаковых по объему. Изобилующий вообще грецизмами переводного характера, как об этом замечено выше, договор 912 г. сравнительно мало оставляет греческих слов без перевода. Если не считать здесь таких слов, как *цр̑ь*, *хрестьанъ*, *литръ*, то осталось бы указать лишь на одно непереведенное слово *епитемия* в общем значении «запрещения» (да повинни будуть то створшии прежереченною *епитемьею* 97). Напротив, договор 945 г., относительно хорошо переведенный и в редких случаях обнаруживающий рабское следование своему оригиналу, дает соответственно большее количество оставленных без перевода греческих слов. Ср. здесь, помимо таких слов, как *цр̑ь*, *литръ харатья*, *дьяволъ*, еще слово *грамота* (58, 60, 63), в соответствии с которым договор 912 г. употребляет слова *написание* или *писание*, слова *корабль* (54, 61) и *кубара* (137), в соответствии с которыми в договоре 912 г. во многих случаях употребления этой лексики постоянно оказывается существительное *ладья*, между прочим, встречающееся в тексте договора 945 г. лишь единично.

В лексическом исследовании договоров должно представить интерес изучение в них русского и книжного болгарского слоя. Договоры 907 и 972 гг., незначительные по объему, не дают особенно показательного соответствующего материала. Болгарский слой здесь и там вообще значительный. Выше отмечено было общее преобладающее наличие в договорах союзов болгарского происхождения. Неполногласные и полногласные образования в договоре 907 г. представляют следующую картину: с одной стороны, здесь встречаем слова — *брашно*, в *странѣ* нашеи, с другой стороны — одними *вороты*. Слово *градъ*|| *городъ* употребляется здесь в полногласной форме в отношении к русскому городу Киеву (от *города* Киева), но в неполногласной, болгарской форме, когда речь идет о Константинополе («Царьграде») — да входять в *градъ* одними вороты, или о городах вообще (и прочих *градъ*). В договоре 972 г. встречаем в болгарском обличии слово *власть* (на *власть* Корсуньскую, подъ *властью* гречьскою), *страна* (на *страну* вашю, на *страну* болгарьску), но с полногласием — формы *городъ* (и елико есть *городовъ* ихъ), *золото* (да будемъ колоти яко *золото*). Отмечу еще форму одними *вороты* в договоре 907 г. с русскою огласовкою начального гласного. Здесь же, в договоре 907 г., как указано выше, представлены в обилии русские деепричастные формы на *-чи*, вообще почти отсутствующие в тексте прочих договоров, знающих соответственно лишь причастные формы на *-щ-*.

Значительный материал, притом в известных линиях взаимно противоположный, по соотношению русских и болгарских элементов, представляется лексикой договоров 912 и 945 гг. В договоре 912 г. силен элемент болгарский при незначительном русском слое;

в договоре 945 г. болгарский элемент ощутим, но в заметно разреженном виде, зато заметно дает в нем себя знать русская стихия, не бросаясь вместе с тем в глаза своею сгущенностью. В области имен существительных обращает на себя внимание наличность громадного количества отвлеченных образований на-*ие* в договоре 912 г. (*боронение, бьенье, бѫдье, зданье, изволение, извещение, имѣние, искушенье, мученье, написание, неподвижение, неятье, свѣщанье, согрѣшенье, создание, сохранение, ударение, удержание, утверждение, явление*), в договоре 945 г. этого типа существительных значительно меньше, доходя почти до одной трети (*бещинье, имѣнье, крщнье, осуженье, повелѣнье, свѣщанье, спасение*), — перед нами явное свидетельство отражения с неодинаковой силой болгарского воздействия в тексте одного и другого говора. Болгарский по происхождению суффикс *-ьство* представлен в обоих договорах именем существительным *убииство*, а кроме того, в договоре 945 г. — словом *болярьство*, ср. еще здесь *цр҃ствие*. Обращает на себя внимание употребление в обоих договорах первого имени существительного. Оно встречается здесь в статье одного содержания. В договоре 912 г. соответствующее место читается: аще кто убьеть или хрестьанина русинъ или хрестьянинъ русина, да умреть идеже аще сотворить *убииство*; аще убѣжить сотворивыи *убииство* да аще есть домовитъ да часть его... возметь ближнии убьенаго. Далее в тексте следует — аще ли есть неимовитъ сотворивыи *убои* и убѣжавъ да держиться тяжи дондеже обрящеться и да умреть. Таким образом, в контексте договора 912 г. в одном и том же значении сначала дважды употреблено болгарское слово *убииство*, а в дальнейшем изложении статьи его русский эквивалент — слово *убои*. Замечательно, что то же свидетельствуется текстом договора 945 г., в котором сначала также слово приводится в болгарской форме (аще убьеть хе҃янинъ русина или русинъ хе҃янина и да держимъ будеть створивыи *убииство* от ближнихъ убьенаго да убьють и), в продолжении же статьи оно заменено словом *убои* (аще ли ускочить створивый *убои* и убѣжить аще будеть имовитъ да возьмуть имѣнье его ближьнии убьенаго аще ли есть неимовитъ и ускочить же да ищють его дондеже обрящется аще ли обрящеться да убьенъ будеть). Из этого факта нельзя не заключить о существовании текстуальной связи между договором 912 и 945 гг. Из иных показателей болгарского слоя в тексте обоих договоров можно отметить, в группе имен существительных, образования с суффиксом *-зн-*. Таковы — слово *соблазнъ* в договоре 912 г., *казнь* — в обоих договорах. В категории прилагательных о болгарском воздействии свидетельствуют сложения в роде — *непревратну, непреложну, единосущною тр҃цею* в договоре 912 г., *холюбивыхъ* в договоре 945 г. Ср. еще в договоре 912 г. сложение с префиксом *без-*: *бесстрашное* мѣсто 82. В характеристике местоимений выше указаны случаи как бы окаменелости формы иже, не согласующейся с определяемым словом. Эта особенность свойст-

венна только договору 912 г. Выше отмечены также случаи употребления местоимения *такыи*, в членной форме, при соответственных нечленных формах в договоре 945 г., также — наличность местоимения *таковыи*, отсутствующего в тексте договора 945 г. Следует указать на аналогичные формы от местоимения *тъ*, известные лишь тексту договора 912 г. (да отдасть *тое* еже смѣ створити 72, за *то* ударенье и бьенье 567, да повинни будуть *то* створшии 96). В отношении глагольной лексики ср. в обоих договорах болгаризм *въспятити* (аще кто явѣ возметь что либо дружне да *воспятить* троичи— договор 912 г., да *въспятять* и опять — договор 945 г.), в договоре 945 г. сложения с префиксом *из-* (в значении выделения из чего-либо) — да *изищется* смерть ихъ от князя 67, да *искупають* е Русь 127, *исходять* 82, да *испищеть* имена ваша 75, то же в договоре 912 г. — да *испишуть* имена ихъ и тогда возмуть... В последнем договоре, напротив, единично встречается аналогичное образование, но с соответствующим русским префиксом *вы-*: аще *вывержена* будеть лодья вѣтромъ великимъ 76. Среди наречных форм в обоих договорах пестрят болгарские образования: в договоре 912 г. — *многажды* право судихомъ 20, паче 68, сирѣчь 49, явѣ 40, 75, в договоре 945 г.— вельми 110, воину 201, преже 98, 102, селико 60, сугубо 111, 117, елико ему будеть требѣ 136, в том и другом договоре — опроцѣ, сице; но ср. в договоре 912 г. дважды паки, то же в договоре 945 г., где, однако, встречается и вариант его (русский?) — опять 106. В отношении болгарского наслоения в части союзных слов сказано выше. Употребление неполногласных и полногласных форм в обоих договорах характеризуется следующими данными. В тексте договора 912 г. преобладают неполногласные формы: из имен существительных — аще въ кое *время* 108, *глава* в переносном значении (26, 146), *сохранение* 32, *страна* 6 сл., ср. *сребро* 57; из глаголов — *возвратити*, *-ся* 5 сл., да *хранить* таку любовь 35; в сложениях с префиксами *пре-*, *пред-* — *непревратну* 24, *непреложну* 38, *пребы(ва)ти* 3 сл., *преступити* 144, *предлежащемъ* чтнмъ крстмъ 139. Этой лексике противостоят полногласные формы в следующем виде: *золото* 114, *полоненые* 110, 113, *полоняникъ* 97, единично *сторона* (да възвратять искупное лице въ свою *сторону* 101), ли от буря или земнаго *бороненна боронима* 84, *волочимъ* 91, *поздорову* 26. В тексте договора 945 г. значителен болгарский слой неполногласной лексики, но относительно широко употребление и русской полногласной лексики. Ср. здесь *брашно* 91, *враждолюбьца* 34, *плѣньникъ* 127, *хранити* 6 сл., *страна* 93, *плѣнена* 120, ср. *сребро* 166, *сребрени* 57, сложения с *пре-*, *пред-* — *преданы* будуть 64, *преобидять* 138, *преступити* 4 сл., *предлежащемъ* чтнмъ крстмъ 139, ср. *преже* 98, 102; с другой стороны, колеблющиеся формы — *власть* 5 сл. и 2 случая *волость* (да не имать *волости* 87, 132), единично *градъ* (т. е. Константинополь) 86, но в 5 случаях *городъ* (из них в одном случае в отношении Константинополя), печати *злати* 56, *златникъ* 3 сл., но также в 2 случаях *золотникъ*, *возвращаются* 93, но—

възворотити 115; в одной полногласной форме здесь представлена лексика — *вороты* 80, *паволока* 3 сл., образования от собственных имен — *Володиславль*, *Передъславинъ*. Из иного материала интересующей лексики можно отметить образования с начальным *е*, не с *о*, в тексте договора 912 г. — *единосущною* трцею, *единого*; в договоре 945 г. имеется этого же типа форма *едино* 115, но и — *одинѣми* вороты; ср. еще здесь подобную форму — *осень* 146. Отражение в договорах лексики с русским *ч* соответственно болгарским вариантом с *щ* за немногочисленностью подходящего материала непоказательно. Ср. в договоре 945 г. — *обычии* сли 12, *хочеть*, *хочу* в договорах 945 и 972 гг.; ср. сказанное выше о деепричастных формах на *-чи* в договорах 907 и 945 гг. Но обращает на себя внимание наличие в договорах выдержанных форм в подходящей лексике с *ж* при полном отсутствии соответственных вариантов слов в болгарском обличии, с *жд*: в *договоре 907 г.* — *нужи* 117, *утвержение* 3 сл., *обряжение* 127, *чюжю* 77, *прежереченною* 96, *межи* 4 сл., в договоре 945 г.— *осуженья* 46, *межю* 35, *преже* 98, 102; в договоре 972 г.— *утвержаю*, *прежереченныхъ*. Столь выдержанное проведение этой черты очень показательно. Не может быть сомнения в том, что отнюдь не писец, последний ли, или предшествующих списков, летописи выравнял всю подходящую лексику в тексте договоров, проведя всюду соответственные варианты слов с *ж*, но — эта черта, наличие лексики всюду с *ж*, составляла особенность первооригинала договоров. Если это положение верно, если его принять, то пришлось бы принять и два другие предположения — о том, что переводчик договоров, или их справщик, был русский, и о том, что перевод принадлежал старшей поре существования русского литературного языка, той поре, когда болгарское на него воздействие не обозначилось еще в широких дозах, когда, в частности, болгарский слой лексики с *жд* не произвел заметного вытеснения соответственной параллельной русской лексики с *ж*. Ср. Русскую правду, памятник старшего периода жизни литературного русского языка, до времени заполнения его болгарской стихией: в нем также полностью отсутствует лексика с *жд*.

Предложенный анализ языка договоров позволяет прийти к известным обобщениям, к попытке, в частности, освещения тех общих проблем, вызываемых договорами, которые, как об этом говорилось в начале статьи, предположительно разрешались, но не могут еще считаться получившими действительное разрешение.

И исторические данные, и соображения, извлекаемые из содержания первых трех, дошедших до нас договоров (907, 912, 945 гг.), заставляют признать самостоятельными из них лишь последние два договора. В 907 г. не было никакого соглашения между Византией и русскими, не могло быть поэтому и соответствующего письменного договорного акта от этого времени. То, что мы имеем в виде так наз. договора 907 г., есть по соображениям летописца внесенные под этим годом выдержки из соответственного договорного акта 912 г. Эти выдержки, в числе 7 отдельных статей договора, подвер-

глись известной внешней выправке со стороны летописца (ср. здесь именно, в договоре 907 г., деепричастные формы на *-чи*) именно потому, что в глазах летописца они служили примерным материалом для вольной его передачи; вводя ниже в свой труд тот или иной в собственном смысле договор, летописец позволял себе опускать отдельные статьи, делать в них сокращения, но основной текст договора при этом сохранял более или менее неприкосновенным. Договоры 912 и 945 гг. (как и договор 972 г.) — самостоятельные акты соответственного соглашения между русскими и греками. Текстуально договор 912 г. неполный: в нем нет статей, вынесенных летописцем в своем повествовании под 907 г., в нем нет и некоторых иных статей, неизвестно по каким соображениям отчасти полностью опущенных летописцем, отчасти сокращенных им, или отмеченных лишь по заглавию. В отношении исправности самого текста договор 912 г.— наихудший из всех дошедших договоров. Причиною этого, несомненно, были свойства плохого перевода данного договора. Можно высказать предположение, не эта ли причина и заставила летописца поступиться отдельными частями договора, вовсе им выброшенными или сокращенными из-за неудовлетворительности их контекста. Можно также думать, что именно этим свойством плохого перевода договор обязан многими повреждениями в тексте, возникшими в процессе списывания из-за непонимания писцами отдельных мест контекста договора. Договор 945 г. — самостоятельный и цельный договор. Подоснова греческого его оригинала сложна и проблематична. Во всяком случае канвою договора служил предшествующий договор 912 г. Этим должно объяснять близость по содержанию статей одного и другого договора. Но следует, кроме того, предполагать и существование какой-то текстуальной связи между обоими договорами в наличном или переведенном виде. Ср. последовательное чередование в одной и той же статье обоих договоров слов *убиистео* — в начальных разделах статьи и *убои* — в заключительном разделе статьи. Невозможность по соображениям, излагаемым ниже, усматривать наличность одного переводчика для обоих договоров 912 и 945 гг. заставляет в объяснении приведенного факта думать об одном справщике, выравнившем перевод одного и другого договора, сгладившем, в частности, и контекст данной статьи в обоих договорах.

Вопрос о том, когда были переведены договоры и на какой язык, болгарский или русский,— является наиболее существенным вопросом для историков русского языка: имеем ли мы, действительно, право считать эти памятники памятниками собственно русского языка, или перед нами памятники болгарские, которые, попав в летопись и здесь оказавшись под пером русских переписчиков, естественно, лишь внешне русифицировались. Разрешение этого вопроса вряд ли возможно получить на основе каких-либо общих, исторических или теоретических, соображений. Только лингвистическое исследование непосредственно текста договоров смогло бы дать то или иное разрешение поставленного вопроса, в противном случае воп-

рос остался бы вообще неразрешенным. Мы имеем попытку иного разрешения этого вопроса, не из учета лингвистического материала самих договоров. Такова указанная выше попытка акад. В. М. Истрина установить время появления договоров по связи с деятельностью переводческого кружка, организованного Ярославом Мудрым. С этой точки зрения договоры должны считаться переведенными в одно время, во 2-й половине XI в., т. е. спустя 100—150 лет после фактического заключения соответствующих дипломатических актов. Язык всех договоров должен признаваться одним целостным языком — литературным русским языком того времени, совмещавшим в себе и стихию болгарскую и стихию русскую. Сделанный выше анализ языковых особенностей договоров не подкрепляет этой гипотезы.

Бесспорно положение, что все договоры были переводными памятниками с греческого языка. Столь же бесспорным должно быть положение, что язык переводов отдельных договоров неодинаков. Можно оставить в стороне договор 907 г. как в собственном смысле не договор, также договор 972 г., за незначительностью его объема. Основные два договора — 912 и 945 гг. — должны быть рассматриваемы как два разные памятника, как продукты двух разновременных переводов, как свидетельство двух разнящихся языковых стихий, которые они отображают. Перевод договора 912 г. — неискусный, очень близкий к оригиналу, пестрит грецизмами всякого вида, обилен соответственно и нарушениями требований русского синтаксиса. Договор 945 г. переведен более умелою рукою, более удобопонятен, не так заполонен грецизмами, относительно мало грешит в интересах русского синтаксиса. Трудно было бы согласиться с мыслью, что оба эти перевода могли быть современными, а тем более одновременными. Трудно было бы допустить предположение, чтобы редактор Повести временных лет, компонуя свой труд на основе разных источников, и старых и современных, так безучастно отнесся к своим редакторским обязанностям, что механически включил в летопись как с о в р е м е н н ы е два диаметрально по качеству противоположные перевода договоров 912 и 945 гг., не забраковав первого из них: он мог их поместить рядом в составе летописи именно как нечто доставшееся от прежних времен, как готовые документы прошлого. Оба договора отличаются и по типу языка, ими представляемого. Договор 912 г. насквозь пропитан болгаризмами, хотя есть в нем и следы русских особенностей (ср. отсутствие *жд*). Договор 945 г. содержит смешение болгарской и русской стихии, но такое, в котором черты русского происхождения дают себя чувствовать достаточно широко (ср. случаи с начальным *о*, не *е*, полногласные формы, лексику с *ч*, не *щ*, отсутствие *жд*, особенности лексики). Нельзя поэтому было бы думать, что перевод обоих договоров сделан был на один и тот же старый русский язык: слишком этот язык переводов оказывается различным в свидетельстве непосредственных языковых фактов одного и другого договора. Языковой анализ, напротив, заставляет предполагать, что перевод договора 912 г. был сделан болгарином на болгарский язык, но этот

перевод был выправлен русским справщиком. Напротив, переводчиком договора 945 г. должен был быть русский книжник, соответственно и отразивший в переводе смешение и русской и болгарской книжной стихии. Есть ли в данных языка договоров материал для суждения о времени их перевода? В языке договоров, несмотря на то, что они сохранились в позднем списке, много общих архаических черт старшего по бытованию в литературном языке периода, чем конец XI в. Здесь достаточно широкое употребление аористических форм, наличность имперфекта, архаическое и относительно выдержанное пользование винительным, не родительным, падежом объекта от одушевленных имен, стройное архаического типа пользование соответствующей системой членных и нечленных форм прилагательных и причастий. Есть такие черты, которые принадлежат старшему договору 912 г., но чужды договору 945 г., и которые вместе с тем представляются особенно архаическими в общей линии развития литературного языка. Таково употребление *иже* в договоре 912 г. без согласования с определяемым словом, или здесь же архаическая по структуре форма прош. причастия *створшии*, или заметно отражающаяся в договоре 912 г. тенденция к обязательному переводу греческой лексики, такой лексики, которая позднее, по свидетельству договора 945 г., могла уже оставаться без перевода (ср. такие слова, как *корабль*, *грамота* и др.). Эти фактические данные, извлекаемые непосредственно из текста договоров, укрепляют мысль в предположении, что появление текстов договоров в переводе с греческого языка не могло быть ни относительно поздним, ни одновременным, а следовательно, оно приблизительно должно было совпадать со временем фактического заключения соответствующих дипломатических актов. С точки зрения этого предположения получает простое объяснение и факт разного качества и факт разного характера перевода договоров, становится понятною и причина различия самого языка, на который были переведены, с одной стороны, старший договор (912 г.), с другой стороны, все последующие договоры.

1936

РУССКАЯ ПРАВДА, КАК ПАМЯТНИК РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Русская правда — замечательнейший памятник старой русской письменности. Честь ее открытия и первого ее обнародования связывается с крупнейшими именами наших историков еще XVIII в.— Татищева, с одной стороны, впервые обратившего внимание (1738 г.) на памятник (найденный им в составе Новгородской летописи по списку Академии наук), Шлецера, с другой стороны, давшего первое обнародование памятника в обнаруженном Татищевым списке (в 1767 г.). Много крупнейших имен историков и историков русского права связано с историей изучения Русской правды, этого важнейшего и в своем роде единственного источника правовой и историче-

ской жизни древнейшей Руси. Однако нельзя сказать, чтобы в этот почти 200-летний промежуток нахождения Русской правды в обороте научного изучения основная проблематика вокруг этого памятника могла считаться окончательно разрешенной. Кроме того, следует указать на то, что Русская правда имеет определенное, и большое по значению, место в цепи источников собственно истории русского языка. Между тем, именно как памятник русского языка Русская правда недостаточно оценена по своему достоинству. Но, конечно, разрешение вопросов, возбуждаемых Русской правдой, должно опираться на комплексное ее исследование — не только историками, не только историками права, но и историками языка.

Что дает нам исследование Русской правды под пером историков и историков русского права? Русская правда сохранилась до нас в огромном количестве списков. По словам еще Строева, число этих списков доходило до 300 [1]. Конечно, число это приблизительное, с округлением. Однако уже Калачову при его сводном издании Правды (1846 г.) было известно более 50 списков памятника. В «Материалах для повременного списка русских писателей и их сочинений» Н. К. Никольский отмечает 67 номеров списков Правды, оговаривая при этом, что в перечень не вошли указания на многие рукописи ввиду того, что вообще не предполагалось включение в издание памятников юридических. Эта громадная численность дошедших до нас списков памятника, конечно, свидетельствует не просто о широкой читаемости Правды в старой Руси, но о безусловном ее на протяжении веков практическом значении, т. е. что она веками служила прямым руководством при разрешении известного круга судебных дел. Недаром большинство списков ее еще падает на XV, XVI вв. и даже на половину XVII столетия: только обнародование Уложения при Алексее Михайловиче должно было положить и положило предел практическому пользованию Русской правдой. И действительно, списки ее с позднейшей датой считаются уже в небольшом числе.

После исследований Тобина, Калачова, Сергеевича стало, можно сказать, общепринятым положение о существовании трех редакций Русской правды: древней «краткой», последующей «пространной» и еще позднейшей «сокращенной» (из пространной) редакции памятника. Это положение, особенно установление в нем определенного взаимоотношения между краткой и пространной редакцией, продиктовано было главным образом сравнительным соотношением по содержанию основных типов из списков Правды: в составе Правды краткой редакции отсутствуют некоторые статьи, имеющиеся в иных ее редакциях (напр. о наследственном праве, об опеке, о закупах и др.), или, напротив, встречаются статьи, которых не оказывается в других редакциях; в статьях одинакового содержания наблюдаются признаки различий в изложении самих статей, причем редакции статей старшего типа присущи черты с отражением следов

[1] Сергеевич, ЖМНП, 1899, январь, стр. 6.

более архаического права [1]. Следует, однако, заметить, что это, ставшее отправным в нашей исторической науке, положение нуждается в пересмотре, в более полной и всесторонней своей аргументации. Не может быть сомнения в том, что типологически списки «краткой» редакции составляют особую группу по сравнению со списками «пространной» редакции Правды, тем более бесспорна правильность выделения третьей, поздней сокращенной редакции Правды, как особого и позднего по сложению типа памятника. Однако в имеющемся разрешении вопроса о редакциях Правды, и главным образом вопроса о взаимоотношении «краткой» и «пространной» редакции, не содержится все-таки окончательного решения проблемы, так как не все, подлежавшее учету, учтено в этом решении, и некоторые стороны общего вопроса продолжают оставаться неясными, нуждаясь в соответственном освещении. И действительно, напр., Н. К. Никольский без уверенности относится к этому установлению редакций памятника, прямо утверждая, что данная классификация списков Правды основана «на изучении далеко не всех текстов памятника» [2]. Нельзя далее не указать на то, что в разрешении вопроса о редакциях Правды до сей поры никак не принимались на учет свидетельства собственно языка памятника. Между тем, конечно, в аргументации положения о редакциях Правды не может быть вовсе сброшено со счетов свидетельство собственно языка типовых списков памятника. И действительно, именно у историков русского языка, как бегло они ни касались вопросов, связанных с Русской правдой, можно наблюдать расхождение в понимании и оценке отдельных сторон сложной проблемы о названном памятнике. Так, акад. А. И. Соболевский, вопреки указанному общему мнению историков о соотношении краткой и пространной редакций Правды, усматривает именно в типе «пространной» редакции первоначальный вид правды, «краткую» же редакцию считает позднейшим сокращением, основной пространной редакции [3].

Вопреки суждению Сергеевича о значении старшего из дошедших Синодального списка Русской правды, признаваемого им далеко не лучшим по сравнению с иными списками Правды той же пространной редакции, акад. Е. Ф. Карский считает именно данный список «самым древним, ближе всего стоящим к языку первоначального оригинала», «лучше других списков отражающим основной текст Русской правды» [4].

И нельзя не согласиться с правильностью этого взгляда на значение Синодального списка. Больше того, можно было бы еще подчеркнуть значительность показаний именно Синодального списка для характеристики памятника в его целом, независимо от его отнесения к так наз. «пространной» редакции, т. е. как будто к редакции,

---

[1] Сергеевич, назв. соч., стр. 8, 28, 29; Рожков, Русская история, т. I (изд. 1919 г.), стр. 271.

[2] Н. К. Никольский, Материалы, стр. 128.

[3] Сборник статей в честь П. С. Уваровой, Спб., 1916, стр. 21 и сл.

[4] Е. Ф. Карский, Русская правда, Лгр., 1930, стр. 21.

по установившейся классификации списков Правды, относительно позднейшего сложения.

Известное своеобразие Синодального списка в расположении материала, общем с однотипным, т. е. той же редакции, так наз. Троицким списком до 50-й статьи, но далее представляющем совершенно особый порядок в изложении статей. Основные исследователи Русской правды не могли не остановиться на этой особенности Синодального списка. Но должно сказать, что высказанное объяснение этого факта, — Тобином ли, Сергеевичем ли, предположением непроизвольной путаницы листов Синодального списка или путаницы статей оригинала, произведенной именно писцом данного списка,— не может считаться удовлетворительным. Между тем, действительное уяснение этого факта имело бы свое значение и в разрешении вопроса о происхождении самих редакций Правды, в частности той, которая представлена Синодальным списком. Вопрос этот сложный, и более верным представляется его объяснение, предлагаемое акад. Карским [1], связывающим причинно этот факт с вопросами самой истории редакций, истории текста Русской правды.

Не может еще не обратить на себя внимание факт наличности среди списков Правды громадного (поглощающего) большинства списков «пространной» редакции и ничтожное сравнительно количество списков памятника в «краткой» редакции. К тому же именно пространная редакция оказывается представленной списками старшего времени — XIII, XIV вв., между тем краткая редакция известна фактически, как в раннем, лишь в списке XV в. Все эти частные вопросы, сходящиеся в целом к проблеме происхождения отдельных редакций Правды, как видно, не имеют единого решения среди исследователей,— понятно поэтому, что должна была остаться и осталась проблематичность и в самом разрешении общего вопроса о соотношении по своему происхождению основных, краткой и пространной, редакций памятника.

Вопрос о времени сложения Русской правды вообще не представляет трудностей решения. Какую бы ни признавать в качестве основной краткую или пространную редакцию Правды, она была связана с именем Ярослава (ум. 1054), с другой стороны, возникшая на базе Ярославовой Правды позднейшая ее редакция соединяется с именем Изяслава, Всеволода, Святослава Ярославичей и Владимира Мономаха (ум. 1125). Все это определяет время сложения памятника в основной редакции — первою половиной XI в., в позднейшей редакции — последней четвертью XI и первой четвертью XII вв. Впрочем, это разрешение вопроса было бы формальным. Оно означало бы лишь одно, что данная кодификация имела место при Ярославе или позднее, при его преемниках. Но эта кодификация в свою очередь, конечно, должна была заходить в более глубокое прошлое, опираясь как на базу на более ли древние соответствен-

[1] Карский, назв. соч., стр. 8 и сл.

ные сборники судебных обычаев X в., как думает М. Н. Покровский [1], или, что правдоподобнее, коренясь в еще большей глуби прошлого — в нормах обычного права языческой Руси IX—X вв.[2]

В серии вопросов, связанных с общей проблемой о происхождении Русской правды, содержатся еще вопросы о месте ее происхождения, о социальном слое, которому она обязана своим составлением, наконец, об общих линиях иноземного воздействия, сказавшегося на ее содержании. И эти вопросы, следует сказать, если и ставились отдельными исследователями, не получили своего полного разрешения. И понятно почему. Именно в разрешении этих вопросов, как и в разрешении проблемы об отдельных редакциях Правды, необходим учет результатов лингвистического анализа памятника. Без привлечения же этих данных возможен лишь априорный гипотетический подход к разрешению этих вопросов, какой в действительности и имел место под пером отдельных исследователей. Таково, например, утверждение, что Русская правда, как «русская», как памятник, обязанный деятельности «русских» князей, должна была быть составлена не в ином месте, как в Киевской области, в этом центре «Русской» земли[3]. Или таково же, подсказанное соображениями характера доказательства от противного, предположение о возникновении Правды в среде духовенства[4], предположение, не имеющее никакой опоры в фактических свидетельствах, в частности в непосредственных свидетельствах языка самого памятника. Собственно такими же теоретическими являются и обычные рассуждения об отражении в Русской правде норм иноземного права, в частности права византийского[5]. Только Ключевский пытается использовать фактические данные текста памятника. Он ссылается на наличность в памятнике слов *братоучадо* (двоюродный брат), *поклажаи* (клад; вещи, отдаваемые на хранение) и *вражда* в смысле пени за убийство, усматривая в первом слове механический сколок с греч. ἀδελφόπαις, во втором условно греч. καταθήκη и сравнивая с третьим словом сходный лексический дублет, известный из южнославянских юридических памятников. Но этих фактов для доказательства болгарско-византийского воздействия на Русскую правду недостаточно: слово *братоучадо* могло быть и русским по своему происхождению (ср. его наличность в русских говорах); слово *поклажаи*, известное и в иных памятниках, между прочим в грамотах, по признакам морфологической своей структуры должно считаться русским словом; наконец, третье, отмечаемое Ключевским, слово падает, как известно, на темное место в тексте Правды (с разночте-

---

[1] Покровский, Русская история в самом сжатом очерке, стр. 22.

[2] Ключевский, Курс русской истории, I, 269 и сл.; ср. также Сергеевич, назв. соч. стр. 31, и Карский, назв. соч., стр. 20.

[3] Сергеевич, назв. соч., стр. 9, 12.

[4] Ключевский, назв. соч., стр. 260, 262, 268; Рожков, назв. соч., стр. 271.

[5] Сергеевич, назв. соч., стр. 31; Ключевский, назв. соч., стр. 258; Карский, назв. соч., стр. 4.

ниями в иных списках): все данные считать в соответственном контексте порчу, как ее, между прочим, признает и акад. Соболевский[1].

Не только в решении комплекса вопросов, связанных с происхождением Русской правды, необходимо лингвистическое ее изучение. Исследование языка Правды имеет значение само по себе с точки зрения интересов собственно истории русского языка. В этом отношении, как и для историков и для историков русского права Русская правда выдается по своему значению, выступая как единственный в своем роде источник для изучения истории русского языка старшего периода. Перед нами памятник не церковного содержания, памятник оригинального, не переводного, происхождения памятник начального периода в истории образования собственно литературного русского языка, наконец, памятник, который, выступая старшим свидетелем русского литературного языка, является вместе с тем представленным фактически в списке достаточной древности — XIII в. Мы не можем указать иного памятника, который по совокупности отмеченных признаков мог бы быть поставлен в одну линию с Русскою правдой как равноценный источник для изучения русского литературного языка начального периода его образования. Но значение Правды, как источника для изучения истории русского языка, еще вырастает благодаря тем свойствам, которые отличают старший, дошедший до нас, список этого памятника Таков именно известный так наз. Синодальный список Русской правды, содержащейся в Кормчей 1282 г. (рукопись находится в Московском Историческом музее и числится в Синодальном собрании под № 132). Этот список, существующий в научном обороте уже более ста лет, неоднократно обнародованный (впервые Калайдовичем в «Русских достопамятностях», ч. I, М., 1815, в последний раз, в богатом внешне виде, акад. Карским, изд. Академии наук, Л., 1930), хотя и содержит текст с порчею местами и с значительным количеством внешних недосмотров (описок всяческого вида), но вместе с тем отражает язык памятника по ряду пунктов грамматического содержания с поражающей цельностью. Одна черта этого рода — слабая доля церковнославянского воздействия на язык памятника — обратила на себя внимание исследователей (Шахматов, Карский). Но не одна эта черта, а по многим линиям грамматических разделов — и в фонетике, и в морфологии, и в синтаксисе, и в лексике— при ближайшем анализе вскрываются в тексте Синодального списка Правды особенности, оправдываемые изумляющим единством своего выражения в памятнике. Конечно, эти черты не черты, прихотью данного писца Синодального списка отраженные в рукописи. Во многих чертах этих цельным образом отраженных языковых особенностей Синодального списка должны быть усматриваемы следы соответствующих языковых систем предшествующей поры, перенесенные и из ближайшего оригинала данного Синодального списка и далее, в конечной стадии, из первооригинала Русской правды.

[1] Соболевский, назв. соч., стр. 22.

Исследование языка Правды по древнейшему его списку имеет в первую очередь интерес со стороны выделения из него именно этих с известным единством проявляющихся в памятнике его особенностей: анализ этих особенностей может дать известные нити и для суждения по отдельным сторонам вопроса о происхождении Правды и для характеристики собственно литературного русского языка в отправной момент первоначального его сложения.

Лингвистический анализ Синодального списка Русской правды не с точки зрения ему именно свойственных особенностей, а в интересах определения черт, отразившихся в данном списке и перенесенных вместе с тем из предшествовавших ему списков, в конечной стадии из первооригинала Правды, представляет понятные трудности: между нашим списком 1282 г. и предполагаемым его основным оригиналом лежит промежуток более чем в 250 лет, в который текст протооригинала также проходил через руки переписчиков. В этой последовательной смене писцов одни пласты языковых особенностей, изживавшихся в языке или чуждых данной литературной норме, изнимались из текста, с другой стороны, напротив, в него привносились новые языковые особенности позднейшего времени, иной литературной среды. Впрочем, если задаться вопросом, как много в основном тексте Правды было стерто под руками писцов или насколько широко влились в него новые черты языка, анализ Синодального списка обнаружил бы большие сдвиги лишь в фонетическом облике памятника, в морфологическом же его строе и в особенности в его синтаксисе и лексике следы новых явлений почти не заметны. Можно думать на этом основании, что посредствующих списков между первооригиналом Русской правды и данным Синодальным ее списком было не много: так, по наличности языковых особенностей Синодального списка, можно предполагать в качестве ближайшего его оригинала список второй половины XII в., а далее уже основной оригинал Русской правды.

Обозрение языковых особенностей Русской правды по Синодальному списку сделано акад. Карским во введении к отмеченному выше его изданию памятника, но это обозрение, недостаточное само по себе, диктовалось задачами общей характеристики одного лишь данного списка Правды. В последующем изложении будет сосредоточено внимание не на общей характеристике Синодального списка, а согласно с изложенным выше на обозрении отдельных его языковых явлений, таких, которые отражаются в нем сколько-нибудь цельным образом, таких, которые позволили бы судить о языковых чертах первичного текста Правды или дальнейшего с него списка, как непосредственного оригинала данного Синодального экземпляра памятника.

В фонетической стороне Синодального списка, согласно со сказанным выше, меньше всего могло сохраниться черт предшествовавших ему оригиналов и особенно черт первооригинала Русской правды. Достаточно сказать, что чреватые по последствиям явления в области редуцированных звуков, протекавшие в русском язы-

ке на протяжении XII в., должны были сильно изменить внешний облик памятника. Действительно, текст Синодального списка носит уже все признаки памятника, отразившего на себе как свершившиеся основные процессы звуковой истории XII столетия и с исчезновением слабых редуцированных и с переходом сильных *ъ*, *ь* в гласные полного образования *о*, *е*. Свидетельств этого рода сколько угодно в тексте памятника,— нет нужды их указывать (см. соответствующие данные у Карского). Но следует поставить вопрос о том, как отражаются в памятнике собственно последствия этой истории с редуцированными звуками. Мы имеем в нескольких случаях флексию *-мъ*, т. е. с признаками отвердения конечного губного за выпадением после него еря, в известных формах творительного и местного падежей в склонении: твор. ед. *кнѧземъ* 737, *за моужемъ* 636, *отрокомъ* 111, 606, 1059, *рѧдомъ* 113, 1120; *болшимъ* 474; *нимъ* 363, *кымъ* 1205, *тѣмъ* 895; местн. ед. *берестовомъ* 515, *сельскомъ* 133. Обычно, однако, здесь написания старого типа с *-мь*: твор. ед. *добытъкомь* 1077, *домомь* 1078, *кормомь* 610, *лицемь* 257 и др., *мечемь* 173 и др., *образомь* 1026, *рогомь* 183, *соудомь* 617, *товаромь* 1082, *тыномь* 594, *холопомь* 1109, *(н)имь* 4 сл., *инѣмь* 610, *кымь* 359, 1025, *самѣмь* 1109, *тѣмь* 5 сл.; местн. ед. *немь* 4 сл., *своѥмь* 256, *томь* 7 сл., *чиѥмь* 1154, *чемь* 1018; *одиномь* 288. Ср. описочные случаи дат. мн. *онемь* (вм. онѣмъ) 707, *тѣмь видокомъ* 312 (вм. ожидаемой формы дв. числа). В отношении срединного положения в слове памятник не дает материала для предположения о начавшемся процессе отвердения согласных в положении перед исчезнувшим ерем: в подходящей лексике оказываются либо написания без редуцированного гласного (не свидетельствующие об отвердении предшествующего согласного), либо нормальные написания исключительно с ерем. Можно отметить написание *вѣдеръ* род. мн.100, с неорганически развившимся *е* перед плавным в связи с исчезновением вслед за ним ера. Явления второго полногласия свидетельствуются написаниями Синодального списка: *борътьноую* 591, *полъть* и *полоть* 102, 609, *пьрьсть* 197. Возможно видеть в этих данных след, оставленный рукой последнего переписчика Правды, черту севернорусскую; ср. слабое вообще отражение явления второго полногласия в южнорусских (украинских) памятниках. Замечательно иное явление в показаниях Синодального списка — отражение в нем старшего *е* и *ѣ*. В исследовании В. В. Виноградова, специально посвященном судьбе *ѣ* в севернорусском наречии, можно прочесть характеристику данного списка Правды по употреблению в нем *е* и *ѣ*. Синодальный список Правды причислен автором исследования к группе «новгородских» памятников, безразлично вообще употребляющих *е* и *ѣ* [1]. С этим заключением нельзя согласиться. В памятнике есть несколько случаев с *е* вм. *ѣ*, есть в нем и обратные случаи с *ѣ* вм. *е*; но среди этих последних должны быть выделены два слоя фактов

[1] Изв. ОРЯС, XXIV, 241.

и иметь свое особое объяснение, за вычетом же их оставались бы скупые единицы написаний *ѣ* вм. *е*, которые должны считать описками. Выделению должны подлежать следующие факты: 1) случаи с *ѣ* вм. *е* в закрытом слоге, за которым исчез редуцированный гласный,— *възмѣть* 453, 530, *идѣть* 643, 740, *налѣзѣть* 836, *поръвѣть* 563; [1] 2) написание *кдѣ* 267 и т. д. постоянно с *ѣ* (8 сл.). Перед нами в первом ряде случаев факты со следами ясного удлинения *е* перед слогом с исчезнувшим редуцированным — явление, характерное для украинских памятников и встречающееся в них со второй половины XII в. Мы должны на этом основании предполагать, что ближайшим оригиналом, с которого списывался текст Синодальной рукописи, был оригинал киевского происхождения, притом не моложе второй половины XII в. К особенностям такого же оригинала должно возводиться и столь выдержанное написание в Синодальном списке *кдѣ* с *ѣ* обычное в старших украинских памятниках, в отличие от написаний с конечным *е*, характерным для севернорусских памятников. Достойно замечания, что в данных Синодального списка совершенно нет фактов с ассимиляцией, оказавшихся в смежном положении, звонкого и глухого согласных за выпадением между ними редуцированного звука (ср. постоянные в памятнике написания *бчелы* 911, 913, *въобчі* 189, *дъчери* 724). Это явление также удовлетворительно объяснялось бы воздействием ближайшего оригинала, как оригинала украинского происхождения (ср. в современном украинском сохранение звонкости в конце закрытых слогов). К тому же предполагаемому украинскому ближайшему оригиналу можно относить единичное написание Синодального списка с *ки* не *кы* в наречии *паки* (ср. 10 случаев написаний *пакы*); ср. ранее с XII в., образование *ки*, *ги*, *хи* в южнорусском и более позднее, с XIII и даже XIV в., свидетельство об этой черте из севернорусских памятников [2]. Известна, наконец, диалектная черта Синодального списка — *цоканье*, благодаря которой и закрепилось за Кормчей 1282 г. именование «Новгородской» Кормчей; явление это широко свидетельствуется памятником (примеры см. у Карского).

Морфологические данные Синодального списка содержат значительно больший по своей характеристичности материал, чем фонетические его особенности. Двойственное число нередко в показаниях памятника и вообще употребляется в нем без нарушений, если не считать мест с порчею в тексте [3]. Замечательную особенность памятника составляет исключительно выдержанное употребление в нем форм склоняемых слов с известною русскою флексией *ѣ* (или *е*) в соответствии с древнеболгарским окончанием *а*; таковы, напр., формы род.

[1] Может быть, сюда же следует присоединить и написание *оувѢдеть* 868, если видеть здесь описку вм. *оуведѣть*.

[2] Впрочем, именно в данной Кормчей, к составу которой принадлежит исследуемый список Правды, имеются случаи с *ги*, *ки*, *хи* (Соболевский, Лекции, 4 изд., стр. 130), отсутствующие в тексте Правды за исключением единичного отмеченного факта.

[3] Ср., напр., дат. мн. *тѢмь видокомъ* 312 вм. ожидаемой формы двойственного числа.

ед. *воле* 689, *городне* 1057, *нѣволѣ* 165, *задницѣ* 1065, *продаже* часто, им.-вин. мн. *свинье* 394, *тоже* 994, *робье дѣти* 1064, *чье* 771, *нѣ* 635, *своѣ* (свое) 172, 323 и др. Отклонение имеется в одном случае: без *всѧкоѥ* свады 84[1]. В области склонения имен существительных можно отметить употребление в памятнике живых русских форм род. и местн. ед. ч. на *у* от известных категорий слов мужского рода (род. ед. *гороховоу* 109, *радоу* 659, 1112, 1118, 1120, *сводоу* 295, *солодоу* 100, 1045; местн. ед. *домоу* 670, 1069, *пироу* 76, *търгоу* 54, 240, 304, 313), также род. мн. на-*овъ* от тех же существительных (*послоуховъ* 499, 509, *оуборковъ* 108, 109, 1040, *хлѣбовъ* 106, 1040). Отклонениями здесь для род. мн. могли бы явиться случаи —*колико* боудеть *возъ* оукрадено 975, *а коуръ* по двое на дн̃ь 105, но в действительности эти формы, без флексии, нормальны, так как формы эти обусловлены положением после количественных слов[2]. От имени существительного *сынъ* в дат. ед. имеется и форма *сыноу* 8, по основам на * *о*, и дважды форма *сынови* 10, 1101, по основам на **и*, последний вариант может считаться перенесенным из ближайшего оригинала, как украинского по происхождению. Местоимения и числительные не вызывают замечаний. Впрочем, следует отметить постоянное в памятнике *себе* в род.-вин. (228, 922, 1171), но *собѣ* в дат.-местн. (227, 585, 886, 1119, 1163). Имена прилагательные в образовании отдельных падежных форм представляют смешанные образования. В им.-вин. ед. муж. рода известны только формы на -*ыи*, -*ии* (*желѣзныи* оурокъ 1017, *дѣчькыи* 739, *воискыи* конь 808, *мцныи*[3] рѣзъ 492, доубъ... *знаменныи* или *межьныи* 397, *истыи* товарищь 1085, *клѣтьныи* тать 279, *коневыи* тать 276, за тиоунъ за *огницьныи* 131, холопъ *обѣ(е)льныи* 863, 876, *ролѣиныи* закоупъ 806, *конечнии* тать 345, за тиоунъ... за *конюшии* 131, *передниі* гнъ 873); трудно думать о книжной основе этой столь выдержанно проведенной черты Синодального списка; может быть, побуждением к этой системе написаний послужила та же норма соответственных написаний ближайшего, южнорусского оригинала. В род. ед. муж. рода имеются и формы на -*ого* (*тысѧчького* 516, 519, 522, *кыѥвьского* 522, *бѣлогородьского* 518), и чаще — книжные формы на -*аго* (станислава *переѧславьского* тысѧчького 521, на *боярьскаго* тиоуна 557, мѣста *ветхаго* 1054, *желѣзнаго* платити. м̃. коунъ 1012, *перекладнаго*. ё. коунъ 613, а ѿ виры *помоченаго*. ё. коунъ 155, на *конечьнѧго*, до *конечьнѧго* свода 298, 338) и даже единично представленная форма с нестяженною флексией-*ааго* (оже не боудеть *свободьнааго* 554). В род. ед. ж. рода только русская флексия -*ои* (*бортьнои* земли 729, 746, *ролеинои* земли 749, *одинои* 706, *пьрвои* 663). То же ожидалось бы в форме местного падежа; здесь, однако, встречается книжное образование на -*ѣи* (о задници *боярьстѣи* и *о дроужинѣ* 638), впрочем,

[1] Форме *городьнѧ* 1034 (во фразе — закладаче *городьнѧ* коуна взѧти) по свидетельству иных списков ошибочна, вместо *городьню*, вин. ед.

[2] С. П. Обнорский, Именное склонение, II, 161.

[3] Ср. с̃мцны рѣзъ 498.

понятное из положения своего в заглавии статьи.[1] В дат. ед. муж. рода только русская флексия *-омоу* (*дѣтьчьскомоу* 1016, *мьншемоу* снви 1101, *пьрвомоу* 1190). Твор. ед. не вызывает замечаний. В местн. ед. муж. рода также смешение форм — по русской норме на *-омъ* (*въ сельскомъ* тиоунѣ 133, на *берестовомъ* 515) и в книжном обличии на *-ѣмъ* (быть ли не смысла пьянъ без вины то ꙗкоже и въ *свободнемь* платити 860; в заглавии статьи — *мцьнемь* рѣзѣ 491).[2]

Прочие формы (мн. ч.) не вызывают замечаний: они отвечают обычным нормам склонения; в косвенных падежах множественного числа всюду русские стяженные формы (*свободьныхъ* людии 1021, *домашьнымъ* 794, *многымъ* 777, послоухы *свободьными* 994).

Должно представить интерес употребление в Русской правде членных и нечленных форм прилагательных, тем более, что оно также обнаруживает черты известного единства своего выражения в памятнике. По общей норме притяжательные прилагательные имеют лишь нечленный тип, прилагательные относительные — членный, качественным прилагательным могут принадлежать обе формы. Отклонений от этой нормы в Синодальном списке нет, если не считать отмеченной выше формы местн. пад. *ратаинѣмь* (вм. *ратаинѣ*); можно привести и обратный случай употребления в нечленном виде прилагательного *боꙗрьскыи*, вообще употребляющегося в формах членного типа (в общем относительном значении): аще ли боудеть роусинъ либо гридь либо тивоунъ *боꙗрескъ* 21, а за рдовича. е. грн. также и за *боꙗрескъ* (т. е. тиоунъ) 137,— но в обоих этих примерах прилагательное имеет притяжательное значение, что и обусловило появление в данных контекстах нечленных форм.[3] Слово *чюжь* по данным Синодального списка сохраняет свою связь по происхождению с местоименной категорией, употребляя соответственно формы склонения лишь местоименного типа (им. ед. *чюжь* конь, холопъ, товаръ 247, 249 и др., род. *чюжего* 884, вин. ед. *въ чюжю* землю 354). Соотносительное употребление в Синодальном списке членных и нечленных форм прилагательных определяется следующими нормами:

1. Прилагательные в обычном атрибутивном значении обязательно выражаются членною формой. Примеры излишни: это нормальный тип употребления прилагательных. Обычно прилагательные стоят препозитивно в отношении к существительным, но возможно и постпозитивное их употребление. Последнее соединяется с представлением особой нарочитости означаемого прилагательным

[1] Заглавия к статьям Правды не принадлежали первоначальному ее тексту, а были вставлены в позднейшей обработке Правды.

[2] Форма *ратаинѣмь* (а въ сельскомъ тиоунѣ или въ *ратаинѣмь*) 135, по членному типу, вероятно, описочная. вместо *ратаинѣ*; ср. разнобой показаний об этой форме в иных списках Правды.

[3] Но ср. от этого прилагательного членную форму (с четким относительным значением): а оже боудоуть холопи татьꙗ любо кнажи любо боꙗрьстии любо черньчи 438.

признака в контексте фразы (аже починить моста *ветхаго* [т. е. не весь мост, а именно лишь изветшавшую его часть; о починке цельного моста речь шла выше] то колико городень починить то взяти ѥмоу по коунѣ ѿ городне 1054, а се покони *вирнии* 96, 97, оурочи *ротнии* 743, 744, а се оурочи *соудебнии* 725, 726, ты таже все соудѧть послоухы *свободьными* 994, аже холопъ *обѣльныи* выведеть конь и под. 863, 876, 1104), поэтому, в частности, оно обычно в перечислениях: о задници *бокарьстѣи* и о *дроужинѣ* (заглавие статьи) 638, аже межю перетнеть *борътьноую* или *ролѣиноую* розореть или *дворноую* тыномь перегородить 591, оже доубъ перетнеть *знаменныи* или *межьныи* 597, за тиоунъ за *огнищьныи* и за *конюшии* 131; ср. сюда же пример с общей конструкцией разделительного типа: любо запа нань боудеть любо прохоженьѥ *ночноѥ* 1025.

2. Прилагательные субстантивированные исключительны в употреблении в членной форме (*дѣчькыи* 739, *тысѧчьского* 518 и др., а *железнаго* платити. м̄. коунъ 1012, *перекладнаго* .е̄. коунъ 613, а .Г̄. коунъ *перекладѣнаѥ* 116, и дати ѥмоу *вазебноѥ* .Г̄. коунъ 1160, на *берестовомъ* 515, *вирьвноую* платити 46, самомоу гр̃вна за раноу оже *лѣчебноѥ* 224, а кдѣ снидеть на *конечнѧго* 298, оже не боудеть *свободьнааго* 554, 860, а ѿ виры *помоченаго*. е̄. коунъ 155, а *домашьнымъ* что сѧ останеть коунъ 794, аже кто *многымъ* долженъ боудеть 777).

3. Прилагательное в нечленной форме обязательно, если оно служит частью предиката, при этом безразлично, будет ли в составе предиката глагол связочного типа (кто боудеть *виноватъ* 269, 620, 765, 1129, аже кто многымъ *долженъ* боудеть 778, аче вси боудоуть ѥи снв̄и *лиси* 722, аже боудоуть въ домоу дѣти *малы* 1070, зане соуть не *свободьни* 442), или иной глагол реального значения (оже *придеть кръвавъ* моуже... или *синь* 201, 202, 203, 204, *бьють* ли не смысла *пьѭнъ* без вины... 858).

4. Прилагательное в нечленной же форме употребляется, когда оно имеет полупредикативное значение; таковы случаи, когда прилагательное входит в конструкцию двойных падежных форм (аже кто бежа а поѥмлеть что *соусѣдне* 1197, пакы ли боудеть что *татебно* коупилъ въ тьргоу 303).

От этой нормы отклонений вообще немного, в частности нет отклонений в отношении выставленных пунктов 2—4. Но попадаются случаи с употреблением прилагательного в атрибутивной функции не по выведенной норме — не в членной, а в краткой форме. В специальной статье, посвященной анализу членных и нечленных форм прилагательных по данным первой Новгородской летописи по Синодальному списку, Е. С. Истрина должна была особо остановиться именно на переплетении в употреблении в летописи одного и другого типа форм у прилагательных чистого атрибутивного значения и пришла к предположению, что направляющим моментом в различении одних и других форм было соответственное восприятие признака прилагательного в контексте фразы — ощущался ли он как признак существенный или, напротив, безразличный; в первом

случае прилагательные выражались краткою формой, во втором случае — полным, местоименным типом [1]. Это заключение, однако, субъективное, а потому недостаточное и для объяснения подходящего материала из самой Новгородской летописи. К данным изучаемого памятника оно не может и помимо того быть применено по разным причинам, в частности ввиду различий в стадиях речи, отражаемых, с одной стороны, Новгородскою летописью (со сложной и пестрою хронологией ее сложения), с другой стороны, древнейшей по происхождению Русской правдой. И действительно, как указано выше, существенность, нарочитость признака прилагательного в Русской Правде удовлетворительно выражалась внешним приемом — постпозицией [2]. Следовательно, функции членных и нечленных форм в русском языке эпохи сложения Русской правды были еще в каких-то отношениях четко раздельными. Обращаясь к анализу данных Синодального списка Русской правды с употреблением нечленных форм прилагательных в общем их атрибутивном значении, приходится прежде всего подчеркнуть крайнюю незначительность соответствующих форм: в памятнике всего 4 подходящих случая кратких форм прилагательного. Может быть, в этом факте свидетельство принадлежности данного типа форм соответственно старейшей стадии речи, отраженной Русской правдой. Фактический материал памятника следующий: аже холопъ оударить *свободна* моужа 890, ... то выведеть *свободьна* моужа два 307, на гостинци на *велицѣ* 932, въ *малѣ* тѧжє 560 [3]. Первый пример имеет четкое значение оттенка неопределенности, соединяющегося с общим значением прилагательного; смысл фразы таков: если холоп ударит «какого-либо» свободного человека... Здесь, таким образом, по системе старшего строя речи нормальною представлялась бы именно фактически имеющаяся нечленная форма прилагательного. Таков же второй пример, в котором к тому же наличие числительного *два*, притом в конце сочетания, еще более подчеркивает оттенок неопределенности в значении прилагательного; ср. с приведенной фразой следующую, где прилагательное стоит в нормальной членной форме: оже боудеть варѧгъ или колбѧгъ (т. е. причинивший кому-либо смерть или оскорбление физическое), тъ *полнаѧ* видока вывести и идета на ротоу 235. Можно думать, что такая же функция неопределенности была по старой системе речи присуща и прилагательным в остающихся двух примерах, особенно первому типу «въ *малѣ тѧжє*», ср. обычные в памятниках полунаречные сочетания вроде «въ *малѣ* времени» и под., или современные наречия с окоченевшей в нечленном именно типе формой прилагательного вроде — *вскоре*, *налегке*, *помалу* и под.

[1] Изв. ОРЯС, XXIII, кн. I, 45 и сл.

[2] Момент препозиции и постпозиции в отношении материала из Новгородской летописи затронут, хотя вскользь и по-видимому, недостаточно, в отмеченной статье Е. С. Истриной (см. стр. 52); в позднейшей работе того же автора этот вопрос никак не затрагивается (см. Синт. наблюдения, стр. 139 и сл.).

[3] Написание на *поусте* 934, видимо, содержит порчу текста; ср. в иных списках — на *поути*.

Морфология глагола по данным Синодального списка Русской правды богата рядом характеристических черт, цельным образом отраженных в памятнике. Нетематический класс глаголов в памятнике представлен формами исключительно архаического типа: наст. вр. *дадѧть* 496, 1045, *выдадѧть* 87, *w҃дадѧть* 672, *продадѧть* 774; прич. *дадоуче* 789. Глагол *слати* в наст. вр. представлен формой без смягчения начального согласного корня: *w҃слеть* 816. Памятник знает употребление супина: оже закоупъ бѣжить w҃ гд҃ы то обѣль идеть *искатъ* коунъ 542, то которыи дѣчькыи идеть (въ Синодальном списке порча: *дѣтии*) ихъ *дѣлитъ* 740. В отношении образования отдельных времен следует отметить следующее. В образовании наст. вр. выделяются формы 3 л. ед. на *-те, -ти* (перед следующим *и*, формой вин. ед. местоимения): *познаѥти* и 242, и *ѥмете* и на желѣзо 1004; ср. еще с порчей в тексте фразу — то которыи *дѣчькыи дѣтии ихъ* дѣлитъ 740, в которой слова *дѣчькыи дѣтии ихъ*, по указаниям иных списков, следует читать как *дѣлечь идѣти ихъ*, т. е. с формою 3 л. наст. вр. *идѣти*. Как известно, подобные формы, возникшие ассимиляционным процессом, характерны для южнорусских памятников старшего периода; наличность этих форм, таким образом, также ведет к предположению о киевском происхождении ближайшего оригинала Синодального списка Правды. Замечательно полное отсутствие в тексте Правды имперфекта; впрочем, может быть, жанр памятника в известной мере не давал места употреблению этой формы прошедшего времени: но не менее замечательно такое же, можно сказать, отсутствие в памятнике и форм аориста — при широком употреблении (31 сл.) перфективных форм. В тексте всего пять примеров употребления аориста, и все достоверные из них относятся к вставкам позднейшего включения в Русскую правду. Сравните: по ѩрославе же... с҃нве ѥго... w҃ложиша оубиѥние за головоу 33, а ино все ѩкоже ѩрославъ соудилъ такоже и с҃нве ѥго *оуставиша* 40, то ѩрославъ былъ оуставилъ и оубити нъ с҃нве ѥго *оуставиша* по w҃ци на коуны 902. В одном случае оказывается порча в тексте: и *оустави* люди до трьтьѥго рѣза 509 — вместо «и *оуставили до*», как читается в большинстве иных списков; следует прибавить, что и это место принадлежит позднейшей вставке в Правду. Неясно заглавие статьи: а *се оустави* Володимиръ; сама статья, вслед за заглавием, читается — а *се оуставилъ* володимиръ всеволодичь 509; таким образом неясно, как следует принимать в заглавном содержании слово *оустави* — формою ли имени существительного, что правдоподобнее (в большинстве иных списков дается чтение: *оуставъ*) или глагольною формой. Эта черта, конечно, должна быть отнесена к характеристике первооригинала Правды, к характеристике общего строя русского языка старейшей поры, очевидно, уже не знавшего аористических форм, которые в нем были утрачены еще ранее по причине функционального их совпадения с перфектом. Показателен сам по себе факт, что те единицы аористических форм, которые наблюдаются в тексте Правды, все

падают на части вставок позднейшей поры в ее содержании. Этот факт ясно свидетельствует о позднейшем привитии аориста, как формы книжной, в оборот русского литературного языка. Достойно замечания также выдержанное употребление в памятнике форм перфекта: для выражения 3-го лица формы постоянны без связки, напротив во всех случаях употребления 1-го или 2-го лица перфекта связка всегда налицо: не рьци се мѡ нъ поиди на сводъ кдѣ ѥси *възалъ* 267, нельзѣ речи не вѣдѣ оу кого ѥсмь *коупилъ* 342, а толко ѥси оу мене *положилъ* 749, то рчи ѥмоу тако *промиловалъ* ѥси оже ѥси не *ставилъ* послоуховъ 507, ѩко не *вѣдалъ* ѥсмь 1173, ѩко не вѣдаѭ ѥсмь *коупилъ* 1194. С такой последовательностью в употреблении перфективных форм не всегда можно встретиться в позднейших русских памятниках. Плюсквамперфект встречается в памятнике в одном примере, притом в образовании русского типа: то ѩрославъ *былъ оуставилъ* 900. Характерно употребление будущего простого в памятнике: здесь, можно сказать, совершенно отсутствует тип образования будущего времени помощью глагола *боудоу* (имеется всего один пример, к тому же с порчею в тексте: аже боудоуть въ домоу дѣти малы а не джи сѧ *боудоуть* сами собою *печаловати* 1171; здесь *не джи* следует читать как *недоужи* или *недоужьни*; в Пушкинском списке, XIV в., вм. *боудоуть* читается *почноуть*); наиболее обычный тип соответственных форм — сложение с *начноу* (а опѧть *начнеть* не *дати* гости... коунъ 784, а пьрвии дължьбити *начьноуть* ѥмоу *запинати* не дадоуче ѥмоу коунъ 787, а оже кто възищеть коунъ на дроузѣ, а онъ сѧ *начнеть запирати* 449, аже *начнеть* не *знати* оу кого коупилъ то ити по немь тѣмь видокомъ на тьргоу на ротоу 309, а истьца *начьнеть* головою *клепати* 159, нъ оже *начнеть* болшимъ *кльпати* томоу ити ротѣ 474, ѥкотораѩ ли вьрвь *начнеть платити* дикоую вироу 52, а что боудеть ѥмоу погыбло тоже ѥмоу *начнеть платити* 275, не *хотѣти* ли ѥи дѣти *начноуть* (ни) на дворѣ а она *начьнеть хотѣти*... 683, пакы ли гнъ не *хотѣти начнеть* платити за нь... 877), возможно и образование с глаголом *почноу* (нъ ити ѥмоу самомоу ротѣ оже сѧ *почнеть запирати* — варианты: *начнеть*, *иметь* 468, нъ како *почнеть* ѵ лѣта *платити* также платить — варианты: *начнеть*, *начнеть мочи* 760). Нельзя и на основании этого, столь ярко отраженного Русской правдой, свидетельства не сделать заключения об исконности русского типа образования будущего простого отнюдь не помощью вспомогательной формы *боудоу*, а сложением с формами глагола *начати*, *почати* и др. Причастие как склоняемая категория глагола отсутствует в показаниях текста Правды, хотя здесь вообще часто употребление причастных образований — в функции современного деепричастия. Согласно с этим причастия употребляются в отправной форме именительного падежа (ед. и мн. числа) и оканчиваются в настоящем времени на *-а* (*бѣжа* 1196, *вѣдаѭ* 7 сл., *знаѭ* 1133, *река* 100, не *смысла* 858, *тьрпѧ* 185, *дѣѭ* 830, *мьстѧ* 11, *оумираѭ* 696) или на *-че* (а се оурочи городникоу *заклада(ю)че*

городьнѧ, т. е. городьню, 1032, 1034, а пьрвии, дължьбити начьноуть ѥмоу запинати не *дадоуче* ѥмоу коунъ 789), в прошедшем времени на -ъ (*вынезъ* 175, 178, *слышавъ* 1132, *шедъ*, *пришедъ* 754, 779, *коупивъ* 320, 322, не *прашавъ* 249, *съзвавъ* 513) или на *-ше*, реже *-ши* (*искавше* 156, *кончавше* 1035, *коупивше* 360, *розвязавше* 304, *оукрадъше* 353, *ходивше* 1192, *повѣдавше* 1156, *помостивъше* 1150, *съвъкоупивъше* сѧ 37; *шедъши* 1159, *погоубивъши* 834, *въземъши* 692). Отмеченная выше характерная черта Русской правды, не знающей причастий, как склоняемой категории, делает понятным полное отсутствие в ней оборота дательного самостоятельного. В глаголах возвратной формы частица сѧ носит подвижный характер, употребляясь как препозитивно (нъ коунами сѧ *выкоупати* 36, а онъ сѧ начнеть *запирати* 449, 468, а домашьнымъ что сѧ *останеть* коунъ тѣмь же сѧ *подѣлать* 795, а нед(оу)жи сѧ *боудоуть* сами собою *печаловати* 1071, иже сѧ *прикладываѥть* вирою 79, како сѧ *боудеть* (*боудеть сѧ*) *радилъ* 488, 1120, 1114), так — обычный тип — и постпозитивно; в последнем случае сѧ может не примыкать непосредственно к глаголу (*заидоуть* ли сѧ коуны до того же года 494).

Синтаксис Русской правды заслуживает по своему значению специального исследования. Здесь, естественно, внимание может быть сосредоточено лишь на отдельных, особо выделяющихся или особенно целостно проявляющихся чертах памятника. В этом отношении заслуживают внимания обильные случаи употребления прилагательных в субстантивированной форме (см. материал выше). Существительное *братиѥ*, как собирательное, по норме старого языка требует глагольного согласования по множественному числу: нъ ѿдадать ю (т. е. сестру) за моужь бр҃а҃ѥ како си *могоуть* 672, аже братьѥ *ростажють сѧ* передъ кнѧземъ 736. В памятнике очень широко употребление притяжательных прилагательных соответственно позднейшей конструкции родительного падежа от одушевленных имен существительных, ср. соудъ *ѥрославль* володимирица 1, *братню* сн҃ви 10, постоянное *кнѧжь*, тиоунъ *ратаинъ* 134, *смердии* холопъ 142, ѿдати же пьрвѣѥ *гостины* коуны (в большинстве иных списков — *гостеви*, *гостю*) 793, *мт҃рна* часть 694, а *заднича* ѥи *моужна* не надобѣ 660, *отьнь* (дворъ) 1110, *робьѥ* дѣти 1064 и др.[1]. В памятнике очень ограниченное количество союзных слов для выражения связи предложений, отдельные союзные слова поэтому выдаются особой своей многозначностью; таковы, напр., союзы, особенно частые в памятнике *а*, *и*, *оже*, *ли* (*или*, *любо*). Между прочим, союзу *а* в ряде примеров принадлежит четкое соединительное значение (=латинскому *et*; ср. чешское *a*): нъ выдадать

[1] Об этом тяготении к употреблению притяжательных форм прилагательных в памятнике может свидетельствовать следующий пример употребления формы прилагательного *чьрньчь*: а оже боудоуть холопи татьѥ любо кнажи любо бокрьстии любо *чьрньчи* 439; по смыслу контекста функция прилагательного здесь чисто относительная и прилагательное ожидалось бы в форме *чьрньчьскыи*; ср. действительно обилие вариантов к данной форме (в частности, наличие и формы *чрьнечьскы*) в иных списках Правды.

и всего съ женою и съ дѣтьми на потокъ *а* на разграблению 90, вирникоу .ӣ. грвн̄ъ. *а*. і̄. коунъ перекладьнам 115, метелникоу .в̄і. векши. *а* съсаднам грвн̄а 118, аже кто познаѥть чел҃динъ свои оукраденъ *а* поиметь и то ономоу вести и по коунамъ и до третьѥго свода 391, а слѣдъ гнати съ чюжими людьми *а* с послухы 930. Своеобразная же, носящая признаки большой древности, система передачи в памятнике конструкций относительной связи. Ее нормальное выражение помощью местоимений *кто, что*. Обороты с *иже*, ѥже, ѥже, в этой отправной форме местоимения, отсутствуют в Русской правде [1]. Формы косвенных падежей от этого местоимения крайне ограничены в употреблении в памятнике (а *оу него* же погыбло то 482, отъ *него же* ковоу ѥмлеть — порча в тексте — 812, *имъ же* ловлено 583, *ихъ же* кнаѕь продажею казнить 439). Местоимение *которыи* неизвестно в памятнике в функции относительной, а употребляется исключительно с неопределенным значением: а мт̄ри *которыи* сн̄ъ боудеть добръ томоу же дасть свое 718, 739, оже *которыи* коупьць шедъ кдѣ любо съ чужими коунами и истопить са 753, *которам* ли вервь начнеть платити дикоую виру 53, а оже оубьють кого оу клѣти *оу которои* татьбы 368); ср. в этом же значении, как эквивалент формы *которыи*, местоимение *кто*: аже *кто* коупьць дасть въ коуплю коуны 460. В памятнике нередки повторения союзов и особенно предлогов при синтаксически связанных частях предложения: *а* головничьство *а* то самомоу головникоу 68, *за* тиоунъ *за* огнищныи 130, *на* гостинци *на* велицѣ 932 и др. Отмечу четкие примеры употребления члена: а что сърѣзить товаромь *тѣмь* ли пригостить то то ѥмоу собѣ 1083, что поималъ боудеть или истерлъ то то ѥмоу все платити дѣтѣмь *тѣмъ* 1095. Характерно употребление местоименной формы то с усиленным значением в осложнениях типа *то то, то ти*: *то то* вирникоу съ отрокомъ (вариантъ: *то ти*) 111, *то ти* оуроци смьрдомъ 431, *то ти* желѣзныи оурокъ 1016. Прямой объект от имен существительных одушевленных в громадном количестве показаний памятника обозначается согласно со старым строем речи не родительным, а винительным падежом (а познаѥть в третии дн̄ь *тъ свои чел҃динъ* почти 244, оже кто въсадеть на *чюжь конь*, 248, 251, пакы ли боудеть что татебно коупилъ на търгоу или *конь* или пъртъ или скотиноу 302, а погоубить *воискыи конь* 803, аже холопъ обѣльныи выведеть *конь чии* любо 864, 873, а кто пакощами порежеть *конь* или скотиноу 988, аже кто оукрадеть... или *соколъ* или стрлъ 961, аче же и отьцимъ прииметь *дѣти* съ задницею 1096, аже кто переиметь *чюжь холопъ* 1140, почти оу него *отрокъ* 1157, аже кто познаѥть *чл̂динъ свои оукраденъ* а поиметь *и* то ономоу вести *и* по коунамъ и до третьѥго свода почти же *чел҃динъ* въ чел҃дина место 329; в положении после предлогов — оже кто въсадеть на *чюжь конь* 248, 251, а за *тиоунъ* за *огнищныи* и за *конюшии* 130, за *смердии холопъ* 142, 626,

[1] Единственный подходящий случай употребления *иже* (во фразе — *иже* са прикладываѥть вирою 89) падает на контекст с порчею текста.

1138, *за волъ* 415, 882, *за боранъ* 424, за *жеребець*, за *конь* 425, 881, за *голоубь* 966, за *гоусь* 969 и др.; особенно часто употребление местоименной формы *и* (в сочетании с предлогами *нь*) в отношении к одушевленным объектам: а кто *и* клепалъ 152, оже ли оубиють *и* 374, вести *и* на торгъ 791 и т. д., на *нь*, за *нь*, 25, 411, 427 и т. д.). В аналогичных условиях текст представляет данные и с употреблением родительного, не винительного, падежа как новое развивающееся явление языка (аже кто поустить *холопа* въ торгъ 1184, аже холопъ оударить *свободна моужа* 890, аже гнъ бьють *закоупа* про дѣло 855, аже гнъ переобидить *закоупа* 834, аже кто оубиють *княжа моужа* въ разбои 43, то выведеть... *мытника* 308, 358, съзвавъ... *ратибора тысѧчького* кыювьского... 516, то тѣмь же соудомь соудити ѧкоже и *моужа* 618; то же в положении существительного после предлога — то за *разбоиника* людьи не платать 85, за *ремьствьника* и за ремьствьницю 140, а за *кормилца* .вї. грн 145, а кдѣ снидеть на *конечнаго* 398, сложити на *закоупа* 557, 562). Характерны случаи колебания в употреблении винительного и родительного падежей при сочетании двух объектов или объекта и полупредикативного к нему определения, напр., а за *радовича* .е. грн также и за *бокрескъ* (т. е. тиоунъ) 137, то опать воротить *челадина* а *свои* поиметь 346, оже ли оубиють *и* а оуже боудоуть видѣли людие *съвязана* то... 373, а боудеть былъ княжь конь то платити за *нь* .г. грвны а за *инехъ* по двѣ грвнѣ 409, то выдадать *и всего* 87. В положении рядом во фразе субъекта и объекта, выраженных существительными мужского рода, объект обязательно выражается формой родительного падежа: ажь оубьеть *моужь моужа* то мьстити... 5, или пьхнеть *моужь моужа* 226; то же в случаях не смежного положения субъекта и объекта, если однако оба они обозначаются одним и тем же существительным: оже *смердъ* моучить *смерда* безъ княжа слова 940. Отмечу несколько примеров двойного винительного: платити ємоу *продажю* .г. грн 205, а *мясо* дати *овьнъ* или *полъть* 608, а за пагоубоу *грвноу оурокъ* платити 991; ср. особенно случай с заменой одного винительного именительным — согласно с известной памятнику конструкцией «имен. ед. существительного ж. рода + инфинитив»: то имати ємоу *переємъ гривна* коунъ 1143. В памятнике нередок в употреблении дательный принадлежности: а мати *имъ* поидеть за моужь 1072. В этой функции особенно характерна местоименная форма *си, собѣ*: того же дѣла имъ помогати головникоу любо си дикоую вироу нъ сплатити имъ въ обчї 65, а за кормилца .вї. грн и за кормилицю хота *си* боуди (вариант: боудеть) холопъ или роба 147, нъ ѿдадать ю за моужь брат како *си* могоуть 674, любо *си* на женоу възложилъ боудеть (т. е. имущество) 664, то ти желѣзный оурокъ кто *си* въ чемь ємлеть

1018, а что сърѣзить товаромь тѣмь ли пригостить то то ѥмоу *собѣ* а истыи товаръ воротить имъ а прикоупъ ѥмоу *собѣ* зане кърмилъ и печаловалъ сѧ 1085, аче оупоустить *собѣ* ѥмоу пагоуба 1164. Замечательно наличие в памятнике конструкции инфинитива с именительным, не винительным, падежом объекта, выражаемым существительным женского рода; вирникоу *взѧти... коуна* 99, а самому (взять) *гривна* за раноу 223, потьнеть ли на смрть то *вира* 225, или *взѧти грвна* коунъ за соромъ 905, заклада(ю)че городнѧ (sic! одну городню!) *коуна взѧти* а кончавше *ногата* 1035. Этот синтаксический оборот характерен для современных севернорусских говоров. В данной черте памятника должна быть поэтому признана новгородская его особенность и, надо думать, не особенность данного Синодального списка, а особенность, которую должно возвести к основному оригиналу, как также новгородскому по происхождению. Нельзя не заметить при этом, что для всех приведенных примеров (кроме последнего) иные списки Правды не дают разночтений. Бессубъектные предложения очень широки в употреблении в Русской правде. Основные их типы следующие.

1. Наиболее часто встречающийся инфинитивный тип, напр., ...то *мьстити* братоу брата 7, то *положити* за головоу .п. грвнъ 13, то вирьвноую *платити* въ чьѥи же вьрви голова лежить 46 и мн. под.

2. Оборот с 3 л. ед. глагола *быти*: *боудеть* ли боле коунъ то... 504, а *боудеть* коунъ .г. грвны, то... 501, аже кто оукрадеть въ чеѥи перевѣсе или соколъ или ѩстрѧбъ то продаже .г. гривны 964, а г҃оу колико *боудеть* возъ оукрадено то имати ѥмоу по .в. ногатѣ за возъ 974 и др. под.

3. То же с отрицанием при глаголе-связке: оже *не боудеть* лица тъ... 164, послоуховъ ли *не боудеть* 500 и под. Сюда принадлежит конструкция с *нѣтоу(ть)* — вины ѥмоу въ томь *нѣтоуть* 188, ѥвоѥго города в чюжю землю свода *нѣтоуть* 355 и др.

4. Оборот с глаголом в форме 3 л. мн. числа: которѧѧ ли вьрвь начнеть платити дикоую вироу колико лѣ *заплатѧть* тоу вироу... 55, искавше ли послоуха и не *налѣзоуть*... 157, потьнеть ли на смрть... или жердью оударить, а видока два *выведоуть* то .г. грвны продаже 231, а оже *оубьють* кого оу клѣти 367 и под.

5. Конструкция с наречием *не льзѣ* (*не льзѣ* речи не вѣдѣ оу кого ѥсмь коупилъ 340).

6. Оборот с прилаг. в форме им. ед. ср. рода:... то како *любо* 770.

Предложения с наречным сочетанием *не надобѣ* в показаниях Правды двусоставны: *послоуси* ѥмоу *не надобѣ* 465, а *заднича* ѥи *моужнѧ не надобѣ* 659, 671, а *мтрнѧ часть* дѣтемъ *не надобѣ* 695.

Чрезвычайного интереса и значения по цельности своего выражения лексическая сторона памятника. Она обратила на себя внимание обилием русских элементов и соответственно слабою долею болгарского воздействия. Действительно, трудно найти другой рус-

ский памятник, настолько бедно представленный болгаризмами, как Русская правда. Какую бы сторону в этом отношении ни подвергнуть анализу в тексте Правды, она не сможет не поразить бедностью, а то и совершенным отсутствием книжного, болгарского по происхождению, на себе налета. Полногласие (первое) в памятнике отражено так сильно, как не представлено ни одним иным памятником старой русской письменности. Ср. подходящую лексику вроде — *болого* 505, *волога* 1037, *воротити* и производные, *голова* и производные, *городъ* и производные, *горохъ* 109, *дерево* 910, *жеребѧ*, *жеребець* 425, 428, *золото*, *корова*, *коровии* 416, 429, *молоко*, *порося* 422, *солодъ*, *холопъ*, *хоромъ* 891, *володимиръ*, *всеволодъ*. В этом отношении приходится даже ставить обратный вопрос — о том, в каких случаях мы не наблюдаем в памятнике полногласной лексики. И этих случаев, действительно, здесь почти не оказывается: имеется написание *чрево* 611, но оно падает на место с порчею текста; написание *въ сре*$\overset{\frown}{д}$, может быть, позволительно было бы читать и в виде въ *середоу*; написание *враждоу* 835, как уже об этом замечено выше, также принадлежит месту испорченному [1]. Начальное *ѡ* отсутствует в подходящей лексике в памятнике: в соответственных случаях всюду находим *о* (*одинъ*, *оже*). Сто́ит при этом указать на то, что союз *оже* очень широк в употреблении в памятнике; но на 58 случаев его употребления с начальным *о* падает лишь два случая его варианта *ѡже* 678, 810, и оба эти случая принадлежат порченым местам Правды. В соответствии с болгарским звуковым комплексом *шт*, *жд* определенного происхождения (из *tj*, *kt* и *dj*) в русском языке наблюдаются *ч* и *ж*. Но ни в одном ином памятнике старой русской письменности не встретится той картины с отражением названной звуковой черты, как в Русской правде, почти не дающей примеров ни с *жд*, ни с *щ*, а всюду представляющей соответственную лексику в русском обличии, с *ж* и *ч*: *чюжь*, *прохожение* 1024, *поклажаи* 469, 470, *межю* 590, *межьныи* 598, *ноужа*, *продажа* и под., или *аче*, *ворочати*, въ *обчі*, *хочеть*, *даче*, *оусрѧчеть* 1169, *дъчери*, *дадоуче*, *закладаюче* и др. Из отклонений следует отметить единичное *аще* (*аще* ли оутнеть роукоу 189; ср. в Троицком списке: *аче*), союз, обычно встречающийся в виде *аче* (10 случаев),— можно на этом основании данную единичную форму считать описочной. В области словообразования можно отметить: 1) почти полное отсутствие в памятнике сложений с *без-*: в тексте встречается одно лишь слово с этим префиксом — *безоумиѥ* 768 (оже ли пропь$\overset{\frown}{с}$ть или пробиѥть сѧ въ *безоумии* чюжь товаръ испортить); 2) почти полное отсутствие сложений с *из-* известного, характерного

[1] В соответствии с исконным начальным *ор*, *ол* известного качества в Синодальном списке Правды обычны по русской норме написания с *ро-*, *ло-*: *лодьи*, *локоть* род. мн. 1052, *лоньщиноу* 419, *роба*, *робити* 1064, *роботити* 548, 1125, *ролеиныи*, префикс *роз* — в *розграбежь*, *розвязати* 904, *роздѣлити* 647, 699, *розорити* 592, *ростерѧти* 680, *ростажити сѧ* 736 *ростьчи* 580: книжные варианты написаний встречаются лишь для сложений с префиксом *раз-*: *разбои*, *разбойникъ* 44, 82, 84, 85, *разграбление* 90, *разнаменати* 588.

для болгарского языка значения[1]: в Русской правде одно слово с данным префиксом — *изгои* 23; 3) незначительность образований имен существительных на *-ие*: в памятнике встречаются следующие слова — *безоумие*, *знамение*, *прохожение* 1024, *разграбление* 90, *оубиение* 34; 4) равным образом незначительность образований существительных с суффиксом *-ьств-*: *головничьство*, *послоушьство*, *тиоуньство*, *оубиистьво* (встречается лишь в заглавии, 41), *холопьство*. Напротив, можно отметить в параллель к указанной черте с отсутствием в Правде слов, осложненных префиксом *из-* болгарского происхождения, наличность в ней ряда соответственных сложений (того же значения) с характерным русским префиксом *вы-*, напр. *выбити*, *вывести*, *выдати*, *выдрати*, *выкоупати сѧ*, *вылазити*, *вылѣсти*, *вынез<ноу>ти*, *вы<н>ѧти*, *выстоупити*. Отметить еще можно наличность образований кратных глаголов с русским суффиксом *-ыва-*: *прикладывати <сѧ>* 69, 79, *складывати* 559. Общий состав лексики Правды обращает также на себя внимание своим русским обликом. Но единичные элементы книжной (болгарской) лексики могли сюда вкрапиться в процессе переработки основной редакции Правды, т. е. на юге, где составлен был оригинал, с которого непосредственная копия и дала Синодальный список памятника. Таков, напр., книжный глагол *съвъкоупити сѧ* 27, но он как раз встречается лишь во вставочной части, т. е. обязан второй редакции Правды. Или слово *пакощами* 987, для которого многие списки дают иное чтение, возможно думать, заменило соответственное слово основного оригинала на южной, украинской почве, где велась работа по составлению второй редакции памятника; ср. сходное по морфологической структуре наречие *лѣнощами* в поучении Владимира Мономаха (украинское лінощі). Так могли в единицах просочиться в первоначальный текст Правды элементы книжной лексики, ср. единичные в памятнике случаи наречия *токмо* 1074, союза *обаче* 667; может быть, таково же слово *дължьбитъ* 787: ср. в большинстве списков чтение — *должникъ*.

Предложенный анализ данных Синодального списка Русской правды позволяет с уверенностью признавать в нем (и многочисленных иных того же типа списках) не вторичную, позднейшую по происхождению, а основную, первичного сложения, редакцию Правды. Эта редакция принадлежала начальной поре деятельности князя Ярослава и может быть возводима к самому началу XI века; памятник составлен был в Новгороде; составителем Правды был кто-либо из советников Ярослава, отнюдь не лицо из класса духовенства; на долю составителя Правды выпало мало труда собственно авторского, составитель Правды скорее был редактором данного сборника, скомпоновавшим в нем и доставшиеся из старины, может быть, в свое время (X в.) бывшие и зафиксирован-

[1] Образования с *из-* иного значения (значения полноты проявления основного глагольного признака), известные исконно и болгарскому и русскому языку, представлены в памятнике в ряде примеров — *исплатити* 983, *испортити* 769, *истерѧти* 714, 1093, *истопити сѧ* 752, 756.

ными в более раннем сборнике судебные обычаи и соответственные казусы судебного порядка своего времени. Эта основная редакция Русской правды, не подвергшись в дальнейшем особой переработке, получила, однако, позднéе частичные к себе дополнения согласно с изменением со временем (при сыновьях Ярослава и позднéе при Владимире Мономахе) в содержании самих судебных установлений. По данным Синодального списка так сложилась вторая редакция, точнее сказать, новая рецензия первоначальной редакции Русской правды; время ее происхождения должно быть определяемо второй половиной XII в.; эта редакция составлена была в Киеве; составителем ее было также, видимо, служилое лицо, отнюдь не из класса духовенства. Эта редакция и явилась прямым оригиналом Синодального списка Русской правды. Языковой анализ Синодального списка Правды дает в результате свидетельство существования в нем троякого слоя явлений, явлений, разных по времени отложения в памятнике, явлений не однородной принадлежности к месту их происхождения. Непосредственно писцу Синодального списка обязаны, помимо разных общих черт позднего в русском языке образования, такие явления, как цоканье, второе полногласие. Обе эти черты русские, притом северные (новгородские). Эти черты не могут быть усвоены в совокупности ни ближайшему оригиналу (киевского происхождения, которому было чуждо цоканье), ни основной редакции памятника (XI в., когда не могло еще быть результатов явления второго полногласия). Ближайший оригинал Синодального списка отложился в последнем рядом, естественно неровным образом проявляющихся, черт: таковы факты с употреблением *ѣ* на месте *е* в закрытом слоге, также устойчивое, с ятем, написание *кдѣ*, отсутствие следов ассимиляции по глухости в группах согласных, формы дат. ед. *сынови* (не *сыноу*), 3 л. ед. наст. вр. на *-ти*, может быть, устойчивость флексии *-ыи*, *-ии* в им. -вин. ед. муж. рода прилагательных; таковы же следы слабого налета книжного, болгарского, происхождения — книжные формы прилагательных в отдельных падежах, аористические формы, разрозненные элементы книжного лексического воздействия. Этот слой черт, конечно, не мог принадлежать последнему писцу Синодального списка, новгородцу, так как многие из этих черт чужды самой природе севернорусского наречия. Но эти черты не могут быть относимы и к основному первооригиналу, так как в части звуковых явлений почти все отмеченные черты по своему образованию в языке поздние (не ранее второй половины XII в.), прочие же указанные особенности, сводящиеся к окружению основного текста внешними элементами книжного характера, за своей незначительностью не могут быть возводимы к первичному оригиналу. Богаче всего выделяется третий слой черт в данных Синодального списка, вынесенных из основного оригинала Правды,— это вся та широкая совокупность относящихся ко всем сторонам языка (кроме фонетики) грамматических явлений, которая выше обратила на себя внимание поражающей цельностью своего выражения в

памятнике. Все это характерные русские черты, в своем большинстве старшего периода жизни русского языка в своей совокупности дающие тип речи, чуждой книжных элементов и совершенно лишенной заметных следов болгарско-византийского на себе воздействия. Понятно, что этот слой черт нельзя приписать ни языку писца данного Синодального списка, ни языку его ближайшего (киевского, XII в.) оригинала,—он должен быть относим к старшей эпохе в жизни русского языка (предфеодальная эпоха), он должен быть приурочиваем к севернорусской территории, к Новгороду (ср. наличность члена или синтакс. констр. типа *възяти гривьна*).

Полученный результат имеет принципиально важное значение для исследования общего вопроса об образовании русского литературного языка. К числу общих истин, вошедших в оборот истории русского языка, принадлежит положение об образовании русского литературного языка не как русского, а как пришлого, болгарского в своей основе, языка, который был в эпоху принятия на Руси христианства заполучен нами в богатой пришедшей церковноболгарской книжности и в дальнейшем подвергся лишь длительному процессу обрусения. С точки зрения этого понимания в X—XI вв. русского в собственном смысле литературного языка не существовало, его миссию выполнял пришлый церковнославянский язык, постепенно через стадию русскоцерковнославянского давший собственно русский литературный язык. Предшествующее исследование, приведшее к положению о чертах языка первооригинала Русской правды, как памятника русского языка X—XI вв., ведет к необходимости пересмотра этого, принятого, впрочем, без специальных доказательств, положения о происхождении русского литературного языка. Ведь действительно, нельзя отказать Русской правде в признании за нею памятника литературного русского языка своего времени. Это был вместе с тем язык старшей поры, той поры, от которой иных оригинальных русских памятников мы почти не имеем, если не считать переводных договоров русских с греками, к тому же лишь в отдельных экземплярах. Однако наличность даже этого малого числа дошедших русских памятников интересующей старшей поры свидетельствует о существовании уже в данную эпоху культуры русского письменного слова. Анализ языка Русской правды позволил облечь в плоть и кровь понятие этого литературного русского языка старшего периода. Его существенные черты — известная безыскусственность структуры, т. е. близость к разговорной стихии речи, понятная для языка, начинающего свое собственно литературное развитие, и полное отсутствие следов взаимодействия с болгарской, общее — болгарско-византийской культурой. Почему же в данных этого первичного литературного русского языка не оказывается даже следов болгарско-византийского воздействия? Их действительно не было. Любопытное свидетельство в этом отношении дает та же Русская правда. Конечно, вряд ли вообще может отправлять свои развивающиеся функции литературного назначения язык любой нации без того,

чтобы в известной мере не связаться нитями взаимодействия с каким-либо иным смежным языковым миром. Таким был и русский литературный язык старшего периода, и у него были свои взаимодействия на языковой почве, только что — не с болгарско-византийским миром. Анализ языка Русской правды поражает многими особо целостно выраженными явлениями, среди них замечательны факты с заимствованной лексикой. Не может, действительно, не поразить в языке Русской правды совершенное отсутствие церковной лексики: в этом факте лучшее доказательство, что памятник слагался во всяком случае не в среде, и даже, можно думать, не в интересах, духовенства, как априорно думал Ключевский, а за ним Рожков. Но не менее замечательно и то обстоятельство, что в тексте Русской правды полнейшим образом отсутствует лексика византийского происхождения. Отсюда также следует сделать вывод, что эпоха сложения и место составления Русской правды принадлежали той поре и той территории культивирования русского литературного языка, в которую и на которой не существовало базы для питания реальных связей русского и византийского миров. Это была действительно пора X века, это была территория северной, кривичской Руси, с старым культурным центром в ней — Новгородом. Понятно, что в эту старшую пору северу Руси были чужды интересы юга, Византии. Здесь из века жили традициями иных культурных веяний — с севера и с запада, со стороны германского, по-видимому, и западнославянского мира. Недаром полному отсутствию в Русской правде византийских заимствований отвечает как раз относительно густой слой в числе заимствованных элементов именно слов германского происхождения. Ср. такие элементы из лексики Русской правды, как — *вира*, *голважна*, *гридь*, *мытникъ*, *мательникъ*, *тиоунъ*, *тынъ*, может быть, и слово *ороудиѥ* 817, 821 (в значении «дело», «занятие»). Не может быть сомнения в том, что, если бы Русская правда составлялась позднéе и где-нибудь на юге, многих из перечисленных слов в ее тексте не оказалось бы. О западнославянском воздействии на язык Русской правды по существу исторической обстановки говорить не приходится, так как под ним следует разуметь лишь общие тенденции, отправлявшиеся от еще более старших эпох. Но соблазнительно все же отзвук этих тенденций видеть в факте абсолютного проведения в тексте памятника флексии ѣ (*е*) в известных формах именного и местоименного склонения соответственно др.-болг. окончанию ѧ и книжному рус. ѧ: такого выдержанного употребления этих форм в иных рус. памятниках мы не знаем, вместе с тем этой чертой рус. язык, расходясь с южнослав. языковым миром, объединяется с западнославянскими языками, и было бы понятно, что именно на севере, где жили традиции былых связей с западнославянским миром, данная флексия выступала в безраздельном своем употреблении в речи. Еще более ярким свидетелем воздействий этого же порядка являлся бы отмеченный выше факт употребления союза *а* в чистом соединительном значении (=лат. et).

Итак, Русская правда, как памятник русского литературного языка, как старейший его свидетель, дает нити для суждения о самом образовании нашего литературного языка. Русский литературный язык старшей эпохи был в собственном смысле русским во всем своем остове. Этот русский литературный язык старшей формации был чужд каких бы то ни было воздействий со стороны болгарско-византийской культуры, но с другой стороны ему не были чужды иные воздействия — воздействия, шедшие со стороны германского и западнославянского миров. На этот русский литературный язык, видимо, первоначально взращенный на севере, позднее оказала сильное воздействие южная, болгарско-византийская культура. Оболгарение русского литературного языка следует представлять как длительный процесс, шедший с веками crescendo. Недаром русско-болгарские памятники старшего периода содержат в известных линиях русских элементов даже более, чем сколько их оказывается в современном нашем языке. Очевидно, по этим линиям оболгарение нашего литературного языка последовало позднее в самом процессе его роста.

10 ноября 1934

РУССКАЯ ГРАММАТИКА ЛУДОЛЬФА 1696 ГОДА

С именем Лудольфа (Heinrich Wilhelm Ludolph) связывается представление автора первой собственно русской, не «славянской», грамматики. Грамматика эта, по обычаю своего времени носящая несколько пространное заглавие — Grammatica russica quae continet tantum praecipua fundamenta Russicae linguae verum etiam manuductionem quandam ad grammaticam Slavonicam, выпущена была на латинском языке в Оксфорде в 1696 г.

В моем распоряжении имелись два экземпляра издания Лудольфа, находящиеся в библиотеке Академии наук. В одном из этих экземпляров, полном, 12 ненумерованных и 97 нумерованных страниц (недостает в этом экземпляре лишь титульного листа); пагинация экземпляра — арабская; весь текст не иллюстрированного характера на латинском языке; посвящение — князю Б. А. Голицину; состав книги — посвящение (1—2 нен. стр.), обращение к читателю (3—5 нен.), оглавление и перечень опечаток (6 нен.), предисловие (7—13 нен.), текст грамматики (1—42 стр.), далее — ряд практических приложений: образцы речи (43—81 стр.), перечень количественных числительных (82 стр.), краткий словарь естественнонаучных терминов (83—90 стр.), наконец, общий очерк минералогического, ботанического, зоологического и этнографического состояния России (91—97 стр.). Второй экземпляр [1] не

[1] Сведение о наличности этого двойника издания Лудольфа, в свое время впервые опубликованное Строевым, было позднее без основания опорочено Балицким (Материалы для истории славянского языкознания, Киев, 1876, стр. 13), заподозрившим Строева чуть ли не в подлоге соотв. экземпляра издания Лудольфа.

имеет собственно грамматической части и содержит только два практических приложения к изданию, притом в обратном порядке сравнительно с рассмотренным полным экземпляром, а именно: здесь сначала дается терминология естественнонаучных понятий и уже вслед за нею — фразы с образцами речи, то и другое в том же виде, что и в полном экземпляре, но к терминологии естественнонаучных понятий приложен еще вначале под общим заголовком «Война к миру дорога» перечень военных терминов (на 2 нен. стр.); титульного листа и у этого экземпляра нет, но экземпляр начинается посвящением, притом не на латинском, а на русском языке и не князю Голицину, а Петру Великому; пагинация этого экземпляра славянская (4 нен.+47 стр.). Посвящение собственно состоит из одной фразы:

Пресвѣтлѣйшому и Державнѣишому вѣлйкому Гдарю, Царю, и вѣлйкому Кназю, Петру Алеѯіевичу, Всеа великіа и малыа и бѣлыа Рѡссіи Самодержцу. Сей ѡбразецъ славенскихъ тѵповъ по указу Оѯфордской академіи и здѣланнихъ съ всакимъ смиренніемъ положйтъ са предъ нога́ма Царского егѡ Величества, и (стр. 1) умноженніе Царскіа слáвы съ возвишенніемъ, разширенніемъ и утвержданіемъ высокіа держáвы егѡ вседушнѡ желаетъ, Пресвѣтлагѡ Царскогѡ величества егѡ въ лѣтѡ рож. хва аχ Смиреннѣиши рабъ Андрушка Виллиемка Лудолфъ.

Можно думать, что в данном экземпляре специальный оттиск, сделанный для показа Петру, собственно отлитого, очевидно, по его желанию, славянского шрифта [1].

Мы не обладаем достаточными историческими материалами для суждения об обстоятельствах появления в свет грамматики Лудольфа, равным образом о лице самого Лудольфа. Кое-какая литература по вопросу имеется, но она вообще и незначительна и фрагментарна, и поэтому скудно освещает нас сведениями по данному вопросу.

Лудольф, родившийся в Эрфурте в 1655 г. и получивший образование участием дяди своего, крупного ориенталиста, в известной мере и полиглота, Иова Лудольфа (1621—1724), между прочим, интересовавшегося и славянскими языками и знавшего некоторые из них, принадлежал к составу датского посольства в Англии. Прослужив здесь сначала секретарем при датском посланнике, а позже секретарем при принце датском Георгии, муже королевы Анны, он в 1691 г. по болезни вышел на пенсию, по восстановлении же здоровья отправился в разные земли путешествовать. Так в качестве туриста в 1693 г. он прибыл и в Россию. В России он встретил ласковый прием у князя Бориса Алексеевича Голицина, который был дядькою самого Петра. Это открыло перед ним двери в дома разных московских вельмож, это принесло ему и личное знакомство с самим Петром. Человек живой и восприимчивый,

[1] Каченовский высказал предположение (Труды Общ.Люб. Росс. Сл. за 1817г., кн. IX, с. 44), что все вообще издание Лудольфа сделано «для пробы новых, славянских букв», отлитых в Оксфорде.

не без дарований, знакомый с языками, музыкант, Лудольф быстро вошел в связь с различными кругами тогдашнего московского общества — с верхами служилой знати, с купечеством, можно думать, и с отдельными представителями ученого мира. Пробыв таким образом год в России, в 1694 г. Лудольф возвратился в Англию и здесь, спустя два года, издал свою русскую грамматику.

Из личного пребывания в России Лудольф вынес яркое представление о существовании в ней двуязычия. Известна краткая формула Лудольфа с характеристикой двуслойности нашего языка того времени: в России, говорит он, loquendum est russice et scribendum est slavonice. Знал Лудольф и о существовании в печатном обороте того времени лишь славянских грамматик и о полном отсутствии соответственных изданий по собственно русскому языку. Но потребность именно в русской грамматике по моменту, в перспективах расширения торговых связей Запада с Россией, становилась все более острой [1]. Лудольф хорошо знал и о том, что вся система письма русских находилась в особых условиях, директируясь нормами славянского письма, отстоя в этом отношении далеко от черт живого русского произношения. Поэтому в своем издании, насколько и где это возможно, Лудольф старается внушить представление о живом произношении русских, либо давая соответствующее написание слов в посильной фонетической передаче, либо сопровождая каноническую «славянскую» правописную форму слов вариантом, отвечающим живому их произношению в речи. Лудольф пишет свою грамматику не на русском и не на славянском языке, а на латинском языке, как на языке международном для изданий на Западе подходящего содержания. С другой стороны, свои многочисленные приложения — и перечней слов, и образцов разговоров — он сопровождает параллельным текстом как на латинском, так, кроме того, на немецком языке [2], как языке обычном в России у представителей международной торговли. Можно, наконец, указать на то, что и содержание разговоров, и особенно перечней терминов, или статей, посвященных, так сказать, характеристике производительных сил России,— все это носит на себе ясный отпечаток материала, представлявшегося важным и интересным целям торгового общения с Россией.

Эти цели, утилитарный характер издания Лудольфа, конечно, должны были отразиться на самом содержании грамматики. Грамматика, как таковая, в своем построении неоригинальна. Она выросла на основе предшествовавших ей «славянских» грамматик, в частности грамматики Смотрицкого [3]. Грамматика, кроме того, очень сжата и элементарна: в ней всего 42 стр., меньше чем в пр

[1] См. статью К у л ь м а н а, Le Monde Slave, 1932, IX, 400—414.

[2] Немецкий параллельный текст отсутствует лишь при последнем абзаце с сед (на религиозную тему).

[3] Указание на это содержится в литературе предмета с ранней поры. С К а ч е н о в с к и й, 1. с.; Ч у д и н о в, Филол. записки, 1871, III, 187; Б л и ц к и й, Материалы для истории славянского языкознания, стр. 14; Г р у с к и й, Очерки, 1, 12.

чей, собственно практической, части издания. Несмотря на все это, Грамматика безусловно имеет интерес, а все в целом издание имеет тем большее значение, как первый опыт грамматического анализа русского языка [1].

Нет необходимости подробно излагать содержание грамматической части издания. Грамматика начинается перечнем общей грамматической терминологии — наименований частей речи, а внутри них прочей подходящей грамматической номенклатуры.

Интересен следующий абзац, в котором указываются отличия между славянским и русским слоем языка того времени. В числе этих отличий отмечаются русское полногласие (напр. в словах *голова, городъ, голодъ*), начальное *о*, не *е* (*осень, одинъ, оверъ*=озеро), известные формы существительных без смягчения старых *г, к, х* в *з, ц, с* (дат.-предл. ед. *рукѣ*, им. мн. *языки*), русское *ч* в соответствии с «славянским» *щ* (*ночь, немочь, хочетъ*), родительный падеж ед. адъективных образований на *-во*, не на *го* (*таково, одново*), прошедшее время на *лъ* (*любилъ*), не на *-хъ* (*любихъ*), сочетаемость *между* с родительным, не творительным, падежом (*между* русских людей), ряд особенностей лексического характера (*говорю* — не *глаголю, сказалъ* — не *рекъ, севодни* — не *днясъ, вселда, вселды* — не *выну, правда* — не *истина, даромъ*, нареч.,— не *туне*). Нельзя не указать на достаточную наблюдательность Лудольфа в этой характеристике русского языка, для своего времени во всяком случае замечательной [2]. Следующая (I) глава знакомит с составом звуков русского языка и соответственно с их «славянскими» начертаниями (между прочим, печатными и рукописными, вида скорописи). Из интересного здесь материала наблюдений можно указать на характеристику *ы* как «ui», *ь* как очень короткого «i» (напротив, об *ъ* сообщается, что он не произносится), *ѣ* как «ie», *ю* как «iu», *я* как «ia». Об *е*, начальном в слове, говорится, что ему в произношении предшествует йот; кроме того, отмечается, что в конечном слоге перед согласным часто *е* произносится как «о» (*biioш, niioш*). Глава заключается приведением перечня обычных в письме сокращений (слов с надписанием титла, которые раскрываются и, между прочим, преподносятся в фонетической передаче). Далее в главах II—VII последовательно излагается грамматический материал по отдельным частям речи: склонение существительных и прилагательных (глава II), местоимений (III), спряжение глагола (IV), обозрение наречий (V), предлогов (VI), союзов (VII). В главе об имени существительном, между прочим, содержится несколько

[1] У нас в России появление в свет грамматики Лудольфа, видимо, осталось незамеченным. Из заграничных откликов на издание Лудольфа можно вспомнить об отзыве о нем Лейбница в письме к шведскому лингвисту Спарвенфельду (см. Чудинов, 1. с., стр. 194). Интересно сообщение Кульмана (1. с., стр. 403) о найденной в арсенальной библиотеке в Париже рукописи (№ 8801), озаглавленной Grammaire russienne и представляющей собой перевод большей части грамматики Лудольфа.

[2] Б у л и ч, Церковнослав. элементы в совр. лит. и народном русском языке, Спб., 1893, стр. 62 и сл.

замечаний синтаксического характера. Имя прилагательное характеризуется лишь членного типа. В главе, посвященной глаголу, приводится в конце значительный перечень (свыше 40) отдельных, названных неправильными, глаголов с указанием от них форм инфинитива, 1 и 3 л. наст. времени, прош. времени, а, кроме того, перечень безличных глаголов (среди них, между прочим, значатся — дождь *идетъ*, не *лза* мнѣ, ей, солнце *сіяетъ*, громъ *идетъ*). В главах, отведенных обозрению наречий, предлогов, союзов, даются лишь соотв. перечни слов с их значением. В практической части издания центральное место занимают фразы и образцы разговоров. Им отведено 39 стр., т. е. их объем в книге почти равен тексту собственно грамматики. Первая глава здесь представляет образцы фраз на употребление различных предлогов; дальнейшие главы построены, дифференцируясь тематически: в главе 2-й — образцы общих приветно-ответных фраз, глава 3-я посвящена теме пищи и питья, 4-я — взаимоотношениям хозяина и слуги, 5-я — теме путешествия, 6-я — проблеме религиозного содержания. Из прочих приложений к изданию следует отметить словарь естественно-научных терминов: здесь последовательно приведены слова (как указано выше, с их значением на латинском и немецком языках) общего характера, а далее специальные наименования пород камней и руд, растений, трав, цветов, ароматических растений, злаков, огородных и садовых растений (и плодов), деревьев, червей, рыб, птиц, домашних животных, диких зверей. Как замечено выше, в оттиске издания для Петра Великого включен еще список терминов военного значения.

Анализ грамматики Лудольфа с точки зрения отражения в ней современного его эпохе русского языка нелегок: трудно установить, какой слой говорящих русских был интерпретирован Лудольфом и в собственно грамматической и в практической частях его издания; в отношении приводимых Лудольфом длинных столбцов примерных разговоров, при ближайшем их анализе, возникает вопрос, насколько правильно, насколько реально отражают они современную русскую речь, и более того — вопрос, отражают ли они русскую речь, или передают речь самого Лудольфа, речь иностранца, худо ли хорошо ли освоившегося с разговорным русским языком. В этом отношении пользование Лудольфом вообще как источником русского языка должно быть до всестороннего исследования данного издания осторожным. И правы общие историки русского языка (см. Соболевского, Шахматова и др.), вообще оставлявшие в стороне в своих источниках пользование данными грамматики Лудольфа. Анализ грамматики Лудольфа в известной части затрудняется и недостатками издания: в нем очень много опечаток или иных черт своеобразной непоследовательной передачи системы русской графики. Так, напр., *ь* в середине слов (между согласными) не пишется; на конце слов вместо *ь* очень часто пишется *ъ* (между прочим, постоянно в формах инфинитива); *ы* очень часто передается через *и*; слова̀ незнаменательные то пишутся раздельно, то слив-

шись с иными словами, с которыми они синтаксически составляют одно целое, напр. предлоги часто пишутся слитно с именами существительными, или ср. слитные написания — *давноли* 43, *дляради* 67, *челомбью* 53, *алты* (дурак) 28, 59 и др. Рядом, однако, оказываются и раздельные написания, притом даже в таких случаях, когда ожидалось бы написание слитное, ср. напр. написания вроде *w куди* 42, *за мужемъ* 46 (ср. *замужь* 65), *въ предки* 47, *за простъ* 49, 53, *въ передъ* (ленивъ не буду) 54, *въ другъ* 58, *бутъ то* (дуракъ w̃вечаешъ) 58, *на празно* 65, 76 (ср. *напраздно* 41). В написании гласных нередко колебание во взаимном употреблении гласных *а* и *я*, *у* и *ю*, напр. *мыслами* 70, *гуса* 52, 1 л. ед. *стелу* 39, *умрю* 39 и др. В написаниях согласных также наблюдается колебание во взаимном употреблении глухих и звонких согласных, ср. *есеръ*, *осеръ* (вм. озеро) 4, 84, *хосяинъ* 48, *алмасъ* 84, *баренъ* (вм. парень) 50 bis, *виндовка* (Петровский экз.), *шкота* 57, *на празно* 65, 76, *та* (сударь)=да 68. В сочетаниях смежных в слове глухих и звонких согласных обычно написание их по произношению, с ассимиляцией по глухости или звонкости, напр. *вотки* 50, *житко* 52, *рѣтка*= редька 85, *бутъ то* 58 bis, *крушку* 45, 50, хотя ср. *немножко* 52, *возпитанъ* 70, *розсердили ся* 74, *рѣдко* 68 и др. В группах более чем двух согласных возможно написание по произношению, с опущением одного из согласных, напр. *слатъ* (постель) = стлать 57, *точасъ* 40. Впрочем, эти случаи редки, ср. обратного типа написания *напраздно* (вм. напрасно) 41 или *опотчивали* (здоровъ) вм. *опочиваи* 48, *честнокъ* 85 — написания, искаженные от ошибочной этимологизации. Отмечу написание *х* вм. *к* по произношению: *нехто* 67, *хъ* которой 65, но ср. *докторъ* 55 или ср. *что* 60, *почта* 64, *скучно* 63 и др. Эта невыдержанность написаний у Лудольфа, то отражающих ту или иную деталь произношения, то тянущих к нормам книжного «славянского» письма, естественно, обедняет значение свидетельств грамматики и подчас затрудняет их исследование.

В области вокализма не может не остановить на себе внимания постулирование Лудольфом звукового значения *ѣ*, *ы* и др. гласных. Мы видим, что и *ѣ* и *ю* и *ѫ* толкуются у Лудольфа одним путем как «ie», «iu», «ia», и это уже настораживает мысль и вперед вызывает сомнение в реальности и в точности этого делаемого Лудольфом утверждения. Следует обратить внимание на то, что и *ь* шифруется в Грамматике как очень короткое «i», что, конечно, неверно с точки зрения оценки русским восприятием соответственных фактов произношения. Перед нами, очевидно, искусственное восприятие иностранцем палатального согласного, как согласного+ короткое «i». Таким же образом следует понимать и утверждение Лудольфа об *ѣ* как «ie», о *ѫ* как «ia», о *ю* как «iu»; это, конечно, не дифтонги, а соотв. простые гласные *е*, *а*, *у*, но с знаком палатальности предшествующих согласных элементов. Известно исследование, специально посвященное изучению судьбы *ѣ* в севернорусском наречии, в частности и в литературном языке, В. В. Виноградова. В рецензии на исследование я указывал в свое время на

ошибочность мнения В. В. Виноградова, без анализа прочих данных принявшего это утверждение Лудольфа (как и иных грамматистов примыкающей поры) об ѣ=ie в прямом его смысле (Виноградов, Известия Отд. рус. яз. и слов, XXIV, 323). Кроме приведенных выше соображений о значении ѣ как «е», мне остается указать на то, что в грамматике Лудольфа фактически ѣ и *е* очень часто пишутся соотносительно неправильно. Ср. в положении под ударением написание *е* вм. ѣ, напр., в случаях: *нет, нету* 50, 55, 74, *режъ* 42, *всехъ, всемъ* 71, 72, 79, *месецъ* 63, не *замешкаи* и под. 55, 58, 68, *некоторый* 61, 62, *семя* 86, *орехи* 87, *сиречь* 73, 78, *стретилъ ся* 63, *последномъ* 73, *понѣделникъ* 83, *везде* 47 и т. д., или обратно ѣ вм. *е* — вин. ед. *постѣлу* 57. Особенно часто *е* вм. ѣ в безударном положении, например *песокъ* 84, *петухъ* 88, *после* 69, *разве* 67 и др., равным образом в этом положении ѣ вм. *е*: *вѣсной* 66, *вѣликий* 63, 69, ср. еще предисловие в Петровском экз., *лѣжитъ* 77, *лебѣдъ* 88, *небѣси* 75 и др. Эти данные достаточно показательны для утверждения о совпадении в живом произношении ѣ и *е*. Ср. любопытное написание *ѣлъ*, т. е.=ель 87, с ѣ графически на месте ясного начального «е».

В отношении утверждения Лудольфа о значении *ы* как «ui» можно думать, что здесь мы имеем посильную искусственную попытку изобразить графически бедными средствами этот трудный для восприятия иностранца русский гласный. Несомненно этот гласный был монофтонгом, а не дифтонгом, как изображает его Лудольф. Ср. в издании Лудольфа обычные написания вместо *ы* гласного *и*, о чем замечено выше, и отсутствие «описок» вроде означения вместо *ы* гласного *у*.

Аканье, принадлежавшее русскому литературному языку того времени, представлено данными Лудольфа. Ср. написания — *агурцы* 86, *палынъ* 85; больше свидетельств аканья в случаях с положением старшего «а» после смягченных согласных (или йота), ср. *ечмень* 86, *месецъ* 10, 63, 83, прош. вр. *занѣлъ, принѣлъ* 37, 38, *убычей* 56, тв. ед. *обычіемъ* 70, 75, 80, 81, *кушеніе* 14, 49, 52, *одиннацетъ, двенацетъ, девеносто* 82 (но здесь же — *двацатъ, трицатъ*). В образцах спряжения в отношении глагола *писать* для настоящего времени находим формы — *пишу, пишемъ, пишете*, но — *пишишъ, пишитъ* 34, точно так же от *поѣхать* те же формы даны в виде *поѣдишъ, поѣдитъ* 38, 60, *приѣдитъ* 38, *стелитъ* 39. Ср. еще написания — дат. ед. *грамоти* (учитъ ся) 67, инфинитив *ненавидитъ* 70. Любопытна заведомо диалектная форма *тяперъ* 40, 47, 59. В некоторых случаях неударяемое конечное «о» (открытое) отражено в написаниях Грамматики нулем звука (графически на месте *о* стоит ъ): *есеръ, осеръ* (=озеро) 4, 84, *просъ* 86, *околъ* 42, *за простъ* (=more familiari) 44, 53, *вѣстимъ* нетъ (=certe non) 74; в этих фактах может быть также признано явление диалектное. Ср. еще написание *w куди* 43, 44 (при *wкуда* 47). Впрочем, в параллель к приведенным формам *просъ, есеръ* вм. нормальных *просо, езеро* можно привести еще, с одной стороны, чисто акающую форму *олова* 85, с другой сто-

роны, аналогичные формы для слов женск. рода на нормальное *-а*: *крысъ* 90, *осадъ*, *побѣдъ* (Петровский экз.). Приведенным случаям с аканьем противостоят вообще этимологически правильные, «славянские» написания неударяемых «а», «о», «е» в словах; особо следует из этой группы слов отметить написания с *о* в *боранъ* 89, *кропива* 85, *борканъ* 85. Начальное *ро* (известного происхождения) обычно сохраняется в написаниях Грамматики: *роботы*, *роботаетъ* 56, *роздѣватъ* 57, *розличние* (речи) 46, *розсуждали* 79; но ср. при *розумѣти* 80 вариант на той же странице с *а*, ср. еще написание — *разбойниковъ* 60.

Любопытна свидетельствуемая Лудольфом диалектная черта перехода неударяемого «о» в «у»: в грамматическом разделе, в обозрении предлогов, Лудольф указывает на наличность предлога *къ* в двух разновидностях, как *къ* и как *ку* (42), в практической части издания, действительно, дважды представлено написание *ку* мнѣ 44, 47; аналогичное явление в написаниях *убычей* 56, *бушмаки* 45, 56.

Гласный *е* в определенном положении в слове звучал в живом русском языке как «о»; ср. у Лудольфа приведенную выше оговорку относительно произношения типа *бьёш* и под. (при написаниях типа *биешъ*). Ср. еще у него написания *шолъ* 37, *пришолъ* 47. Но книжному слою говорящих того времени свойственно было также произношение в соотв. случаях не «о», а «е». Такое произношение свидетельствуется написанием у Лудольфа — (когда) *тѣмно* (будетъ) 59, также приводимой в образцах спряжения формой *привѣлъ* 38 (напечатано *прибѣлъ*, но недосмотр с *б* вм. *в* оговорен в errata к изданию).

Из прочих явлений фонетического значения следует оговорить форму разговорного языка (без йота) *поди* 44, 49. Написание *скатретъ* 49 вм. *скатертъ*, очевидно,— опечатка. Замечательно написание с отражением «в» в виде неслогового «ў»: (наше кушеніе тебѣ не) *укусно* 52. В записях текстов встречается ряд случаев с употреблением стяженных форм прилагательных: я лутче люблю *сладко* неже *горко*, *горко* не унимаетъ жажду 52; она *добра* жена, сердитъ ся не станетъ 52; бутъ то *бешенна* собака 58; *чисту* тарелку 51, *чисту* воду 58, грамотку *печатну* 58.

Данные морфологии у Лудольфа обнаруживают значительную пестроту, очевидно, отражая разнослойность и разностихийность языка, засвидетельствованного Лудольфом. Обращает на себя внимание указание на употребление в живой русской речи форм двойств. числа, правда, с оговоркой о редкости такого употребления. Во всяком случае, говорит Лудольф, в общем употреблении (in communi loquela) он наблюдал формы на *-а* от существительных муж. рода и на *-ѣ* от существительных женск. рода — *два глаза*, *двѣ женѣ*; говорят: я видалъ ево *своема глазама*, но и — *своими глазами*; обычны формы на *-а* и после числительных 3, 4: *два*, *три*, *четыре пола* (13), здесь есть неясности. Как произносить в сочетании *два глаза* последнее слово в отношении ударения? Если это *два гла́за*,

то перед нами, как и ожидается не форма двойств. числа, а родительный ед. ч., как и в 2, 3, 4 *попа*. Конечно, *своема глазама* — зарегистрированная Лудольфом диалектная форма. Значение формы *двѣ женѣ* остается неясным. Если это не сильно окрашенный книжный архаизм, который не мог быть принадлежностью «общего употребления», то это была бы столь же сильно окрашенная местная, ограниченного распространения, черта, которая не имела бы прав на свое закрепление в грамматическом разделе издания.

В склонении имен существительных следует отметить указанные в самих парадигмах архаические, отчасти книжные, «славянские» формы им. мн. *городы*, дат. мн. *городомъ*, *княземъ*, *древомъ*, *лошадемъ*, тв. мн. *князми*, местн. мн. *городехъ*, *князехъ*, *древехъ*, *лошадехъ*: конечно, в обороте языка были с еще более ранней поры известны формы типа *городамъ*, *городами*, *городахъ*, были уже в наличности и формы им. мн. типа *города*. Ряд книжных форм дает Лудольф для прочих вариантов склонения, напр. для типа *имя* — род. *имене*, во мн.— *именемъ*, *именми*, *именехъ* (17), или еще формы им. мн. *степеніе* (уравненія) 1, *творителие*, *слышателие* 71 (из церковного текста, не ошибочно ли вместо — *теле*?), тв. мн. *христіанми* 75 (от этого же существительного род. мн. *христіанинъ* ibid. не опечатка ли вм. *христіанъ*?). В тексте разговоров дана форма — при *огни* 57, которая может пониматься и как архаизм и как форма диалектная. Неясна форма вин. мн. *колоколы* (по отсутствию показания ударяемости на слове). Из фактов, отражающих живую русскую стихию, следует отметить указание Лудольфа на употребительность окончания *-у* в родительном и местном ед. ч. слов муж. рода (чл҃вкъ простово *роду*, четыри времени *году*, своего *полу* люди 17; у нево въ *дому* пожаръ былъ ibid.; ср. еще в тексте разговоров — отъ всякого *народу* 71, третія недѣля *посту* 69); существительное «церковь» известно Лудольфу в живой разговорной форме *церква*: одна *церква* осуждаетъ другую 70, христіянскую *церкву* 79; от существительного «ядро» им. мн. читается в форме *ядры* (Петровский экз.); отмечу единично представленную в текстах форму тв. мн. *мыслами* 70, ср. выше книжный тип формы *князми*; следует наконец отметить диалектную форму род. ед.— у *сѣстрѣ* твоей 43, с этой русской флексией, отступающей от данных в Грамматике норм склонения. Неясными (с признаками опечаток) являются формы *въ тѣпорѣ* 40 (вм. *въ тѣ поры*), также — о *ѣствомъ* 48 (вместо — о *ѣствохъ*?). В отношении родовых соотношений в категории существительных подходящий материал оговорен выше: это формы а) *есеръ*, *осеръ*, *просъ* вместо *езеро*, *озеро*, *просо*, б) *олова* вм. *олово*, в) *крысъ*, *осадъ*, *побѣдъ* вместо *крыса* и т. д. Отмечу еще ошибочную форму *песца* 39 вместо *песецъ* (= vulpes alba). Слово *облакъ* 83 представлено у Лудольфа в приведенной архаической форме муж. рода.

Имена прилагательные, рассматриваемые в Грамматике как тип, примыкающий в склонении к категории существительных (5-й общий тип склонения), представлены в парадигме одним член-

ным типом. Однако склонение, в общем не вызывающее замечаний, для отдельных падежей дано по нечленному типу склонения. Ср. им. ед. ж. рода *бѣла*, ср. рода *бѣло*, то же в вин. падеже — ж. р. *бѣлую*, но и *бѣлу*, ср. р. *бѣло*, то же в им. мн. ср. рода — *бѣла*; им. мн. по трем родам дан в парадигме в виде — *бѣлые*, *бѣлыя*, *бѣла*. Впрочем, в приведенных случаях кратких падежных форм прилагательных можно усматривать не остатки нечленного типа их склонения, а свидетельство звукового явления — процесса стяжения гласных. Для им. ед. муж. рода прилагательных в парадигмах выставлена русская форма на *-ои*, не книжная форма на *-ый*; равным образом в родительном ед. ч. муж. и ср. рода согласно с живым произношением дается флексия *-ово*; соответственные формы на *-во* имеются и в текстах, но здесь они иногда перемежаются с формами на *-ого*, напр. *ренского* 50, *того* 52, *седмого* часа 54; то же, и даже флексия *-аго*, может встретиться в церковных эксцерптах или в соотв. примерах сочетаний прилагательного с церковным именем: вси прямые христіяне уды бываютъ одного телесе, *которого* глава есть і̄с Хто̃съ 79—80, *святого* Іоанна 77, спасителя *нашего* 80, сына своего *единороднаго* 72. Можно привести, наконец, в дополнение к сообщенному материалу, относившемуся к категории прилагательных, извлеченные из разговорных текстов формы, расходящиеся с указанными нормами их в парадигмах. Такова форма им. мн. ср. рода *продажная* ли дрова там 46 — форма членного склонения, с флексией архаического типа; но ср. ту же форму в виде — *послѣдующія* (глаголу) 3, с новой флексией (вместо ожидаемой формы *послѣдующая*). Сравнительная и превосходная степени в парадигмах даны в первом случае на *-ши*, во втором — на *-ѣиши*: *святши*, *святшая*, *святшее*, также — *старши*, *моложи*, *коротчи*, *выши*, *болши*, *меньши*, *лутчи*, с одной стороны, *святѣиши*, *святѣишая*, *святѣишее*, с другой стороны (23).

В склонении местоимений следует отметить искусственное дифференцирование форм родительного и винительного падежа личных и возвратного местоимений, с одной стороны (род. падеж),— *мене*, *тебе*, *себе*, с другой (вин. п.) — *меня*, *тебя*, *себя* 21. От местоимения *онъ*, *она*, *оно* форма вин. ед. ж. рода дается в двояком виде, как *ю* и *нея*; обе формы надо, видимо, понимать как формы книжные (если, впрочем, первую из них не считать принадлежностью диалектной речи). От этого же местоимения приводимая в парадигмах форма им. мн. *оны*, видимо, диалектная. Диалектного же характера формы от местоимения указательного — *тои*, *тая*, *тое*, *етои*, *етая*, *етое* (23). От местоимения *сеи*, *сея*, *сее* формы дат. и тв. мн. ч. даются в виде *семъ*, *сѣми*, но для род.-мест. падежа приводится форма *сихъ* (23) — свидетельство разнослойности в употреблении этих форм. Формы им. мн. от местоимений по родам звучат подобно прилагательным: *сие*, *сия*, *сия*, *тые*, *тыя*, *тая*, *которые*, *которыя*, *которая*, но притяжательные местоимения образуют формы — *мои*, *моя*, *моя* (23—25). В заключение отмечу неясную форму род. ед. ж. рода —

ты не *наши* вѣры человѣкъ 71 (опечатка — вм. *нашей*?). Ср. еще им. ед. муж. рода — *наши* пасторъ 69 (вм. *нашъ*).

В группе числительных обращают на себя внимание диалектные формы *дванацетъ* и *дваста*; для числительного 1000 почему-то в качестве исходной формы дается слово как pluralia tantum *тысящи* 82, ср. в текстах необычную форму род. падежа — луче я хочу одному богоугодному человѣку понравити ся, неже ѿ тысящихъ инныхъ похвалнымъ быти 79. В сочетании с числительными, начиная от 5, имена существительные употребляются в форме мн. числа: *пять попы* и под. (13), *осмъ части* слова (1), *седмъ недѣли* (69).

В обозрении форм спряжения Лудольф делит глаголы на три группы — глаголы I, II спряжения и неправильные. Среди неправильных глаголов выделяются глаголы, представляющие аномалии только в образовании наст. времени, и глаголы, дающие особенности образования не только в настоящем, но и в прошедшем времени. В первой группе означены с одной стороны глагол *спать*, с другой стороны глаголы *писать*, *держать*, также *жить*: в парадигмах спряжения приводятся от глагола *писать* формы — *пишишъ*, *пишитъ*, но далее — *пишемъ* и т. д., равным образом от *держать* 3 л. мн. ч. означается в виде *держутъ* (34); что касается глагола *жить*, то его принадлежность к числу неправильных глаголов объясняется Лудольфом тем, что у этого глагола при флексии, характерной для глаголов II спряжения, наст. время идет по типу I спряжения. Что касается второй группы неправильных глаголов, то их перечень (в числе свыше 40 глаголов) приводится ниже в конце раздела о глаголе. Сюда отнесены глаголы типа *мочь*, *брать*, *взять* и мн. др. Как видно, этот принцип деления глаголов чисто практического значения. Приведенные здесь (отмеченные и выше) формы вроде *пишишъ*, *поѣдишъ* и под. попали у Лудольфа в группу неправильных глаголов, очевидно, будучи восприняты в акающем их произношении. Форма *держутъ* — живая форма, известная в широком диалектном распространении.

В образовании отдельных глагольных форм следует отметить формы наст. времени — *заперу*, *запереть*; они могут считаться и архаическими (для книжного слоя говорящих) и диалектными формами. Особенно замечательны формы наст. времени *мыешъ*, *закрыешъ* (2 л. ед. ч.); эти формы вряд ли следует понимать как книжные (церковные) элементы литературного языка того времени; их должно, по-видимому, с большею вероятностью, признавать формами диалектного значения. Неясно при этом, почему при формах 2-го л. *мыешъ*, *закрыешъ* 1-е лицо дается у Лудольфа в виде *мою*, *закрою*. По-видимому, в условиях восприятия акающей речи глагол *кушать* принимается у Лудольфа за глагол II спряжения: ср. инфинитив *кушить* 48, 56, пов. накл. *куши* 49. Будущее время в парадигмах спряжения представлено типом сочетаний вспомогательных *буду* или *стану* с инфинитивом спрягаемого глагола, ср. из текстов — от этой немочи *умрети не станешь* (= non morieris) 66, симъ обычіемъ *исполнитъ ся станетъ* реченное 81. Отмечу ар-

хаические формы пов. наклонения от *быть — буди, будите*, от *повѣсить — повиси* (= suspende) 57. Инфинитив вообще оканчивается на *-ть* (при отсутствии ударения на флексии), но нередки, притом в грамматической части, и на *-ти, -чи: имѣти, быти* 28, 29, *пѣти* 39, *беречися* 56, *мочи* 37, *сечи* 39, *течи, вытечи* 27, 35. Отмечу еще инфинитив *заперти* 37.

В вводных строках к обозрению морфологии глагола Лудольф кратко отмечает наличность в русском языке многократного типа глагольных форм, напр. *обманивать, умывать ся*. Понятий же совершенности и имперфективности, как основных видовых различий глагола, он не затрагивает. Следует сказать, что именно эта особенность русского глагола осталась для Лудольфа неосвоенной. В разных местах издания действительно мы находим перебои с употреблением глаголов сов. и несов. вида. Вместо глагола *говорить*, напр. у Лудольфа, особенно часто неправильно наличествует глагол *сказать*: я былъ у нево, семья ево *скажетъ* (=dicit), что не далеко и скоро будетъ 55; *скажутъ* (=dicunt), что пригожие женщины во французской землѣ 60; *скажутъ* (=dicunt), что ты водишъ ся съ людми всякой вѣры 69; спаситель *скажетъ* (=dicit) не судите да не судими будете 70—71 и т. д. То же во многих случаях употребления иных глаголов. Несколько примеров употребления формы сов. вместо несов. вида: богу приятенъ, которой ево боитъ ся и правду *здѣлаетъ* (exercet) 71; когда я *найду* (=invenio) доброго человѣка, ево люблю и *почестю* (=honoro), хотя он инной вѣры 69; камчугъ часто *найдетъ* на меня (podagra saepe laboro) 66; и болша половина (т. е. людей) толко ищетъ тѣлесные сласти, которые душу *осквернятъ* (=contaminant) 73; богъ намъ власть подалъ другъ друга *осудитъ* (=damnare) и къ діаволу предаватъ 70; какъ тебѣ *покажетъся* (=placet) наше пиво 51; пожалуй *приди* чаще къ намъ въ предки 47, w̃куда *придешъ* (=venis) ibid.; здѣлай (=fac), что я *прикажу* (=jubeo) 57; безумно... *прогнѣватъ ся* (=succensere) на человѣка, что мысли ево не сходятъ ся съ моими мыслами 70. Обратного типа случаи с употреблением глагола в форме несов. вида вм. сов.: пожалуй *режъ* (=seces) мнѣ немножко w̃ того гуса 52; грязно санми ѣхатъ не можешъ — такъ верхомъ *ѣду* (traha vehi non potes ergo equitabo) 55; поди ныне и *смотри* (=vide) естли портной мастиръ здѣлалъ мою шубу 56; поди сперва и *спрашиваи* (= interroga), дома ли докторъ 55; бою ся *упиватъ ся* (timeo ne inebrier) 52. Трудны были для различения Лудольфа по видовым оттенкам глаголы «нести» и «носить», «лечь» и «ложиться». Ср. на этой почве недоразумения в текстах Лудольфа: хотя ты рано спать *лежишъ* (cubitum eas) ... 57; еще рано спатъ *лечъ* ibid.; долго ты *несъ* их (т. е. сапоги), новые надобе 57. Этому неразличению или слабому различению у Лудольфа видовых значений глагола обязаны и некоторые ошибки чисто морфологического характера. Таковы формы будущего времени, сложением с вспомогательным глаголом, от глаголов сов. вида: в парадигмах спряжения, напр., дается образец буд. времени — *буду здѣлатъ* 27, 30; ср. еще примеры из текстов: она...

прогнѣватъ ся не станетъ (non irascetur) 51; ѿ етои немочи *умрети не станешъ* (non morieris) 66; симъ обычіемъ *исполнитъ ся станетъ* реченное 81. Таковы же с другой стороны образования причастий наст. времени действ. залога от глаголов сов. вида: в парадигме спряжения — форма *здѣлающий* 31, ср. еще — *освятящого* 79.

Возвратные глаголы у Лудольфа почему-то постоянно пишутся с отделением частицы *ся*, которая притом употребляется только постпозитивно и непосредственно вслед за соотв. глагольной формой. Не может быть, конечно, сомнения в том, что возвратность к Петровской эпохе в русском языке являлась категорией вполне отлившейся, и в этом смысле принцип раздельного написания возвратных глаголов у Лудольфа не имеет себе оправдания. Попадаются у Лудольфа случаи с перебоем в соотносительном употреблении возвратных и невозвратных глагольных форм. Такова, с одной стороны, форма *уповатися* вместо нормальной формы *уповати*: *уповаи ся* на бога (fiduciam tuam colloca in deo) 65; ср. еще глагол *спороватися*, который, впрочем, известен диалектно и вообще мог бы считаться нормальною принадлежностью речи (ср. современное русское *спорить* и просторечное *спориться*): везде такимъ задоромъ *споруютъ ся* (=disputant) чея вѣра пряма 74. Таковъ, с другой стороны, глагол *согласовати* в значении соотв. возвратной формы: духовная то гордость всехъ инныхъ поганыхъ почитатъ потому что не *согласуютъ* (=non adstipulantur) с нами 71. Впрочем, и этот глагол известен как древнерусскому языку, так и современной диалектной речи.

Значительной пестротой отличается и лексика, извлекаемая из материала Лудольфа. Здесь (минуя притом среди текстов главу на церковную тему) налицо элементы книжного, церковного слоя. Ср. форму имени существительного *велбудъ* 90, глагол в форме *ямъ* вм. *ѣмъ* — я редко *ямъ* прежде обѣда 48, право я слишкомъ ѣлъ, дома толко не *ямъ* 53 и др. Архаична форма *приданіе* в значении «приданого» (=лат. dos) — мало въ *приданіе* ви дали 65. Но замечательнее здесь иной круг лексики, по происхождению русский, характерный притом по признакам диалектной своей принадлежности. Таково слово *борканъ* (=морковь), *щеканъ* (=стакан) 45, 50, *выплощать* (=выполоскать) 50, наречные образования — *поздо* 40, *вселды* 40, 50, глаголы *обманить* и кратная форма *обманивать* 26, *спрятиться* — кошка *спрятила ся* подъ столомъ 45, ср. еще форму диалектного происхождения *кстины* 66 при книжном лексическом соотносительно варианте — *похраны* ibid. Из числа заимствований характерны существительные *шкода* (в тексте: *шкота*) 57, *райтаръ* (Петровский экз.), портной *мастиръ* 56.

Из синтаксических особенностей можно указать на сохранение архаических форм вин. падежа, без замены его родительным пад., от одушевленных имен существительных: мы не дожидали ся *гости* (мн. ч.=convivas) 49, нечемъ *дѣти* не кормишъ (=nihilo liberis non alis) 55, выбираи *товарищи*, которые не склонение къ питію 63; ср. еще — въ *дураки* поставляют (=pro stulto reputant) 78. Заме-

чательна конструкция — *есть такихъ*, которые... (=inveniuntur tales qui) 66,— по-видимому, диалектного происхождения. Отмечу книжный характер управления — я *не нуженъ твоимъ совѣтомъ* (=non indulgeo tuo consilio) 57. Есть случаи с неясным управлением: я *пилъ къ* сосѣду моему (=propinavi vicina meo) 51. В случае — живетъ за *городѣ* (=habitat extra urbem) 46,— по-видимому, опечатка издания.

Представленное обозрение языковых особенностей, свидетельствуемых изданием Лудольфа, ставит на очередь вопрос о значении этих данных в общей истории русского литературного языка. Но вопрос представляется в действительности более сложным. Являются ли свидетельства Лудольфа свидетельствами русского литературного языка? Ответ на этот вопрос был бы облегчен с разрешением иного вопроса — вопроса о том, как составлялись тексты к изданию Лудольфа? Была ли в них основная канва русская, или, напротив, русская часть в них получилась на основе наперед составленного иноязычного текста, отчасти латинского, отчасти немецкого? Все основания заключать, что русские тексты не были первоначальными, а явились как перевод латинского, а в известной части немецкого, основного текста. Убедительно об этом свидетельствует порядок слов в русских фразах, нередко следующий близко своему иноязычному оригиналу, так же выражение связи предложений и др. Но особенно показательны в этом отношении отдельные факты синтаксических нарушений — с точки зрения норм русского языка. Обращают на себя внимание, например, факты своеобразного управления в материалах Лудольфа, необъяснимые с точки зрения русских синтаксических форм, но становящиеся понятными при сравнении с соотв. латинским или немецким оригиналом. Ср. фразы в роде — *училъ ся ли* ты *некоторую игру* (=лат. nullumne ludum tu didicisti или в немецком — Habt ihr kein Spiel gelernt?) 61; *вѣли дѣвку* постѣлу слать (=лат. jube ancillam lectum sternere; нем. Heiss die Magd das Bette machen) 57; рѣдко службу божю промешкаю *въ возкресении* ли *въ праздникѣ* (в латинском — sive in die dominico sive festo) 68; родителя не *велѣли меня* грамотки учить ся (=нем. haben mich nicht lassen lernen) 67; совѣтовалъ мнѣ врачъ пускать кровъ *во* вѣснѣ (нем. im Frühlinge) 66; мало *забавы за* иноземца (лат. parum recreationis extero abvenit, а в нем. тексте — für eïnen Frembden) 61.

Следует еще отметить ряд случаев с опущением отрицания *не* при наличности во фразе отрицательного местоимения или наречия, напр.— не бои ся еще я никово пияново *напоилъ*, т. е.=не напоил (=лат. neminem ebrium reddidi) 52; ты рано спать лежишъ однакожде некогда прежде седмого часа тебя *вижу*, т. е. не вижу (=лат. tamen nunquam ante septimam horam te video) 54 и др. Замечателен еще пример согласования прилагательного в форме мн. числа с существительным, стоящим в ед. числе, под ясным воздействием латинского оригинала: вычисти *платіе моя* (лат. expurga vestes meas) 55. Наблюдения этого рода и иные подобные случаи прямой

обусловленности русского текста параллельным латинско-немецким текстом у Лудольфа могли бы быть еще умножены. Следует, наконец, заметить, что громадное количество неправильностей в употреблении видов (совершенного и несовершенного) глаголов у Лудольфа также становится понятным при предположении, что русский текст *переводился* с иноязычного текста. Это обстоятельство, объясняющее нам наличие в «русской» грамматике Лудольфа большого количества представленных в искаженном виде фактов собственно русского языка, не обратило до сей поры на себя внимания со стороны научной критики, хотя многие лица, начиная еще с Добровского [1], не могли не видеть отдельных промахов этого характера в издании Лудольфа и действительно отмечали факт их наличия в издании, давая иногда в результате резко отрицательную оценку всего издания в целом [2]. Конечно, это обстоятельство снижает общую ценность издания Лудольфа, как источника изучения русского языка, и особенно в отношении синтаксической стороны языка. Но кто был переводчиком этих практических текстов в издании Лудольфа? Какой ближайшим образом язык отразился в них, а при их посредстве, следует думать, и в самой грамматической части издания? Конечно, это не был сам Лудольф, или только Лудольф. Лудольф, несомненно, принимал участие в издании, в частности в практическом его разделе, и, может быть, всяческие отмеченные выше и неотмеченные lapsus'ы переводного характера в текстах принадлежат именно Лудольфу. Но у Лудольфа, иноземца, конечно, были помощники, справщики, и лица русские. Кто же они были и по языку и по своей социальной принадлежности? Язык Лудольфа очень пестрый. Мы находим в нем обильные элементы русского языка, как и обещал, согласно предисловию, преподнести его Лудольф в своем издании. Но язык Лудольфа содержит и элементы книжного характера, и не только в последней главе его разговоров (на религиозную тему),— мы найдем книжные элементы у Лудольфа в фонетике (произношение «е», не «о», в известных условиях), особенно много их в морфологии, порядочный слой их оказался бы и в лексике (ср., напр. в диалогах Лудольфа, помимо отмеченных слов вроде *ямъ* вм. *Ѣмъ*, *похраны* и др., еще элементы лексики, как *ныне*, *однакожде*, *коликижде*, *таковое*, *отошествие* в смысле «отъезд», *путешествование*, *возбудить* в значении «разбудить» и др.). Перед нами пласт литературного языка высокого стиля, того самого «славянского» языка, которого собирался Лудольф так стеречься. Надо отдать справедливость Лудольфу: у него много вкраплено и элементов простой разговорной стихии, элементов речи среднего городского слоя, иногда же и просторечной стихии. Я отнес бы к свидетельствам этого слоя в данных Лудольфа из области фонетики явление аканья, факты стяжения гласных, форму пов. нак. *поди*, многие факты из области склонения — родительный

[1] См. предисловие к изданию A. I. Puchmayer, Lehrgebäude der Russischen Sprache, Prag, 1820, стр. XX.

[2] Ср. особенно характеристику Чудинова, l. c. 187, и Балицкого.

и местный ед. ч. существительных на *-у*, флексию *-во* в родительном ед. ч. прилагательных и местоимений, форму у *сестрѣ* твоеи, вин. мн. *ядры* и др.; особенно же много оправдания этого слоя содержится в данных лексики, ср., напр., слова или выражения — *вчерасъ* 44, 62 *страшно* холодно 62, *до смерти* не люблю (хотя в лат. тексте: minime omnium amo) 74, *малецъ*, *парень*, *девка* (в значении прислужных лиц) 49, 50, *поварня*, *челомъ бью* (просительная формула), какъ тебя *богъ милуетъ* (ср. в латинском тексте — quo modo vales) 46, *изволить* с инфинитивом в означении формулы благодарности, приглашения и под., ср. управление — я *послалъ по* лошадь 45, и мн. др.

Анализ Лудольфа представляет сложность благодаря тому, что, кроме отмеченных пластов городского происхождения, в нем содержатся еще довольно пестрые элементы диалектной дифференциации. Литературный язык, взращенный на Московской территории, был, конечно, видом κοινή, с совмещением в главном своем массиве северных и южных русских особенностей. Должно думать, что в XVII в. на самой Московской территории севернорусских черт было более, чем сколько мы их наблюдаем в московском говоре в настоящее время. Ср. у Лудольфа оканье и лишь вкрапление элементов аканья, ср. у него наличность стяженных форм, этой по происхождению севернорусской черты, или употребление от прилагательных формы им. ед. ч. муж. рода на *-ои* и др. Не все, однако, данные, содержащиеся у Лудольфа, могли бы быть усвоены московской речью того времени. Мы встречаемся здесь и с рядом иных черт, трудных подчас для определенного их диалектного приурочения. Ср. здесь из фонетических особенностей факты с *-у* на месте безударного «о» — черта, известная в отдельных пунктах районов к северу и востоку Московской территории, также в Псковщине, Смоленщине, в белорусском языке; или ср. отмеченный случай употребления неслогового ў в соответствии с *в* в положении перед согласным: это явление характерно для Вологодско-Вятской группы севернорусских говоров, для широкой зоны южнорусских говоров, известно оно также в Псковщине и в белорусском языке. В числе морфологических особенностей не московского обличия следует указать на формы тв. мн. на *-ма* (*своема глазама*; ср. еще в Петровском экземпляре, в посвящении, как архаический элемент,— предъ *ногама*): может быть, это одиночный, севернорусский по происхождению, пережиток, задержавшийся в московском говоре, ср. отмеченный в наше время в Московском же округе (Рузский у.) этого типа архаизм — *обема рукама*. Форма *оны*, им. мн., не характерна для московского говора, тем менее она могла бы считаться литературной формой старой поры, чтобы оказаться помещенной в таблице парадигм; эта форма известна в Новгородчине и севернее, в отдельных пунктах южнорусской территории, известна она и в Псковщине. Винительный ед. ч. ж. рода *ю* (=ее), если не есть неоправдываемый архаизм для литературного языка, должен считаться диалектизмом; эта форма известна в области лишь крайней северной

и Новгородской групп севернорусского наречия. Формы им. ед. *етои*, *тои*, приводимые Лудольфом в грамматике, не известны русским диалектам, которые, однако, знают формы *этая*, *тая* для ж. рода, *этое*, *тое* для ср. рода и др.; эти формы — характерные белорусские формы. Числительное в форме *двенадцать* в русском языке известно лишь в Смоленской губ.; эта форма числительного характерна и для белорусского языка [1]. Числительное в форме *двеста* редко в показаниях русских диалектов: оно отмечено здесь в отдельных пунктах Вологодско-Вятской группы и в полосе переходных говоров, однако вне Московской территории. В парадигмах спряжения даются формы *мыешъ*, *закрыешъ* — это, если не признавать их церковными формами, которым не место было бы в Грамматике Лудольфа, типичные белорусские формы, известные местами в сопредельных с белорусским языком областях русских говоров. В парадигмах спряжения Лудольф приводит формы наст. вр. *заперу*, инфинитива *запети*; первая форма могла бы считаться формою московского просторечия, ср. показания о ней из отдельных пунктов полосы переходных говоров [2]; инфинитивное образование указанного типа отмечено по говорам лишь в Смоленской губ. (Добров. Слов. 247) и в Терской обл. (Караулов, 12). Остается, наконец, отметить некоторые характерные данные из области лексики. Слово *кстины*, приводимое Лудольфом в этой форме, могло отразить среду просторечия; это слово вообще широко известно русским говорам и севера и юга, но, между прочим, почти не имеет свидетельств из Московской округи; известно оно и белорусскому языку. Слово *борканъ* (=морковь) диалектного происхождения: оно известно главным образом в Новгородчине и Псковщине. Название подагры передано у Лудольфа словом *камчугъ*; это диалектизм; слово в значении опухоли, вереда разного характера известно преимущественно говорам Вологодско-Вятской группы севернорусского наречия; встречается это слово (в значении ломоты), между прочим, в Софийском временнике, рукописи XV—XVI вв. (см. Словарь Срезневского). Существительное *шкода* — характерное белорусское слово (из польского языка). Глагол *обманить* и кратная его форма *обманивать*, о котором, между прочим, еще Барсов говорил, указывая на неправильность употребления его в литературном обороте речи (Рус. Фил. В., т. 51, стр. 149), мог бы считаться элементом просторечной стихии, но слово отсутствует в Московщине, как и вообще в полосе среднерусских говоров; оно отмечено кое-где в южнорусской области (Калужская, Курская, Воронежская губ.), главным же образом свидетельства о нем принадлежат северной

---

[1] Карский, Белорусы, II, 2, 121.

[2] Форма отмечена в Кашин. у. (Смирнов, 131), в Луж. у. (Слов. Акад.), в Моск. и Руз. уу. (ibid.); имеется еще на нее указание из Шадр. у.(ibid.); ср. еще формы *отперу* Шадр. (прогр. № 86), Руз. (Дурново, 149) и пов. накл. *роспери* (двери, т. е. открой) Вятск. губ. (Васнецов, 278), *запери* Холмог. (прогр. 50), Никол. (прогр. 266), Белоз. (прогр. 162), Луж. и Моск. (Слов. Акад.), *отпери* Макар, (Тр. М. Д. К. XI, 172), Моск. (Чернышев, 171).

и западной группам севернорусского наречия (Архангельская и Олонецкая, Новгородская и Псковская губ.); известно слово и в белорусском языке. Глагол *спороватися* (с кем-либо) мог принадлежать старому канцелярскому языку; нельзя не обратить внимания на современное употребление этого слова в белорусском языке. Глагол *выплощать* неясен по своему происхождению, однако внешняя его огласовка ведет к предположительному его отнесению к тому же западу. Характерная наречная форма *вселды* (*вселда*) — безусловный диалектизм; этот вид наречия преимущественно употребителен в говорах Вологодско-Вятской группы севернорусского наречия.

Предложенный анализ диалектных черт, отраженных в издании Лудольфа, не дает оснований к предположению определенного и однородного диалектологического воздействия на Лудольфа. И в этом нет ничего удивительного. Вполне понятно, что, собирая материал для будущего своего издания, подбирая, в частности, лексику по намеченным специальным разделам, Лудольф должен был общаться с разными слоями, с разными лицами, эти же лица, естественно, могли оказаться разнородными единицами в разрезе своей диалектологической принадлежности. Более того, есть сведения, что, прибыв в Россию в качестве туриста и пробыв в ней в течение целого года, Лудольф — это и само по себе естественно — не сидел все это время на одном месте, в Москве, но имел поездки и по периферии [1],— мы не можем только судить, по периферии насколько отдаленной от основного центра — Москвы. Эти фактические указания делают уже вполне реальною обстановку разнородного диалектологического окружения Лудольфа. И понятно, что, встречаясь с представителями разных диалектных групп, Лудольф, острый наблюдатель, неизбежно схватывал и аккуратно регистрировал самые разнородные элементы диалектной речи, в которых, однако, разобраться, нормальны ли они или непозволительны для литературного употребления, он не мог, да и не признавал такую для себя аналитическую работу нужной, полагая с точки зрения своих интересов все эти материалы равноценными как данные живого русского языка. Так фактически оказался в данных Лудольфа материал, с нашей современной критической точки зрения действительно очень пестрый в диалектологическом отношении. Впрочем, если ближайшим образом подвергнуть определению основные исходные линии диалектологического воздействия на Лудольфа, то это было бы, помимо общего влияния московского говора, шедшего и непосредственно и посредственно через самый центр — Москву, воздействие говоров Вологодско-Вятской группы севернорусского наречия (ср. особенно наречную форму *вселды*), также Псковско-Новгородских говоров (ср. *борканъ*), неровное воздействие южнорусских говоров (ср. сильно акающую форму *тяперъ* или формы вроде *олова* вм. *олово* и др.), наконец, и особенно сильно

[1] К у л ь м а н, Le Monde Slave, 1932, IX, 404.

сказавшееся, воздействие белорусского языка [1], которое при этом возможно было бы понимать как влияние не непосредственное, а посредственно направлявшееся из самого столичного центра — Москвы.

1937

ЛОМОНОСОВ И РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

Имя Ломоносова — первое и первостепенное имя в разработке русского литературного языка, как и в его нормализации. До Ломоносова русский язык как таковой не привлекал или слишком мало привлекал к себе внимания как объект грамматического изучения. В допетровскую пору в качестве русского языка преподносился мешаный церковнославянский, или, как он именовался, «славенский» язык. В качестве грамматических опытов этого времени можно, действительно, было бы указать несколько «славенских» грамматик, но они все слишком кратки и элементарны. Выдается среди них подробностями и систематичностью своего изложения лишь известная грамматика Мелетия Смотрицкого (Граматіки славенскія правилное cvнтагма, 1-е издание в Евю, близ Вильны, 1619), позднее трижды (Вильна, 1621; Кременец, 1638; Москва, 1648) переиздававшаяся и вообще просуществовавшая в обороте до самого Ломоносова, то есть почти 150 лет. Между прочим, из биографии Ломоносова известно, что эта именно грамматика вместе с «Арифметикой» Магницкого послужили для него, по собственным словам Ломоносова, «вратами его учености»: с ними в раннем своем юношестве Ломоносов, раз получив их, уже не расставался, носил везде их с собою и, непрестанно читая, вытвердил их наизусть [2].

Страницы грамматики Смотрицкого Ломоносов перелистывал не только в дни юношества, но и на склоне своих лет, когда он был занят составлением собственной «Российской грамматики». Грамматика Смотрицкого была «славенская» грамматика, как и ряд иных изданий, позднее появившихся в собственно Петровскую эпоху и в значительной мере зависевших от самой грамматики Смотрицкого. Попытка как-то грамматически осветить собственно русский язык принадлежала лишь голландцу Лудольфу, но его грамматика, изданная в Оксфорде в 1696 г., у нас была неизвестна. Кроме того, в приложении к изданному в 1731 г. немецко-латинско-русскому словарю Вейсмана содержится краткая грамматика русского языка, приписываемая Адодурову, но эта грамматика несамостоятельна, представляет собою извлечение из того же

[1] Следов белорусского воздействия на Лудольфа особенно много: ср. формы *этой, той*, числительное *двванадцать*, глагольные формы типа *мыеш*, из элементов лексики — *шкода, спороваться* и др.; можно поставить вопрос, не этому ли воздействию обязаны отдельные морфологические явления у Лудольфа, напр., формы дв. числа типа *двъ женъ*, формы дат. мн. типа *лошадем, городом*, отсутствие форм им. мн. типа *города́* и др.

[2] Пекарский, История Академии наук, II, 271.

Смотрицкого с переложением лишь форм церковнославянского языка на русский.

Перейти от этих грамматических опытов «русского языка» к «Российской грамматике» Ломоносова то же самое, что от схоластических рассуждений по предмету грамматического «художества» перейти к подлинной области самостоятельного научного знания языка. Таково громадное общее значение грамматики Ломоносова. Это есть подлинный научный труд, это есть первая грамматика собственно русского языка, составленная по продуманной системе и со всей широтой показа явлений русского литературного языка своего времени. Только могучий талант Ломоносова мог собственно из ничего создать такое произведение, которое практически прослужило в живом обороте почти 75 лет [1], которое теоретически, в научном использовании, существует 185 лет, не потеряв основного своего научного значения.

Из исследования Будиловича — «Ломоносов как натуралист и филолог», Спб., 1869, стр. 63 — можно извлечь глухое указание на то, что работал Ломоносов над подготовкой грамматики, а точнее — материалов для грамматики, с конца 40-х годов. Это указание не подтверждается ссылками на источники. Можно думать, что русский язык с ранней вообще творческой деятельности Ломоносова всегда был предметом живого его интереса и внимания. Будучи физиком, химиком, минералогом и т. д., Ломоносов всегда был и деятелем в области русского языка, то как переводчик или правщик переводов, то как оратор актовых речей, то как мастер художественного слова, поэт и прозаик. Здесь, в этой безостановочной творческой работе в области русского слова, конечно, уже с ранней поры слагались мысли Ломоносова о русской грамматике и в смысле формирования его взглядов на русский литературный язык и в отношении собирания непосредственных материалов для здания будущей грамматики. Недаром теоретическая статья Ломоносова «О пользе книг церковных в Российском языке», являющаяся собственно внутренней основой его «грамматики», датируется вместе с последней приблизительно одним и тем же 1755 г.[2].

Исключительно важное значение «Грамматики» Ломоносова заключается (помимо того, что она полна, внутренне систематизирована и научно оправдана обилием приведенных фактов) в том, что она составлялась нарочито нормативным образом. Иначе это и быть не могло. Ломоносов не просто принялся за составление грамматики как за любой естественнонаучный трактат. Ломоносов, академик, непререкаемый в глазах современников авторитет в области русского слова, созданием своей грамматики выполнял общественное задание.

Русский литературный язык в ближайшую послепетровскую пору

[1] Грамматика Востокова, которой суждено было сменить ломоносовскую грамматику, выпущена была в 1831 г.

[2] Ломоносов, Сочинения, под. ред. Сухомлинова, IV, примеч., стр. 235 и след.

находился в сложном положении, испытав сильные сдвиги в Петровскую эпоху, и, естественно, нуждался в авторитетном руководстве, имея в виду дальнейшее его развитие. В Петровскую пору характер его сильно изменился: церковнославянская стихия несколько оттеснена была в нем за задний план, сильным напором хлынула в язык живая разговорная речь, а кроме того, язык стал заполоняться иноязычными элементами, приток которых в послепетровскую эпоху еще более усилился (немецкие, французские заимствования), не всегда при этом оправдываясь достаточными к тому основаниями.

Дальнейшее развитие русского литературного языка находилось на распутье, необходимо было авторитетное вмешательство в ход дальнейшего его развития. Не вернуться ли к устоям прежнего, в основе «славенского», языка, который был нашим литературным языком в допетровскую пору? Или оправдать симбиоз разговорной стихии нашего языка с нормами прежнего литературного языка, умерив в нем долю «славенского» начала? Как быть с гранями иноязычной стихии, все врывающейся, где нужно и где ненужно, в литературный язык? Каковым вообще должно быть соотношение в литературном языке отдельных, по исторической преемственности обозначившихся в нем, напластований?

Все эти и подобные им вопросы, острые для общественного сознания современности, требовали своего разрешения. И всякая грамматика, если бы она не дала ответа на эти вопросы, если бы она не носила в должной мере нормативного характера, не удовлетворила бы общественной потребности. Грамматика Ломоносова и иные близкие тематически его труды, как и вся предшествовавшая его писательская и литературно-художественная деятельность, были прямым ответом на эти больные вопросы современности. Проблема литературного языка гениальным прозрением Ломоносова была принципиально разрешена и разрешена правильно: Ломоносов именно установил тот путь развития нашего литературного языка, который прямой линией сомкнет его с Пушкиным, этим мощным создателем современного нашего литературного языка. В этом была историческая миссия Ломоносова, которую он блестяще выполнил, в этом основная заслуга Ломоносова перед русским обществом, перед русской наукой. Ломоносов «чистый слог стихов и прозы ввел в России» — такова сжатая оценка основной деятельности Ломоносова в глазах его современников. Радищев, 30 лет спустя после смерти Ломоносова, несколько скептически расценивая его деятельность как придворного одописца-поэта, в то же время призывает «сплести венец ему как насадителю российского слова» и «воспеть песнь этой его заслуге к обществу», ибо «в стезе Российской словесности Ломоносов есть перьвый». Великий Пушкин, продолжая заложенное гениальным своим предшественником дело формирования русского литературного языка, сам в итоге своей деятельности явившийся создателем современного литературного нашего языка, конечно, глубже других сознавал

громадность того, что сделал Ломоносов. И в разных местах своих сочинений Пушкин дает меткими и красочными штрихами характеристику деятельности Ломоносова в области русского языка: он правильно расценивает значение дела Ломоносова как исторической миссии, как громадной общественно-необходимой задачи, им успешно выполненной; он по достоинству судит о заслугах Ломоносова, «утвердившего правила общественного языка, давшего законы и образцы классического красноречия, открывшего истинные источники нашего поэтического языка»; по образному сопоставлению Пушкина, Ломоносов, как позднее его сподвижник Батюшков, «сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянцев». Нет необходимости говорить о том, что последующая общественная и научная критика не поколебала этого взгляда на роль Ломоносова как великого реформатора русского литературного языка [1].

Теоретические мысли Ломоносова о русском литературном языке содержатся в рассуждении «О пользе книг церковных в Российском языке». Это известное его учение о трех стилях. Сущность этого учения сводится к утверждению и церковнославянских элементов и элементов живой народной речи в нормах литературного языка, но — в известных рамках, а также в определенном соотношении с жанром самого литературного произведения. Элементы церковнославянского языка при этом не должны извлекаться из одной узкой церковнобогословской сферы, а должны черпаться из таких источников, которые имели широкую, массовую распространенность и были благодаря этому всем известны и общепонятны. Литературный язык, таким образом, должен покоиться на началах, с одной стороны, национально близких, а с другой — на элементах, понятных для восприятия широких слоев говорящих.

Эти положения позволили Ломоносову счастливо разрешить трудную задачу. Он не порвал совсем со стариной, слив с ней в одно стройное целое новизну, что обеспечивало дальнейшее нормальное развитие литературного языка. Ломоносов воспользовался элементами русского разговорного языка, языка верхов тогдашнего общества, и, где было нужно, поднял его, соединив с элементами церковнославянского языка, теми самыми, которые были всем хорошо известны по церковным книгам. Каковы эти элементы должны быть, Ломоносовым точно указано,— не слова «обветшалые» (вроде *обавати*, *овогда* и т. п.). Эти слои лексики, которые могли уже быть непонятными даже в образованной среде русских, Ломоносовым вовсе были исключены. Но в языке церковных книг есть много слов, которые не только были вполне понятны, но вполне обычны в употреблении русских, к какому бы кругу они ни принадлежали. Сравните такие слова, как церковнославянское *град* и русское *город*, церковнославянское *нощь* и русское *ночь*, церковнославянское *сокращать*, *преграждать*, *извлекать* и т. п.

[1] См. передовую статью в «Правде» от 16 ноября 1936 г.

Этот слой церковнославянской лексики Ломоносовым был признан вполне допустимым для использования в литературном языке. С другой стороны, среди элементов живого русского языка встречаются слова, редкие в употреблении, обыденные, грубые, вульгарные, такие, которые по возможности избегаются в речи. Ломоносов понял, что смешение в литературном языке в одном контексте церковнославянских элементов с такими русскими словами не может быть терпимо, и устранил такое сочетание. В итоге у него получился новый тип литературного языка, правильного и гармоничного, смыкавшегося вместе с тем со старым литературным языком благодаря общим церковнославянским элементам [1].

Свои теоретические мысли о русском литературном языке Ломоносов изложил в конце своей деятельности, но определились они у него раньше и проявлялись уже с первых его произведений. Реформа русского литературного языка, осуществлявшаяся Ломоносовым с начала его писательской деятельности, встретила полное одобрение. Ломоносов в стенах Академии и вне ее завоевал себе первостепенное положение именно как авторитет в области русского языка, и этот авторитет Ломоносова был неизменным десятки лет, на всем протяжении его деятельности и долгое время после его смерти. Сам Ломоносов поэтому с полным правом в своей записке на высочайшее имя, поданной в июле 1762 г., отмечая свои заслуги в течение 20-летней деятельности в Академии, по самому же началу говорит именно о своей деятельности в области русского языка: «Одами, публичными речьми и диссертациями пользовал и украшал я Академию перед всем светом двадцать лет. На природном языке разного рода моими сочинениями грамматическими, риторическими, стихотворческими, историческими, так же и до высоких наук надлежащими физическими, химическими и механическими, стиль российской в минувшие двадцать лет несравненно вычистился перед прежним и много способнее стал к выражениям идей трудных, в чем свидетельствует общая апробация моих сочинений и во всяких письмах употребляемые из них слова и выражения, что к просвещению народа много служит» [2].

Всестороннее исследование языка Ломоносова, которым мы еще не располагаем, составление полного словаря к его сочинениям — наш долг признательности к имени великого сына русского народа, к имени величайшего русского ученого, все силы отдававшего одной науке, с неизменными мыслями при этом — о славе отечества, о пользе русского народа. Исследование о языке Ломоносова должно в полнейшем виде вскрыть нормы общего литературного языка, как они пролагались деятельностью этого великого реформатора русского языка, причем эти нормы должны сомкнуться с языком Пушкина, создателя современного нашего литературного языка, то есть тем самым с нормами современного русского литературного языка. По условиям места и времени здесь можно обратить внимание лишь

[1] Соболевский, М. В. Ломоносов, Спб., 1911.
[2] Записки Академии наук, XII, 104.

на отдельные явления из языка Ломоносова, оставляя при этом в стороне область лексики и синтаксиса.

В произносительной системе русского литературного языка самым характерным явлением служит его аканье. В современном литературном языке соответственное произношение неоднородно. Московская норма дает более сильный тип аканья, по северной (ленинградской) норме аканье литературного языка более мягкого тона. По московской норме предударное, также обычно послеударное (открытое) *о* и *е* произносится соответственно почти как *а* и *и* (или, в отдельных категориях случаев, как сильно редуцированные звуки), по ленинградской норме соответствиями этих *о* и *е* являются те же различаемые в основном гласные *о* и *е*, но с окрашенностью первого гласного оттенком звука *а*, второго гласного оттенком звука *и*. Таким образом, например, московскому произношению 1-го л. ед. ч. наст. вр. *биру* (беру), род. ед. ч *сила* (села), в *гори* (в горе), дат. ед. *дабру* (добру), *гара* (гора), нареч. *полна* (полно) отвечает произношение по северной (ленинградской) норме в виде *бе^{и}ру*, *се^{и}ла*, в *горе^{и}*, *до^{а}бру*, *го^{а}ра*, *полно^{а}*, то есть с различаемыми в основном исконными соответственными гласными *о* и *е*, которые лишь окрашиваются оттенками гласных *а* и *и*. Ленинградская норма литературного произношения по данной черте ближе смыкается с северным нашим окающим наречием. Мягкая степень ленинградской нормы литературного аканья сама по себе объясняется именно территориальною связью с окружающей живой окающей средой. Ломоносов, как это и можно ожидать, дает норму мягкого, не московского, типа аканья. В § 99 Грамматики мы читаем: гласный *о*, «когда на нем нет ударения, выговаривается как *а*, несколько с *о* смешанное; *хорошо*, *подобен* выговаривают почти *харашо*, *падобен*». Ниже в своем месте Ломоносов не счел нужным сделать подобную оговорку о произношении неударяемого гласного *е*, то есть о близости его к гласному *и*; это, конечно, потому, что степень вообще акающего произношения (в отношении ли гласного *е*, или в отношении отмеченного гласного *о*) по Ломоносовской норме была незначительной, мягкой [1]. Следует отметить, что и показания рифм в языке Ломоносова в своем массиве очень слабо отражают картину аканья (собственно, почти ее не отражают), по той же причине — общей его незначительности.

Самым замечательным является то, что норма Ломоносова, определяющая характер литературного аканья, собственно отражена и в языке Пушкина. Если обратиться к изучению по данным рифм этой черты у Пушкина, можно было бы видеть, например,

---

[1] Ср. резкий выпад Ломоносова (Грамматика, § 119) против «безобразий» с употреблением в им. п. мн. ч. от существительных среднего рода на *-ие*, а также от прилагательных, окончаний с исходным гласным *и* вместо *я*, например *истинныи*, *известии*. Между прочим, эти написания практиковал Сумароков. Для Ломоносова такие формы были неприемлемы и «слуху противны» морфологически, но кроме того со стороны произносительной они своим сильным «аканьем» резко расходились с соответственными нормами Ломоносова.

что наиболее характерные для свидетельства об акающем произношении рифмы с колебанием в конечном открытом слоге *а* и *о*, *е* и *и*, отчасти также с колебанием конечных открытых *е* и *я* (*а*), у Пушкина количественно очень незначительны, притом относятся к начальной поре творчества поэта и ограничены определенными жанрами произведений, почти отсутствуя в области чистой лирики. Все это свидетельствует о том, что и аканье Пушкина было аканье мягкое, не чистого московского типа. Так обозначается в этой наиболее характерной черте общей произносительной системы преемственная линия между литературным языком эпохи Ломоносова и создателя современного литературного языка Пушкина.

Известен характерный для русского языка переход *е* (из старого *е* и еря) в *о* перед слогом не с палатальными звуками. От этого закона имеются отдельные ряды отступлений, и наиболее численная группа отступлений падает на иноязычную лексику, в частности лексику, перешедшую к нам из церковнославянского и вообще из старого книжного нашего литературного языка (в церковнославянском языке переход *е* в *о* был совершенно неизвестен). В отношении старого литературного языка приходится утверждать большее: не только отдельные экземпляры слов церковнославянского или архаического вообще происхождения, но и иные заведомо русские слова и отдельные формы слов (склоняемых, спрягаемых), то есть во флективной своей части, могли в произношении на высокий «славенский» лад звучать без изменения гласного *е* в *о*. В процессе развития нашего литературного языка, особенно начиная с Петровской эпохи, в связи с общим проникновением русской стихии в нормы прежнего «славенского» языка, в системе произношения интересующих нас слов (или форм слов) стало постепенно стираться внешнее церковнославянское их обличие, и отдельные слова и цельные морфологические их группы, произносившиеся на старый лад с *е*, начали уступать место новому их произношению, по-русски, с изменением *е* в *о*. Норма Ломоносова вообще дает мало простора русскому произношению подходящих слов и форм слов с *о*. Согласно § 97 Грамматики произношение с *о* допускается в положении *е* после j (*копьё*, *моё*, *приём*, *ёж* и др.), в суффиксе *-ек* (*кулёк*), а кроме того в отдельных словах, приведенных (всего в количестве 19 слов) в перечне. В окончаниях (формы склонения и спряжения) *о* допускается лишь в стиле, свойственном просторечию, то есть нормальным еще признается архаический тип произношения с *е*, например, род. мн. *трех*, 2 л. ед. ч. *везешь*, тв. ед. *огнем* и т. п. Если проверить эту теорию Ломоносова его практикой, свидетельством его рифм, результат получился бы еще более яркий по противопоставлению: только в низком стиле речи считается возможным произношение с *о*, будет ли дело касаться отдельных слов или форм склоняемых и спрягаемых слов (т. е. флективных их элементов),— в иных случаях предпочитается старое произношение с *е*. Действительно, в непосредственном языке Ломоносова *о* относительно широко

практикуется в словах с положением гласного (притом корневого) после шипящих [1], в иных случаях всюду (в корнях, в окончаниях), не исключая и положения гласного после *j*, рифменное соединение требует высокого произношения, то есть произношения *е*. Только дважды в раннем переводе оды Фенелона встречаются рифменные сочетания ростj*от* // при шуме вод и допрядj*от* // прольj*от*, I, 5, и единично в ямбическом триметре (1740 г.) имеется рифма ведj*от* // льj*от*, I, 23. Между прочим, даже те слова, которые в Грамматике отмечены как произносящиеся с *о*, в показаниях рифм Ломоносова звучат в произношении высоком, с *е*, ср. постоянное *Петр* (рифмуется с *ветр*, *кедр*, *щедр*, 6 сл.), *вознес*, *понес*, *принес* (рифмы: *небес*, *Апеллес*, *Геркулес*, 9 сл.), *лед* // *след* I, 53, 187, *орел* // *стрел* I, 86, *медом* // *следом*, 1, 101, в места *подземны* // в хляби *темны*, I, 283. Непосредственный язык Ломоносова, как видно, более цельно отражает интересующую черту, чем соответственное правило его Грамматики, давая как обязательную норму старое еще произношение лексики с *е*. Таково было общее состояние языка того времени и еще долгой последующей поры, вплоть до Пушкина. Только Пушкин, и то в процессе своего творчества [2], принес значительное обновление нашего литературного языка, широко раскрыв доступ русскому произношению этого типа лексики, с *о* [3].

Задненебный согласный *г* в языке XVIII века несомненно широко еще произносился на старый «славенский», церковный лад, то есть фрикативным образом, как h, и таково было произношение не только в словах церковнославянских по происхождению, но и в русской лексике, как отзвук общего высокого на «славенский» лад произношения. В связи с общим проникновением русских элементов в литературный язык, включая и систему произношения, употребление в речи фрикативного h стало заметно падать, и в современном литературном употреблении оно сохранилось в изолированной группе слов (как *бог*, *господь* и др.), причем и здесь оно начи-

---

[1] Впрочем, ср. рифмы: восшел // род. мн. дел, I, 105, прошел // тучи стрел, I, 187, света// бес счета I, 191, не хотел // предпочел, I, 243, великим бы почел // смел (прош. вр.), 11, 19, вошел // усмотрел, 11, 34, еще // вотще, 11, 63, Петровых дел // отошел, II, 86, труды несчетны // тщетны, II, 248, возжег // брег, II, 263; рядом можно встретить рифмы шол // дол, I, 178, без счота // ворота, I, 223, несчотно, несчотных // охотно, животных 11, 95, 119, через многие расчосы // заплету тебя я в косы, 11, 140 (Гимн бороде), предпочол // таков Троянам зол, II, 27.

[2] Так, к началу 20-х гг. Пушкин изживает произношение с *е* глагольных форм наст. и прош. времени (типа *идет* и под., с одной стороны, типа *поднес* — с другой стороны), к половине 20-х гг. то же наблюдается в склоняемых формах (напр. тв. ед. существительных ж. рода на *-ею* и др.). На всем протяжении творчества Пушкина, возрастая, идет процесс освоения произношения с *о* вместо *е* страд. причастий на *-енный* и т. д.

[3] В связи с рассмотренным вопросом о нормах произношения под ударением вместо *е* гласного *о* можно заметить, что у Ломоносова формы мн. числа от слова *звезда*, также прилагательное *звездный*, известны только в старшем произносительном варианте с *е* (из первоначального ятя), ср. постоянные рифмы у него: *звезд* // мест, въезд (очень часто), бездны // *звездны*, II, 263. Это произношение наблюдается и у Пушкина (рифма: *звезд* // разъезд, Галуб; Евг. Он.; Путешествие Он.).

нает уступать место обычному в языке произношению *г* как взрывного звука. Однако этот процесс разрежения в употреблении фрикативного h относительно поздний, он принадлежал уже XIX столетию. Ломоносов (§ 102 Грамматики) устанавливает довольно жесткие нормы для произношения h: в основном это лишь слова *бог, господь, благо* и их производные. Вряд ли можно было бы думать, что в этом положении с ограничением произношения h в литературном языке сказалась местная, севернорусская черта самого Ломоносова [1], любителя и начетчика церковных книг, хорошо, конечно, знакомого с системой «славенского» произношения *г*. Норма Ломоносова была продиктована, очевидно, картиной окружавшего его произношения, двоившегося в одних рядах слов и устойчивого, именно с h, лишь в ограниченном кругу лексики. Впрочем, можно думать, что в языке самого Ломоносова не только в отмеченных словах, но и в иных случаях, в стилистических условиях могло выступать «славенское» h. Это свидетельствовалось бы показаниями рифм у Ломоносова [2]. Кроме того, следует обратить внимание на то, что Ломоносов выставляет в качестве нормальной формы для литературного языка произношение род. ед. прилагательных и местоимений *-го* с h, допуская здесь произношение с *в* лишь в просторечии или в лексике простонародной [3]. Конечно, такое произношение флексии *-го* — архаическое, «славенское».

Из других особенностей, относящихся к характеристике произношения, можно отметить твердость *р* в сочетании ер перед согласным, например, произношение *первый, твердый*. Вариантное произношение с мягким *р* (на письме, между прочим, сам Ломоносов практикует написание еря в словах, как *верьх, перьвый, церьковный* и др.) квалифицируется (§ 120) как просторечное. Это произношение, между прочим, до недавней поры характеризовало московскую норму.

По поводу произношения группы *чн* Ломоносов не делает специальных замечаний. Среди примеров в §§ 229 и 242 Грамматики попадаются в написании с *шн* всего два слова: *Лукишна, шапошница*. Иного подходящего материала у Ломоносова нет. Рифменные показания все без исключения дают норму произношения этого сочетания с *ч* [4], расходясь с московской нормой литературного произ-

---

[1] В и н о г р а д о в, Очерки по истории русского литературного языка, 104.

[2] Ср. постоянные у Ломоносова рифменные сочетания с *к* при словах *мог, помог, достиг, снег*. Напротив, с словами, кончающимися на *х*, рифмуются *бег*, II, 272, *недуг*, II, 258, *флаг*, I, 147, на *юг*, II, 123, им. мн. *враги*, II, 206, род. мн. *вериг*, II, 205. Наречие *вдруг* обычно в рифме на *х* (4 случая), но ср. *вдруг* // лук, I, 158 (Из Анакреонта), *вдруг* // внук, //, 232. Слово *бог* (в разных падежах) встречается в рифменных сочетаниях со словами *рог, залог, чертог, многг, строг, брег* (богов// *брегов*, II, 16), *дорога* (боги// *дороги*, II, 98).

[3] Ср. у Ломоносова рифмы: едино слово // ничего *другово*, II, 44 (Демофонт). Кто видел простака из поваров такова // *жаркова*, II, 225 (мелк. ст.).

[4] Таковы рифмы *сердечный* с бесчеловечный, бесконечный, вечный, встречный, заочно // не *нарочно*, I, 223, благополучно // *неразлучно*, II, 224, *конечно* // вечно, II, 18.

ношения. Встретившиеся приведенные два слова в написании с *шн*, можно думать, отражают просторечное произношение. Между прочим, такое же произношение с *ч*, по свидетельству рифм, можно наблюдать и у Пушкина, у которого двоится в произношении лишь слово *скучный*: в лирике оно почти постоянно звучит с *ч*, и с *ш* — в «Евгении Онегине». Таким образом, литературная норма в отношении рассматриваемой черты у Ломоносова и Пушкина одинакова [1].

Очень много материала у Ломоносова, относящегося к характеристике морфологической системы литературного языка. В области склонения, спряжения язык XVIII века хранил немало архаических форм (не обязательно церковнославянских по происхождению). Они в значительном числе представлены еще в языке Ломоносова. Некоторые из них совсем вышли из языка в ближайшую послеломоносовскую пору, некоторые просуществовали в литературном языке несколько далее и были изжиты в общей системе уже к пушкинской эпохе. Не касаясь частностей, здесь можно указать, например, в области склонения: обычные формы типа *в земли*, *на земли*, редкость новых образований им. мн. от существительных муж. рода с флексией *а* (вроде *леса*, *острова*, *луга* и т. п., § 119), формы род. мн. от существительных муж. рода с твердой основой — без флексии (например, *предел*, *сопостат* и др.), и, напротив, употребление в мягком различии тех же существительных муж. рода, или в именах женского и среднего рода окончания *-ов* (*-ев*), например, *дактилев*, *рифмов*, *окончаниев* и др., архаические формы тв. мн. у существительных муж. рода на *-ы* (со многими *народы*, всевозможными *образы*, *способы* и др.), предл. п. мн. ч. на *-ех* (в *градех*, о *славянех* и др.), тв. мн. от существительных ж. рода с основами на палатальный согласный с окончанием *-ьми* (по § 160 Грамматики устанавливаются собственно дублетные формы — *добродетелями* и *добродетельми*, непосредственно же в языке Ломоносова преобладают архаические образования на *-ьми*) [2]. Можно еще отметить в склонении прилагательных дублетность формы род. ед. ж. рода на *-ыя* и *-ой* (§ 161), тип склонения числительных 40, 90, 100 по образцу существительных во всех падежах (§ 261), в спряжении глаголов — образования наст. времени типа *даваю* (§ 284), *познаваю*, *вставаю* и под. (очень частые в языке Ломоносова, продержавшиеся в литературном языке до конца XVIII в.), церковнославянский тип 1 л. ед. ч. на *-жду* от глаголов на *-дить* (*побежду*, *наслаждусь*, *учрежду* и т. п., § 287), сменившийся формами на *-жу* лишь к пушкинской эпохе, архаическая форма 1 л. ед. ч. *мышлю*

---

[1] Обращает на себя внимание единичный случай у Ломоносова рифменного сочетания *шу* и *щу* (Я только от творца прошу// И больше в свете не ищу, I, 297); здесь, видимо, прокралась индивидуальная, областная черта языка Ломоносова (произношение *щ* в виде твердого долгого *ш*). Ср. еще рифму: питьем излишним // богатством хищным, II, 200.

[2] См. подробнее в работе «Именное склонение в современном русском языке», I—II, Л., 1927—1931.

(§ 366, 424), дублетные формы 1 л. ед. ч.— архаическая *бежу* и живая *бегу* (§ 284) и др.

Особенно важен в морфологическом разделе слой тех явлений, в установлении которых Ломоносовым отражена нарочитая нормализационная точка зрения. Это относится либо к явлениям двойственного употребления тех или иных форм, либо к фактам использования в литературном языке форм, употребление которых не может быть безусловным, а должно быть известным образом регулируемо или даже признано вовсе нежелательным. Понятно, что этот материал Ломоносова имеет большое значение для характеристики литературного языка его времени, но, соприкасаясь в известных пунктах с нормами современного нашего литературного языка, он приобретает тем большее для нас значение.

Известна двойственность флексии *-у* и *-а* у численных групп существительных муж. рода в род. п. ед. ч.; у многих из этих существительных наблюдается и в предл. п. ед. ч. колебание окончания *-у* и *-е*. Ломоносов в §§ 172, 173, 190 Грамматики дает чрезвычайно тонкую, выдающую большую остроту его наблюдения, характеристику употребления одного и другого типа форм, научное значение которой сохраняется до настоящего времени. Особенно трудным был здесь вопрос о нормах употребления в названных формах флексии *-у*. Употребление этих форм (особенно в род. п.) на *-у* в старом литературном языке было очень широким, более широким, чем в последующее время, чем в современном нашем языке. Сам Ломоносов очень широко в собственных произведениях использует формы с этой флексией, отчасти даже в нарушение формулированных самим им правил. Правила же эти, помимо того, что содержат формальные указания на возможность образования данных форм от определенных рядов существительных, дают кроме того тонко подмеченную, правильную, имеющую в известной мере свое значение и для современного языка, стилистическую характеристику одного и другого типа форм. Эта характеристика, пользуясь словами самого Ломоносова, звучит так: окончание *-у* принимают существительные «тем больше, чем далее (они) от славенского отходят, а славенские, в разговорах мало употребляемые, лутче удерживают *а*», то есть в лексике «славенской», в стиле высоком не место формам на *-у*, приличным для употребления в просторечии, вне высокого стиля. Это, замечательное по своей тонкости, разграничение одного и другого ряда форм правильно и исторически и фактически применительно к литературному языку.

Выше приводилось отрицательное отношение Ломоносова к формам им. мн. на *-ии* от существительных среднего рода на *-ие*; можно отметить полное отсутствие у Ломоносова и форм им. мн. на *-ы* от слов среднего рода на *-о* (типа *окны, селы* и т. п.). Между тем и одни и другие формы широко бытовали в литературном употреблении в течение всего XVIII века, перейдя и в XIX столетие: они здесь дожили до середины века, когда обозначилось заметное их поредение и позднее полное изжитие в языке. Таким образом,

норма, выставленная Ломоносовым, пройдя, как видно, длинную историю, явилась в конечном итоге нормой современного нашего литературного языка.

Следует также заметить о форме род. мн. от имен существительных на *-ня* (с предыдущим согласным, также j): и в Грамматике (§ 170) выставлена как норма флексия в виде твердого *н* (напр. *колоколен* и т. п.), это же твердое *н* практикуется Ломоносовым всюду в непосредственной речи. Между тем в языке долгое время употреблялось в этой форме окончание колеблющееся — то твердое *н*, то мягкое *нь*. Здесь также норма Ломоносова смыкается с нормой современного нашего языка.

Замечательно отсутствие у Ломоносова каких бы то ни было данных о типе склонения слов среднего рода на *-мя* с опущением в косвенных падежах суффикса *-ен* (род. *время*, дат. *времю* и т. п.); этих форм не оговаривает Грамматика, дающая обычные нормы соответственного склонения (род. *времени* и т. д.), их не знает и собственная речь Ломоносова. Между тем эти формы бытовали в языке во всем течении XVIII века, зашли и в XIX столетие, и в свое время Буслаев в своей «Исторической грамматике» не прочь был даже согласиться на то, чтобы признать эти формы допустимыми для собственно литературного употребления. Норма, выставленная Ломоносовым, как видно, оказалась действеннее ученого прогноза Буслаева: позднее в литературном языке этот тип форм полностью оказался изжитым.

В § 446 Грамматики Ломоносов говорит о дифференцированных формах страдательных причастий на *-нный* и на *-ной* и соответственных от них формах род. ед. муж. и ср. рода, с одной стороны, на *-ннаго*, но, с другой стороны, на *-ного*. В части соотношения флексии это различие принадлежало, помимо причастий, и прилагательным. Первый тип форм предназначался для употребления в высоком стиле, второй тип характеризовал просторечие. Эта дифференциация форм подмечена Ломоносовым очень тонко; соответственное различие в употреблении одного и другого типа форм поддерживалось в языке сплошь до пушкинской эпохи (включая ее), и лишь позднее произошло сглажение этих форм в результате орфографической нормализации.

Правильно в § 436 применительно к системе старого литературного языка разграничиваются формы местоимения в род. п. ед. ч. женского рода *ее* как форма просторечия и *ея* — нормальная литературная форма высокого стиля [1]. Это стилистическое разграничение обеих форм просуществовало до недавнего времени, когда в результате орфографической реформы 1918 г. форма *ея* как искусственная (церковнославянская) по происхождению была вообще изъята из употребления.

[1] Ср. у Ломоносова употребление этой формы в рифмах: Тем дух терзается сильнее от *нея* // печаль твоя, I, 227; дочь твоя// без *нея*, I, 244; Скажи и не утай, что было без меня// в сердце у *нея*, II, 15. То же у Пушкина: На крик испуганный *ея* // ребят дворовая семья// сбежалась шумно, Е. О., VII, 16.

Известна и чрезвычайно важна с исторической точки зрения характеристика отдельных категорий или отдельных форм у Ломоносова как вовсе недопустимых в литературном языке или допустимых, но в определенном жанре произведений, в определенном стиле речи. Конечно, язык и стиль за время, отделяющее нас от периода деятельности Ломоносова, во многом изменился, тем не менее в известной доле характеристика подходящих явлений, принадлежащая Ломоносову, сохраняет свое значение и в настоящее время. Таково его суждение о прилагательных сравнительной и превосходной степени на *-ший*: они признаются возможными для использования лишь в «важном» и высоком стиле, вообще же нетерпимы в образованиях от прилагательных «низкого знаменования», от прилагательных, которые не были известны в «славенском» языке (§ 215). В ряде параграфов (343, 440, 442, 444,450, 453) Ломоносов затрагивает вопросы образования и употребления причастий, всюду подчеркивая их принадлежность высокому стилю, возможность их употребления лишь от глаголов «славенского» происхождения. «Непристойными», «весьма противными», «дикими и слуху несносными» поэтому представляются Ломоносову причастия вроде *говорящий*, *чавкающий* (§ 440), *брякнувший*, *нырнувший* (§ 442), *качаемый*, *мараемый*, *трогаемый* (§ 444) и т. д. Для деепричастий наст. вр. даны (§ 354, 356) два типа форм на *-я* и на *-учи* (*-ючи*) с указанием на то, что первый тип более свойствен образованиям от глаголов «славенских», второй — от глаголов собственно русского происхождения. В связи с этим мы, действительно, в самом языке Ломоносова встречаем обильное употребление форм на *-учи* (*-ючи*), причем не только от «русских» глаголов, но в редких случаях и от глаголов книжного происхождения (ср. *сокрываючи* сына своего от греков, III, 44, *распростираючи*, II, 221). Эти деепричастные формы на *-учи*, однако, можно сказать, не пережили Ломоносова и к концу XVIII столетия почти совсем вышли из нормального литературного употребления. В отношении деепричастий прошедшего времени Ломоносов также отмечает наличность двоякой их формы — на *-в* и на *-вши* (§ 394), оговаривая при этом, что первый тип форм (на *-в*) «лучше» второго их варианта (на *-вши*), хотя, прибавляет Ломоносов, «не без изъятия». Сам Ломоносов в своих произведениях очень широко пользуется вариантом деепричастия на *-вши*, однако в последовавшей истории литературного языка эти формы заметно стали редеть в употреблении: их почти не знает Карамзин, Пушкин пользуется ими очень редко, к тому же в определенных жанрах своих произведений (письма, «Руслан и Людмила», «Домик в Коломне»), незначительно их употребление у Тургенева и т. д. Согласно с нормой, выставленной Ломоносовым, формы деепричастий на *-в* как «лучшие» к современной стадии литературного языка еще значительнее оттеснили вариантные формы на *-вши*, получившие некоторый отпечаток образований просторечных.

Во многих случаях линия нормализации у Ломоносова выражается путем опорочения тех или иных явлений, которые были в

современной практике языка, путем их характеристики как фактов низкого, вульгарного стиля.

Так, в § 121 отмечаются как неправильные формы — формы 3 л. мн. ч. настоящего времени от глаголов II спряжения на *-ют* (вроде *видют*). Эти формы, между прочим, принадлежащие московской норме литературного языка, встречались в практике литературного языка и после Ломоносова, почему вызвали замечания по поводу своей неправильности и позднее, в частности у Барсова в его грамматике (1780 г.).

«Российскому слуху неприятными» считает Ломоносов образования превосходной степени прилагательных (на манер польского языка) помощью *наи-*, например, *наилучший* (§ 215). Ломоносов вообще был чувствителен ко всему иноязычному, если оно заимствовалось без необходимости или если оно было несогласно с строем русского языка. Поэтому он возражает против вошедшего «в недавних временах» несвойственного русскому языку употребления («со французского языка принужденного») предлога *чрез* вместо *от* (§ 509) или против известных деепричастных конструкций с несогласованием в лице (типа «идучи я в школу встретился со мною приятель»), как конструкций, отражающих «свойство чужих языков» (§ 539) вместе с тем он сочувственно относится к употреблению («с рассуждением») оборота дательного самостоятельного (§ 533), так как эта конструкция, хоть «славенская», архаическая, но не противоречит строю русского языка.

Ломоносов, большой начетчик церковных книг, знаток и тонкий судья и ценитель величия и красот русского языка (см. его дифирамб по адресу русского языка в предисловии к «Российской грамматике»), был вместе с тем яркий северянин. Это не могло не наложить своего отпечатка на оценку Ломоносовым известных явлений русского языка, как и на собственный язык его произведений. Из изложенного выше можно было видеть, как в отдельных пунктах нормализации литературного языка нормы Ломоносова, утвердившиеся в языке, смягчали московские устои прежнего литературного языка. Это было общим воздействием на литературный язык живой севернорусской стихии, это было формирующее начало в истории русского литературного языка. Не все, конечно, что проводилось в язык Ломоносовым как севернорусом, должно было войти и вошло в оборот литературного языка. Черты, которые должны были восприниматься как более или менее резкие местные, областные особенности, не могли ассимилироваться в общем литературном употреблении. Можно было бы в числе таких черт отметить отдельные элементы лексики, норму увеличительных и уничижительных образований существительных типа *ручище*, с одной стороны (§ 246), *скатертишко*, с другой стороны (§ 248), таковы же не привившиеся, хотя известное время бытовавшие в языке наречия сравн. степени на *-яе* (§ 218). В § 194 в связи с рассмотрением форм им. мн. существительных на *-ья* Ломоносов прибавляет, что параллельно с формами мн. ч. типа *брусья*, *лоскутья* и т. д. употребительны и вариант-

ные образования в виде имен среднего рода на *-ье* — *брусье*, *колье*, *листье*, *лоскутье* и т. д. Однако последний ряд образований, в отдельных экземплярах слов с отпечатком резкой диалектности, не вошел в нормы литературного языка. Ср. еще рекомендуемые сочетания типа *двои*, *трои*, *десятеры* вилы (§ 492) и др. В речи самого Ломоносова также можно было бы отметить разного типа случайно оброненные диалектизмы, например, форма им. мн. *колечка* (V, 101), отдельные примеры им. мн. на *-а* от существительных на *-анин*, *-арин*, например, *россияна*, *египтяна* и др. (хотя согласно Грамматике, § 192, нормой здесь должно служить окончание *-ане*), формы род. мн. *мышцей*, IV, 276, также *морь*, *поль* (употребляется и *морей*, *полей*), *братей* и др.

Можно подойти к итоговым обобщениям.

Деятельность Ломоносова в формировании русского литературного языка громадна. Плоды и выражение этой деятельности Ломоносова и в теоретических его работах, вроде издания «Российской грамматики», «Руководства к красноречию» и др., и в еще большей мере в непосредственной писательской его деятельности, практически отразившей новые нормы русского литературного языка. Не все в этих нормах пережило эпоху Ломоносова и послужило к дальнейшему росту литературного языка. Отдельные черты в этих нормах как изживавшие себя остатки давней системы языка в последовавшем развитии русского литературного языка не удержались; растворились в нем и немногие узкого диалектного характера случайно оброненные черты индивидуальной Ломоносовской речи. Но основной костяк выдвинутых Ломоносовым норм языка определил дальнейшие судьбы его развития, пережил эпоху творческой деятельности Пушкина и служит живой основой современного нашего языка. В этом смысле Ломоносов жив и в наши дни, как жив и направлявший всю деятельность Ломоносова его завет активной любви к великому русскому языку, внимания к нему, заботы о нем,— для славы и пользы великого русского народа.

1940

ПУШКИН И НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Система современной русской орфоэпии в настоящее время вызывает к себе особенно пристальное внимание. И это понятно. Общее стремление к максимальному подъему нашей культуры выдвигает со всей остротой проблему борьбы за культуру нашей речи.

Русский литературный язык в современном его состоянии преемственно связан с пушкинским языком. Поэтому бóльшее изучение языка Пушкина, как и последующих деятелей русского литературного слова, укреплявших и развивавших традиции пушкинского языкового творчества, имеет непосредственное значение к осознанию нашего современного литературного языка, т. е. тем самым и к подъему его на высшую ступень.

Принципиального значения вопросом в изучении речевой системы Пушкина является вопрос об общих нормах этой системы, об отношении ее к единой системе русского литературного языка. Известно, что и до Пушкина и в послепушкинскую пору в нормах литературного русского языка не было единства. В нем главным образом в произносительной системе, рядом с основной «московской» разновидностью, рано обозначившись, со временем все более развиваясь, сложилась иная, более северная, разновидность литературного языка, культивируясь в северной столице, в Петербурге. Можно вспомнить из XVIII в. принципиальный антагонизм Ломоносова и Сумарокова, как именно носителей северного и московского толков литературного языка. Можно было бы и на протяжении XIX столетия отметить как противостоящие ряды писателей, проводников, с одной стороны, старых московских, с другой стороны, северных петербургских течений в общих устоях русского литературного языка. Эта дифференцированность в понятии и содержании русского литературного языка перешла и в XX столетие, когда, однако, самые различия между основными разновидностями литературного языка стали заметно смягчаться и сглаживаться благодаря постепенному разрежению типических московских элементов в нормах московской разновидности литературного языка.

Изучение языка Пушкина со стороны общих произносительных норм литературного языка своего времени представляет большие трудности. Мы не располагаем иными средствами для суждений о произношении Пушкина кроме того, что соответственно можно было бы извлечь из анализа показаний рифм у Пушкина.

Основное звуковое различие между отдельными разновидностями современного литературного языка относится к области вокализма, именно к характеристике аканья. Московская норма дает более сильный тип аканья, по северной (ленинградской) норме аканье литературного языка более мягкого тона. По московской норме предударное, также обычно послеударное (открытое) *о* и *е* произносятся соответственно почти как *а* и *и* (или, в отдельных категориях случаев, как сильно редуцированные звуки), по ленинградской норме соответствиями этих *о* и *е* являются те же различаемые в основном гласные *о* и *е*, но с окрашенностью первого гласного оттенком звука *а*, второго гласного оттенком звука *и*. Таким образом, например, московскому произношению 1 л. ед. ч. наст. вр. b'irú (беру), род. ед. sila (села), v gori (в горе), дат. ед. dabrú (добру), gara (гора), нареч. pólna (полно) отвечает произношение по северной (ленинградской) норме в виде b'e^{i}rú, s'e^{i}lá v gore^{i} , do^{a}brú, go^{a}ra, pòlno^{a}, т. е. с различаемыми в основе исконными соответственными гласными *о* и *е*, которые лишь окрашиваются оттенками гласных *а* и *и*. Ленинградская норма литературного произношения по данной черте ближе смыкается с северным нашим окающим наречием. Мягкая степень ленинградской нормы литературного аканья сама по себе объясняется именно территориальной связью с окружающей живой окающей средой.

Показания рифм свидетельствуют о том, что Пушкину свойственно было аканье: у него встречаются рифмы с совпадением в послеударном слоге *о* и *а*, с одной стороны, *е* и *и*, с другой стороны; есть и иные факты того же общего значения, т. е. свидетельствующие об аканье, в случаях рифм с конечными *а* и *ы*, также *е* и *а* (*я*) в открытом слоге или с конечными *а*, *о*, *ы* или *е*, *и* в закрытом слоге. Наибольшего значения факты первой категории — рифмы с колебанием в конечном открытом слоге *а* и *о*, *е* и *и*, отчасти также — с колебанием открытых *е* и *а* (*я*). Обращает прежде всего на себя внимание то обстоятельство, что все эти факты количественно очень незначительны. Рифм с колебанием конечных *а* и *о* всего 15 случаев, с колебанием *е* и *и* 9 случаев, наконец, с колебанием конечных *е* и *а* (*я*), все в именах на *-ье*, всего 13 случаев [1]. Эти данные сравнительно с громадною стихотворной наличностью у Пушкина сами по себе настолько незначительны, что не могут быть иначе понимаемы, как с точки зрения предположения о принадлежности Пушкину аканья не сильного, московского, типа, а аканья более мягкого типа, ослабленного, т. е. отвечавшего северной (ленинградской) литературной норме. Самые факты с приведенными рифмами не могут поэтому не расцениваться как случайные факты, не вылившиеся из цельной произносительной системы поэта, а случайным путем попавшие к нему под перо. Недаром мы наблюдаем здесь известную неустойчивость в употреблении этих рифм применительно к определенным периодам творчества Пушкина или применительно к отдельным жанрам его произведений. Можно видеть, действительно, что в пределах лирики эти рифмы допускаются у поэта вообще лишь в начальную пору (в первую половину) его деятельности. Из прочих произведений эти рифмы встречаются лишь в легком и вольном жанре (Русл. и Л., Евг. Он.), причем также преимущественно в ранний период творчества Пушкина. Мы, конечно, при взгляде на показания с приведенными рифмами, как на свидетельство цельной системы аканья Пушкина по сильной (московской) норме, вправе были бы ожидать равномерного пользования этими рифмами как на всем протяжении деятельности Пушкина, так и во всех жанрах его произведений.

---

[1] Для развлеченья // книг ученье (Городок, 1814), свои творенья// мое терпенье (ibid.), мн. ч. ополченья// паденье (Нап. на Эльбе, 1815), посланье // без строгого старанья (Посл. к Галичу, 1815), счастье // сладострастья (Фавн и паст., 1816), ученье // для награжденья (Посл. к В. Пушкину, 1817), мн. ч. страданья // мое созданье (Недок. картина, 1819), верность выраженья // (слов) стеченье (К моей черн., 1821), трудов земных стяжанья // скупое подаянье (Подр. Корану, 1824), смущенье // трепет исступленья (Русл. и Л., III), мое благодаренье //летучие творенья (Евг. Он., II),затрудненье // без сомненья (ibid., III), свое волненье// просит позволенья (ibid., VII). Не могут, конечно, иметь значения рифмы с колебанием флексии *-ые* //- *ыя* в им.-вин. мн. ч. прилагательных, так как в этой флексии по прежней орфографии дифференцирование конечных *е* и *я* было условным, графическим. Можно сказать, что этого рода случаев у Пушкина 18, и соответственные рифмы в лирике Пушкина (всего 7 примеров) не идут далее 1829 г.; из прочих произведений они встречаются в поэмах Русл. и Л., Евг. Он., Гр. Нулин, Жених, Полтава и в Ск. о ц. Салтане.

По единой норме современного нашего литературного языка, и московской и ленинградской, в конечном послеударном закрытом слоге гласные широкого образования, т. е. *а* и *о* после твердых согласных, также *е* и *а* (*я*) после мягких согласных звучат в редуцированном виде, приблизительно, как короткое *ы*, с одной стороны, и *и*, с другой стороны. Например, мы имеем в единой литературной норме одинаковое произношение гласного конечного слога, с одной стороны, в капать и копоть, с другой стороны, в лебедь и девять. Это явление литературного языка также входит в понятие аканья. Поэтому, зная об общей принадлежности в произносительной системе Пушкина явления аканья, мы вправе ожидать и здесь его выражения в пользовании подходящего типа рифмами. И мы их встречаем. Таковы у Пушкина рифмы, в которых сочетаются в конечном неударяемом закрытом слоге, с одной стороны, *а* и *о*[1], с другой стороны, *е* и *и*[2], или такие сочетания в рифмах, как *ы* рядом с *а, о,* или *и* (и *е*) рядом с *а* (*я*). Таково в первом ряду случаев рифмование флексии *-ом* и *-ым* в творит. и предл. падежах ед. ч. прилагательных (и существительных)[3], или рифмование в предл. пад. мн. ч. именного окончания *-ах* и окончания прилагательных *-ых*[4]. Прочие случаи единичны: Поживится от русских добычей // богат их обычай (Будрыс, 1833), (письмо) ему приносят // князь N. покорно просит (Евг. Он., VIII, 21). Все эти факты нормальны для акающей системы произношения Пушкина Как видно из приведенного материала, фактических случаев данного типа не так много [15 примеров на рифменные созвучия с *а—о — ы*, около 25 примеров на *е — а*(*я*) *— и*], но они равномерно свидетельствуются

---

[1] Например: Будь нашим президентом // завидовать студентам (Пир. студ., 1814), ваш дядя повар // народный говор (Жалоба, 1822), как начинает капать // плетя свой пестрый лапоть (Евг. Он., VI, 41), своим боярам // не тратя даром (Ск. о ц. Салт., 1831).

[2] Например: он дружбы недостоин // ужели ты спокоен (Коварность, 1824) Душа моя Павел // Держись моих правил (В альбом Вяз., 1826), арабский профиль // освищет Мефистофель (To Dawe Esq', 1828), он уверен // уж ждет его Каверин (Евг. Он., I, 16), нужен // ужин, дюжин (Посл. Лиде, 1816; Евг. Он., VI, 1; Гр. Нулин; Ск. о ц. Салт.); особенно часты эти случаи в глагольных рифмах в 3 л. ед. ч. наст. вр. у глаголов I и II спряжения; например, будет (от быть) и будит, разбудит (от будить) (К Галичу, 1815; Ск. о ц. Салт.), клонит // стонет (Сраж. рыцарь, 1815), хочешь // порочишь (Эпигр., 1830), захочешь // точишь (Ск. о ц. Салт.), пишешь // слышишь (К Овидию, 1821; Евг. Он., IV, 31), пышет // слышит (Евг. Он., III, 39), может // тревожит (Я вас любил, 1829; Отрывок, 1829; В альбом, 1832; Бахч. фонт, 1822; Евг. Он., VI, 3) и др.

[3] Например: Философом ленивым // (в Городке) безвестностью счастливом (Городок, 1814), в театре шумном // партером полоумным (Посл. к Галичу, 1815), под дубом наклоненным // с Горацием и Лафонтеном (Посл. к Юдину, 1815), в беспокойстве непонятном // языком сердцу внятным (ibid.), блеском алым // летучим покрывалом (Буря, 1825), вдаль указуя перстом // (оком) болезненно-отверстым (Странник, 1834), под Азовом // с царем суровым (Полтава, III), над Петербургом омраченным // в теченье возмущенном (Родосл. моего героя, 1833, первонач. набр.).

[4] Ср.: в глухих дубровах // в занятиях суровых (Русалка, 1819), О дева-роза, я в оковах // в кустах лавровых (О, дева-роза, 1820), в таинственных долинах // при кликах лебединых (Евг. Он., VIII, 1).

на всем протяжении творчества Пушкина и всеми видами его произведений, говоря тем самым об общей органической своей подоснове.

Замечательную черту языка пушкинских рифм составляет чередование неударяемой флексии им. ед. ч. мужск. рода прилагательных (и причастий), в современной графике изображаемой через *-ый*, с окончанием *-ой* в разных формах существительных и прилагательных. В общем инвентаре пушкинских рифм можно было бы насчитать свыше 450 примеров этого типа созвучий. Вместе с тем имеются примеры этих же форм прилагательных (в им. ед. мужск. рода, т. е. на современное *-ый*), рифмующихся с иными прилагательными в этой же отправной их форме им. пад. (на *-ый*). Еще более замечательным оказывается наличие у Пушкина отмеченного типа рифм (в чередовании с прилагательными и существительными, в разных формах, на *-ой*) при прилагательных с основой на *г*, *к*, (*х*), которые в современном языке и в общей нашей графической системе выступают как формы на *-ий* (крепкий, строгий и под.). Эти имена прилагательные (на *-гий*, *-кий*) почти исключительно рифмуются с формами существительных, прилагательных на *-ой*; можно лишь три случая у Пушкина отметить с рифмами иного (теоретически ожидаемого) типа: Философ козлоногий // Венком украсив роги (Фавн и паст., 1816), (рой) теснится козлоногий // Плющем опутаны их роги (Торж. Вакха, 1817), любовник пылкий // За чье здоровье бьешь бутылки? (Усы, 1816). К сожалению, мы не имеем полного издания сочинений Пушкина в его собственной орфографии. Начатое Академией наук соответственное издание Пушкина (под редакцией акад. Л. Н. Майкова, позднее В. Е. Якушкина и П. О. Морозова) вышло фактически в незначительной части. Прочие же издания Пушкина, не исключая и последнего юбилейного издания, не дают подлинной пушкинской орфографии, в частности, в интересующих случаях форм прилагательных в им. ед. ч. мужск. рода всюду в них проводится современная форма их написаний на *-ый*, *-ий*. Известно, что современная флексия имен прилагательных на *-ый*, *-ий* — болгарская по происхождению флексия, которая, будучи поддержана акающими условиями нашего литературного языка, и закрепилась на письме. Русская флексия соответственно должна бы звучать в виде *-ой*, *-ей*. Те современные русские говоры (северные), которые не знают аканья, не знают и форм прилагательных на *-ый*, *-ий*, держась соответственно исконной русской флексии, т. е. *-ой*, *-ей*. Известно, что эта русская флексия долгое время, и в послепушкинскую пору, практиковалась в литературном языке (особенно под пером писателей северной, не московской, нормы нашего литературного языка), конкурируя, особенно в некнижной лексике, с болгарскими формами на *-ый*, *-ий*. Сам Пушкин употреблял и одну флексию и другую, однако трудно сказать без предварительного исследования, без видимого ли различия (как склонны утверждать пушкинисты). Для исследования же вопроса необходимо иметь полный текст Пушкина в подлинной его орфографии, чем мы не обладаем. Во всяком случае отмеченный тип

рифм у Пушкина, так широко им практикуемый, не может не остановить на себе внимания. Мы имеем возможность по старому академическому изданию Пушкина, обнявшему его творчество по 1827-й год, проверить современное правописание Пушкина в показаниях интересующих рифм.

Результаты этой проверки весьма красноречивые. Имена прилагательные с основой на *г*, *к*, *х* в им. ед. ч. мужск. рода (в рифменных сочетаниях со словами на *-ой*) исключительно пишутся на *-ой*; например: шлем высокой (рифма: жестоко; Русл. и Л., V), вздох, мрак глубокой (вкруг постели одинокой; К Наталье, 1814; око; Лицинию, 1815; тропой далекой; Кавк. пл., II), офицер гусарской (на службе царской; К портр. Чаадаева, 1817), Долгорукой (и славой и наукой; Мордвинову, 1825), (конь) одинокой (судьбы жестокой и др.; Наездники, 1816; Элегия, 1821; Песнь о вещ. Олеге, 1822; Сц. из Фауста, 1826; Русл. и Л., IV; Кавк. пл., II), брег отлогой (дорогой; Русл. и Л., I), (шепот) сладкой (украдкой; Посл. к Юдину, 1815), Караул строгой (новою тревогой; Черн. набр., 1822). Черкес младой и черноокой (постели одинокой; Кавк. пл., II). Отклонений нет, если не считать двух случаев рифм: кров оставя зыбкий // с гордой шепчутся улыбкой (Наездники, 1816). Он видит Новгород великий // крапивой дикой (Вадим, 1822). Но в первом приведенном случае текст издан по рукописи не пушкинской, во втором случае также текст воспроизведен по печатному изданию (см. Примечания к I тому Сочинений Пушкина, изд. Академией наук, стр. 261, и Сочинения, т. III, 148). Таким образом, нормой форм прилагательных с основой на *г*, *к*, *х* для Пушкина были формы русские по происхождению на *-ой*; они составляли (и составляют) обычный живой тип северных говоров и являлись нормальными формами литературного языка не московского типа. Эти формы могли перемежаться с формами на *-ий*, вообще книжными по происхождению. Ср. выше указания на рифмы у Пушкина козлоног*ий* // ро*ги*, пылк*ий* // бутыл*ки*. Но если нормальными формами прилагательных с основами на *г*, *к*, *х* служил тип на *-ой*, мы вправе ожидать такой же нормы и для всех прочих прилагательных. Громадное количество рифменных показаний с сочетаниями всех этих прилагательных со словами именно на *-ой* как будто говорит в пользу этого предположения. Что, однако, особенно убеждает в этом предположении, это фактическая картина написаний соответственных форм прилагательных непосредственно у Пушкина или в изданиях его времени. По академическому изданию Пушкина можно было проверить приблизительно половину стихотворного наследия Пушкина (по 1827-й год), имея в виду написания прилагательных в форме им. ед. ч. мужск. рода, рифменно чередующихся со словами на *-ой*. Оказывается, что из 225 подходящих случаев (с округлением) в 200 случаях прилагательные значатся в формах не на *-ый*, а на *-ой*, и лишь в 24 примерах мы находим их в формах на *-ый*. Эти цифры слишком сами по себе красноречивы, чтобы можно было не сомневаться, что вообще живой нормой имен прилагательных

(не только с основами на *г*, *к*, *х*) в им. ед. ч. мужск. рода для Пушкина служили формы на *-ой*. Это, очевидно, был общий тип данных форм для литературного языка не московской нормы. Рядом с этими формами были в употреблении и формы болгарские по происхождению, книжные по употреблению, формы на *-ый*. Если посмотреть на фактический материал этих немногих (24) примеров прилагательных не на *-ой*, а на *-ый*, которые притом рифменно чередуются со словами на *-ой*, легко прийти к заключению об известной нарочитости, обусловившей в данных контекстах (в большинстве случаев) использование именно форм на *-ый*, а не обычных живых форм на *-ой*. Большое число форм на *-ый* падает, действительно, на причастные образования, этот заведомо книжный по происхождению слой в нашем языке, например: напоенный (рифма: Ипокреной; К Батюшкову, 1815), обреченный (священной; К Жуковскому, 1817), осужденный (вселенной; Наполеон, 1821), озаренный (разъяренной; ibid.), оживленный (вольно вдохновенной; К Языкову, 1824), утомленный (вдохновенной; Разг. книгопр., 1824), носимый (незримой; Русл. и Л., эпилог), или на лексику официальную, или высокого тона, стилистически приподнятую, например: орел двуглавый (славой; Цыганы, эпилог), Певец бессмертный и маститый (тени знаменитой; Ода Хвостову, 1824), благородный (души своей холодной; 1 посл. цензору, 1824; с душою превосходной; 2 посл. к цензору, 1824), Заветные слова: божественный, небесный (по милости чудесной, ibid.). И дуб низвергнул величавый (грозой и славой; Аквилон, 1824), сатирик превосходный (в комедии народной; 1 посл. к цензору, 1824), Свободы сеятель пустынный (тв. безвинной; Свободы... 1823); часто в формулах обращения, восклицания и т. под., ср.— Где же сердца друг бесценный? (грустишь уединенно; Фавн и паст., 1816), Холмы Тавриды, край прелестный (негой неизвестной; Таврида, 1822), Прощай, мой прекрасный (это ясно; В альбом Вяз-му, 1826), Опомнись, долго ль, узник томный (лирою нескромной; Бахчис. фонт.), Приду, мой милый (над могилой; Цыганы), Пора, мой милый (над обесславленной могилой; ibid.).

В рассмотрении вопроса об аканье в произносительной системе Пушкина следует указать на две группы фактов из рифменных свидетельств Пушкина, которые должны быть оцениваемы как явления, не зависимые от явления аканья. Значительное количество материала у Пушкина оказывается с формами род. ед. прилагательных мужск. и ср. рода, рифмующимися со словами, оканчивающимися на *-ва*. Иногда даже соответственные прилагательные выступают в написании с *-ва*. Ср. рифмы: снова // молодого, полубольного, злого, земного, крутого, лихого, рокового, морского (К мол., актр., 1814; Старик, 1815; Энгельгардту, 1819; Бесы, 1828; Русл. и Л., I, V, VI; Ск. о ц. Салт.), ни слова, два слова, от слова до слова, родного слова // молодого, другого, чужого, любого (Приятелям, 1825; Евг. Он., VII, 55; Альбом, 7; Ск. о ц. Салт.), Белолица, черноброва // Нрава кроткого такого (Ск. о м. цар.), род. ед. Петрова,

Петушкова, Годунова // земного, отставного, святого (Полтава, III; Евг. Он., V, 43, черн., Путеш., черн.); ср. еще рифмы: Хвостова // уса лихова (Усы, 1816), Хвостова // Полевова (Н. Н., 1825), А хозяйка ждет милова // Не убитого, живова (Шотл. песня, 1828). Несомненно, для Пушкина род. ед. прилагательных оканчивался на *-ва*. Но это *-ва* с конечным *-а* не может быть рассматриваемо как общий продукт акающего происхождения в языке Пушкина. Ср. выше сказанное о рифмах на *о* — *а* в конечном открытом слоге, как явлении неорганического характера для языка Пушкина. Эта форма должна быть рассматриваема как специального образования новая форма, именно с новой флексией *-ва*. Данный тип форм как раз известен как типическое новообразование многих северно-русских говоров. В ряде случаев у Пушкина встречаются формы им. -вин. мн. ч. от существительных ср. рода не с обычным безударным окончанием *-а*, с *-ы* (в соответственных рифменных сочетаниях). Ср. особенно часто форму *леты* в рифме с род. ед. Леты (Городок, 1814), предметы (Чаадаеву, 1821; ср. здесь же рифму — в прежни лета // света), приметы (Приметы, 1822; ср. здесь же рифму — младые лета // в шуме света), обеты (К Языкову, 1824), лорнеты (Евг. Он., VII, 50) или еще — оставь перо, чернилы // Забудь ручьи, леса, унылые могилы (К другу стихотв., 1814), под знамены // Питомец пламенной Беллоны (Орлову, 1819), Глядишь в забитые вороты // Тоска, предчувствие, заботы (Подруга дней моих, 1827). Не их ли кровию омыты // Твои булатные копыты (Опричник, 1828), Что ваши взоры — сердцу жалы // Что ваши ножки очень малы (Ушаковой, 1829, первонач. ред.); можно еще отметить следующие случаи правописно-нормальных форм на *-а*, однако рифмующихся с *-ы*: цвет столицы // везде встречаемые лица (Евг. Он., VIII, 24), были здесь ворота // сумрачной заботы (Медн. вс., II). В этих формах также не результат отражения аканья, а старое по своему происхождению особое морфологическое новообразование, известное в свидетельствах литературного нашего языка с ранней поры (с Петровской эпохи), широко распространенное и в наших говорах (см.: Именное склонение, II, стр. 117—127). Для Пушкина эти формы, достаточно известные, между прочим, и из прозаических его сочинений, были живыми формами, взращенными и литературной, питавшей его, средой и общей окружающей народной округой.

Известен характерный для русского языка закон о переходе *е* (из старого *е* и ера) в *о* в положении перед слогом не с палатальными звуками. От этого закона имеются отдельные ряды отступлений, и наиболее численная группа отступлений падает на иноязычную лексику, в частности лексику, перешедшую к нам из церковнославянского и вообще из старого книжного нашего литературного языка (а в церковнославянском языке закон о переходе *е* в *о* не был известен). Однако эта пришлая из церковнославянского языка лексика в процессе развития нашего литературного языка, особенно начиная с Петровской эпохи, постепенно стала утрачивать внешнее церковнославянское свое обличие, и отдельные слова и цельные морфоло-

гические их группы, произносившиеся на старый лад — с *е*, начали уступать место произношению их по требованиям русской фонетики — с *о*. Наблюдая жизнь нашего литературного языка по свидетельствам писателей XVIII, XIX вв., можно видеть, как идет в интересующем направлении этот постепенный процесс раскрепощения литературного языка от церковнославянской стихии. Большой интерес и значение в этом отношении приобретает изучение языка Пушкина. Не с одной узкой исторической точки зрения определения состояния языка по интересующей черте в практике Пушкина важно изучение этого вопроса; изучение его особенно ценно потому, что оно вскрывает линии движения и роста языка самого Пушкина, а эти линии, можно сказать, были линиями движения и роста самого литературного нашего языка в хронологический период деятельности Пушкина.

Рифменные показания из Пушкина о произношении в известных кругах лексики *е*, не *о*, довольно численны. По общему подсчету можно было бы привести 160 (с небольшим) примеров слов с таким произношением, т. е. рифменно чередующихся со словами, имеющими чистое подударное *е* (не *о*). Львиная доля этого материала падает на известные морфологические категории слов (таковых примеров 120), т. е. это была подвижная в произношении категория форм и слов — и с *е* (по старому книжному произношению), и с *о* (по живым нормам русского языка), категория форм и слов, произношение которых с *е* изживалось и Пушкиным в процессе творческого его роста и тем самым на почве общего нашего литературного языка. Действительно, можно было бы привести из произведений самого Пушкина, притом уже с ранней поры, с соответственными рифменными показаниями факты вариантного произношения этих рядов форм и слов не с *е*, а в нормальном уже русском обличии — с *о*. Указанные морфологические категории форм и слов, по показаниям рифм, произносившихся с *е*, не *о*, обнимают главным образом страдательные причастные образования на *-енный* (94 примера)[1], далее формы наст. вр. от глаголов I спряжения[2], формы

[1] Например, из особенно частых в употреблении причастий форм: уединенный (15 примеров, в рифмах с бесценный, незабвенный, несравненный, священный, запечатленный; Подражание, 1825; почтенный, драгоценный, дерзновенный, вселенной, сущ.), утомленный (16 примеров, в рифмах — старик силен // утомлен; Истина 1816; далее в сочетаниях с неизменный, вдохновенный, бесценный, благословенный, в тени блаженной; Евг. Он., I, 36), оживленный (5 примеров в рифмах с—вдохновенный, неизменный, надменный, драгоценный), упоенный (5 примеров, в рифмах с — незабвенный —1817, 1820, 1821. надменный, 1829, пленный, 1821), посвященный (4 примера, в рифмах с — драгоценный —1814, откровенный—1819, почтенный—1821, священный—1 посл. цензору, 1824), окровавленный (4 примера, в рифмах с — вселенной, сущ.—1816, bis, надменный, Русл. и Л., I, пирог нетленный, Евг. Он., 1,4), смущенный (3 примера, в рифмах с—священный, Восп. в Ц. С.—1829), смиренный Евг. Он , I,13 (первонач. ред., отменный—ibid., VI, 29), усыпленный (3 примера в рифмах с—вдохновенный, 19 окт., 1825, блаженный, Евг Он., VII, 1), Полтава, II/ и мн. др.

[2] Всего 8 примеров: Их гробы черный вран стрежет // памятник побед (Кольна, 1814), Светило дня взойдет // на свет (К сестре, 1814), Подщипа

прош. вр.[1], наконец, отдельные случаи склоняемых форм, каковы формы род. мн. времен (в рифмах с согбен — Кольна, 1814, плен — Полтава, I), племен (в рифме с плен — Наполеон, 1821; Кавк. пл., I), знамен (в рифмах с священ — черн. набр., 1821; стен — черн. набр., 1824, запечатлен — Полтава, III), тв. ед. алтарем (рифма: взложив пернатый шлем — на Возвр., 1815), чешуею (рифма: качается над нею — Отр. из поэмы, 5), предл. ед. кой о чем (рифма: между тем — Евг. Он., II, 34). Прочий лексический материал, известный из Пушкина в произношении с *е*, не *о*, падает на разрозненные экземпляры слов — существительных, прилагательных. Таковы из более или менее случайного материала, падающего на начальный период творчества Пушкина, в числе имен существительных слова *полет* (рифмы: веселье прошлых лет — Осгар, 1814; Сияя горным светом // Бестрепетным полетом — Городок, 1814; забудут свой полет // не знаю бурных лет — На возвр., 1815), род. мн. *сел* (И пепел разоренных сел // И меткость неизбежных стрел — Кавк. пл., I), род мн. *дерев* (Когда весной в тени *дерев* // игры наших дев // припев — Гроб юноши, 1821). Из числа прилагательных — *веселый* (Готов приют любви веселой // с унылой Филомелой — Песня, 1812; Окошки в сад веселый // Где липы престарелы — Городок, 1814; И ты, насмешник смелый // Чей в аде стих веселый — ibid.; С надеждой, верою веселой // мечом и грудью смелой — Русл. и Л., I; наш витязь в трепете веселом // на месте опустелом — ibid., III), *тяжелый* (Ты будешь принужден взложить и шлем тяжелый // близь лиры оробелой — к Овидию, 1821), *темный* (Березок своды темны // в часы полдневны — Городок, 1814). Особого внимания заслуживают те экземпляры лексики, которые в произношении с *е* более или менее выдержанно свидетельствуются Пушкиным или в этом виде практикуются им в позднейший период его творчества. Прилагательное *надежный*, *безнадежный* имеет широкое употребление у Пушкина и в рифмах почти исключительно свидетельствуется в произношении с *е* [14 примеров, слово рифмуется с нежный, (без) мятежный, прилежный]; только один раз встречается указание и на вариантное произношение слова с *о*: Страдает страстью безнадежно // Однако жить еще возможно (Русл. и Л., I). Можно указать на то, что и в настоящее время это слово двоится в нашем произношении, хотя преобладающей формой в современном языке уже служит произносительный вариант с *о*. Слово *слеза* в формах мн. ч. двоилось в произношении Пушкина;

слезы льет // весь совет (Городок 1814), ср. Туманный свет лиет // тьмой одет (Фавн и паст., 1816), нахмуренный идет // друг истины, Дамет (Лицинию, 1815), не совьет // поэт (Посл. к Юдину, 1815), Красавица цветет // томный свет (Фавн и паст., 1816), Уже потомство настает // баловень побед Наполеон, 1821).

[1] Всего 7 примеров: Лишь фиал к устам поднес // вмиг исчез (Блаженство, 1814), В юдоли, где расцвел // Мой героический удел (Городок, 1814), Которым (путем) я так весело протек// оставленный навек (Посл. Горчакову, 1816), Восторгов краткий день протек // навек (Русл. и Л., эпил.) и милостью облек // наместником нарек (Анджело, 1.3), ад облек // лукавый человек (ibid., II, 6).

ср.: слезы (Неволи немощные слезы // Везде бичи, везде железы — Ода вольность, 1820; тот же рифменный пример в Кавк. пл., II), но и слёзы (в рифмах с розы — Фонтану Бахч. дв., 1820, Русл. и Л., II; Евг. Он, IV, 14; березы — Русл. и Л., IV; угрозы — Евг. Он., IV, 8); прилагательное *слезный* встречается в произношении с *е* (случалось ли поэтом слезным // Читать в глаза своим любезным // Свои творенья! — Евг. Он., IV, 34). И эти слова в колеблющемся произношении жили долгое время в литературном языке после Пушкина. Отмечу далее в произношении с *е* у Пушкина слова *грезы* (Нестройных, чудных грез // Пустился в темный лес — Не дай мне., 1833), *искрометный* (Сок кипучий, искрометный // Приготовь же, Дон заветный — Дон, 1829), *ежеденно* (Мы отныне ежеденно // Вместе будем непременно — Ск. о ц. Салт.), также в выдержанном употреблении — *рев* (Ты спишь под страшным ревом // напевом — Посл. к Галичу, 1815; поднялся свист и рев // в ногах немейский лев — Из Шенье, 1825; О Терек, ты прервал свой рев // истощась и присмирев — Обвал, 1829; та же рифма в Полтаве, III; ни хохота ни рева // ни гнева — Родосл. моего героя, первонач. ред.), *утес* (на утес // подножный лес — Черн. набр., 1825; в глухой расщелине утеса // в чаще леса — Цыганы, первонач. ред.; в тени утеса // черкеса — Евг. Он., Путеш. Он.; та же рифма в Галубе) [1]. Следует в заключение прибавить, что колеблющиеся в современном произношении формы мн. ч. от существительного *звезда* представлены у Пушкина соответственным старшим произносительным вариантом с *е*: При блеске фонарей и звезд // Шумя, торопится разъезд — Евг. Он., Путеш. Он.; Внимать волнам, глядеть на звезды // разъезды — Галуб.

Приведенный материал может служить прекрасной иллюстрацией состояния литературного нашего языка (по интересующей черте) в пору деятельности Пушкина и языка самого Пушкина. Но еще больше его значение в том, что он показывает движение в языке самого Пушкина в процессе его творческой деятельности и с ним стоящее в связи общее движение нашего литературного языка того времени в сторону постепенного и неуклонного пронизывания элементами русской стихии ветшавшего книжного слоя языка, доставшегося от предшествующей эпохи. Употребление лексики в произношении с *е*, не *о*, по приведенным материалам, и в общем своем массиве и в частных случаях отдельных подходящих слов или категорий слов, шло в процессе творчества Пушкина неуклонно п а д а я. Если представить приведенный материал в цифровом виде, получилась бы следующая его живая иллюстрация. Из общего количества в круглых цифрах 160 примеров с употреблением у Пушкина в произношении *е*, не *о*, на период его деятельности по 1820 г. падает 82 примера, на 1821—1827 гг.—53 примера, на остающийся период 1828—1836 гг.—29 примеров (приблизительное соотношение сти-

[1] Интересно у Пушкина рифменное показание о произношении собственного имени Гете: Под небом Шиллера и Гете // Он с лирой странствовал на свете — Евг. Он., II, 9.

хотворной продукции Пушкина по указанным периодам равно отношению 1 : 1½ : 1). Мы наблюдаем, таким образом, вслед за процессом творческого созревания Пушкина к половине 20-х годов резкое снижение, более чем наполовину, в употреблении рассматриваемых форм, причем в дальнейшем, в пору совершенной зрелости поэта, этот процесс роста языка Пушкина не останавливается, а продолжает давать о себе знать как непрерывная, но уже уравновешенно действующая та же общая линия его языкового развития. Действительно, очень рано сравнительно, к началу 20-х годов, Пушкин уже освобождается от употребления в своем языке таких пережиточных элементов выспренного традиционного произношения, как форм на *е* от глаголов I спряжения в наст. вр. (формы не идут далее 1821 г.), или соответственных форм прош. вр. (последний пример из Русл. и Л.) [1], или разрозненных фактов склоняемых форм (замыкаются употреблением почти все периодом половины 20-х годов), или также отдельных экземпляров слов изветшавшего произношения (выбывают из языка Пушкина к самому началу 20-х годов). В последующий период своей деятельности Пушкину предстояло, таким образом, с одной стороны, закреплять достигнутые в предшествующую пору результаты, т. е. культивировать одно русское произношение с *о* в ряде отдельных слов или в некоторых морфологических их категориях, а с другой стороны, расширять это произношение главным образом в категории страдательных причастных образований. Действительно, причастные формы в произношении с *е* сильно падают в употреблении у Пушкина во второй период его творчества. Следует еще обратить внимание на одну черту в употреблении у Пушкина рассматриваемой лексики с *е*. Эта лексика вообще заметно преобладает в чистой лирике Пушкина сравнительно с иными жанрами его произведений. Приблизительное соотношение собственно лирики и иных видов (поэм и др.) стихотворного творчества Пушкина одинаково (оно, исходя из показаний печатных страниц, равно отношению 6 : 5). Между тем, из приведенной общей цифры 160 примеров слов, указывающих по рифмам на произношение их у Пушкина с *е*, 102 примера падают на область лирики и лишь 58 примеров принадлежат иным видам произведений. Это само по себе понятно: не узко лирические жанры вообще ближе примыкают к разговорному стилю литературного языка, поэтому в них именно ожидается и соответственно наблюдается более широкое отражение русской стихии сравнительно с областью высокого жанра, лирики. Для сужденья о произношении системы согласных материала в показаниях рифм у Пушкина немного.

Задненебный звонкий *г* в литературном языке существует и существовал как взрывной звук. Однако существовала в языке из-

[1] Формы потек и облек бытовали в языке долгое еще время; они не невозможны и для современной стадии языка, ср. современное колебание — протекший и протёкший, облекший и облёкший и под.

вестная наличность лексики, доставшейся из старины с длительным произношением *г*, отчасти в этом произношении сохраняющейся в литературном языке до настоящего времени. Ср. слова *богатый*, *благодарить*, *бог*. Количество этой лексики в старшую пору в литературном языке было более значительно, и лишь на памяти недавней истории нашего литературного языка ускорился процесс разрежения круга этой лексики, которая стала приобщаться в произношении к нормальному слою нашей лексики с обычным взрывным *г*. Материал пушкинских рифм не дает прочных свидетельств для суждений по этому вопросу. Слово *бог*, конечно, произносилось с длительным задненебным. Но можно ли на этом основании предполагать, что с длительным *г* звучали для Пушкина и некоторые иные слова, с которыми у него оно (слово *бог*) связано в рифменных сочетаниях? Вот эти сомнительные случаи: а) им. пад.— **бог**//не **мог** — Амур и Гим., 1816; Цыганы; бог // у ваших **ног** — Черн. набр., 1828; б) род. пад.— ради бога // Не хочу судить я **строго** — Черн. набр., 1821; Да полно, милый, ради бога // опять **эклога!** — Евг. Он., III, 2; в) дат. пад.— слава бо**гу** // на ровную **дорогу** — Городок, 1814; та же рифма в Слеза, 1816, Платонизм, 1820; слава богу // **понемногу** — Добрый человек, 1817; На Толстого, 1820; г) им. мн.— египетские бо**ги** // Подогнув под платье **ноги** — Черн. набр., 1821. Более верные показания для признания длительного произношения *г* содержатся в рифменных сочетаниях соответственных слов со словами, оканчивающимися на *х*. Этих примеров у Пушкина немного: а) С тобою твой прелестный **друг** // нежный дух — К Батюшкову, 1814; Но все ли, милый **друг** // томный дух — Городок, 1814; б) и месяца **рог** // в увлажненный **мох** — Сраж. рыцарь, 1815; в) Уже противник скал **достиг** // Уже хватается за **них** — Кавк. пл., II. Может быть, сюда же относилось бы следующее рифменное свидетельство: покорный твой слуга // тоска берет — ага! — Из зап. к приятелю, 1830. Впрочем, материал этот зыбкий для тех иных твердых предположений. Дело в том, что встречаются у Пушкина немногие случаи рифменных сочетаний, с одной стороны, слов на *х*, с другой — слов на *к*. Ср. рифмы: таба**к** // в пра**х** — Красавице, 1814; мра**к** // крыла**х** — К Наталье, 1814; мра**к** // крыла**х** — Городок, 1814; стра**х** // каза**к** — Казак, 1815; поля**х** // ля**х** — На Булгарина, 1830; ср. еще рифму: Вот он, вот он сильный бог // праздничный венок — Торж. Вакха, 1817. Все эти случаи, однако, принадлежат поре начального периода творчества Пушкина, в них можно поэтому усматривать временные признаки внешнего несовершенства формы. Возвращаясь в конечном итоге к представленному выше материалу, нельзя не обратить внимания на то, что и весь он также относится к первой половине творческого периода Пушкина. Ничто не препятствует поэтому в действительности придавать ему отмеченное выше звуковое значение, т. е. признавать в приведенной лексике изживавшую в литературном языке лексику с длительным произношением *г*, которая и была преодолена Пушкиным к переломной поре его творчества.

Трудно судить с определенностью о произношении в языке Пушкина сочетания *чн*. С одной стороны, подавляющее большинство рифменных свидетельств говорит за их произношение не по московской норме литературного языка, не в виде *шн*. Ср. многочисленные показания рифм вроде сердечный // беспечный (К Пущину, Воспоминание; Посл. к Юдину, 1815; Посл. к дяде, 1816; Евг. Он., II, 13), сердечный // скоротечный (Друзьям, 1822), сердечно // конечно (Евг. Он., II, 13, VI, 43, Альб., 15, Медн. вс., I), сердечный // вечный (Ск. о м. цар.; Андж., II, 6), или рифмы скучный с неразлучный (К Пущину, 1815; Евг. Он., II, 13), однозвучный (Зимн. дорога, 1826), благополучный (Жених), или привычный с неприличный (Альфонс, 1832) и с двуязычный (Кавк. пл., I), или конечно с вечно (Русл. и Л., I), неразлучный с сладкозвучный (Бахч. фонт.), или с докучный (Полтава, II) и др. Но мы имеем несколько примеров рифмования подходящих слов (с *чн*) со словами, имеющими нормальное, по исконному происхождению, сочетание *шн*. Таковы: Странно и скучно // Тесно и душно — Черн. набр., 1829; Забав их сторож неотлучный // Он тут; он видит, равнодушный — Бахч. фонт.; ряд случаев в Евг. Он.: на сцене скучной // Веселья зритель равнодушный, I, 19; Мне скучно // Не спится, няня; здесь так душно! — III, 17; В глуши, в деревне, все вам скучно // Хоть вам и рады простодушно — III, 31; Среди лукавых, малодушных // Злодеев и смешных, и скучных — VI, 47; Все в них так бледно, равнодушно // Они клевещут даже скучно — VII, 48. В результате мы должны заключить об основной норме произношения Пушкиным сочетания *чн* не по московской норме литературного языка. Однако частично, в произношении отдельных слов (особенно — *скучный*), эта произносительная система Пушкина раздвоилась, испытав воздействие, всего вероятнее, со стороны живой окружающей народной среды.

Возвратная частица *сь* (при глаголах), как и *ся*, по московской норме литературного языка должна произноситься с твердым согласным (как *с*, *са*), исключая, правда, положения, когда ударение в слове падает на слог с самой частицей, в каковом случае палатальность в произношении согласного частицы сохраняется. У Пушкина встречается значительное количество отдельных форм от возвратных глаголов на *сь* в рифменных сочетаниях с различными словами, оканчивающимися на твердое *с*. Ср. рифмы: пояс // не беспокоясь (Жених), нас и родясь, застыдясь, поклонясь (К другу стихотв., 1814; К мол. актрисе, 1814; Ск. о м. цар.), час и озлатясь, утомясь, свободясь, постучась (Осгар, 1814; К Наталье, 1814; К Батюшкову, 1814; Мечтатель, 1815; Сон, 1816), раз и поднялась (Ск. о м. цар.), Денис, Дафнис, кипарис, род. мн. кулис и вниз в рифмах с убрались, зажглись, вознеслись, разрослись, впились, неслись (Казак, 1815; Рассудок и любовь, 1815; Редеет облаков..., 1820; Черн. набр., 1827; Утопленник, 1828; Евг. Он., I, 18); нос и перевелось (Евг. Он., II, 33), вкус и признаюсь (Городок, 1814), трус и отрешусь (Анджело, II, 6), союз, род. мн. муз и бьюсь (Сон, 1816; Русл. и

Л., III). Замечательно, что во всех этих примерах, кроме одного, первого, глагольные формы имеют ударяемость именно на слоге непосредственно перед частицей *сь*, т. е. в них отвердения конечного согласного (частицы) предполагать не приходится. Таким образом, весь этот материал вообще приходится считать случайным и во всяком случае не дающим оснований к предположению о твердом произношении в языке Пушкина согласного возвратной частицы. В пользу высказанного соображения о случайности приведенного материала рифменных сочетаний служило бы то обстоятельство, что исходный материал у Пушкина наблюдается и с иными словами, притом оканчивающимися на различные ныне согласные. Таковы рифмы: час // князь (Горчакову, 1815), кров // вновь (Бр. разб.), динь-динь-динь // неведомых равнин (Бесы, 1830), оракул // каракуль (Ответ, 1830).

По связи с рассматриваемым вопросом можно отметить, что имеет значение у Пушкина рифмование ряда имен существительных на *ня* в форме род. пад. мн. ч. с теми или иными словами, оканчивающимися на твердое *н*. Ср. рифмы: черешен // повешен — Черн. набр., 1828; пашен // страшен — Бр. разб.; обеден // бледен — Евг. Он., II, 17 (первонач. ред.); башен // страшен — Родосл. моего героя; колоколен // доволен — Евг. Он., VII, 39; черешен // утешен — Полтава, I. Это выдержанное употребление указанных форм на твердое *н* составляет характерную черту пушкинского языка не московского, а северного литературного типа (см. Именное склонение, II, 285).

Все изложенное позволяет прийти к следующим обобщениям.

1. Язык Пушкина — основа современного нашего литературного языка. Изучение языка Пушкина важно поэтому как для познания творческого роста языка самого Пушкина, как для познания общих путей языкового развития всей пушкинской поры, в линиях которого отпечатлелись этапы пушкинского языкового роста, так и для правильного осмысления современного нашего литературного языка, преемственно хранящего и развивающего начала, заложенные творческой деятельностью Пушкина.

2. В анализе системы современного литературного языка, действительно, можно отметить ряд явлений, роднящих современную систему языка с нормами языка Пушкина: а) в языке Пушкина (и пушкинской эпохи) обозначилось поступательное движение с усвоением нормами литературного языка произношения известных рядов слов и форм слов на живой русский лад с гласным *о* (в соответствии с архаическим вариантным произношением их с *е*); эта норма произношения, в последующем развитии языка распространившаяся на более широкий круг подходящей лексики, составляет и норму современного нашего литературного языка; б) аканье — наиболее типическая черта русского литературного языка; еще в допушкинскую пору в литературном произношении были представлены две разновидности этой черты — аканье, более окрашенное (южного, московского по происхождению типа), и аканье — более мягкого

тона (северного типа); по свидетельству пушкинских рифм аканье Пушкина в основном аканье мягкого, северного типа, типичное и для норм современного нашего литературного произношения; в) по свидетельству языка Пушкина в литературных нормах его времени постепенно изживалось архаически сохранявшееся в отдельных словах фрикативное произношение согласного *г*; в современном литературном употреблении фрикативное произношение *г*, можно сказать, совсем неизвестно; г) сочетание *чн* в известных группах лексики двоится в литературном произношении, звуча и как *чн* и — по московским нормам — в виде *шн*; в языке Пушкина доминирует произношение этого сочетания в виде *чн*, не по московской норме, не в виде *шн* (этот последний вариант, видимо, как разговорный вариант, представлен у Пушкина главным образом в Евг. Он.); и здесь, таким образом, нормы пушкинского языка отвечают нормам современного нашего литературного языка.

3. Можно видеть, что нормы литературного языка, отраженные Пушкиным, примыкают к северной разновидности литературного языка.

1946

Морфология русского языка

ПРЕФИКС *без* В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Подобно многим иным предлогам предлог *без* выступает в русском языке, как и в иных славянских языках, также в роли префикса. Предложное употребление *без* не вызывает особых замечаний: функция *без* как предлога четка и относительно ограниченна; предлог *без* в прямом своем значении, вне употребления в известных рядах фразеологических сочетаний, одинаково известен и в литературном языке и в диалектной речи. Префиксальное употребление *без-* более сложно. Мы сталкиваемся с особенностями морфологического характера в группах производных образований с *без-*. Так, например, легко можно наблюдать преобладание производных образований с *без-* в группе имен прилагательных, поредение их у имен существительных (если не считать производных на *-ость* и др. от осложненных уже префиксом прилагательных) и бедность их среди глаголов, особенно же среди наречий. Кроме того, обращает на себя внимание принадлежность значительного числа производных образований с *без-* книжному, литературному языку. Действительно, очень небольшие сравнительно слои лексики с *без-* можно было бы отметить как органические элементы диалектной речи. Отсюда напрашивается теоретическое предположение — объяснение вообще группы наших производных образований с *без-* как болгарского по происхождению лексического слоя в нашем языке.[1] Ср. широкое употребление *без-* как префикса и в старом и в современном болгарском языке. Однако формулировка положения в таком безусловном виде была бы неправильна. Принятию такого утверждения препятствует фактическая наличность, помимо литературного языка, также в диалектах известного комплекса образований с *без-*. Нельзя, кроме того, не обратить внимания на то, что всем славянским языкам свойствен тип производных образований с *без-*. Этот тип сложений должен поэтому признаваться старшим вообще по своему образованию в языке. Сложившись в старшей стадии на почве всех славянских языков, в частности и в русском языке, самый тип данных сложений естественно в дальнейшем здесь

[1] См., напр., Преображенский, Этим. словарь, I, 22.

и там мог в том или другом отношении видоизменяться, расширяться в тех или иных разновидностях и т. д. Здесь, т. е. в конечном итоге — в истории сложений с *без-*, и следует искать объяснения факта неодинакового распространения производных образований с *без-* — с одной стороны, в литературном языке, с другой стороны, в диалектах.

Обозрение производных с *без-* удобнее всего начать с рассмотрения категории прилагательных, как сказано выше, наиболее насыщенной данным типом сложений. Можно думать, старшую здесь по происхождению группу составляют бессуффиксные прилагательные. По значению они представляют адъективацию сочетания из предлога *без* и имени существительного, обычно конкретного. Таковы, например, прилагательные — *безрукий*, *безрогий*, *беззубый*, *бесхвостый*, *безносый*, *безногий*, *безлапый*, *бескрылый*, *безгрудый* (грудь), *безгорбый*, *безглазый*, *безволосый*, *безбровый*, *безбородый*, *безгубый*, *беззобый*, *безлобый*, *безмозгий*, *безбрюхий*, *безосый* (ось), *безостый* (ость), *бесполый*, *бескорый*, *беспорый* и под. Этот тип прилагательных одинаково свойствен и литературному языку и диалектам. Но в современном языке данный тип сложений не составляет уже живого образующего типа. Об этом свидетельствует наличие ряда образований данного типа, вообще представляемых лишь старшею стадией языка и в настоящее время в нем отсутствующих, с другой стороны — наличие многих данного типа образований, варьирующих, однако, с параллельными формами — прилагательными суффиксального типа (с осложнением суффиксом *-н-*). Таковы, с одной стороны, прилагательные — др.-рус. *бесьрдыи*, *бесълнъ* [1] (ἀνήλιος), *бестоудъ* [2] (ἀναιδής), *безоумъ* [3].

Из приведенных форм первые две архаичны по своей морфологической структуре: они предполагают образование от соответственных отправных именных тем, без осложнения их уменьшительным суффиксом *-ьц-*; как архаические формы они сменились позднейшими, по суффиксальному типу, адъективными образованиями, притом от вторичных, с осложнением суффиксом *-ьц-*, именных тем: *бессердечный*, *бессолнечный*. Формы *бестоудъ*, *безоумъ*, как

---

[1] По Словарю Срезневского в форме *бесълънъ* (из слова Епифания), с отражением явления второго полногласия. Форма *бесльньнъги*, известная по Супрасльской рукописи (464,7, по изданию Северьянова), должна считаться позднейшим образованием, с осложнением отправной формы суффиксом *-ьн-*.

[2] Срезневский определяет слово как имя существительное, но цитаты (из слова Ипполита об Антихристе, XII в., и из жития Нифонта, нач. XIII в.) указывают на двойственное употребление слова — и как существительного и как прилагательного. Очевидно, перед нами по происхождению прилагательное, подвергшееся субстантивированию.

[3] Срезневский приводит слово как существительное с значением «dementia» и ссылкой на единственный источник — поучение Константина Болгарского (по рукописи XII в.). В этом значении слово известно в украинском языке (*бе́зум*, по Гринченко), также диалектно в русском (*безу́м* Смол. у., см. Добровольский, Словарь). Однако слово имело и значение nominis agentis, т. е. являлось прямым субстантивированием формы прилагательного; об этом говорят такие производные образования, как *безумец*, *безумок* (Даль) и др.

адъективные образования, позднее субстантивировавшиеся (ср. др.-рус. *бестоудьць*, *безоумьць*), сами утратились в языке. Но ср. *бесстыдный*, *безумный* (др.-рус. *бестоудьныи*, *безоумьныи*) как соответственные позднейшие, по суффиксальному типу, образования. Сюда же, видимо, следует отнести образование *бесплода* (Даль), муж. и женск. рода. Это существительное могло по происхождению быть субстантивацией соответственного прилагательного, утраченного языком; ср. позднейшую по образованию форму прилагательного *бесплодный*. Значительную, с другой стороны, группу прилагательных рассматриваемого типа можно наблюдать как неустойчивую в языке, имеющую рядом параллельные формы с суффиксом *-н-*. Ср. *бесшерстый* и *бесшерстный*, *бесхвостый* и *бесхвостный*, *безрукав(н)ый*, *безост(н)ый*, *безлес(н)ый*, *безлист(н)ый*, *бескрылый* и *бескрыльный*, *бесколос(н)ый*, *бесколес(н)ый*, *безголос(н)ый*, *безмезд(н)ый*, *безглав(н)ый*, *безверст(н)ый* и др. В этих данных колеблющихся форм перед нами очевидное свидетельство выбывания из языка как омертвевшего типа старших по образованию прилагательных бессуффиксного ряда путем замены их новым типом соответственных прилагательных, слагавшихся именно помощью суффикса *-н-*. Любопытно в этом отношении показание украинского языка. В украинском языке формы старшего бессуффиксного типа являются и в настоящее время живым морфологическим типом сложения прилагательных. Об этом свидетельствует наличность подобного типа прилагательных из сочетаний *без* и имен существительных позднейшего в языке заимствования. Таковы, например, прилагательные *безбарвий*, *безгрунтий*, *безпарий* (от *пара*). По этой же причине в украинском языке вообще наблюдается большее количество бессуффиксных прилагательных рассматриваемого типа сравнительно с наличностью их в русском языке; ср. укр. *безберéгий*, *бездýхий*, *безкóстий*, *безмáстий*, *безмóвий*, *безкрáій* и др., также сохранение старших по сложению форм *безсéрдий*, *безсóлий*, которым соответствуют в русском вторичные, как указано выше, *бессердечный*, *бессолнечный*.[1]

Морфологическую особенность всего рассматриваемого типа бéссуффиксных прилагательных составляет общая их принадлежность к основам на *о*. Поэтому и при *кость*, *ось* и под. соответственные производные прилагательные звучат в виде *безосый*, *бескостый*, укр. *безостий*, *безкостий* и т. д. Не составляют отклонений др.-рус. *безлистви*, как производное от *листвие* (не от *листва*), также др.-рус. *безмьздь*,[2] которое подобно прочим «несклоняемым прилага-

---

[1] Из иных славянских языков в чешском и польском языке также имеется относительно большое количество именно бессуффиксных прилагательных рассматриваемого типа. Ср. в чешском языке *bezdechý* и *bezduchý*, *bezdomý*, *bezslzý*, *bezedný* и др., даже *bezfousý* и под.; в польском языке — *bezdomy*, *bezduchy*, *bezgwiazdy*, *bezkrwi* и т. д.

[2] Срезневский, Материалы (со ссылкой на единственный источник — Октоих XIII в.); у Даля — *безмездый*.

тельным» вроде *различь*, *правь*, *свободь*, (*не*) *оудобь* [1] и под. первично было наречным образованием, в дальнейшем функционально разветвившимся и получившим помимо прямой наречной также адъективную функцию. [2] Особой оговорки требуют формы типа др.-рус. *безоумль* и др. Согласно со сказанным выше следует предполагать существование исконно в русском языке формы *безоумъ* как прилагательного. Рядом существовала ее субстантивированная форма, ср. отмеченные выше производные от нее образования — др.-рус. *безоумьць* и др. От этой субстантивированной формы *безоумъ* как нормальная притяжательная форма имени существительного получилось образование (помощью суффикса -jo-) — *безоумль*, которое, с утратой в языке формы *безоумъ* как прилагательного, расширилось в своем значении, выйдя за пределы собственно притяжательного прилагательного. Сходные образования, видимо, содержатся в формах ц.-сл. *бестоуждь*, др.-рус. *бестоужь* (ср. современное *бесстыжий*), также — др.-рус. *бесержа*: [3] эти формы можно считать по происхождению теми же притяжательными прилагательными от субстантивированных форм *бестоудъ*, *бесьрдъ*, позднее с утратой собственно прилагательных *бестоудъ*, *бесьрдъ* соответственно расширившимися в своем значении. Не вся наличность бессуффиксных прилагательных рассматриваемого типа исконного русского происхождения. Таково большинство. Есть, однако, незначительное количество форм внешне подходящего типа, об исконном сложении которых на русской почве думать не приходится. Это прилагательные, семантически не представляющие адъективации сочетания *без* и имени существительного, а имеющие значение отрицания признака, выраженного формой смежного собственно прилагательного. Как видно, это типологически и семантически совершенно другая сравнительно с рассмотренной выше категория образований. Фактический, сюда относящийся, материал очень незначительный. Таковы — др.-болг. *безбогъ* (ἄθεος), др.-болг. и др.-рус. *безлѣпыи*, *бесквьрныи* (*бескврънын*), рус. *безубогий* (Даль). Все эти прилагательные известны в вариантах с префиксом *не-* (*небогъ*, *нескверныи* и т. д.); для всех них (с одним исключением — *безбогъ*) имеются сохраняющиеся в языке лежащие в их основе простые прилагательные (*лѣпыи*, *сквьрныи*). В отношении отмеченного исключения — слова *безбогъ*, которое в не осложненном префиксом виде неизвестно в языке как прилагательное, можно заметить, что ничто не препятствует признавать существование в исконном прошлом слова *богъ* не только как существительного, но и как прилагательного, ср. помимо *небогъ* также современное *убогий*.

[1] Meillet, Etudes. 266; Vondrák. Vgl. slav. Grammatik, I, 641 (2-е изд.).

[2] Др.-болг. *безратии*, по свидетельству Супрасльской ркп. (=греч. ἀπολέμητος), есть особого типа образование при помощи -jo- непосредственно от сочетания предлога и именной формы. Ср. этого типа формы по указанию Миклошича — *безоумаи*, *бештинаи*, *беспорокаи*, *бесконьцаи* и др.

[3] Содержится в сб. Святослава 1076 г.: не прѣбоудеть в ней бесерьжа (в значении греч. ἀχαρδίος).

Таким образом, отмеченные прилагательные и по своей морфологической структуре и по своему значению выделяются из всей прочей наличности рассматриваемого типа прилагательных. Они — позднейшего в языке происхождения, притом происхождения на почве книжного языка. Это именно для лексики старшей поры происхождения (*безбогъ*, *бесквьрныи*, *безлѣпыи*) — явные болгаризмы, в самом болгарском языке явившиеся плодом искусственного перевода с греческого языка (передача греч. префикса ἀ(ν) через славянское без); форма *безубогий*, известная из Даля, представляет вообще искусственное сложение.

Вторую, основную по численности, группу прилагательных, осложненных префиксом *без-*, составляют прилагательные, образованные помощью суффикса *-н-*. Эта группа по составу своему сложная. И здесь большинство прилагательных аналогично рассмотренной беспрефиксной группе представляет собою адъективацию сочетания из предлога *без* и имени существительного. Различие здесь в том, что в сочетании предлога и существительного последнее обычно является абстрактным именем по своему значению. Ср., например, прилагательные *бессонный*, *бесшумный*, *безупречный*, *безумолчный*, *безудержный*, *бессчетный*, *бесстрашный*, *бесспорный*, *беспросветный*, *беспризорный*, *беспокойный*, *бесконечный*, *безответный* и т. д. Эти прилагательные вообще представляют принадлежность литературного языка. Отсюда естественно предположение о происхождении их при посредстве болгарского языка. Если, действительно, посмотреть на древнеболгарский и древнерусский словарь,мы найдем там большое число этого типа прилагательных. Многие из них на протяжении истории исчезли из оборота нашего литературного языка, но очень многие сохраняются в нем до настоящего времени, в отдельных случаях осложнившись известными оттенками в значении. Таковы, например, прилагательные *безболѣзньнъ*, *безбоѧзньнъ*, *безбрачьныи*, *безвиньныи* (ἀναίτιος), *безвластьныи*, *безврѣменьныи*, *безгласьныи* (ἄφωνος), *безгнѣвьныи*, *безгрѣшьныи*, *бездѣльныи* (ἄπραχτος), *бездарьныи* (ἄδωρος), *безаконьныи*, *безълобьныи*, *безмѣрьныи* (ἄμετρος), *безмлъвьныи*, *безмѧтежьныи*, *безнадеж(д)ьныи*, *безобразьныи* (ἀσχήμων), *безопасьныи*, *безотъвѣтьныи*, *беспамѧтьныи*, *беспечальныи*, *беспользьныи*, *беспомоштьныи*, *беспорочьныи*, *беспрѣстаньныи*, *бездрадостьныи*, *безродьныи* (ἀγεννής), *беславьныи*, *бесъмьртьныи*, *бестрастьныи* (ἀπαθής), *бестроудьныи*, *безоуспѣшьныи*, *безоутѣшьныи*, *бесцѣньныи*, *бесчьстьныи*, *бесчиньныи* (ἄτιαχτος), *бесчислъныи*, *бесчоувьствьныи* и т. д. Этими и многими подобными экземплярами лексики пестрят старшие памятники древнеболгарского, а за ним и древнерусского языка, памятники в большинстве своем переводные, возникшие почти исключительно на базе греческой письменности. Вполне понятно, что русский язык в старшую пору литературного своего развития крайне нуждался в этой отвлеченной литературной лексике и соответственно впитал ее в себя из доставшегося в готовом виде богатого источника в широчайшей степени. Но большое количество вошедших таким путем

в язык новых слов привело к тому, что на их основе морфологически обобщился самый тип данного рода сложений, получивший живое образующее для языка значение: сложения нового типа, именно помощью суффикса *-н-*, явились вообще в нашем литературном языке новым словообразовательным принципом для всяких сложений с *без-*, входили ли в них сочетания с существительными абстрактными или конкретными.

Так в языке начинают слагаться ряды прилагательных с конкретным именем существительным в основе, но по новому морфологическому типу, с суффиксом *-н-*, например прилагательные *бездомьныи*, *безводьныи*, *безвѣздьныи*, *беспоутьныи*, *безороужьныи*, *бестѣлесьныи*, *безглавьныи* (ἀκέφαλος) и под., или в соответствии с имеющимися в языке старыми образованиями прилагательных бессуффиксного типа возникают варианты форм, с осложнением их суффиксом *-н-*, например *бездъ(ь)ньныи* (ср. др.-болг. *бездънъ* чеш. *bezedný* и др.), *безроучьныи* (ср. др.-болг. *безржкъ*), *безличьныи* (ср. *безликий*) и т. д. В современном языке имеется естественно значительное количество этих нового типа образований, с суффиксом *-н-*, для сочетаний *без-* с конкретными именами существительными; немало в нем, как сказано об этом выше, и новых вариантных форм прилагательных, с суффиксом *-н-*, созданных к старшей соответственно наличности бессуффиксных образований. Живою морфологической нормой современного языка, можно сказать, уже служат образования интересующего типа сложений именно помощью суффикса *-н-*. Ср. в этом отношении наиболее показательные данные с прилагательными, базу которых составляют иноязычные заимствования, например прилагательные *беспринципный*, *бестактный*, *беспардонный*, *бесконтрольный*, *бесцеремонный* и под., или прилагательные с именами конкретного значения, в основе, вроде *беспаспортный*, *безамбразурный*, *беспарусный* и т. д. [1]

Большое количество кальк прилагательных, возникших на базе греческого языка в древнеболгарском и в старом русском языке, элементом *без-* передавали ἀ(ν) греческого оригинала. Но этот префикс обычно в болгарско-русском переводился через *не-*. Передача греческого ἀ(ν) privativum через славянское *без-* объясняется близостью значения этого префикса с значением *не-* в производных образованиях. И действительно, в древнем языке можно найти немало подходящей лексики с колебанием в ней префикса *без-* и *не-* при общей одинаковости значения соответственных слов. Ср., например, *безболѣзньнъ* и *неболѣзньнъ* (ἀνώδυνος) *без-* и *небезньнъ* (ἄφοβος), *безълобивъ* и *незълобивъ* (ἄκακος), *без-* и *нелѣн(ост)ьнъ* (ἀοκνος), *без-* и *немилостивъ* (ἀνελεήμων), *без-* и *ненадеж(д)ьнъ* (ἀνέλπιστος), *без-* и *неневѣстьнаа*, *без-* и *неплодьнъ* (ἄκαρπος), *бес-* и *неправьдьнъ* (ἄδικος), *бес-* и *неприкладьнъ* (ἀνείκαστος), *бес-* и *несквьрньнъ*

[1] Следует заметить, что в сложениях с одушевленными именами исконно в основе наличествовал суффикс *-н-* как суффикс притяжательный. Ср. современное *безотний* или *безадвокатный*, *безагентный* и под., др.-бол. и др.-рус. *безматерьнь* или *бездроужьнъ*, *безмоужьнъ*, *бесоупроужьнъ*, *бежительнъ*, *бесцарьныи* и др.

(ἀμίαντος), *беславьнъ* и *неславьнъ* (ἄδοξος), *бестыдьнъ* и *нестыдьнъ* (ἀναίσχυντος), *бечьстьнъ* и *нечьстьнъ* (ἄτιμος), *бечоувьствьнъ* и *нечоувьствьнъ* (ἀναίσθητος) и др. Однако в русском языке префиксы *без-* и *не-* не адекватны; *без-* имеет значение «лишенный» известного признака, содержащегося во второй части сложения, *не-* обозначает лишь «не обладающий» признаком, выраженным второю частью сложения; сложения с *без-* имеют безусловное, абсолютное значение лишительности в отношении к основному признаку, входящему в состав сложения, в сложениях с *не-* лишь обозначается непричастность к данному признаку. На материале некоторых параллельных сложений с *без-* и *не-* из современного языка можно отчетливо видеть различие оттенков в значении одного и другого ряда сложений. Ср., например, отношение *бесчестный*=без чести и *нечестный*=не обладающий известным признаком (честности), *безумный* и *неумный*, *безубыточный* и *неубыточный*, *безвкусный* и *невкусный*, *беззаконный* и *незаконный*, *бесхозяйственный* и *нехозяйственный*, *бессмысленный* и *несмысленный*, *бессознательный* и *несознательный*, *безопасный* и *неопасный*, *безграмотный* и *неграмотный* и другие под. Эта дифференцированность в значении сложений с *без-* и *не-* в русском языке содействовала, с одной стороны, сохранению в языке доставшихся из старины дублетных форм прилагательных с *без-* и *не-*, с другой стороны, дальнейшему их росту на почве русского языка. Ср. в современном нашем литературном языке такие дублетные формы прилагательных, как *безумолчный* (ср. без умолку), но и *неумолчный*, *безугомонный* и *неугомонный*, *бессчетный* и *несчетный*, *безвозвратный* и *невозвратный*, *беспрестанный* и *непрестанный*, *безвинный* и *невинный*, *бессомненный* и *несомненный*, *бессчастный* и *несчастный*, *безынтересный* и *неинтересный*, *безраздельный* и *нераздельный*, *беспричастный* и *непричастный*, *беспроглядный* и *непроглядный*, *беспробудный* и *непробудный*, *беспрерывный* и *непрерывный*, *безотложный* и *неотложный*, *беспременно* (просторечная форма) и *непременно* и др. В этом материале в большинстве случаев к первичным формам прилагательных с *без-* языком оказались воссозданы параллельные образования с *не-* по причине и общей семантической близости сложений с *без-* и *не-* и фактической в языке наличности доставшихся из старины аналогичных дублетных образований. Все это в совокупности привело к новому морфологическому явлению в образовании интересующего типа сложений. Если основным типом сложений с *без-* было образование их на основе сочетания предлога и родит. падежа имени существительного, то теперь с усилением образующей функции префикса, как такового, стало возможным образование сложений путем сочетаний *без-* с именем прилагательным. Трудно хронологизовать это морфологическое новшество нашего языка. Можно во всяком случае сказать, что греческий язык, представляя для перевода многие ряды своих сложений из ἀ(ν)- именно с прилагательными (ср. в приведенном выше материале ἄκακος — *безълобивъ*, ἀνελεήμων — *безмилостивъ* и под.), стимулировал развитие нового типа сложений и в болгарском и

в русском языке. Должно, кроме того, отметить, что данный тип сложений получил широкое распространение в русском языке и в полной мере живое свое значение сохраняет до настоящего времени. Не всегда ясно, что перед нами — старший или позднейший по происхождению тип сложения. Так, например, *бесшумный* и под. могло сложиться и на основе «без+*шума*» и как «*без*+*шумный*» и т. д., но *безызвестный, бесчеловечный, безыскусственный, безнравственный, бесхозяйственный, безжизненный, безграмотный, бездеятельный, безотносительный, бестолковый, беззастенчивый, безразборчивый, безрасчетливый, беззаботливый* и под., *бесцветковый, безусиковый, безлепестковый* и мн. под. прилагательные,— вся этого рода лексика, вообще книжного происхождения, явилась путем сложения *без-* с соответственными прилагательными. Насколько этот тип сложения имеет живое значение для современного языка, может служить, например, прилагательнее *бесхозный*, элемент лексики недавнего в языке образования, слово, принадлежащее к рассматриваемому типу сложений: хотя прилагательного «хозный» как такового и нет в языке, но при наличности прочно вошедшего в язык сокращения «хоз» (=хозяйство), ср. *колхоз, совхоз* и под., оно обладает потенциальным существованием, обеспечившим возможность нормального образования интересующего сложения именно по типу *без*+*хозный*.

Среди имен существительных, осложненных префиксом *без-*, можно опустить разновидности их образований, возникших на основе рассмотренных выше прилагательных. Таковы, например, многообразные образования на *-ость* (*безубыточность, бездеятельность, бестактность* и т. д.) или на *-ик* (*безбожник* и под.), *-ок* (*безголовок, бездомок, безумок*, др.-рус. *бездомъкъ*), *-ка* (*беззубка, бесколоска*), *-щина* (*бестолковщина*) и др. Значительную долю прочих сложений составляют обязанные тому же болгарскому языку имена на *-ие* или *-ьство* (*-ьствие*), в нем образовавшиеся на основе греческого языка. Подобно рассмотренным выше аналогичного происхождения прилагательным и здесь греческие оригиналы слов дают те же сложения с ἀ(ν)- privativum. По своему значению все эти слова представляют отвлеченные имена существительные. Из имен на *-ие* и *-ьство* главенствуют образования на *-ие*, но встречаются дублетные формы одних и тех же имен существительных и на *-ие* и на *-ьство*, например *бесчиние* и *бесчиньство*, *бесъмьртие* и *бесъмьртьство*, *бестоу(ы)дие* и *бестоудьство*, *бестрашие* и *бестрашьство* и т. д. В русском языке в сохранившемся наследстве этой лексики главенствуют имена существительные на *-ие* (*-ье*), но прижились в нем и некоторые слова на *-ьство* (*-ьствие*), ср.: *бесчинство* (при *бесчиние*), *безумство* (при *безумие*), *бесстыдство, безрассудство, беспутство* (ср. с иным значением *беспутье*), *беспокойство, беспамятство*, ср. еще *бездействие, бесцарствие*. Эта лексика в значительной мере удержалась в языке благодаря поддержке со стороны глагольных соответственных образований на *-ствовать*. Однако есть в русском языке интересующие сложения на *-ье* конкретного значения, с кон-

кретными именами в основе, например *безрыбье*, *беспутье*, *беспортье* (др.-рус., в Новг. лет.), *бесплодье*, *безлюдье*, *бездождие*, *безголовие*, *безводье*, *безветрие*, *безведрие*, *безгрибье*, *безлесье*, *бесполье*, *безденежье*, др.-рус. *бездъниѥ* (*бездьниѥ*) и др. Многие из этих слов, по реальному своему содержанию красочно характеризуя прошлую жизнь, для современности являются уже элементами собственно изжитой лексики, как и выражаемых ею понятий, ср., напр., *беспортье* (от др.-рус. *порт*=одежда) или *бездорожье* и под. Наличность этой лексики возбуждает вопрос об ее прошлом: можно ли в ней усматривать лексику русского органического происхождения? Следует обратить внимание на то, что почти все приведенные экземпляры слов имеются в языке в вариантных формах, как имена существительные на *-ица*: *безрыбица*, *беспутица*, *бесплодица*, *безлюдица*, *беззеmелица*, *бездождица*, *безводица*, *безветрица*, *безлесица* и под., ср. еще диалектное *безгубица* (от *губа*=*гриб*). Очевидно, при наличии этой последней лексики, вообще достаточно численной в языке, параллельные их формы на *-ье* не могут быть рассматриваемы как те же русские образования: трудно было бы оправдать появление в языке двух морфологических рядов слов с одинаковым значением. Считая поэтому тип образований на *-ица* сложившимся на непосредственно русской почве, параллельные приведенные экземпляры слов на *-ье* мы не имеем оснований отделять от указанного выше общего слоя наших сложений на *-ие*, как болгарского по происхождению. Ср., действительно, наличность ряда из числа приведенных слов на *-ие* в старших, переводного происхождения, памятниках др.-болгарского или старорусского языка как общее указание на книжное их происхождение. Таковы: *беспоутиѥ* (ἀνοδία), *бесплодиѥ* (ἀκαρπία), *бездъждиѥ* (ἀβροχία), *безводиѥ* (ἀνυδρία), *бездъ(ь)ниѥ* (ἄβυσσος). Этот пришлый слой лексики был достаточно большой, на почве литературного нашего языка он несомненно морфологически был обобщен, поддержанный употреблением соответственной лексики в официальном, канцелярском стиле речи. Это объясняет нам и закрепление в нашем (литературном) языке многих соответственных элементов лексики старшего болгарского происхождения на *-ие* (при наличности в живом русском языке параллельных слов на *-ица*) и дальнейший на собственной его почве рост этого типа образований; ср. такие существительные, как *бездорожье*, *безведрие*, *безгрибье*, *безденежье*, др.-рус. *безголовиѥ*, *беспортье* и под. Что касается собственно русского приведенного типа сложений на *-ица*, его объяснение представляет трудности. Дело в том, что слишком пестра группа соответственных имен существительных: рядом с *бесхлебица* и под. здесь стоят в линии такие имена, как *бессмыслица* (ср. др.-рус. *безлѣпица*, в поучении Владимира Мономаха), или *безработица*, или *бесприданница* и др. Можно исходить из предположения, что данный тип сложения имен существительных первоначально возник на основе имен прилагательных с *без-* старшего, *бессуффиксного* типа, субстантивированные формы которых вообще явились источником ряда дальнейших производ-

ных образований. И подобно тому, как от *безголовый*, *беззубый*, *безрукавый* и под. сложились производные вроде *беззубка*, *безголовок*, *безрукавка*, *бездоньш* (сосуд), *бесколоска* и т. д., так в другой линии от них же пошел ряд производных на *-ица*: *бесколосица*, *безволосица*, *безлесица*, *безгрозица* и под., или *беспутица* (ср. др.-рус. *беспута* в значении «*бездорожье*»; ср. современное прилагательное *беспутый* при *беспутный*), или *безлепица*, или *безручица* и т. д. В дальнейшем оставалось в языке лишь обобщиться данному типу сложений и морфологически и семантически: ср. *бессмыслица*, *безладица* и под., или *безработица*, или *безделица* и т. д. Со стороны морфологической структуры интересны остающиеся бессуффиксного типа сложения имен существительных с *без-*. Их вообще немного. Это тип аналогичный сложениям с *без-* прилагательных из сочетания префикса и отправной формы собственно прилагательного. Таким образом, это тип, параллельный типу сложений с *не-*. Так, ряду слов, как *недруг*, *непогода*, *несчастье* и под., соответствуют сложения с *без-*,— *бессчастие*, *безмилость*, *безбоязнь*, диалектные и просторечные *безздоровье* (Добровольский, Смол. словарь, 75), *безласка*, *безлихва*, *беспека* (беспечный), *бе́ззо(ы)ва* (размолвка), *бе́столочь*, *бе́ссудь*, *бе́здожь* (=бездождие), *бе́сстужь* (стыд), *бе́ружь* (от руда) и под., ср. в украинском *бе́зсуд*, *безчесть*; можно указать на пример этого типа сложения из старого книжного языка: таково др.-болг. и др.-рус. *бестьлѣ* (греч. τό ἄφθαρτον; слово известно из «Богословия» Иоанна, экзарха болгарского).

Глаголы, осложненные префиксом *без-*, вообще немногочисленные, в большинстве представляют собою образования, возникшие на основе иных сложений (прилагательных, существительных) с *без-*; ср. *безмолвствовать*, *безумствовать*, *бесчинствовать*, *беспутствовать*, *бездельничать*, *беспутничать*, *бездействовать* и под. Все эти образования книжного происхождения и составляют принадлежность литературного языка. Особую группу в русском языке составляет тип глагольных образований на *-i, идущий от сочетания предлога и родит. падежа существительного. Обычно эти глаголы, употребляясь в совершенном виде, являются еще с осложнением помощью префикса *о-*. Ср. глаголы *обессудить*, *обессмертить*, *обеславить*, *обеспокоить*, *обезопасить*, *обезобразить*, *обезнадежить*, *обезлюдить*, *обездолить*, *обезденежить*, *обесцветить*, *обескровить*, *обеспечить*, *обезличить*, *обезвредить* и под. При некоторых из этих глаголов, составляющих вообще группу переходных глаголов, возникли параллельные формы на *-е* (-*Ѣ) со значением состояния, например *обессилеть*, *обезденежеть*, *обезлюдеть* и др. Можно видеть, что почти все эти глаголы отвлеченного значения. Если обратиться к памятникам древнеболгарского и старорусского языка, мы найдем их и там, особенно в источниках старой болгарской письменности, т. е. в тех же источниках переводного, с греческого языка, происхождения. Ср. др.-болг. *обезаконити* (ἀνομεῖν), *обезобразити*, *обесъмрѣтити*, *обесрамитисѧ* и др., или в др.-болг. и др.-рус. *обестрашитисѧ*, *обесчьстити*, *обезочитисѧ* (ἀναισχυντεῖν) и др. Таким

образом, и этот тип глагольных образований, получивший позднее на русской почве значительное распространение (ср. глаголы вроде *обезденежить*, *обезлюдить* и под.), должен быть рассматриваем как болгарский, книжный по своему происхождению. Недаром этот тип глаголов ограничивается в современном употреблении лишь пределами распространения в литературном языке.

Наречия, содержащие префиксальное *без-*, насчитываются скупыми единицами. Это др.-болг. и др.-рус. *безмьздь*, *бездобь* (ἀχαίρως), *бесцѣнь* (δωρεάν), современные, свойственные более просторечию, *бе́сперечь*, *бе́сперемежь*, *безу́гомонь*, *бе́зручь*; ср. еще в украинском *бе́змаль*. Незначительность этого материала затрудняет дать ему обобщающую характеристику.

Резюмируя все изложенное, можно прийти к следующим положениям.

Сложения с *без-* первоначально охватывали лишь именные и более того — лишь адъективные образования. Из категории собственно имен существительных сложения с *без-* в подавляющем своем большинстве, если не считать лексического слоя прямого заимствования из болгарского языка, являются производными от соответственных сложений с *без-* имен прилагательных. Что касается немногочисленной группы имен существительных типа *бесчастие*, *безлихва*, *бестолочь*, то эти сложения, структурно являясь позднейшим по образованию типом, очевидно, должны считаться вообще новым в языке образованием, сложившимся на почве литературного языка.

Значительное большинство сложений с *без-* в русском языке болгарского или старого книжного в широком смысле происхождения и обязано в конечной стадии греческому языку. Но тип сложений с *без-* был известен и собственно русскому языку. Таковыми были прилагательные бессуффиксного типа, по значению представлявшие адъективацию предлога *без* и родит. падежа имени существительного (конкретного). В позднейшей стадии, притом на почве лишь литературного языка, под общим воздействием книжного болгарского языка, обозначился рост типов сложений с *без-*. Таковыми явились: а) прилагательные того же характера, что и бессуффиксный тип, но с осложнением их суффиксом *-н-*, притом с именем существительным в основе и отвлеченным и конкретным; б) нового типа прилагательные (в значительном числе также существительные), представляющие сложение *без-* с собственно прилагательным (или существительным в отправной его форме именит. падежа); в) глагольные образования по типу II класса (основы на *-i) из сочетаний предлога *без* и имени существительного, обычно с осложнением еще префиксом *о-* для означения перфективности действия.

Типологически в общей истории сложений с *без-* следует расчленять а) старшую их разновидность — сложения, получившиеся на базе сочетаний предлога *без* и родит. падежа имени существительного, и б) позднейший тип сложений из *без-* как префикса и

отправной формы существительного или прилагательного. Первый тип сложений органического русского происхождения (он известен и в иных славянских языках), второй тип сложений, получивший широкое распространение в современном нашем языке, обязан старому болгарскому воздействию на русский язык; в самом болгарском языке в данной черте сказалось в свою очередь влияние греческого языка.

17 сентября 1936 г.

ГЛАГОЛ *использовать — использовывать* В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В основе современного русского глагола *использовать* лежит беспрификсная его форма *пользовать*, которая сама по себе является производным глагольным образованием от имени существительного *польза*, сложившимся при помощи суффикса *-овать*. Последний глагол был известен в старом болгарском языке в двух вариантах — *пользевати* и *пользити*,[1] с общим у них значением приносить пользу, prodesse.

В старом русском языке глагол встречается в тех же двух разновидностях, с тем же значением, только что здесь преобладает над формой *пользевати* вариант ее с твердым *з* — *пользовати*; ср. в старом русском существительное *польза* и *польза*. В показаниях старших памятников русской письменности слово свидетельствуется только источниками не оригинального русского языка. Очевидно, слово было принадлежностью книжного, литературного русского языка, и в самом литературном русском языке должно рассматриваться как слово болгарское по происхождению. Ср., действительно, наличность в *польза* и *пользовати* твердого *з* (из старшего смягченного *дз*), характерного для болгарского слоя лексики в нашем языке.[2] Замечательно также, что из всех славянских языков интересующая группа слов вообще известна только болгарскому языку (совр. болг. по́лза, глагол по́лзувам, прилаг. пользови́т и др.) и нашему русскому языку, будучи чуждой белорусскому и украинскому языку, западнославянской языковой ветви и др. В старый книжный русский язык слово вошло достаточно прочно. Ср. образование от него дальнейшего производного — *употребовати* как глагола совершенного вида к его базе — глаголу *пользовати*, бывшему вида несовершенного.[3]

Последующая история глагола в развитии нашего литературного языка принесла и рост его употребления (расширение морфологических его новообразований) и дифференциацию его значения. От исходного общего его значения 'приносить пользу' обособился оттенок

[1] Встречающийся еще вариант глагола *пользовати* представлен лишь памятниками сербского извода (Miklosich, Lexicon).

[2] Шахматов, Очерк совр. русск. лит. яз., 32.

[3] В старом болгарском подобным образом при *пользити*, несов. вида, был известно образование *употребитисѧ* возвр. форма сов. вида.

'приносить пользу в болезни, больному', давший самостоятельное цельное значение слова 'лечить'. В этих двух основных своих значениях глагол получил ряд новых производных образований. В показаниях старшего Академического словаря русского языка (1789—1794) слово уже встречается в следующем комплексе производных образований: а) под основным его значением здесь даны глаголы— *пользовать* и возвр. форма *пользоваться*, возвр. форма *воспользоваться*, возвр. форма *попользоваться*, *упользовать*; б) под вторичным значением 'лечить' указаны глаголы — *пользовать* и возвр. форма *пользоваться*, *выпользовать* и возвр. форма *выпользоваться*, *попользовать* и возвр. форма *попользоваться*, *упользовать*. Очередная шишковская редакция Академического словаря (1806—1822) внесла незначительные, но характерные для лица редакции, изменения: с одной стороны, в словаре оказался исключенным глагол *попользоваться*, очевидно, как слишком близко отражавший разговорную струю речи; с другой стороны, в более развитом виде в словаре представлена семантика глагола *пользоваться* (во втором его значении), указанием на его не только среднее, но и страдательное значение ('быть врачуему'), т. е. тем самым нарочито подчеркнуто его значение в общелитературном употреблении. Коррективы шишковской редакции, с прозрачной ее идеологической настроенностью, были устранены в последующем переиздании Академического словаря (1847). Этот словарь восстановил ту лексическую наличность, которая была засвидетельствована еще первым, Екатерининской поры, изданием словаря. Не менее значительной новинкой в издании словаря 1847 г. было также признание глагола *пользовать* в основном его значении принадлежностью с т а р о г о языка. Архаичным данное значение глагола было, можно думать, и в старшей стадии литературного языка, но на соответствующее признание не могли отважиться ни редакция словаря 1789 г., ни тем более второе его издание (в шишковской редакции).

Даль, впервые решившийся порвать традицию академических словарей и дать в своем издании словаря (1861—1867) отображение живого русского языка своего времени, представляет соответственно богатую картину употребления глагола и его производных. Под основным значением 'приносить пользу' у него значатся глаголы — *пользовать* (в значении л и ч н о г о глагола) и *пользоваться* чем, далее — *воспользоваться* чем, *попользовать* кому и *попользоваться*, *упользовать* кому; к значению 'лечить' относятся у него глаголы — *пользовать* кого и *пользоваться* у кого, *выпользовать* кого и *выпользоваться*, *допользовать* кого, *использовать* кого, что и *использоваться*, *попользовать* кого и *попользоваться*, *пропользовать* кого и *пропользоваться* у кого, чем, *упользовать* (кого) и *упользоваться*. Эта наличность глаголов далевской поры подверглась в направлении к современной стадии речи значительным изменениям, в частности сильному разрежению. В первом ряде глаголов для нашего времени уже неупотребительной является форма *упользовать* и малоупотребительными служат формы *пользовать* и *попользовать* (они возможны в просторечном употреблении). Но осо-

бенно сильно разредилось употребление глаголов второго ряда. Уже Грот означил «простонародными», т. е. свойственными употреблению в просторечии, глаголы *выпользовать* и *выпользоваться*; таковыми же или вообще малоупотребительными в современном языке являются все прочие глаголы этого ряда, исключая глаголы *использовать*, *использоваться*, в данном значении исчезнувшие совсем из оборота литературного языка.[1] Понятна причина такого широкого устранения из оборота литературного языка глаголов именно второго семантического ряда: они оказались побежденными и вытесненными имевшимися в языке дублетными лексическими вариантами — глаголами *врачевать* и особенно *лечить* с их многообразными производными.

Глагол *использовать* таким образом по своему образованию в литературном русском языке принадлежит середине XIX в. Факты литературного употребления этого слова в языке писателей неизвестны. Возможно думать, что слово составляло принадлежность лишь разговорного литературного языка. По свидетельству Даля, этот глагол употреблялся лишь в переходном значении 'вылечить, исцелить кого-либо,' 'издержать на лечение что-либо', т. е. в значении, адекватном глаголу *выпользовать*. Такова же, параллельная форме *выпользоваться*, возвратная форма глагола *использовать* — *использоваться*, с средним и страдательным оттенками основного значения. По морфологической своей структуре глагол представляет собою осложнение соответствующей основной формы *пользовать* продуктивным и в современном языке суффиксом *из-*, одинаковым по функции с суффиксом *вы-*. Этот суффикс именно сообщает значение полноты проявления соответствующего основного, не осложненного префиксом, глагола. Отсюда значение глаголов *использовать*, *использоваться*, как глаголов совершенного вида.

В связи с отмеченным процессом общей утраты в обороте литературного языка всего ряда интересующих глаголов в значении 'лечить', глагол *использовать*, *использоваться* также утратился, но лишь в той разновидности его значения, при которой являлось сочетание глагола с объектом одушевленным (*использовать* — 'вылечить к о г о - л и б о'; *использоваться* 'вылечиться у к о г о-либо', 'быть вылечену к е м-либо'). Вторая же разновидность значения глагола, с сочетаемостью его с объектом неодушевленным (*использовать* ч т о-либо, *использоваться* о т ч е г о-либо, ч е м-либо), скрестившись с общим значением основного глагола *пользовать*, *пользоваться*, дала начало зарождению новой формы того же глагола с новым значением. Таково происхождение глагола *использовать*, *использоваться*, свойственного современному языку. Значение этого глагола 'де-

---

[1] Ср. пережиточное их употребление в фольклорной речи. В записи сказок, сделанных у старика крестьянина А. Л. Перфилова (Котельн. у.), мы читаем: «Ой, дитетко, у нас в государстве не здорова царская дочь, сделалась такая свирепая, ишшут лекаря». — «Я могу *использовать* её: такая жо бу́дёт, как ранее была» (Зеленин, Сказки Вятской губ. 116). Еще пример: «Каиф закричал ста̀ршево врача̀ исчелить ево (т. е. упавшего мертвым сына. *С. О.*) Потом он прочувствовался,— *использовали* ево когда,— и сказал...» (Там же, стр. 119).

лать, извлекать из чего-либо (возможно и из кого-либо) пользу, выгоду'; при возвратной форме глагола — соответственное значение с оттенками и возвратности и страдательности в проявлении глагольного признака. Формальным отличием этого, вторичного, образования глагола служит то, что он имеет значение и совершенного и несовершенного вида. Вот несколько примеров на употребление слова.

Значение совершенного вида. «Петр... хотел пристроить этот люд к настоящему делу, *использовать* его в интересах государства». Ключевский. Курс русской истории, IV, 122. «И вообще (Миша) хочет *использовать* тебя, как орудие для своего обогащения». М. Горький. «Дети солнца», д. IV. «Мы были бы только на словах «политиками» и социал-демократами... если бы не сознавали своей задачи *использовать* все и всякие проявления недовольства». Ленин. «Что делать», III. «Русские войска предполагалось даже *использовать* на службе «порядка» в Италии, и соответствующий корпус был уже сформирован». Покровский. Русская история, III, 248. «Ленин предлагал исчерпать революционные способности крестьянства, *использовать* до дна его революционную энергию для полной ликвидации царизма и для перехода к пролетарской революции». Сталин. Вопросы ленинизма, 25. «Каждая минута дорога и важна. Каждую минуту *используй* сполна». Безыменский. Стихи делают сталь, 58.

Значение несовершенного вида. «Англичане, немцы, французы... поддерживают и *используют* ту науку, которую...» Молодой Ленинец, 1925, № 100. «Царизм, *используя* печать, школу и церковь, систематически разжигал ненависть к евреям. . .» Ярославский. История ВКП(б), II, 54. «Кулачество. . . *использует* всю свою силу и все свое влияние в деревне для того, чтобы переложить всю тяжесть налога на плечи середняков и бедняков». Сталин. Вопросы ленинизма, 158. «В Лондоне ежедневно *используются* 20 000 повозок и 400 000 артельщиков». Бирж. Вед., 1897, № 150. «Настроение социал-фашистских масс, которые *используются* буржуазией в качестве оплота против коммунизма, таково, что. . .» Экон. жизнь, 8 окт., 1931. «Плата за спуск сточных вод обращается в бюджеты соответствующих горсоветов и советов рабочих поселков и *используется* полностью на проведение санитарно-технических мероприятий» (из постановления ВЦИК). Изв. ЦИК, 1 сент. 1931.[1]

Глагол *использовать, использоваться* представляет собою искусственное образование нашего языка. Область его употребления ограничена сферой литературного языка. Таково свидетельство приведенного материала. Книжный и искусственный характер происхождения глагола свидетельствуется и фактом его принадлежности одновременно и к совершенному и к несовершенному виду. Подобных глаголов, двоякого вида, в нашем языке немного,[2] и все они вооб-

[1] Большинство иллюстрационного материала извлечено из архива Словарного отдела ИЯМ.

[2] См. у Шахматова, Очерк совр. русск. лит. яз., 162—169; ср. Карцевский, Système du verbe russe, 54.

ще составляют либо новообразования, либо заимствования из иных языков, из древнеболгарского языка—в старшую стадию, из европейских языков — в позднейший период жизни литературного нашего языка. Ср. такие глаголы, как *казнить*, *женить*, *крестить* и др., или наши многообразные глаголы на *-ировать*, *-изовать*, вроде *телеграфировать*, *организовать* и под., обычно имеющие значение и совершенного и несовершенного вида. Время образования глагола на почве литературного языка — последняя четверть прошлого столетия. Эта хронологизация опирается на материал фактического употребления слова в письменной речи: примеры на употребление интересующей лексики (*использовать*, *использоваться*, *использование*, *использованность*) не идут ранее 90-х гг. прошлого столетия. Кроме того, такая хронологизация согласуется с приведенными выше соображениями о преемственной связи нашего современного глагола *использовать*, *использоваться* с его близнецом-предшественником, глаголом *использовать*, *использоваться* далевской поры. Замечательна связь нашего глагола *использовать*, *использоваться* с европейским заимствованием в нашем языке — глаголом *утилизировать*, *утилизироваться* (*утилизовать*, *утилизоваться*). Значение их совершенно одинаковое, оба глагола употребляются и в значении совершенного, и в значении несовершенного вида. Но оба глагола резко отличаются по динамике их употребления в речи: глагол *утилизировать* заметно разрежается в речевом обороте по мере приближения к современной стадии языка, глагол *использовать*, напротив, все шире и шире соответственно растет в употреблении в речи. Можно высказать в связи с этим предположение, не сыграл ли именно глагол *утилизировать* руководящую роль в окончательном усвоении нашим литературным языком глагола *использовать* в современной его семантике — и в смысле закрепления основного его значения, и в смысле дифференцирования его видового признака. Отчетливое разрешение этого вопроса, однако, потребовало бы исчерпывающих поисков фактического материала по соотносительному употреблению одного и другого глагола в источниках литературного языка.

Элемент лексики специфически литературного языка, глагол *использовать*, *использоваться*, будучи впитываем в революционную пору рядами новых слоев говорящих, был воспринят отдельными их пластами не как глагол, могущий одновременно означать и несовершенный вид, а по своей внешней форме как глагол совершенного вида. Ср. обычные глаголы подходящего типа вроде *избаловать*, *изворовáться*, *излиновать*, *измежевать*, *изрисовать* и под., являющиеся, как сложения из префикса и соответствующего основного имперфективного глагола, глаголами по общей норме именно совершенного вида. Потребность в обладании рядом с глаголом *использовать*, *использоваться*, воспринимавшимся с оттенком перфективности, соответственной формой с имперфективным значением явилась толчком к образованию в данных слоях говорящих параллельного кратного варианта глагола на *-ывать*. Так явилась форма глагола *использóвывать*, *использóвываться*. Ср. в этих же условиях у аналогич-

ных слоев говорящих образование кратной формы *организовывать* при глаголе *организовать*, очевидно, осознававшемся как глагол лишь перфективный, между тем как в действительности он может иметь значение и совершенного и несовершенного вида (см. выше).[1] Можно поставить вопрос, насколько это новообразование целесообразно, насколько оно закономерно. Ответ на эти вопросы отчасти содержится в предшествующем изложении. Если глагол *использовать* обладает в современном литературном употреблении, подобно большому числу иных глаголов, двояким значением — совершенного и несовершенного вида, то нет оснований отстаивать для него еще дублетный вариант несовершенного вида *использовывать*, так как нет общего модуса этого рода образований для прочих глаголов данного ряда. Ср. глаголы *абонировать*, *казнить*, *ранить* и др. под., не имеющие себе дополнительных вариантов к специфическому обслуживанию признака имперфективности. Только в случаях, когда глагол имеет общее значение более или менее конкретного действия и когда нарочито имеется в виду выразить кратность этого действия, в языке образуются соответствующие дублеты форм на *-ывать*. Ср. *арестовать* и *арестовывать* (т. е. именно осуществлять действие несколько раз), *конфисковать* и *конфисковывать*, *атаковать* и *атаковывать* и под. Далее в отношении глаголов на *-овать* книжного происхождения следует вообще отметить неупотребительность от них производных форм на *-овывать*. Ср., напр., глаголы *израсходовать*, *изнасиловать*, *истребовать* и др. Это особенно имеет силу для глаголов с отвлеченным значением, каковым является и глагол *использовать*. Можно еще указать на внешний формальный признак, относящийся к области ударения, характеризующий нормальный тип производных глаголов на *-овывать* от соответствующих основных на *-овать*. Только глаголы с наконечным ударением дают кратные производные формы на *-о́вывать*. Ср. *избалова́ть* — *избало́вывать*, *срисова́ть* — *срисо́вывать*, *разлинова́ть* — *разлино́вывать*, *перелицева́ть* — *перелицо́вывать* и под. В производном *использо́вывать* к основному *испо́льзовать* содержится, таким образом, нарушение этого внешнего признака, характерного для всего ряда интересующих образований. Ср. действительно глаголы вроде *испро́бовать*, *истре́бовать*, *изуро́довать*, *изнаси́ловать*, *израсхо́довать* и под., от которых нет в языке кратных форм на *-овывать*. По всей приведенной совокупности соображений нет оснований поддерживать в языке употребление формы

[1] В попытке образовать к глаголу *использовать*, воспринимавшемуся как форма перфективная, соответственный, внешне отличный, вариант с имперфективным значением, кроме формы *использо́вывать*, можно еще отметить форму *испо́льзывать*. Ср. *обманывать*, *обкрадывать*, *вылизывать* и под. Для иллюстрации можно привести следующую выписку из газетного источника: «Эти рукописи он *использывает*, затем сшивает...». Правда, 1925, № 37. Аналогична, между прочим, форма *истребывать* с имперфективным значением, созданная в просторечной среде к перфективному варианту *истребовать*, нормальному в литературном языке. Выписка из рассказа Серафимовича «В винограднике»: «Из города... она вся неправильность... все оттуда... недоимки *истребывают* оттуда; опять же бумаги всякие, кого взять, кого в тюрьму». Сочинения, V, 101.

использовывать. Если посмотреть на фактическое употребление в языке этой формы глагола, легко прийти к тому же заключению. Вот подходящий иллюстрационный материал.

«Казенная лошадь *использовывается* для поездок по личным делам». Бузотер, 1925, № 21. «Необходимо... перенести работу красных уголков на воздух, *использовывая* для этого заводские дворы». Лгр. Правда, 1927, № 72. «Отдельные коммунисты ... заражаются бюрократизмом, *использовывают* свое положение в корыстных целях». Изв. ЦИК 13 дек. 1932. «Из палеонтологии речи ... известно, что. . . «солнце» *использовывалось* для обозначения и «дня» и «года». Марр. Родная речь, 45. «Экспедиции и отдельные поездки сотрудников *использовываются* для научно-популяризаторской деятельности на местах». Самойлович. Вестник АН, 1931, № 2. «Будет ли правильным планирование в цеху,если плановики будут *использовываться* не по своему назначению». Газ. «Кр. Путиловец», 31 марта 1932. «Биндер, опираясь на Гегеля, *использовывая* его философию права, борется с «требованиями социализма», с марксизмом». Митин. Под. зн. маркс., 1931, № 11—12, стр. 26. «В 80-х годах... конструируется новый тип двигателя — паровая турбина... по-новому *использовывающая* энергию водяного пара». Будницкий, Вестник Ком. Ак., 1932, № 11—12, стр. 141.

Можно видеть, если считаться с фактом наличности в литературном языке глагола *использовать использоваться* как глагола и совершенного и несовершенного вида, что во всем приведенном материале формы интересующего глагола без ущерба смыслу и грамматическим нормам русского языка могли бы быть заменены соответствующими формами глагола *использовать*, *использоваться*. В этом непосредственном свидетельстве фактов прямое подтверждение высказанного выше по иным основаниям положения о ненужности данного новообразования нашему языку. Глагол *использовывать*, *использовываться* составляет балласт нашего языка. Как балласт языка, он по экономическим тенденциям, в известных отношениях заправляющим нашею речью, подлежит устранению из языка. И можно сказать, что этот глагол, действительно, на наших глазах незаметно сходит на нет, все реже давая о себе знать в изустной речи и почти не отражаясь последнее время на столбцах печати.

1935



Фонетика русского языка

ПЕРЕХОД *е* В *о* В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Из истории русского языка известен закон о переходе (не начального) *е* в *о*. Этот закон относится к прошлому в жизни русского языка. По силе этого закона в нашем современном литературном языке мы имеем в соответствии с старшим *е* под ударением (как из исконного *е*, так и из образовавшегося из *еря*) гласный *о*, если далее следует твердый согласный. Например, *клён*, *дёрн*, *плётка*, им. и род. мн. *сёла*, *сёл*, прош. вр. *вёл*, *мёл*, прич. страд. *принесённый* и т. д. В диалектах (окающих) это явление по результатам еще более широкое, так как здесь оно не ограничено условиями подударности гласного: ср. диалект. *озёро*, род. ед. *сёла*, неопр. накл. *дёржать* и под. Как фонетический закон, этот закон не должен иметь исключений. Но мы находим в свидетельствах современного языка ряды фактов, внешне составляющих нарушения формулированного закона. В положении перед *ч*, *щ*, как согласными, звучащими только мягко в современном литературном языке, перехода *е* в *о* не должно быть. Мы имеем, однако, колеблющееся произношение *горшечек* и *горшочек*, *мешечек* и *мешочек*, также в производных *меше(о)чник*, *меше(о)чный* и под. или *поперечный* и в просторечии *поперёчный*; можно еще указать на двойственность произношения слова *решетчатый* при *решотчатый*, также *опрометчивый* при просторечном *опромётчивый* (хотя здесь на письме группа согласных *тч*, но в произношении ей соответствует долгое *ч*). Закономерными и соответственно старшими по образованию здесь являются варианты слов с *е*. Параллельные формы — новые формы, в которых произносительная норма сбита воздействием родственных образований с *о*. Так *мешок*, *горшок* при *мешечек*, *горшечек* привели к *мешочек* и под., *решотка* создало вариант *решотчатый* к старшей соответственно форме с *е*; форма *поперечный* под воздействием наречия *поперёк* в просторечии стала сбиваться на произношение с *о*, чему содействовало и произношение (в просторечии) группы *чн* в слове в виде *шн*, т. е. с твердым *ш*; близкое, только более сложное объяснение можно было бы привести для просторечной формы *опромётчивый*. Точно так же от *хлёсткий* сравнит. степень звучит с *о* — *хлёстче*, а от *жёсткий* — двояким образом: *жёстче* и *жестче* (группа *стч* — правописание, в произношении ей соответствует *щ*), здесь то же воздействие отправных прилагательных в положительной степени с *о* (*хлёсткий*, *жёсткий*) сыграло роль в появлении *о* на месте закономерного *е*.

Известно еще слово *тёща* с нарушением нормы закона: мы ожидали бы произношения с *е* — *теща*, как, между прочим, слово звучит в в диалектах, напр. в Олон. (пр. № 29), Петроз. (пр. № 30), Кологр. (пр. № 58) и др. В данном литературном произношении, в согласии с высказанным в литературе предмета предположением, следует усматривать отражение произношения тех диалектов, в которых *ц* звучит в виде твердого долгого *шш*: в форме *тёшша*, с твердым шипящим согласным, *е* подлежало нормальному замещению через *о*.

Перед согласным *ц*, в литературном языке известным только в твердом виде, но некогда звучавшим мягко и в мягком виде сохраняющимся в некоторых диалектах, переход *е* в *о* ожидается, но фактически его нет в языке. Ср. *отец*, *конец* и под. Отсутствие перехода *е* в *о* перед *ц* следует понимать как указание на то, что в пору общего действия закона об изменении *е* в *о* согласный *ц* был еще мягок и его отвердение в языке последовало позднее, когда уже общий закон не имел действия.

Двойственны показания языка в отношении судьбы *е* перед *ш*, *ж*. Эти согласные, исконно также мягкие, позднее подверглись отвердению. В современном литературном, а можно говорить, и в общем русском языке *ш*, *ж* (не долгие) звучат только в твердом виде. Показания современного языка о судьбе *е* перед *ш*, *ж* противоречивы. Мы имеем, с одной стороны, *о* в случаях: *лёжа*, *одёжа*, *дёшево*, *лепёшка*, *головёшка* и под., в именах на *-ёж* (*падёж* скота, *платёж*, *молодёжь* и т. д., даже в производном от заимствования — *картёж*), во 2-м лице ед. числа глаголов наст. вр. (*идёшь* и под.), но известно и произношение *е*, например, в *промеж*, *смежный*, *брешешь*, *чешет*, в просторечных *допреж*, *головешка*. В свое время проф. Брандт, а позднее академик Соболевский, формулируя закон о переходе *е* в *о*, признавали его действие, между прочим, не перед *ш*, *ж*. Всю наличность фактов с *о* из *е* перед *ш*, *ж* им пришлось объяснять как факты аналогического в языке происхождения. Так тип 2 лица ед. числа *идёшь*, с *о*, выводится из форм 3 лица *идёт*; для объяснения *о* в *грабёж* и под. проф. Брандт (Лекции по историч. грамматике русского языка, стр. 18) предполагает воздействие сложного чередования произношения в формах типа *сило́* ‖ *сёл*, причем в *молодёжь*, *молодёжи*, слове с неподвижною ударяемостью, *о* для проф. Брандта так и остается непонятным. Следует сказать, принцип аналогии вообще сомнителен в применении к явлениям фонетического порядка. Аналогия действенна в явлениях морфологического характера, можно было бы ею пользоваться в объяснении единичных фактов лексического порядка. В этом смысле следовало бы всю значительную группу слов с *о* из *е* перед *ш*, *ж* подвергнуть специальному объяснению путем аналогии применительно к каждому данному слову. Но этого ни проф. Брандт, ни академик Соболевский не сделали. Впрочем, можно думать, что, если бы это и было проделано, вряд ли соответственная цепь объяснений была бы убедительна. Трудно, например, в объяснении *о* в ряде слов, как *кутёж* и под., думать о воздействующей силе каких-то слоев лексики на тип отправной (слов вроде

мятеж (Соболевский), этого книжного, болгарского элемента лексики). Еще труднее подыскать удовлетворительное объяснение предположениям аналогии для *о* в таких словах, как *мерёжа*, *одёжа*, *надёжа*, *дёшево*, *корёжить* и т. д. Следует, таким образом, признать действие закона о переходе *е* в *о* и перед *ш*, *ж*, т. е. предполагая соответственно более раннее их отвердение на почве литературного языка, чем отвердение *ц*. Поэтому вопрос должен встать о случаях, где перед *ш*, *ж* мы имеем под ударением не *о*, а *е*. Этих слов немного. Это либо книжные элементы лексики, или элементы лексики, задержавшиеся в книжном («славянском») произношении, вроде *допреж*, *мятеж*, *падеж* (padus), *смежный*, *промеж*, ср. еще с колебанием *рубеж*, *рубёж*, *зарубежный*, *порубежный* и *зарубёжный*, *порубёжный*, либо испытавшие на себе воздействие параллельных лексических вариантов книжного языка, например, просторечные *одежа*, *надежа* (ср. *одежда*, *надежда*), либо, наконец, отдельные экземпляры слов, получившиеся с *е*, не *о*, из диалектов, в которых *ш*, *ж* отвердели позднее, ср. при *головёшка* произношение *головешка*, при *валёжник* — *валежник* и под. или *чешет*, *брешешь*, *тешет* (от *тесать*).[1]

Значительное количество лексики с *е*, не *о*, оказывается в языке такой, в которой за гласным *е* следовал прежде, в эпоху действия закона о переходе *е* в *о*, мягкий согласный, позднее отвердевший. Ср., например, слова *земский*, *женский*, *смоленский*, *судебный*, *душевный*, *жемчуг* (из *женчуг*, которое из древнерусского *женьчюгъ*) и мн. др. или *верх*, *первый*, *церковь*, *серп*, *четверг*, *коверкать* и под. Последняя группа слов и в настоящее время в диалектах известна с мягким произношением плавного, причем такое произношение еще недавно составляло принадлежность нормы (московской) литературного произношения. Общая, однако, тенденция в русском языке к произношению *о*, не *е*, в данных звуковых условиях вызывает в просторечии появление вариантного произношения отдельных слов с *о*, и эти варианты слов приобретают с течением времени значение литературных форм, сосуществуя рядом с старшими своими собратьями, формами с *е*, или даже их вытесняя. Ср. при *саженный* форму *сажённый*, при *подземный* просторечную форму *подзёмный*, при *наземный* — *назёмный* (*назёмное* животное), при *слезный* — более в настоящее время обычную форму *слёзный*,[2] при нормальном литератур-

[1] Диалектно, в севернорусском, известно и *чошет*: Онеж. (пр. 41), Холмог. (пр. 50), Олон. (пр. 29), Волог. (пр. 82), Грязов. (пр. 36), Кадник. (пр. 26), Никол. (пр. 266), Сольвыч. (пр. 193), Тотем. (пр. 198, 201), Устюж. (пр. 199), Ярен. (пр. 194), Новгор. (пр. 20), Устюжн. (пр. 28), Кологр. (пр. 58), Чухлом. (пр. 62), Котельн. (пр. 35), Малмыж. (пр. 79), Нолин. (пр. 68), Орл. Вят. (пр. 163), Слобод. (пр. 37, 141), Яран. (пр. 59, 101), Меленк. (пр. 247), Муром. (пр. 93, 100), Покров. (пр. 244), Кашин. (Смирнов, 12), ср. еще 3 лицо мн. *тёшут*, *стёжут* (одеяло) Красноуф. (пр. 209). Ценно указание наблюдателя из Кологр., отмечающего здесь произношение *чошет* как произношение н о в о е.

[2] Ср. у Пушкина:

Случалось ли поэтам *слезным*
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья!
Евг. Он., IV, 34.

ном произношении *передержка* в просторечии известна форма с *о* (*передёржка*), ср. в диалектах, о чем ниже, *задёржка, издёржка, поддёржка*, неопр. накл. *сдёрживать*, формы наст. вр. *дёржишь, дёржит* и под.

Громадную по численности группу слов с *е*, не *о*, представляют болгарские элементы нашей лексики. В болгарском языке, как известно, закон о переходе *е* в *о* не был известен. Таковы, например, слова *клеврет, ковчег, вертеп, крест, небо, дерзкий, жертва, жестокосердный, вред, млеко* и под., род. мн. *небес, чудес*, прилагательные *словесный, небесный, чудесный, любезный* и мн. др. Эта группа слов особенно велика, так как здесь сказались не одни собственно болгарского происхождения элементы лексики, но и вообще многообразная иная, и русская по происхождению лексика, в старинную пору русского литературного языка под болгарским воздействием державшаяся в нормах болгарской произносительной системы. В этом отношении, по интересующей черте, старший литературный язык наш был пропитан в громадной доле болгарским воздействием. Об этом, между прочим, можно судить и по рифмам наших писателей XVIII в. и первой и даже второй половины XIX в. В показаниях рифм вскрывается громадный слой лексики, теперь уже известный по нормам русского произношения с *о*, звучавший, однако, по старой книжной традиции с *е*. Ср., например, у Пушкина рифмы прош. вр. *поднес* и *исчез, расцвел* и *удел*, 3 лица ед. числа наст. вр. *идет* и *Дамет* (Лицинию, 1815), *веселой* и *смелой*, род. мн. *сел* и *стрел*, им. мн. *слезы* и *железы* (=оковы) и т. д.; у Лермонтова *намеки* и *человеки*, род. мн. *сел* и *тел*, у Тютчева *веселой* и *онемелый* или *белый, звездочету* и *к свету* и т. д.[1] Особенно широко оказались охваченными две глагольные категории: формы наст. вр. глаголов I спряжения, произносившиеся во 2 лице ед. числа и далее с *е*, не *о*, например: *идешь, идет* (не *идёшь, идёт*) и т. д., и страдательные причастия на *-енный* с *е*, не *о*, например, из Пушкина *окровавленный* в рифме с *нетленный, утомленный* — рифма: *блаженный, усыпленный*, в рифме с *вдохновенный, уединенный*, рифма: *бесценный, раскаленной*— рифма: *вселенной* (имя сущ.) и мн. др. Процесс раскрепощения нашего литературного языка от этого произношения, в части пользования причастными образованиями на *-енный*, растянулся на все течение XIX столетия. Ср. в современном языке колебание *умалишенный* и *умалишонный*, или адъективировавшиеся причастия вроде *согбенный* (в просторечии известно и *согбённый*), *дерзновенный, надменный, сокровенный, вдохновенный* (ср. причастие *вдохновлённый*), *совершенный* (ср. причастие *совершённый*), (не)*забвенный, мгновенный, почтенный* (ср. причастие *почтённый*), *священный* (ср. причастия *посвящённый, освящённый* и др.), *блаженный* и др. Насколько активны были в литературном языке причастные формы на *-енный* в произношении именно с *е*, можно судить из того, что этот суффикс, перейдя из литературного языка в диалекты, где он получил новую функцию усили-

[1] См. материал с данными рифм у Кошутића, Грам. рус. јез. 1, стр. 487 и сл.

тельного значения прилагательных, здесь продолжает звучать также с *е*, ср. *здоровенный*, *большенный*, *высоченный* и под. Однако, хотя слой болгарской и книжной лексики с *е*, не *о*, и очень значителен в нашем языке, должно отметить неуклонно идущий процесс «обрусения» соответственных слов путем трансформации их произношения с *е* на *о*. Ср. при *крест* диалектное *крёст*, при *крестный* форму *крёстный*, при *перст* просторечную форму *пёрст*, при *смертный* просторечное *смёртный*, при *пекло* — *пёкло*, при *смиренный* просторечное *смирённый*, при *отместка* просторечное *отмёстка*, при *шлем* просторечное *шлём*, или бытующие в современном литературном языке формы слов с *е* и *о*: *запрет*, *запретный* и (просторечные) *запрёт*, *запрётный*, *хребет* и (просторечное) *хребёт*, откуда *захребетник* и *захребётник*, *современный* и *современный*, *соименный*, *одноименный* и произношение с *о*, *разноплеменный*, *подъяремный*, *затюремный* и параллельные формы с *о*, *безнадежный*, и *безнадёжный*,[1] *расплескивать* и произношение с *о* (но *всплеск*, мн. *всплески*, глагол *всплескивать*, с *е*, при просторечном *всплёск*). Интересны еще двойственно звучащие причастия прош. вр. действ. зал. от глаголов *везти*, *вести*, *нести*, *облечь*, *течь* и *мереть*: обычны соответственные формы с *е*, ср. *облекший*, *отекший*, *протекший*, *отмерший*, *умерший*, и в редком употреблении вариантные формы с *о*. В иноязычной лексике с *е* последнее также не подлежит переходу в *о*, ср. *конфета*, *карьера*, *пьеса*, *метод*, *тема*, *лен*, *ребус*, *жест* и т. д. В просторечии могут быть отмечены, как единичные, новые образования *атлёт*, *склёп*, *жёст*.

Приведенные факты разнообразных внешних нарушений закона о переходе *е* в *о* относятся преимущественно к характеристике литературного русского языка. В этом отношении свидетельства диалектов представляют картину более цельную в оправдание закона о переходе *е* в *о*. Однако и здесь есть материал, не согласующийся с нормою закона и в отношении наличия *о*, где литературный язык знает *е*, и обратные случаи с *е*, не перешедшим в *о*. В первой категории случаев общие причины те же, что выше отмечены для аналогичных фактов литературного языка. Так слово *лещ* в диалектах, в которых *щ* перешло в твердое *шш*, нормально изменилось в *лёщ* (напр., в Макар. у. Костр. г., пр. № 50 и др.), ср. выше сказанное о *тёшша*. Перед *ш*, *ж* диалекты, в частности севернорусские, обычно дают переход *е* в *о*: ср., например, *вёшний* Кашин. (Смирнов, 11), *надёжа*, *одёжа* Холмог. (пр. 50), Кадник. (пр. 31), Череп. (Герасимов, 11), Кашин. (Смирнов, 11) и др., отсюда даже в собственном имени *Надёжда* Мещов. (пр. 41), но ср. *Надежка* Новгор. (пр. 20); однако при *дёшево* в ряде севернорусских говоров, не говоря о южнорусских, известна форма *дешево*, с *е*, например, в Каргоп. (пр. 106), Олон. (пр. 29), Петроз. (пр. 30), Новгор. (пр. 20, Соловьев, 6) и др.; ср. еще отмеченные выше *чошет*, *тёшет* и др. В связи с процессом отвердения согласного, следующего за *е*, мы наблюдаем переход такого *е* в *о*

[1] См, показания рифм о двойственности произношения этого слова у Кошутина, I, стр. 496.

в *вёрх*, отмеченном в единичном показании и в качестве редкой в употреблении формы в Тотем. (пр. 201); очень широко, но известно исключительно в черте севернорусских говоров, произношение с *о* отдельных форм от глагола *держать* (наст. вр. *дёржишь*, *дёржит* и т. д., прич. *дёржанный* и др.) и иных производных образований, как *задёржка*, *поддёржка*, *передёржка* и др., ср. это произношение в Онеж. (пр. 41), Холмог. (пр. 50), Вытег. (пр. 22), Олон. (пр. 29), Петроз. (пр. 13, 30), Волог. (пр. 24, 82), Грязов. (пр. 30), Кадник. (пр. 25, 26), Никол. (пр. 266), Сольвыч. (пр. 193), Тотем. (пр. 198, 201, Брок, 146), Устюж. (пр. 199), Ярен. (пр. 194). Белоз. (пр. 162, 166), Малмыж. (пр. 103), Нолин. (пр. 52), Слобод. (пр. 53, 222), Кашин. (Смирнов, 10), Ишим., Курган., Тар. (пр. 21); эта форма глагола дала в дальнейшем образование *доржать*, ср. его в Никол. (пр. 266), Белоз. (пр. 162), Череп. (Герасимов, 11), Макар. (пр. 56), Малмыж. (пр. 38), Нолин. (пр. 52), Орл. Вят. (пр. 63), Яран. (пр. 59), Верхот. (пр. 154), Красноуф. (пр. 139), Меленк. (пр. 247), Кашин. (Смирнов, 11), Самар. (пр. 40), Алатыр. (пр. 32), Буин. (пр. 57), Тюмен. (пр. 27); как видно, это образование в отдельных пунктах чередуется с формами типа *держать*, ясно тем самым свидетельствуя о непосредственном своем из него образовании. Таковы же формы *зёмский* Волог. (пр. 278), *сплётни* Олон. (пр. 29), Кадник. (пр. 31), Тотем. (пр. 203), Ярен. (пр. 194), Белоз. (пр. 162), Малмыж. (пр. 103), Муром. (пр. 100), Покров. (пр. 244), *двёрцы* Красноуф. (пр. 209). Однако большинство материала с *о* относится к лексике книжного происхождения: усвоение пришлой из литературного языка подходящей лексики с *е* на диалектной почве ведет к проведению в ней закономерного для общего русского языка перехода *е* в *о*. Ср. *смёртный*, *бессмёртный* Вытег. (пр. 22), Макар. (пр. 56), Кашин. (Смирнов, 11), *вётхий* Вытег. (пр. 22), Олон. (пр. 29), Вытег. и Петроз. (пр. 34), Волог. (пр. 278), Тотем. (пр. 201), Кирил. (пр. 215), Малмыж. (пр. 79), Остров. (пр. 33), Ишим., Курган., Тар. (пр. 21), также *вётошь* Яран. (пр. 59), *воскрёсный* Череп. (Герасимов, 11), Мещов. (пр. 41), *дёрзкий* Кадник. (пр. 25), Тотем. (пр. 203, Брок, 146), Кирил. (пр. 215), Костр. (пр. 264), Малмыж. (пр. 103), Слобод. (пр. 53), Камышл. (пр. 89), Чердын. (пр. 258), Остров. (пр. 33), Дмитр., Кур. (пр. 236), Ишим., Курган., Тар. (пр. 21), *крёст* повсеместно, *лёв* повсеместно в севернорусских говорах, *небёсный* Новгор. (Соловьев, 6), Кашин. (Смирнов, 10), *нёбо* (coelum) повсеместно, *пёрст* Холмог. (пр. 50), Новгор. (Соловьев, 6), *плёск* Макар., Костр. (пр. 56), *полёзно* Кирил. (пр. 205), *учёбный*, откуда *учёбник* [1] Грязов. (пр. 36), Никол. (пр. 266), Кашин. (Смирнов, 10), *шопчет* 3 лицо ед. числа Петроз. (пр. 30), *щодрый* Волог. (пр. 278), также в тюркском заимствовании *жомчуг* Шенк. (пр. 235), Новгор. (пр. 20). Отмечу еще как аналогически выросшие формы с *о* под воздействием иных соответственных форм или родственных образований: *шост* Волог. (пр. 278), очевидно, новое образование из косвенных падежей *шостá*, *шостý* и под.;

[1] Это произношение усвоено и просторечием; отсюда просторечная форма имени существительного *учоба*, в древнерусском прилагательное звучало *учьбьныи*.

формы с *о* перед мягким согласным: *падешовлие* Кирил. (пр. 205), ср. *дешовый, осённий* Волог. (пр. 24), из диалектного варианта прилагательного на *-ный, отсёль* Каргоп. (пр. 106), Тотем. (Брок, 146) и др., даже *отсоль* Костр. (Виноградов, 9), ср. *отколь, оттоль*.

Второй ряд случаев — с *е*, не перешедшим в *о*,— особенно обращает на себя внимание случайностью и разрозненностью подходящего материала. Здесь собственно трудно говорить об определенных территориальных целых, которым принадлежало бы данное явление; более того, может быть, даже здесь нельзя по существу говорить о «непереходе» *е* в *о*, как о целостном диалектном явлении, хотя такая именно трактовка дается иногда фактам этого круга.[1]

Наиболее распространены в произношении с *е* слова *перышко* и *ребрышко*, это произношение отмечено в Онеж. (пр. 41), Печор. (МДК XI, 21), Каргоп. (пр. 106), Олон. (пр. 29), Петроз. (пр. 30), Грязов. (пр. 36), Кадник. (пр. 25, 26), Тотем. (пр. 198), Ярен. (пр. 194), Борович. (МДК XII, 52), Белоз. (МДК II, 54), Кирил. (пр. 163), Галич. (пр. 55), Кинеш. (пр. 66), Кологр. (пр. 61), Чухлом. (пр. 62), Котельн. (пр. 35), Шадр. (пр. 210), Меленк. (пр. 247), Муром. (пр. 160), Кашин. (Смирнов, 10), Ардат. (МДК XII, 3), Алатыр. (пр. 32), Буин. (пр. 57), т. е. оно принадлежит лишь севернорусским по происхождению говорам. Между прочим, имя существительное *перышко*, в произношении с *е*, можно иногда слышать рядом с *пёрышко* в литературном языке. О причине «неперехода» *е* в *о* в этих словах трудно сказать с определенностью; может быть, появлению *о* здесь мешало диссимилирующее влияние, направлявшееся от лабиализованных гласных в смежных слогах. В тех же по происхождению севернорусских говорах широко распространена форма *дергать*, с *е*; ср. показания о таком произношении слова из Вытег. (пр. 22), Волог. (пр. 24), Кадник. (пр. 25), Тотем. (пр. 198), Кирил. (пр. 186), Кинеш. (пр. 66), Кологр. (пр. 58, 61), Чухлом. (пр. 62), Галич. (пр. 55), Нолин. (пр. 52), Шадр. (пр. 210), Муром. (пр. 100), Остров. (пр. 33), Кашин. (Смирнов, 10), Ишим., Курган, Тар. (пр. 21), Тюмен. (пр. 27). Эта форма слова должна быть объясняема из долгого сохранения в произношении мягкости *р*, препятствовавшего тем самым возможности перехода предшествующего *е* в *о*; с мягким *р*, между прочим, это слово звучит в ряде говоров и в настоящее время, например, среди отмеченного материала таковы данные из Чухлом., Муром., Кашин., Тюмен. уездов. В отдельных случаях с *е*, не *о*, перед нами книжная по происхождению лексика или лексика, в которой в старшей стадии литературного языка было произношение с *е*, например, *казенный* Бирск. (пр. 112), Мещов. (пр. 150), Елецк. (пр. 111), *пес* Соликам. (пр. 207), *Петр* Новгор. (пр. 8), Ишим., Курган., Тар. (пр. 21), может быть, и *рев* Кашин. (Смирнов, 10), *жесткий* Петроз. (пр. 13), *мерзнуть, мерзлый* Бирск. (пр. 112), Брян. (пр. 259), Елецк. (пр. 111), Касим. (ibid.), Козлов. (МДК III, 33); форма *далеко* Каргоп. (пр. 106), Новгор. (пр. 20), Елецк. (пр. 111) могла вторично полу-

[1] Дурново, Очерк истории русского языка, стр. 197.

читься из *далече*, или *черный* Каргоп. (пр. 106), Новгор. (пр. 20), Котельн. (пр. 35), *темный* Каргоп. (пр. 106), Грязов. (пр. 36), Котельн. (пр. 35), Белоз. (МДК II, 54) и под. могли сложиться из уменьшительных образований прилагательных на *-енький*, как *черненький*, *темненький*, *зелененький*, в этой старейшей форме (с *е*, не *о*), известной в говорах, например, в Тотем. (Брок, 146), Котельн. (пр. 35) и др. О прочем подходящем материале лексики с *е*, не *о*, за единичностью свидетельств трудно так или иначе высказаться с убедительностью. Таковы, например, единичные показания о *веревка* Елецк. (пр. 111), *гаршек* Остров. (МДК II, 24), *деготь* Кирил. (пр. 272), *женка*, *женушка* Олон. (пр. 29), Соликам. (пр. 207), *мед* Арзамас. (МДК XII, 3), Касим. (МДК III, 152), *пчелка* Козлов. (МДК III, 33), *принес* Каргоп. (пр. 106), Котельн. (пр. 35), *ушел* Борович. (МДК II, 12), *шлепнуть* Кашин. (Смирнов, 10). Возможно думать о вкрапившихся в этот перечень отдельных фактах случайного характера, которые соответственно требовали бы проверки и лишь в результате проверки могли бы предстать тому или иному объяснению. Итак, весь этот рассмотренный материал есть совокупность разрозненных фактов, не связывающихся единством какого-либо звукового явления.

Однако есть отрывочные указания на принадлежность отдельным говорам постоянного *е*, без перехода его в *о*. Таковы из материалов Московской диалектологической комиссии глухие свидетельства: 1) для Балашовского уезда Саратовской г. о постоянном здесь *е*, например в словах *терка*, *тетка*, *телка*, *куренок* и под. (МДК III, 22), и 2) для отдельных пунктов Рязанской г., а именно: а) Рязанского уезда с постоянным в Новосельской волости у женщин *е*, не *о*, например в словах *мед*, *зеленый*, *пирилет*, род. мн. *сел*, *асел* (asinus), *читырех*, прош. вр. *мел* и под. (МДК I, 112 и III, 59) и с произношением в сел. Дягилеве и др.— *лен*, *зеленый*, *деготь*, *ребенок*, 3 лицо ед. числа *придет* и т. д. (МДК III, 20) и б) Михайловского (Воронинская и др. волости) и Скопинского (Тапильская вол.) уездов — сведения одного автора и материал здесь и там один и тот же — *береза*, щи не *соленые*, рамы *зеленыя* «и проч.» (МДК III, 153). В последнее время получены сведения этого же рода, отчасти опубликованные (А. Н. Гвоздевым), отчасти еще не опубликованные (материалы, собранные Р. И. Аванесовым и др.), Пензенской области и отдельных пунктов Рязанского края; нельзя, однако, не заметить по поводу всего этого материала, что он сам по себе беден, отрывочен и недостаточен для ясного представления явления в целом. Из приведенных свидетельств, между прочим, должны, по-видимому, отпасть отмеченные факты из Балашовского уезда Саратовской г.: они принадлежат здесь с. Благовещенскому, находящемуся в соседстве с украинскими поселениями; в этой черте поэтому может быть усматриваем след взаимодействия с украинским языком. Вообще это явление требует дополнительных материалов, и только на их основе открылись бы перспективы научного освещения самого явления.

Переход *е* в *о* в русском языке, как указано выше, относится к судьбе старого собственно гласного *е*, как исконного, так и обра-

зовавшегося из *еря*. Гласный *ѣ* переходу в *о* вообще не подлежал. Поэтому старые хлѣбъ, мѣна, дѣло, мѣсто и мн. под. в современном языке звучат не с *о*, а с *е*. Между тем *ѣ* и *е* в литературном языке совпали в своем произношении. Очевидно, следует предполагать, что это совпадение *ѣ* и *е* произошло после прекращения действия закона о переходе *е* в *о*. Однако и здесь известное количество фактов, нарушающих общее положение, есть. Уже с давних времен история русского языка и школьные грамматики дают перечень этих отклонений, представляя соответственное их объяснение.[1] Это формы мн. числа *звёзды, гнёзда, сёдла, вёдра*, прош. вр. *цвёл, приобрёл*, прич. *надёван, осёдлан*, слова *поддёвка, позёвывать*, в областном языке прош. вр. *бёг* (*побёг, убёг* и под.), *ослёп*. Этот перечень в части лексики, употребительной в литературном языке, можно еще дополнить следующим материалом: мы имеем двоякое произношение ряда слов с *е* и *о*, например, в литературном употреблении *зёв* и *зев*, *оседлый* и *осёдлый*, *отцветший* и *отцвётший*; литературному произношению с *е* в словах *издевка, опека, слежка, сметка, осекся* соответствует в просторечии произношение с *о* (*издёвка, опёка, слёжка, смётка, осёкся*). Во всей этой лексике, кроме слов *ведро, опека*, практиковались по старой орфографии написания с *ѣ*. История русского языка в анализе этих форм обратила внимание на то, что в ряде случаев здесь следует исходить из наличия в словах первоначального не *ѣ*, а *е* (исконного или из еря). Практика прежних написаний этих слов с *ѣ* была поэтому исторически неправильной. Таково слово *сёдла*, мн. числа, также *осёдлый, осёдлан*; ср. ст.-слав. и др.-рус. *седьло*, с *е*, также польск. siodło; прош. вр. *цвёл* ведет к старой форме с *ерем* — *цвьлъ*, от неопр. накл. *цвисти*; такова же (областная) форма *ослёп*, ср. ст.-слав. *ослѣпѣти*, прош. вр. *ослѣплъ есмь*. Соболевский под сомнение ставит и характер гласного в словах *надёван, поддёвка, позёвывать*, обл. *бёг*, признавая возможным и здесь исходить из наличности в корнях первоначального гласного *е*, не *ѣ*. Таким образом, бесспорными словами с исконным *ѣ*, звучащими, однако, в современном литературном языке с *о*, являются формы мн. числа: *звёзды, гнёзда, вёдра* (ср. укр. відро, польск. wiadro), прош. вр. *приобрёл*, также известные в просторечном произношении *опёка* (ср. укр. опіка), *слёжка, смётка, осёкся*. Общепринятое объяснение появления *о* из *ѣ* в основной группе слов этого перечня сводилось к предположению аналогического воздействия на данные формы слов однотипных образований от иных слов. Так, отношение ед. числа *село́* и мн. числа *сёла* привело к появлению форм мн. числа *гнёзда, вёдра* при ед. числе *гнездо́, ведро́*, также наличность при ед. числе *сестра́* формы мн. числа *сёстры* привела к форме мн. числа *звёзды* при ед. числе *звезда́*, или тип прош. вр. *вёл, мёл* при *мету́, веду́* дал новое отношение — *приобрету́* ‖ *приобрёл*,[2] если форма *приобрёл* не получила *о* от внешнего

---

[1] Буслаев, Историческая грамматика, 29; Брандт, Лекции по исторической грамматике, 21; Соболевский, Лекции, 65.

[2] Соболевский, Лекции, 65.

сближения с глаголом *брести*, ср. прош. вр. *забрёл*, *обрёл* и под. [1]

Этот же принцип аналогии применяется исследователями и к объяснению прочего материала с спорным (по Соболевскому) *ѣ* в корне. Так, *надёван* объясняется из воздействия типа форм, как *воёван*, обл. *бёг* из форм типа *тёк* [2] и под. Следует сказать, что этот прин ип объяснения с затруднениями пришлось бы применить к фактам вроде *опёка*, *издёвка*. Нельзя, кроме того, не отметить механичности этого принципа объяснения и невозможности в том или другом виде аргументировать правильность этого объяснения. Наконец, должно указать на то, что подход к данным фактам и их объяснение до сей поры вообще считается с изолированным материалом литературного языка. Между тем факты этого же рода, и в обильном виде, представляются нашими диалектами. Вполне понятно, что правильный взгляд на данное явление в целом может быть установлен лишь при использовании всего подходящего материала, т. е. и материала диалектного характера.

Явление перехода *ѣ* в *о* на почве диалектов до сей поры мало привлекало к себе внимание исследователей.[3] Между тем, распространение этого явления и его рамки достаточно широки. Приведу подходящий фактический материал с расположением его в территориальном порядке. Мы располагаем следующими основными данными о произношении *ѣ* как *о* в черте наших диалектов.

Архангг. г. Архангг. — *гнёздо́*, *звёзда́* (при *гнездо́* и под.) (МДК XI, 2).

Беломор. — *телёга*, *гнёздышко*, *ц(ч)ёловать*, *звёзда*, род. ед. *вёдра́*, не *ёдаючи*, *велёно* (Васильев, 8 и сл.).

Кем.— *бесёда*, *крёсла*, *вёдра* (пр. 104), а у меня и *невёсты* нету, *невёска* (Ончуков, Сказки, 163, 168).

Мезен.— *гнёздо*, *звёзда*, но — *река*, *пешком* (МДК XI, 19).

Онеж.— *бесёда*, *телёга*, *вёдра*, *свётло́*, но *гнёзда* (пр. 260), на *бесёду* (Ончуков, Сказки, 557), смотри, ты, не *брёзгуйся*, два генерала у него сидели при той *бесёды*, ср. *бесёдка*=передок (Смирнов, Сказки, 15, 50, 115, 131).

Холмог.— *поддёвка*, *желёзка*, *телёжка*, *перемённый*, *гнёзда*, *вёдро*, ср. *сёдло*, *цвёло* (пр. 50).

Шенк.— *бесёда* (пр. 80), *телёжный*, *брёзговать*, мн. *крёсла*, *вёдра* при *вёдро* (пр. 83), *бисёда*, *замёшка*, *телёга*, ед. число *гнёздо*, *звёзда* при *гнездышко*, мн. *гнезда*, *гнезд*, *звезды*, перед ударением колебание — *пёсок*, *бёгут*, *вёнок*, *ёдкой*, *ёздок*, *задёвает*, *нёмой*, *пётух*, *плёшивой*, *сёдок*, *сёнокос*, *тёсной*, *цёловать* и произношение с *е*, ср. еще *осёдлой* и с колебанием *цвёл*, *цвёла* и *цвеў*, *цвела* (в южном поднаречии, Мансикка, 97).

---

[1] Брандт, Лекции, 24; Дурново, «Рус. фил. вестник», т. 43, стр. 169.

[2] Богородицкий, Общий курс русской грамматики, 87.

[3] Так, в специальной работе В. В. Виноградова, посвященной судьбе *ѣ* в севернорусском наречии, всего несколько строк уделено этому вопросу (см. ЦОРЯС, XXIV, 342).

Олон. *г.* Вытег.— *поддёвка, бисёда, трёснуть, вёдро, гнёздо, цёлует*, ср. *цвёло* (пр. 22).

Каргоп.— *бесёда, телёга, крёсла*, род. ед. *гнёзда*, ср. *цвёло, сёдла* (пр. 106).

Олон.— с колебанием *бесёда, сусёд, трёснуть, трёзвый* и в произношении с *е, гнёзда, цолует* (пр. 29).

Петроз.— *бесёда, сусёд, цолует* (пр. 13), *бесёда, трёснуть, крёсло* и мн. *крёсла, вёдра, сёк, росёк* ногу топором, род. ед. *гнёзда, плёшивой, цоловать* (пр. 30), *бесёда, телёжный, трёснуть, сусёд* и *сусид, пётух, въёзжать* (пр. 34), *сусёд, натрёснулась, побёгали* ёны домой, *поцёлую, вёдро, одёвал, гнёздо*, ср. *сёдло* (Ончуков, Сказки, 205, 210, 223, 232, 249, 291, 328, 332, 339).

Повен.— сидят они *бесёдуют*, к *сусёду, невёста* (Ончуков, Сказки, 353, 426, 438, 456, 485).

Пудож.— *тилёга, бисёда, сусёт, вётхой*, но *звезды, гнезда, ведра*, род. *ведёр*, ср. *цвёл* (Мансикка, 147, 149).

Волог. г Великоуст.— *помёшковшы* (Белоруссов, РФВ 18, 207), мн. *вёдра, вёхи, крёсла* при ед. числе *вёдро*, род. ед. *гнёзда, цолует*, ср. *цвёло* (пр. 195, 202).

Вельск.— *призамёшкавсе* (Смирнов, Сказки, 147).

Верхнетоем. р.— *звёзда, пётух*, но *река*, в *лесу* (МДК XII, 163).

Волог.— мн. *вёдра* (пр. 82), *хрён, блёдный, бёдный, блёск, пёст, брёди, бёда, пёсок* (пр. 278), *гнёздо, звёзда, пётуха, тёснота* (МДК XI, 73).

Грязов.— *сусёд, трёзвый*, мн. *вёдра, крёсла, въёзжать, цолует* (пр. 36), *слёпой* (Мат. X, 33), *сусёд, въёжжать, рёка, бёдуха, цёна, в лёсу, надёвать, пригрёвать, слёпой, цолуёт*, но мн. *звезды, гнезда* (МДК III, 72, 75).

Кадник.— *крёсла, вёдра, гнёзда, цолует* (пр. 25, 26), *сидёлка* (пр. 26), *гнёзда, звёзды, приобрёл*, ср. *цвёл* (пр. 31).

Никол.— *крёсла*, под *опёкой, вёдро, пётух, бёда, вёнок* «и т. д.», ср. *цвёло* (пр. 266), в юго-зап. части уезда *вi͡едра, рострi͡ескало*, в неударяемом положении *е*, в юго-вост. части — *рёка, сёнокос, пёсок, слёпой, сёдой, бёда, мёшки, прибёгала, надёвать, бёжы грёха, пёшеходом, в лёсу*, на́ *лёс, потсёка, двёнадцеть, двё вёрсты* (Мансикка, 202—208), *гнёздо*, в *лёсу, рёка, пётух* (МДК XI, 100).

Никол. и Ветлуж.— *рёка, пётух* (ib. 102).

Сольвыч.— *телёга, телёжный*, мн. *крёсла, вёдра, вёдер* при ед. *вёдро, гнёзда, звёзды, мёшкать, чёлуй, почёловали*, ср. *сёдла, цвёло, тверёзный* (пр. 193), *гнёздо* (МДК XI, 115).

Тотем.— *трёснуть, цёлует*, ср. *цвёло, сёдла* (пр. 192), *крёсла, вёдра, ср. сёдла* (пр. 203), *цёлует* (пр. 196), *крёсла, вёдра* (пр. 201), *крёсла, вёдра, вёдер, вёшка* (пр. 198), мн. *вёдра* (Колосов, 321), мн. *гнёзда*, при ед. *гнёздо*, но *звезды, бёда, бёгу, цолую, цвётной, цвёток, дёваў, лёсá, лётá, мёстá, нёмой, пёсок, рёка, сёку, сёкла, зёвать*, перед *ш, ж* колебание — *бежать*, но *пёшком, уежджать*, но *поёжджай* (Брок, 22—25).

Я р е н.— *крёсло*, мн. *крёсла*, *вёдра*, *вёдер* (пр. 194).

Н о в г о р. г. Б е л о з.—*зёвать* (пр.162), *бисёда*, *телёга*, *вёдро*, *цоловать* (пр.166), *сверёпый*, *крёсла* (пр. 184), *звёзда* (МДК XII, 51), мн. *вёдра*, при *гнёзда*, *звёзды*, *цёлуй*, *цёловальник* (МДК II, 55), *рёпа*, *рёпка*, *смёшана*, *цёловать* (Соколовы, Сказки, 51, 84, 323).

Б о р о в и ч.— *цолую*, *цолковый* (МДК XII, 53).

К и р и л.— *лёс*, *мёдь* (пр. 164), *посидёўки*, *убёг* (пр. 167), *поцёловали* (пр. 186), *бесёда*, *бесёдуйте* (пр. 205), *телёга*, *телёжный* (пр. 215), *крёсло*, *дрёма* (пр. 272).

К р е с т е ц.— *бёда* (Собол. Опыт, 35), *бесёда*, *хрён* (пр. 160), *звёзда*, *гнёздо* (МДК II, 13 и XII, 69).

Н о в г о р.— мн. *вёдра* при ед. *вёдро́* (Колосов, 14, Обнорский), *двёнадцать* (РФВ, 40, 102), *цалковой* (Селищев, 151).

С т а р о р.— ср. *рёдка* (=редька) (МДК III, 132).

Т и х в.— *бесёда* (пр. 271), под *бесёткой* (сиденье в экипаже) (МДК II, 113).

У с т ю ж н.— *приобрёл*, колебание *вёшка* и *вешка*, *цапочка*, *цалковый*, *зацапить*, ср. *поддевка*, *надеван*, мн. *гнёзда*, *звёзды*, ср. *цвёл* (пр. 28).

Ч е р е п.— *гнёздо*, *звёзда* (МДК XII, 82), *слёд*, *крёсла*, *сёрый* (волк), *уцопнуто*, ср. здесь же *котить* (Герасимов, 10—12), *надёваю*, ср. мн. *гнезда*, *гнезд* (Еремин, 32, 43), по *цёлковому* рублю (пр. 268).

К о с т р. г. Б у й с к.— *влёво* (Еремин, 5), *цолует*, *цолковый* (пр. 18).

Г а л и ч.— *вёшка*, *вёдра*, *цолуй* (пр. 55).

К и н е ш.— *цолует*, *цоловальник* (пр. 66).

К о л о г р.— ср. *гнездышко* (пр. 58).

К о с т р.— *вёдро*, *рёка*, *гнёзда*, *пёсок*, *пётух*, *слёпова*, *цолует*, ср. *цвёло* (пр. 44), *добёгу*, *пётуха*, мн. *вёдра*, *свётлой* мисяц-от (пр. 264), *задёну*, *надёну*, платье *одёнут*, мн. *вёдра* и ед. *вёдро*, *слёпой* (Виноградов, 7, 13, 78, 82), *вёдро*, *слёпова* (Еремин, 4, 7).

М а к а р.— *вёдро*, *пёсок*, *гнёзда*, *рёка*, *пётух*, *слёзай*, *перелёзай*, *сёдой*, *смёхý*, *ёдкòй*, *слёпой*, *поцолуй*, ср. *цвёло* (пр. 56).

Н е р е х.— *пёску*, *свётло*, *рёка* (Собол. Опыт, 39), *гнёздо*, *звёзда*, *пётух*, *бёгу*, *бёгóм* (МДК XI, 164, 173, 180).

Ч у х л о м.— *вёдер* (пр. 62).

Я р о с л. г. П о ш е х.— *бисёда* (Собол. Опыт, 38).

Р о с т о в.— *бёгý*, *надёвать*, *пёýн*, *пётух*, ср. *звезды*, *гнезда*, также *седлы* (РФВ 65, 284), *вёдро*, *вдёвать* (Волоцкий, 7), *гнёздо*, *звёзда*, *пётух* (МДК XII, 185).

Т у т а е в.— *гнюóздо*, *звюóзда*, *пётух*, в *лёсу*, *мёнять*, ср. здесь *прёду*, *пёти*, *глёдеть* (МДК XII, 188).

У г л и ч.— *рёка*, *пётух* (МДК XI, 99).

Я р о с л.— *вёдро*, *сёкý*, *бёгý*, *звёзной* (Тихвинский, 36).

В я т с к. г.— ср. *пряслы* (=перила у телеги), здесь же *извяс(т)ка* (Зеленин, 5).

В я т.— *чёлой* (=целый) (Васнецов, 341), из *цолова*, *набёлка*, ср. *цвёл* (Тр. Вят. П. И. III, 22).

Глазов.— *поцоловал*, больше *цолковова* (Зеленин, Сказки, 48, 50, 412).

Котельн.— *вёдро, гнёзда, пётух, пёсок, цёлует*, ср. *цвёло* (пр. 35), *цолует* (пр. 46), ср. мн. *вёдра* (МДК IX, 109).

Котлас.— *чоловати* (Тр. Вят. П. И. III, 67).

Малмыж.— *вётка* (пр. 38), *вётка, цолует* (пр. 79), *вёшка, пётух, цолуй*, ср. *цвёло* (пр. 103), в *плёну, звёзда, вывёска, пёгий*, ср. *сёдло* (пр. 105).

Нолин.— *цёлый, цолует* (пр. 52, 68).

Орл.— *трёзвый*, мн. *крёсла* (при ед. *крясло*) (пр. 42), *дёвать* (Смирнов, Сказки, 405).

Слобод.— *цолует* (пр. 48), мн. *крёсла* (при ед. *крясло*), *вёдра* (пр. 65), колебание *вёдрами* и *ведрами* (пр. 120), мн. *вёдра, цолует* (пр. 222), *вылёз* (МДК XI, 130).

Яран.— *цоловать, поцолуй, цолковый* (пр. 59, 101, Зеленин, Зап. Юрьев, унив.), *ёжово* (=еда) (Зеленин, 50).

Пермск г. Верхотур.— *соловать* (целовать) (пр. 154).

Екатеринб.— *цолуй* (Зеленин, Сказки, 124).

Ирбит.— ср. *крясло* (пр. 204).

Красноуф.— *блёдный, побрёзговал, крёсло* (пр. 139), ср. мн. *кряслы* (у саней) (пр. 209, Михайл. завод, акающий говор).

Оханн.— *поцаловала* (Селищев, 151).

Перм.— ср. мн. *ведра* (Колосов, 321).

Чердын.— *крёсла*, род. *вёдер* (пр. 258).

Шадр.— *блёдный, солует* (пр. 128, 211).

Казан. г. — с *розбёгу, бёгу* дал, *бёда, пёсок, гнёздо, слёпой, гнёдой, нёма, бёгом*, на *бёлóй* груди, ср. *снегá, следов* и др. (РФВ 71, 9, река Белая), *сёдой, слёпой, сённой* (ib. 32, 85).

Елабуж.— сама ты *лёнива* (Смирнов, Ск., 373).

Казан.— *двёнадцать*, на *сённý*, 3 ед. *зёват, свётлó, слёпой*, ср. мн. *звезды, звездочками, ведрами* (РФВ 32, 88, 91).

Краснококш.— *гнёздо, звёзда*, в *лёсу, пётух, рёка* (МДК XI, 151).

Лаиш.— *гнёздо, глъхонёмой* (РФВ 12, 198), *сёдок, дёвали, объёдают* (РФВ 32, 88).

Тетюш.— в *лёсу* (МДК II, 5), *гнёздо, звёзда, пётух*, в *лёсу* (МДК XI, 136, 138).

Цивил.— крик и *зёф* на барском дворе, *ёда, ёзда, вёдро, гнёздо*, мн. *лёсá, слёпова*, на *пёске* (пр. 143).

Владим. г. Александр.— *пётух* (МДК XI, 35).

Владим.— *одёваютца, патсёкáй, двёнатцать* (Чернышев, 27).

Ковров.— *пётух* (МДК XI, 37).

Меленк.— *вёшка, крёслы, вёдры* при *гнезды, зёвать, цолуй*, ср. *цвёло* (ср. *река, песок*) (пр. 247), *гнёздо, звёзда*, в *лёсу, рёка, пётух* (МДК XI, 44).

Муром.— *трёзвый*, мн. *гнёзда, вёдра* при ед. *вёдро, пёсок, пётух, рёка* (и *река*), *цолуй, цолковый*, ср. *цвёло* (пр. 93), *слёпова, вёдро, гнёзда, пёсок, пётух, нёмой, бёгом, сёдой, гнёдой, ёда, цолуй,*

ср. *цвёло* (пр. 100), *слёпой* (РФВ 58, 213), *рёка, высёвать*, в *лёсу, пётух, цолу́ю, цолковый* (МДК XI, 46).

Муром. Переясл. Судог.— *вёшка, бёда, ёда, пёсок, рёка* (Колосов, 289).

Переясл.— *пётух* (МДК XI, 48), *нёмой, слёпой, пёшком, пётух*, в *лёсу, бёгут, рёка*, но *звезды* (ib. IX, 69, 71, 74).

Покров.— *пётух*, ср. *гнёзда* (пр. 10), *цолует* (пр. 6), мн. *вёдра, пётух, цолует*, ср. *цвёло* (пр. 244), *побёк, убёк, гнёздо, звёзда, пётух*, ср. *река*, в *лесу* (МДК XI, 51, 55).

Судог.— *вёдро, рёка, твёты*, колебание *ё* и *е* в *мё(е)ста, цо(е)лую*, но род. мн. *звіест* (Бубрих, 318—319), *гнёздо, пётух, пёску, звёзда*, в *лёсу, рёка* (МДК XI, 56—59).

Суздл.— *сёф, посёваам, высёвают, затёвать, зёвала, одёвалис* (Чернышев, 16, 22).

Тейков. р.— *гнёздо, пётух, зёвать* (МДК XI, 151).

Шуйск.— *убёг, пётух, въёзжать, цолует* (пр. 19).

Юрьев — *посёф, сёву* нет, *высёвают, одёну́са, надёну́, надёваам*, но род. мн. *ведр* (Чернышев, 3, 5, 11).

Тверск. г. Бежецк.— *рёка, пётух* «и под.» (Еремин, 29).

Каляз.— *пётух* (МДК XII, 174).

Кашин.— *вёха, вёшить, сёк, бёк, побёк, убёк, пёхом*, мн. *вёдры, сёку́, тьвёты, дрёмать, цолковый*, ср. *цвело, россвёло* (Смирнов, 12).

Кимр. р.— *звёзда* (МДК XII, 195).

Ржев.— ср. *цоп* (РФВ 75, 255).

Тверь.— *вёдро, забёгайти, слёпых, бёда, двёнатцать, пёсок, высёвам*, в *лёсу*, на *снёгу, клёвы́* (хлевы) (Чернышев, 1, 5, 7).

Псков. г. Новорж.— ср. *рёдка* (=редька) (МДК II, 23).

Остров.— *вёдра, гнёзда, хрён, блёдый* (=бледный) (пр. 33).

Псков.— *звёзды*, но *гнёзда* (пр. 175).

Торопц.— мн. *гнёзда, вёдра, звёзды, мядвёдок* (пр. 233).

Холм.— *хрён* (пр. 159).

Петрог. г. Луж.— *гнёздо, звёзда*, в *лёсу* (МДК XI, 184), *бёда, двёнадцать* «и др.» (иногда) (РФВ 40, 108), *хрён* (Соболевский, Опыт, 47).

Моск. г. Бронниц.— в *лёсу, двёнатцать* (Каринский, 360).

Воскрес. и Можайск.— ср. *ведьр* сорок (МДК IX, 125).

Звениг.— *пасёф* (Чернышев, 151).

Клин.— мн. *вёдры, бёго́м, прибёгла́, дёвался, иссёку, припёвают*, в *завёту́, ёзды́* (Чернышев, 10, 24, 65), *ёды́*, 3 ед. *поёдывать* (=ест) (МДК I, 32).

Моск.— *просёкают* (Чернышев, 75, Озерецкая вол.), мн. *вёдра, звёздаф, звёздачка*, по начам *ёзды* пашли, *зёф, пасёф* (Чернышев, 10, 34, 41, 179).

Руз.— *гнёзды, надёван, поддёфка, абрёл, бёк, сёк*, но мн. *вёдры*, с колебанием — *звё(ё)зды, звё(ё)здачка* (РФВ 43, 169).

Самар. г.— *сёвом, подъёдывает, бёг, забёг* и под. (РФВ, 41, 51).

Самар.— *нёмой, бёгóм, пёсок, слёпой, пётух, вёдро, бёгý, цолуй* (пр. 40).
Нижег. и *Симб. гг.*— *вёдро*, в *лёсу* (МДК III, 171).
Нижег. г. Ардат.— на Москву на *рёку* (ЭС V, смесь, 29).
Арзамас.— *цолковый* (Собол. Опыт, 58), *пётух, гнёздо, звёзда*, в *лёсý* (МДК XII, 1, 13, 22), +*вёдро* (ib. 196).
Горбат.— *дёвать* (Собол. Опыт, 40).
Макар.— *гнёздо, пётух*, но — *река, звезда* (МДК XII, 23).
Семен.— *гнёздо, звёзда, пётух, рёка*, в *лёсу* (МДК XII, 26—29), *нёмая, слёпой, бёгут*, не *ёдала, ёды, нъ лёсу*, в *лёсу, дъсёвал, двёнаццать, посёку, нъдоёдат* 3 ед. *цоловать* (Изв. Нижег. у., II, 351, 354).
Симб. г. Алатыр.— *вёшка, вёдро, гнёздо, рёка, пёсок, пётух, бёда, вёнок, звёзда, слёпой, нёмой, гнёдой, сёку, цолует*, ср. *цвёло* (пр. 32).
Буин.— *вёшка, свётлó, вёдро, гнёздо, пёсок, пётух, цолуй*, ср. *цвёло* (пр. 57).
Курмыш.— *бёда*, из *вёдра, бёгóм* (Варш. У, И. 144, 135), *бёда, слёпой* (Собол. Опыт., 42), в *пёску, бёды, гнёздо, залёзать, высёвать*, мн. *лёсá* (МДК XII, 155).
Сарат. г. Кузнец.— *пётух* (МДК XII, 161).
Петров.— *пёсок*, ср. *цоп* (=*цеп*) (МДК III, 23, 24).
Сарат.— *бёк, поёдъвай*, на *бёгу, свётлó, вёдрó*, но мн. *ведры* (Slavia, VII, 483).
Сердоб.— *гнёздо, звёзда*, в *лёсу, пётух, рёка* (МДК XII, 147), *сёф* (Уч. Зап. Сар. у. VI, 3, 352).
Пенз. г. Керен.— *цоп* (МДК IX, 84).
Мокш.— *вёдро, гнёздо, слёпова* (пр. 230).
Наровч.— *цоп* (МДК X, 50).
Калуж. г. Медын.— *вёшка*, мн. *вёдра, гнёзда, звёзды* (пр. 263).
Мосал.— *зацопицца* (РФВ 38, 193).
Тамб. г. Шацк.— ср. *звездычкя, звездушка* (Дурново, 924).
Тульск. г. Белев.— мн. *цодим* (Будде, 896).
Крапив. и Тул.— мн. *бёды* (РФВ 10, 26).
Орл. г. Брян.— *опёка*, мн. *вёдры, звёзды*, ср. *сёдлы* (пр. 259).
Малоарх.— *цоп* (МДК X, 93).
Новосил.— *нацоплина* (Будде, 30).
Ряз. г. Егорьев. — *посёву* немного (Чернышев, Мат. VII), ср. *звёзды, звезная* ноц, *гнёзды, гнест, ведры, треск, мелкай* и др. (Шахматов, 192).
Касим.— *вёкша* (у детей) (пр. 111), ср. *звездушка, ведрами* (Будде, 92).
Курск. г. якающие говоры (Кур., Тим., Фатеж., Щигр. и др.) *уцопицца* (Халанский, 6).
Обоян.— *уцопицца, цопкай* (РФВ 38, 95).
Путивл.— мн. *вёдры* (Халанский, 115).
Судж.— *зацопицца, цподить* молоко, мн. *гнёзды, звёзды*, но с колебанием *вё(é)дры* (Резанова, 223, 229).

Ворон. г.— *пабёх, рёзвы*, ср. *аслёп* (РФВ 37, 257).
Валуйск.— мн. *вёдра, звёзды, хрён* (пр. 261).
Харьк. г. Старобельск. — *уцопицца, цопкай* (РФВ 30, 151).
Терск.— *вмёшивается*, не *перемёшина*, ср. *гнездами*, с колебанием *звё(ё)здачка* (Караулов, 12).
Тобол. г.— *цолуй*, ср. *гнезда, звезды* (пр. 21).
Тюмен.— *цалуй* (пр. 27).
Ишим., Курган., Тар.— *цолуй* (Селищев, 274).
Иркут. г.— *пётух, дёдушка* (Селищев, 21, р. Ангара).
Илим.— *нацодют* 3 мн. (Черных, 6).
Краснояр.— 3 ед. *дрёмится, ёдаво* (Селищев, 21).
Вост. Сибир.— 1 мн. *поёдем* (Селищев, 21).
Енис.— *выёжжат, проёжжал* (Селищев, 21).

В приведенном материале налицо все те экземпляры лексики, которые выше отмечены как звучащие в литературном языке с *о*, причем здесь они известны и в произношении с *о*, и в архаическом произношении с *е*, но, кроме того, они представлены (конечно, в полосе оканья) большим числом фактов с *о* в безударном положении корневого гласного. Так, мы находим по диалектам формы мн. числа *вёдра, вёдер* при формах *вёдра, вёдер*, а рядом в ед. числе широкое по распространению произношение *вёдро́*; также при *гнёзда* и *гнёзда* во мн. числе почти повсеместна форма *гнёздо́* в ед. числе, или при *звёзды* и *звёзды* во мн. числе, также при производных типа *звё(е)здочка, звё(е)здный* и под., почти повсеместна в ед. числе форма *звёздá*, при *надёван, поддёвка* произношение с *е* (см., например, Устюжн. у.), а рядом в глаголе *девать* и многообразных от него производных широко распространенное произношение *о* и т. д.

Обращает в приведенном материале на себя внимание территория распространения произношения *о* из *ѣ*. Это исключительно грани севернорусских говоров и переходных говоров с севернорусской основой. В южнорусских, исконно акающих говорах эта черта начисто отсутствует. Спорадические свидетельства о наличии данного типа форм в южнорусских диалектах должны расцениваться как указания на смешанный состав данных говоров, на наличность в них пришлого элемента севернорусского происхождения. Ср., например, указания на наличность произношения *вёшка* в Медынском у. Калужской губ., но здесь как раз смешанный состав населения; прочие показания этого же рода настолько единичны (ср. единичную форму мн. числа *бёды* в Тул. и Крапив. или форму *рёзвы* в Валуйск. уезде Ворон. губ. и др.), что позволительно на них особо не останавливаться. Это случайные севернорусизмы в полосе аканья, отчасти занесенные сюда с песенной традицией с севера. Однако ближайшее рассмотрение материала свидетельствует, что и пределам севернорусских говоров данная черта принадлежит не в полном виде. Мы видим бледное отражение ее на крайнем севере (говоры Архангельского и Олонецкого края) и западе (запад Новгородской области) северно-

русской территории. Широко дает себя знать явление в Вологодском крае (впрочем, не во всем Вологодском крае: ср. отсутствие этой черты в юго-западных частях Никольского уезда при широте ее распространения на юго-востоке или скупое ее проявление в Вельском, Кадниковском, Яренском уездах), далее частично в Костромской, Ярославской, Вятской областях. В Пермском крае эта черта почти отсутствует. Далее, особенно обильно сказывается эта черта в говорах Казанского и Владимирского краев и соответственно в линии Поволжья (особенно Нижегородская, Симбирская, частично Самарская, Саратовская, Пензенская губ.). В центральной части среднерусских говоров мы встречаемся с отзвуком явления в Лужском уезде, в отдельных пунктах Тверской губ., частично в Московской области (Бронницкий, Звенигородский, Клинский, Московский уезды). Эта картина современного распространения данной черты позволяет заключить о принадлежности ее исконно говорам Вологодско-Вятского и Владимирско-Поволжского краев, причем с течением времени, следует предполагать, произошло местами побледнение или полное исчезновение черты, например, в Пермском крае, частично в Вятской области и др.

Если посмотреть на фактический материал с произношением *о* из *ѣ*, мы увидим в преобладающем виде свидетельства о переходе предударного *ѣ* в *о*. В этом отношении можно было бы указать на большое число пунктов, по которым представленные фактические свидетельства с *о* из *ѣ* относятся лишь к лексике с *ѣ* в предударном положении. Таков, например, материал из разных мест Вологодского края, особенно из Никол. и Тотем. уездов, также из областей Костромской, Ярославской, Казанской, Владимирской и др. Мы вправе отсюда сделать заключение о первичном образовании *о* из *ѣ* именно не под ударением. Так, при сохранении в подударном положении старого произношения *ѣ* (как разных степеней *е*), например, в словах *лес, сев, свéтлый, éду* и под., мн. *гнéзда, звéзды, вéдра* и проч., в очерченной полосе говоров возникло *о* в формах в *лёсу́*, мн. *лёса́, засёва́ть, свéтло́, ёда́* или *гнёздо́, звёзда́, вёдро́* и мн. под. Из истории русского языка нетрудно видеть, в чем заключалась основная причина этого явления. Это было совпадение, именно не в ударяемом положении, старого *ѣ* и *е*. Новое же *е* из *ѣ* испытало общую на почве данных говоров судьбу с исконным *е*, т. е. перешло, в частности именно в предударном положении, в *о*. Известно из диалектологии, что именно Вологодско-Вятская и Владимирско-Поволжская группы севернорусских говоров характеризуются широким проявлением перехода именно предударного *е* в *о*. Этой черты вообще нет в северной и в западно-новгородской группе севернорусских говоров, которым преимущественно свойствен переход *е* в *о* в положении за ударением. С этой картиной судьбы старого *е*, таким образом, совпадает на почве указанных говоров судьба старого *ѣ* не под ударением.

Если исходить из положения о первоначальности перехода в *о* лишь неударяемого *ѣ* (обычно это предударное *ѣ*), то все факты с *о* из *ѣ* под ударением должно считать вообще вторичным, позднейшим

явлением языка. В большинстве приведенного в перечне фактического материала этого рода, действительно, следует усматривать аналогическое перенесение *о* в подударное положение из соответственных форм тех же слов или родственных образований с новым *о* из *ѣ* в неударяемом положении. Так, *бёгу́* привело к *бёг* (прош. вр.),[1] *посева́ть* и под. к *сёв, посёв, вёха́*, к *вёшка, ёда́* к *поёдывать, надёвать, задёвать* и под. к *надёван, поддёвка, издёвка, зёвать* к *зёв*, *пёшко́м* к *пёхом* (ср. укр. піхом) *(при)обрёта́ть* к *(при)обрёл, светло́* к *светлый*, ед. число *звёзда́, гнёздо́, вёдро́, вёха́* к формам мн. числа с *о — звёзды, гнёзда* и мн. под. Этот же процесс следует предполагать в диалектных фактах вроде *пёст, слёд, хрён, лёс* и под., ср. формы в *пёсту́*, в *лёсу́* и т. д.; образование форм с *о* вроде *бёдный, пёгий, рёзвый, сёрый, цёлый* и др. под. следует объяснять из существующих в диалектах параллельных форм прилагательных с наконечным ударением (*сёро́й, рёзво́й* и т. д.). В конечном итоге осталось бы очень небольшое количество таких данных, которые потребовали бы особого своего объяснения. Так, следует выделить формы *бесёда, бесёдовать, сусёд*, по-видимому, и *невёста* и предполагать во всей этой лексике наличность исконного в корне *е*, не *ѣ*. В отношении *беседа* и *сусед* такое предположение высказано уже Соболевским; что касается слова *невеста*, то этимология его, хотя и имеет большую литературу, неясна, проблематичны, в частности, этимологические попытки связать слово с корнем *вѣд-*(*ведать* и под.). Во всяком случае нельзя не обратить

---

[1] Форма бѣгъ как прош. время имеет почти повсеместное распространение в русских говорах. Но замечательно распределение двух разновидностей этой формы по произношению ее с *о* или *е*. Выше в материалах перечня даны немногие сведения о форме *бёг*, с *о*, из диалектов, в которых более или менее широко по употреблению общее явление с произношением *о* из ѣ. Если бы привести более полные сведения о взаимном распространении одной и другой разновидности формы, можно было бы убедиться в резком территориальном их размежевании: вариант *бёг* есть типическая севернорусская форма (по происхождению), вариант *бег* — форма чистой полосы аканья, форма южнорусская. Ср. сведения о первом из вариантов формы из севернорусских и переходных говоров — из Холмог., Шенк., Каргоп., Великоуст., Кадник., Сольвыч.,Тотем., Белоз., Кирил., Крестец., Тихв., Устюж., Череп., Кинеш., Кологр., Костр., Макар., Молож., Мышкин., Ростов., Яросл., Елабуж., Малмыж., Слобод., Галич., Екатеринб., Красноуфим., Кунгур, Солик., Чердын., Меленк., Муром., Покров., Судог., Сузд., Шуйск., Казан., Козмод., Цивил., Оренб., Бельск., Вязем., Дорогобуж., Смол. и Ржев., Великол., Остров., Порх., Псков., Холм., Каляз., Кашин., Твер., Лифл. г., Гдов., Бронниц., Верейск., Можайск., Руз., Нижег. г., Семен., Самар. г. и уезда, Алатыр., Буин., Корсун., Курмыш., Сызр., Инсар., Мокш., Чембар., Сарат., Медын., Мещов., Терск., Тобол., Енис. Напротив, вариант в произношении с *е* (*бег*) свидетельствуется показаниями из южнорусских говоров из Мосал. Шацк., Белев., Крапив., Брян., Елецк., Льгов., Мцен., Новосил., Курск. г. (якающие говоры Кур., Тим., Щигр. и др. уездов), Грайвор., Дмитр.-К., Путивл., Судж., Щигр., Зарайск., Скопин., Спасск., Ворон. г., Задон., Коротояк. Характерно колебание в отдельных местах в южнорусском произношении *бёг* и *бег*. Помимо Егорьев. и Касим. уездов, как говоров переходных, следует отметить наличность в Орл. г. формы *бёг* как типичного произношения цукапов, та же форма свойственна как типичная черта цукапов в Щигр. уезде, колебание в произношении формы принадлежит и горюнам в Путивл. уезде, в Донской области резкое разграничение в употреблении одной и другой разновидности формы — форма *бег* принадлежит верховым казакам, форма *бёг* — низовым.

внимания по поводу всех этих слов на то, что их произношение с *о* свидетельствуется главным образом пунктами, лежащими вообще вне территории, на которой известен переход *ѣ* в *о*. Так, *бесёда* отмечен в Кем., Онеж., Шенк., Вытег, Карг., Олон., Петроз., Повен., Пуд., Белоз., Кирил., Крестец., Тихв., Пошех., форма *невёста* отмечена в Кем., Повен., произношение *сусёд* — в Олон., Петроз., Повен., Пуд., Грязов. Перед нами территория крайней северной и западноновгородской зон севернорусского наречия, т. е. областей, которым именно, согласно со сказанным выше, было чуждо явление перехода как *ѣ*, так и предударного *е* в *о*. Эти факты тем более подкрепляют мысль в предположении о наличии в отмеченной группе слов не *ѣ*, а *е*, в подударном положении давшего нормально *о*. Предположение об исконном *е*, не *ѣ* (или о вариантном *е*, диалектно существовавшем рядом с *ѣ*) можно высказать и в объяснение некоторых иных форм с *о*, как *блёск* (ср. укр. *блеск*), *вёкша* (ср. укр., по Преображенскому, *векша*, в древнерусском колебание *векъша* и *вѣкъша*), *вётхий*,[1] *телёга*.[2] В единичных случаях *о* из *ѣ* под ударением содержится в книжной, пришедшей из литературного языка, лексике, например, в *трёзвый*, *свирёпый*, *перемённый*, *брёзговать*, такова же, видимо, широкая по распространению форма мн. числа *крёсла*. Ср. сходные случаи книжной лексики с *о* из *ѣ* в предударном положении: *грёха* (Никол.), в *завёту* (Клин.), в *плёну* (Малм.) и др. Неясны содержащиеся в единичных свидетельствах формы с *о* — *дёдушка* (Иркут. г.), *рёп(к)а* (Белоз.).

Вне всего рассмотренного выше материала с *о* из *ѣ* должны быть еще отмечены две группы фактов, как факты особого значения и происхождения. В соответствии с древнерусским *цѣловати* мы повсеместно в говорах встречаем форму *цоловать*, т. е. с переходом предударного *ѣ* в *о*. Происхождение этой формы, очевидно, должно быть особое, независимое от рассмотренного выше явления с переходом *ѣ* в *о*, как явления ограниченной территории. Следует согласиться с предположением Шахматова[3] о том, что в данном случае перед нами старое общее русское изменение неударяемого *ѣ* в *о*, вызванное ассимилирующим воздействием со стороны *о* в соседнем слоге. Ср. сходное явление в *цолковый*, ср. еще отмеченное в Онеж. (пр. 41) *цёлóй* (=*целый*). Глаголы *цедить*, *цепить* и производные образования в известных условиях южнорусского чередования типа: *катúть*//*кóтишь* получили в южнорусских говорах формы с *о*: *цодим* 1 лицо мн. числа (Белев.), *ццодить* 3 лицо ед. числа (т. е. *сцедит*) (Судж.) и под. или 3 лицо ед. числа *зацопицца*, *уцопицца* и под. (показания из Калужской, Орловской, Курской и др. губ.); ср. отсюда *цопкай* (Обоян. Старобельск.). На почве этих последних форм, видимо, сло-

[1] Старую парность темы этого слова, с *е* и Ѣ предполагает и Соболевский (см. Лекции, 67).

[2] Слово *редька*, прежде неправильно писавшееся с Ѣ, имело в корне безусловное *е*; ср. укр. *редька* и отмеченное в показаниях из Старор. и Ржев. уездов диалектное *рёдка*.

[3] Очерк др. периода, стр. 115.

жилось образование *цоп* (=цеп), отмечаемое в Ржев., Петров., Сарат., Керен., Наровч., Малоарх.

Рассмотренное явление с переходом *ѣ* в *о* на почве русских диалектов заставляет возвратиться к вопросу о происхождении литературных фактов с *о* из *ѣ* вроде *звёзды, гнёзда* и т. д. Не может быть никакого сомнения в том, что это последнее явление, как явление литературного языка, генетически есть то же явление, что и явление наших диалектов. Недаром приведенным фактам литературного языка отвечает наличность одинаковых фактов с переходом *ѣ* в *о* на почве говоров собственно Московского края, как прошлой базе литературного языка. Поэтому оценка и объяснение явления здесь и там, как данных литературного языка, так и фактов диалектной речи, должна быть одна и та же. Если же в явлении литературного языка видеть результат общего рассмотренного явления отмеченных групп севернорусских говоров, то в объяснении собственно образования форм типа *звёзды* и под. необходимо отойти от традиционного на них взгляда. Дело, следует представлять, заключалось не в воздействии на формы *звезды, гнезда, надеван* и под. сходных рядов образований вроде *сёстры, вёсла, завоёван*, а в распространении на данный круг форм с корневым гласным под ударением того произношения, которое принадлежало иным формам, между прочим, исходным, отправным формам тех же слов с гласным *не под ударением*, изменившимся на диалектной почве в *о*. Таким образом *звёзды* перешло в *звёзды* не под воздействием *сёстры* и под., а под выравнивающим воздействием форм этого же слова с ударением не на корне, т. е. под воздействием форм ед. числа *звёздá, звёзды́* и т. д.; точно так же для объяснения *о* в *надёван, поддёвка, зёв* и т. д. нет необходимости отправляться в поиски за рядами неведомых форм и слов, которые должно было продиктовать изменение в них *ѣ* на *о*,— они естественно получались из выравнивания с родственным кругом лексики вроде *надёвать, зёвать* и т. д. Наличность данной черты с *о* из *ѣ* в литературном языке должна быть поэтому рассматриваема как след севернорусской стихии, отложившийся от прошлых эпох его развития.

СОЧЕТАНИЕ *чн* В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Согласно с историей русского языка звукосочетание *чн* в русском языке нового, исторической поры, происхождения. Всякое *чн* именно предполагает древнейшее *чьн*, с редуцированным гласным переднего ряда между *ч* и *н*, объясняющим возникновение в предшествующие эпохи самого *ч*, в порядке именно палатализации перед гласным переднего ряда образовавшегося из *к*. К XII—XIII вв. относится процесс исчезновения в русском языке всяких редуцированных звуков. Исчезновение редуцированных звуков в положении между согласными, не в абсолютном начале или конце слов, вызвало появление в языке впервые рядов новых групп согласных, таких, которые до этой поры в языке не существовали. Языку предстояло либо

приспособиться к произношению новых рядов оказавшихся в смежном положении согласных звуков, и либо в том или ином отношении их переработать, подвергнув их процессам ассимиляции, диссимиляции и под. Таким новым звукосочетанием, впервые в отмеченную пору явившимся в языке и соответственно требовавшим приспособления органов речи к его произношению, было и сочетание *чн*. Это сочетание представляло для известных диалектных групп трудности для произношения благодаря тому, что в его состав входила аффриката (ч=т'ш'), т. е. все сочетание в целом представляло собою как бы согласный трифтонг (т'ш'н). Обычное изменение согласных трифтонгов в направлении их упрощения происходит таким путем, что подвергается редукции один из компонентов трифтонга, при этом наиболее устойчивым оказывается конечный элемент трифтонга, из двух же предшествующих его согласных элементов наибольшей устойчивостью обладает фрикативная часть (соотносительно с взрывной частью). Таким образом, теоретически можно ожидать троякой возможной судьбы сочетания *чн* в языке: а) это сочетание сохраняется в языке; б) в результате редукции взрывной части трифтонга из него получается согласный дифтонг *шн*; в) в результате редукции фрикативного элемента трифтонга из *чн* образуется также согласный дифтонг — *тн*. В единогласном утверждении историков русского языка[1] из сочетания *чн* «на общей русской почве» получилось *шн*, свидетельствуемое памятниками русского языка уже с XIV—XV вв. (Собол., 107: *клюшник*, из ев. 1394—1412 гг.; Карский, II, 1, 498: *опришными*, *опришне*, из сб. XV в.). Однако русская письменность и современный язык представляют огромное количество слов с сохранением в них звукосочетания *чн*. Весь подходящий материал обычно объясняется, как возникший аналогическим путем, воздействием именно родственной группы таких образований, в которых те же темы выступают с нормальным *ч*, не подлежащим изменению благодаря положению перед гласным или в абсолютном конце слов и под. Напр., *начну*, не *нашну*, объясняется влиянием неопр. н. *начать* или *дачный* — влиянием *дача*, *ночной* — влиянием *ночь* и под. (Собол., Дурново, назв. соч.). Это объяснение безусловно имеет долю вероятия. Однако один этот принцип с удовлетворительностью вряд ли мог бы быть приложим ко всей громадной численности фактов русской лексики с звукосочетанием *чн*. Ср., напр., у Соболевского объяснение случаев *отличный*, *сочный*, *точный*, с *чн*, по связи с *отличить*, *сочить*, *точка*. Но семантически *отличный* далеко отстоит от *отличить*, как и *сочный* от *сочить*, и еще с бо́льшими трудностями для языкового ощущения соединялась бы последняя пара — *точный* и *точка*, и под. Все это с ясностью свидетельствует о том, что в разрешении вопроса о русском *чн*, помимо принципа аналогического воздействия, необходимо опираться еще на какие-то критерии более прочного характера.[2]

[1] Соболевский. Лекции, 107; Шахматов. Др. период, 285; Дурново. Очерк, 167.

[2] По поводу московских *личный*, *точно*, *с чн*, при *конешно*, *нарошно* и под. Черных (Русские говоры Илимского края, 18) высказывает предположение, что в данном случае перед нами явление «омонимического отталкивания»: в языке соз-

Если обратиться к лексике современного литературного языка, содержащей произносимое сочетание *чн*, то, приходится сказать, твердое установление этого круга лексики очень трудно. Большое число соответственных слов мы нередко произносим колеблющимся образом — и с *чн* и с *шн*. Ср., напр., *баночный* и *баношный*, *боченочный* и *боченошный*, *булавочный* и *булавошный*, *булочный* и *булошный*, также — *бутылоч(ш)ный*, *веревоч(ш)ный*, *водоч(ш)ный*, *войлоч(ш)ный*, *зажиточ(ш)ный*, *игрушеч(ш)ный*, *карточ(ш)ный*, *крошеч(ш)ный*, *лавоч(ш)ный* и т. д.[1] Более или менее устойчивое произношение с *чн* из слов, относительно широко употребляемых в речи, представляют следующие: *брачный*, *(под)венечный*, *вечный*, *(без)облачный*, *побочный*, *увечный*, *третичный*, *(четвертичный*, *пятеричный* и под.), *заграничный*, *удачный*, *(без)конечный*, *(без, на, от, при)личный*, *благополучный*, *(благо, без, при, со)звучный*, *злачный*, *колесничный*, *кубичный*, *околичный*, *лихорадочный*, *взрачный* (*при-*, *про-*), *срочный*, *(без, не)порочный*, *(по, над, под)строчный*, *ручной*, *(за, при) речной*, *сердечный*, *сочный*, *печной*, *поперечный*, *прочный*, *встречный*, *беспечный*, *(за)очный*, *млечный*, *мрачный*, *мучной*, *месячный*, *ночной*, *восточный*, *источник*, *язычник*, *(без)человечный*, *проточный* (*протечный*), *скоротечный*, *темничный*, *точный*, *тучный* и нек. др. Анализируя состав этих слов, нельзя не обратить внимания на то, что в поглощающем большинстве эта лексика узко-литературного характера и употребления, а генетически — старого книжного происхождения. Это обстоятельство принципиально должно иметь свое значение в объяснении общей причины сохранения в данной лексике сочетания *чн*. Понятно, что книжные слова, в частности древнеболгаризмы (а их немало в приведенном перечне), в традиционном своем произношении в классе грамотеев были обеспечены от изменяемости. Отсюда, обобщая это положение, в отношении большого числа современной литературной лексики с сочетанием *чн* можно думать, что эта лексика сохраняет свое старое обличие, как именно лексика книжного происхождения и бытования в книжной среде. Ср. между прочим многообразные наши заимствования позднейшей поры, в которых нормально *чн*, согласно с традиционным произношением иной книжного происхождения лексики, не подвергается изменению в *шн*: *картечный*, *ясачный*, *публичный*, *тактичный*, *поэтичный*, *лаконичный*, *трагичный*, *симпатичный*, *энергичный* и под. Среди приведенного перечня однако содержится ряд слов заведомо не книжного характера. Это — *личнóй*, *мучнóй*, *ночнóй*, *печнóй*, *речнóй*, *ручнóй*. Почему здесь мы находим выдержанное литературное произношение с *чн*? Обращает на себя внимание однотипность всех

нательно поддерживалось произношение *чн* в этих словах, так как иначе оказалось бы совпадение их со словами *лишний*, *тошно*. В отношении этого объяснения следует сказать, что его нельзя обставить сколько-нибудь прочными доказательствами.

[1] Ср. некоторую иллюстрацию этого колеблющегося произношения слов с *чн* и *шн* у поэтов (по данным рифм); материал имеется у Кошутића, Грамматика рус. jез. I, 440 и сл.

этих слов в отношении места их ударяемости. Очевидно, необходимо сделать вывод о том, что ударяемость слова на слоге непосредственно за сочетанием *чн* фонетически обеспечивала в большинстве случаев сохранность *ч* в данном сочетании. Можно думать, что общие причины этого явления лежали в условиях неодинакового в живом произношении деления слова на слоги, различавшегося в зависимости от места ударения в слове.[1]

Изолированное исследование судьбы сочетания *чн* на почве одного литературного языка невозможно. Необходимо связать это явление, как явление литературного языка, с соответственным явлением, протекавшим на почве живой диалектной речи. Дело в том, что рост и развитие литературного языка, книжного в своем остове, протекало и протекает в условиях непрерывного воздействия на него со стороны диалектной стихии, этой основной питающей среды, дающей силы и жизненность самой литературной базе языка. Однако обращаясь к фактам диалектов с отражением старого *чн*, нельзя и здесь не подчеркнуть очень больших трудностей в разрешении вопроса. Эти трудности заключаются в недостаточности материала, фактически находящегося в нашем распоряжении, для четкого установления граней распространения тех или иных рефлексов сочетания *чн*.

В великорусском языке судьба *чн* должна была различаться в среде цокающих (большая часть северновеликор. наречия) и нецокающих (часть северновеликор. говоров и южновеликор. наречие) говоров. В нецокающей среде, как уже об этом замечено выше, *чн* либо а) подлежало сохранению, либо б) изменялось в *шн*, либо в) давало *тн*. В соответствии с этим в среде цокающей *цн*, как нормальный эквивалент *чн*, в дальнейшем могло либо а) сохраняться без изменения, либо б) измениться в *сн*, либо в) дать то же *тн*, что теоретически получалось и из *чн*. Мы не имеем твердых данных для определения районов, в которых в соответствии с старым *чн* живет нормальное произношение *цн* в цокающих или *чн* в нецокающих говорах. Представление об этом можно было бы составить лишь дедуктивным путем из предварительного учета областей, занятых иными рефлексами старого *чн*. Впрочем, можно заметить об относительной устойчивости *цн* в Беломор. крае (Васильев, 25), Пуд. (Мансикка, 154), Тотем. (в Мольском приходе, пр. 192), Верейск. (в Вышегор. вол., Изв. 10, 2, 368), Керен. (МДК IX, 83). Данные с фактами отражения *цн* в виде *сн* собраны проф. Селищевым (стр. 56, 189—190). По материалам проф. Селищева, с некоторыми дополнениями, рефлекс *сн* известен в А р х а н г. г.— в Белом. крае (Васильев, 25), Онеж., Печор. (*попересной*, Онч. Ск. 235), Холмог., Шенк.; в О л о н. г.— Вы-

[1] Замечательно, что в украинском, где в соответствии с старым *чн* наблюдается и *чн* и *шн*, в лексике с ударяемостью отмеченного типа оказывается также *чн*. Ср.с отмеченными литературными русскими: *личнóй* и т. д. украинские — *лични́й*, *мучни́к-и́ця*, *нічни́й*, *пічни́й*, *ручни́й*, ср. еще *свічни́й*, *січни́й* (в великор. иное ударение) и др. В белорусском, по-видимому, всякое старое *чн* сохраняется без изменения (*рушни́к* — украинизм?); приводимый у Карского, l. c., материал с *шн*, извлеченный почти исключительно из фольклорных текстов, свидетельствует тем самым об особом своем происхождении.

тегор.; в Волог. г.— Грязов., Кадник. (*молосной*, Колосов, 330), Тотем.; в Новгор. г.— Кирил.; в Костр. г.— Буйск.,[1] Костр. (*еисьница, пшенисной, столесник, молосник, -ный*, Виноградов, 27; пр. 44); в Вятск. г.— Котельн. (*яисной* и др., Тр. Вят. Пед. И. III, 47), Малм. (*молосной*, пр. 105), Яран.; в Пермск. г.— Кунгур.; в Яросл. г.— Ростов. (*молосной, русник, столесник, пошенисной*, РФВ 65, 288); в Тверск. г.— Зубцов. (*пшинисный*, пр. 60), Кашин. (*молосный, насьлег*, Смирнов, 45); в Сибири — Барнаул, Краснояр., Нижнеуд. (*молоснай*, Вин. и Черных, 9)[2]. Из этих данных, немногочисленных, подчас в свидетельствах непосредственного материала представленных в единичных фактах, можно думать, что рефлекс *сн* вообще с давней поры находится в процессе исчезновения; он, очевидно, замещался и замещается, под общим книжным воздействием (ср. утрату цоканья), через *чн*, откуда восстановление — *цн*, или через *шн*.

Очень сложна картина распространения *шн* в соответствии со старым *чн*. Этот рефлекс известен не только в районах южновеликор. говоров, где он нормален, но и в области северновеликор. наречия, где, в значительной части областей, на цокающей территории, он не должен был бы иметь места. Материал с распространением *шн* из старого *чн* представляется в следующем виде.

Арханг. г. Беломор.— *востошьной* (Васильев, 25); Кем.— *горншина* (Онч. Ск., 156); Онеж.— *мошно* (пр. 262), *яшницу* (Онч. Ск., 566); Печор.— *овешник, столешничу* (ib., 90, 131); Шенк.— *коришневато, мошнó* (пр. 235; Мансикка, 100).

Олон. г. Каргон.— по всей *подсолнешной* (Колосов, 197), *мошно* (пр. 106); Петроз.— *вешный, конешно, тошно, востошный, сердешный, грешная* (от «греча»), *подрушный, песошный, скушно*,— ср. здесь — *барычня, барычни* (пр. 30), *мошно, табашный, яшницю, подсоўнышьно* царьсво (Онч. Ск. 236, 259, 330, 339); Повен.— *мошно* (ib. 353); Пуд.— *мошно*, ср.— *сердецьной* и под. («вообще *шн* нет», Мансикка, 154, 165; Смирнов, 238).

Волог. г. Великоуст.— *мушной, сердешно, яшной, лавошник, молошной, булошная*, веки *вешныё* (РФВ 18, 231), *рушной, нарошно, заошно, сердешной, подсвешник, празьнишной* (пр. 28), *мошно* (пр. 199, 202), *мушни́к* — часть избы (МДК XI, 90); Вельск.— *сердешным* дитонькам (ЭС V, 41), *башмашника,-ный, нарошно, тошно* так, *лавошник* (Смирнов, 135—148); Волог.— *молошной* (пр. X, 52), *мушник, молошной* (при *молосной*, МДК XI, 77, 80); Грязов.— *мошно, (веко)-вешный, сошный, востошный* (пр. 36), *загранишной, рушная, привышно*,

[1] Ср. кроме данных, приведенных проф. Селищевым,— *нослег* (пр. 18).

[2] Представленный материал можно дополнить еще следующими данными, извлеченными из XI-го выпуска Трудов Московской Диалектологической Комиссии. Здесь соответственные сведения, в большинстве в единичных фактах, даются для следующих районов: Арханг. г. Пинеж. (*молосьной, -ник, песьник, одлавосник*, стр. 5 и сл.), Шенк. (*исьница* — яичница, стр. 26); Волог. г. Волог. (*молосьной* — в колебании с *молошной*, стр. 75, 78, 80); Вятск. г. Слобод. (*мусник* — род печенья, стр. 131); Костр. г. Галич., Варнав., Костр. и Нерех. (*молосной*, стр. 155, 160, 178, 181); Владим. г. Ковров. и Шуйск. (*молосной*, стр. 39, 122).

аўшной (МДК III, 76); Кадн.— *мушной, яшной, лавошник, истошник* (Колосов, 330), *востошный, нишкни,* в заговорах — *прожитошно,* денно и *ношно, солнешны* лучи (пр. 25; ср. здесь — *вечный, сочный*), *вешный, востошный,* ср.— *соцьной* (пр. 26), *нарошно,* река *Молошнянка* (Смирнов, 186, 190); Никол.— *сошный, востошный, конешно, привышно, вешныё* веки, *дурашливый, драшливый* (пр. 266), *привышно, решная, сердешноё, вшешныё, ношная, дивишник, песошной* (Мансикка, 202); Тотем.— *мушной, сердешной, яшной, лавошник, молошной, булошная,* веки *вешные* (РФВ 18, 231), *нарошно, востошной* (Брок, 39), *мошно, вешный* (пр. 198, 201), *звезда востошная* (пр. 203); Ярен.— *мошно* (пр. 194).

Новгор. г. Белоз.— *вековишная, мошнó* (пр. 162, 184, 191), *конешно, порядошно, подколпашный, сердешный, привышно, полномошный,* так *тошно, пшанишный, цигарошник, мошнó* (МДК II, 57), *сказошника, горнишной,* так *тошно, нарошно, заграншный, мошно, неприлишно, мелошная, порядошная, подвенешное, пешной, лавошник, подрушной, детошная, посутошно, истошник, почешной,* ср. еще — *лодошка* (Соколовы, Ск., passim); Борович.—*нарошно, заграншным* (Смирнов, 247, 278); Кирил.— *мошнó* (пр. 152), *скушно, отлишной, девишник, пшенишными, публишные,* во всем *подсолнешном* царсве, *бездетошной, кирпишней* пол, *вековешное, фабришные,* ты звезда моя *востошная* (Соколовы, Ск., passim); Новгор.— *мошно* (пр. 20), *живушник* (Колосов, 32), *конешно, тошно, грешневик, гашник, матошный* и др. (Соловьев, 5, 28, 39), вы заводы мои... вы *кирпишные, горемышные* (Новг. Сб. III, 9); Черепов.— *подрушной* (пр. 268), *девишник, потсвешник* (Еремин,17), *ласкутошный, вешной, конешной, мелошной, подвенешной, удашно, мрашно, достатошно, ношной, наконешник, обышной, протошная, матошник, полавошник* (Герасимов, 10, 14, 56, 72).

Костр. г. Буйск.— *конешно, грешневый, дурашной,* ср.— *вечный, сочный, восточный* (пр. 18; ц и ч р а з л и ч а ю т с я); Галич.— *угурешник* (пр. 55; ц и ч р а з л и ч а ю т с я); Кинеш.— *порядошный, горемышную, петишницу* (пр. 66); Костр.— *скушно, решной, алошной* (пр. 264; ц и ч р а з л и ч а ю т с я), *порядошно, яблошник, привышны, свышной, рушник, лопатошник, крошышной, пешник, подсолнышник, скушнисса* 2 л. ед., *конешно, достатошно, грешневая, мешошной, решной, добышник, табашник, протешная* вода, *скушно, тушнóй, рушнóй, срушно, проселошной, штушной, сердешной, налишник* и др., *дурашливой, драшливой, скушливое* (время) — постоянно (Виноградов, 27; ц и ч р а з л и ч а ю т с я); Макар.— *вешный, сошный, востошный, пешник, кузнешное, грешневый, подсвешник, сердешный, соскушнилась, решной, посрушнее, нишни и др.* (пр. 56; ц и ч р а з л и ч а ю т с я).

Вятск. г. Вят.— *кирпиш(ь)на, достатош(ь)но* (Тр. Вят. Пед. И. III. 29), *зарешный* (Зеленин, 58), *детошный, кишешник, мелошник, нарушник, привышной, яшной* и др. (Васнецов), *сердешной,* по *кумашницку, привешные* муки, все *фабришны* собираются (Колосов, 250—272), *заошно, лишно, нарошно, копеешную* (Зеленин, Ск. 307—

320); Котельн.— *вешный, сошный, востошный* (пр. 35), *тошно, востошной*, ср. *вещной, сощной*, ср. *напрашно* (пр. 46), *конешно, порядошно* (Тр. Вят. Пед. И. III, 47), саван *вешный* (ЭС IV, 89), *кишошные* пироги, *заграншной, сердешной, сундушники* (Зеленин, 122—153), *прожитошно, благополушно, мельншной, пустяшно, лышный* (ib. Ск. 151—179); Малм.— *вешной, сошной, востошной* (пр. 38), *молошьной* (пр. X, 78), *мошно* (пр. 105); Нолин.— *вешной, востошной, сошной, сердешной, горемышной, заграншной* (пр. 52), *скушно, безвешно, десятишную* цяшу, *несрушен* (Колосов, 226—276); Орл.-Вят.— *вешной, сошной, востошной, решной* (пр. 37; также — с *чн*), *девишник, бесприметошно* (Смирнов, 389, 410); Слобод.— *вешный, востошный, пустяшноё, ншкни* (пр. 222), *подвенешное, подоплёшник, подсердешник* (Зеленин, 118, 119); Уржум.— *лышной* (Магницк. 32); Яран.— *сошьни, пешьная, ношьною* (Зеленин, Зап. Юрьев. У.), *вешной, востошной, сошной* (и *сочной*), *разлушнички* (пр. 59; ц и ч р а з л и ч а ю т с я), *вешной, востошной* (пр. 101), *мушной, пешьной, сутошные* (Зеленин, 83, 113, 154).

П е р м с к. г. Верхотур.— *своерушно* (Зеленин, Ск. 430); Екатеринб.— веки *вешные, безостатошно, литовошник* (ib. 38, 264, 285); Камышл.— *вешьный, сошьный, коротешьный* (пр. 89; здесь *ч=ш'*); Красноуф.— *мошно*, ср. также — *друшно, долшно* (пр. 137, 139, 209); Кунгур.— *мошьно* (пр. 134; з д е с ь *ш* в о о б щ е т в е р д о); Соликам.— *ношная, свишное, подсвишник* (пр. 180), *мошно*, ср. также — *долшно* (пр. 207); Чердын.— *вешный, востошный* (пр. 258); *строшной* = срочный (Онч. Ск. 496), *крылешной* столб (Перм. Сб. I, 2, 22); Шадр.— *решная, горшешницы, мешешницы, платошницы* (ib. 111, 182).

Я р о с л. г. Любим.— *пешной, портошница* (Доп. Якушк.); Молож.— *оброшной, рушная* (Изв. 30, 234), *вековешныё, востошную, вешноё, бесконешноё, горемышнёё, неудашноё* (ЭС I, 144—148); Мышк.— *конешно, нарошно, наволошно, клюшник, разлушник* (пр. 78); Ростов.— *скушно, конешно, сердешной* (РФВ 65, 288; ц и ч р а з л и ч а ю т с я); Углич.— *троешной*, вообще — всегда *шн* (МДК IX, 101; ц и ч р а з л и ч а ю т с я); Яросл.— *свешной, стрешной, подвенешное* (Тихвинск. 39, 40, 62), *поперёшной*, ср. *фстречнóй* (Изв. Лгр. Пед. И. I, 140).

В л а д и м. г. Александров. — так *тошнъ, конешнъ*, при — так *точнъ* (МДК II, 141); Владим.— *зарошник, порушница* (Черныш. 29); Меленк.— *скушно* (пр. 247); Покров.— *вешный, востошный, ншни* (пр. 10, 244); Судогод.— *канешно, сердешнай*, ср. *нацну*, также «в книжных словах» — *бесконецна, фстриецнай* (Бубрих, 329); Сузд.— *рушной, привышны, ношнинá, лышны, песошница, срушно, достатошно* и др., *недолговешен* (Черныш. 17, 24); Юрьев.— *порядошно, привышны* (ib. 10, 12).

П с к о в с к. г. Остров.— с *солнышным* закатом (пр. 39); Псков.— *мошно* (Смирнов, 356, 359), *помошник, молошный*, (пр. 175); Тороп. —*вешный, скушный, молошный, помошник*, также *помочник* (пр. 233); Холм.— *вешный, востошный, ншни* (пр. 54).

Тверск. г. Вышневол.—*мошно* (МДК III, 136; **ц и ч различаются**); Зубцов.— *конешно, привышно, полномошный, пишнишный, горемышная, дурашливый*, но — *вечный, точно, молочный, драчливый* и под. (пр. 60; **ц и ч различаются**); Кашин.—*алошный, бутошник, грешневая, дотошный, девишник, конешно, ношное* дело, *пешник, подсвешник, привышный, пятишница, рушник, решнóй, сердешный, скушный, судашничать, табашный,-ник, удашник, яишник,-ица, нарошный, улишный* и др., *дурашливый, драшливый*, но— *вечный, прочный, сочный*, ср. *востошный* и *восточный* (Смирнов, 44); Ржев.— *порядашнай* (ЭС I, 248), *смашный* (РФВ 75, 255), *дакушнэй, кирпишнэй, нашнэй, прошнай, рушьник*, ср.— *скутна, хвабритнъй* (Изв. 18, 3, 252, 255); Твер.— *решные, пишникоф, грешневая, мешошны*, но — *печной* (Черныш., 4).

Ленингр. г. Луж.— *востошный, солношны* лучи, *решной* (РФВ 40, 109, 123).

Смол. г. Дорогоб.— *помошник, яешня* (Смирнов, 557, 565).

Моск. г. Богородск.— *сердешному* (Черныш. Мат. VII); Бронниц.— *фабришной, конешно, сердешной* «и проч.» (Каринск., 363); Верейск.— *канешно*, ср. *фабричный, палнамочны*, вообще — *цн* (Черныш., 368); *падрушный, девишник, парядошная, кумашный, скушнай, дашникоф, дабышник, кирпишнай, праздништнаи, пшенишнаи, дашнай, удашна, фабришные, баранашник, позажитошнее* (ib. 288,130—144); Воскрес. и Можайск.— *рушная, патсолнъшнъ, конешно* и *конечно* (МДК IX, 130); Дмитров.— *дашник* (Черныш. Мат. VII); Звенигор. — *кручёшная, щеташная, порядашная, щетошники, крючешники, кирпишныи, закусашнаю* (ib. 149, 152); Клин. — *канешно, решная, срушно, дабышник, недостатошно, табашник, скушно, тушный, ношной, незадашный, разлушница, трехкапешишный* (ib. 13 и сл.); Колом.—*аброшная; дашники* (Ушаков, 503); Моск.—*нашная, малашнáя* лафка, *дашники, тирпишнай, привышны, парядашных, рушную, тушнай, скушно*, ни *падрушна, канешна, решную, заграницнаи, буташник, пратешнáя* вада, *нулишнай*=наличный, *бащмашник, пешник, брусошник, прасёлашнай, исканивешная, палнамошнай, патсолнашная, кумашнаи, трехмесишнай, аброшнай, прошнаи* полосы, *петровашнай* день, *дастаташна, скушнитись, дурашливай* (Черныш., 7, 14, 37 и т. д.); Руз.— *кумашнъй, клюшник, разлушник, помошник, скушнъй, писошнъй, пишной, запешнъй, сирдешнъй, пълундошнъй, канешна, нашной* и др., но — *начной, точнъ, урочный, нинарочный, вечно, начну, качну* и проч. (РФВ 45, 249).

Казанск. г. Казан.— *девишник, мелошныи* лавочки, *пешник, конешно* (РФВ 32, 97), *конешно, привышное* дело, *полномошный, тошно, молошный, пшанишный*, но — на *вечные* веки (пр. 92, 94); Царевскокш.— *ватошник* (МДК XI, 141); Цивил.— *привышный, зажитышный, канешно, пылнамошный, тошна, пшенишный*, на *вешны* веки, *дурашливый* (пр. 143); Чебокс.— ва *кумашном* сарафане, *китаишный, сердешныво, лышный, клюшница, ларешница, девишничек* (Магницк. 26 и т. д.).

Нижегор. г. Нижег.— перед *остатошным* концом (Нижег. Сб. III, 274); Семен.— *привышный, конешно* (пр. 118), *скушно, мешешникам, решна́* вода, *дашники* — с т в е р д ы м *ш*, при и с к о н н ы х *ш* и *ж* м я г к и х (Изв. Нижег. Ун-та III, 351—6).

Симб. г. Буин.— *вешный* (редко), обычно *чн* — *сочный* (пр. 57); Симб.— *пешьной* (Сб. Форт. 166), *конешно, ношной, обрушник, сердешник, дашник* (Мотовилов, 9, 19).

Пенз. г. Инсар.— *конешно, привышно, тошно, пишнишный, уполномошный* (пр. 231); Мокш.— *конешно, дурашливый* (пр. 230), *попе́решник, нишни* (пр. 232); Чембар.— *конешно, привышно, бутышошный, дурашливый* (пр. 229).

Сарат. г. Балаш.— ат *сирдешнай* радости (Смирнов, 682); Кузнец.— *сирдешная* (МДК III, 23); Сарат.— *конешно, крошъшный, беспортошный*, но — *натну* 1 л. ед. (Slavia VII, 499).

Тамб. г. Ром.-Борисогл.— *кулашные* бойцы (Кузнецов, 7).

Рязанск. г.— *падвянешнай, табашнай, скушно, ahурешнай, святошнай, дабышнай* (РФВ 27, 248); Данков.— *порушни* (МДК X, 57); Егорьев.— *конешно, пшенишновый, дурашливый* (Петровская в., пр. 133), *канешна, на́ношно* заведение, *урошливый* — «иногда» (ак., Черныш. Мат. VII), *вешно, гаршошный, ниудашная, грешневай, сундушнка́ф* (Лекинская в., Шахматов, 184, 210), *плотнишнай* (Тростянск. 96); Зарайск.— *молошнай* (МДК III, 18), *скушно, грешник* (печенье), *конешно, разлушник* (Петровская, 35, 57); Касим.— *привышнай, конешно, сердешнай* (пр. 47), *сердешный, тушный, тошно, конешно* (пр. 109), *гърямышная, малашную* (лавку), *башмашница, датошный, малошнинькяй, кузнешная, кирьпишная, нашной* (Будде, 130, 360); Спасск.— *гарямышная* (ib. 180).

Калужск. г. Жиздр.— *разлушнай, канешно, сьвишной, привышнай, пашанишнай, кумашнай* и др., *нашлех* (РФВ 47, 183); Медын.— *конешно, пшанишнай, лавашнаму, дурашливый*, но — *привычно, полномочный*, на *вечнаи* веки, *сочный, восточный, драчливый* (пр. 263); Мещов.—*кулашный, кирпишный, бо́лышный, конешно, дурашливый* (пр. 150), *малошная* рика (Черныш. 146), *зажитошнее*, но — *скучно* (ib. Доп. 3, 14).

Тульск. г. Белев.— *таношная, рушник, пшанишный* (Будде, 833, 838, 881); Крапив.— *пенёшный, нашна́я* (id. 876, 1292); Крапив. и Тул.— *грешневый, вешный, конешно, сердешный, запешный* (РФВ 10, 31); Новосил.— *калпашный, празьнишнай*, 3 мн. *нашнуть* (Будде, 13, 26, 32), *канешно, привышна, палнамошнай, тошна, пшанишнай, малошнай, пешной, дурашливый, драшливый* (пр. 77).

Орловск. г., Брян.— *бутошник, тряпишник, привышно* и т. д.». (пр. 259); Елец.— *канешна, пшанишнай* (пр. 111); Мцен.— *дабышникаў, рушник, скушна* (Будде, 46—49), *конешно, пшанишный, дурашливый*, но — *точно*, на *вечнаи* веки (пр. 188).

Курск. г. Дмитриев.— *конешно, привышно, полномошный, дурашливый, драшливый* (пр. 125); Обоян.— *венешнай, празнишная, рушнички, Ильинишна* (РФВ 90, 112), на *вешнаи* на веки, *сирдешнаю* таскою (ЭС V, 49, 60); Судж.— *канешна, привышнай*, на *вешнаи* веки,

пашанишнай, нарошна, рушник, дявишник, малошнай, но — *сочнай, восточнай* (Резанова, 239); Щигр. — *скушна* (Халанск. 61).

Воронеж. г.— *сярдешнай, запешнай, месяшнай, налишнай, скушна, вешнай* «и др.» (РФВ 38, 308); Бобров.— *кумашнаи, загранишнаи, пышанишнай* (ib. 37, 181, 40, 4), *нарошна, скушна* (Вор. Юб. Сб. I, 602, 609); Грайвор.— *привышный, тошно, пшанишный, канешно* (пр. 279); Земл. и Задон. — *гарямышная, сердешнай* (Тростянск. 11, 22), *канешна, скушна, малуошнай, паперёшнай, порядашнай* (ib. К изуч. 14), *мошна* (ИРЯС II, 1, 91); Коротояк.— *зашнéть, кашнýлся, прóшная, привы́шни, скýшная*, век *вéшнай* и т. д. («постоянно», ИРЯС III, 567); Льгов.— *конешно, тошно, пшанишный* (пр. 76).

Харьк. г. Старобельск.— *пешник* (РФВ 30, 152).

Терск. обл.— *канешно, яшница* «и т. д.» (Караулов, 15), *привышно, палнамошнай, пшанишнай, дурашнай, дурашливай, станишник, станишный*, но и — *станичный*, веки *вечнаи, драчливый* (РФВ 64, 76).

Сиб ир.— *пустяшное* дело (Смирнов, 877); Тобол.— *яшна* мука (Селищев, 169), *сошный, вешный, востошный* «и т. д.» (при 21, 43); Тюмен.— *мошнó* (пр. 27); Акмол.— *мошно* (пр. 75); Алтай — *язышник*, ночь *морошная* (ЭС VI, 3, 24); Томск — *áлошна, горемышну, бездокладошна* (ib. 39, 74, 98); Иркут.— *свитошник* (Тунк., Виноградов, 13), *канешно, ясашны, башны* бересты, *гьоташная, паперешник, зарешну* сторону, сажень *рушная, нашное* время, *привышный, кирпишный, заимошный, падполишный, улишный* (Илим., Черных, 10), *канешно, скушно, мушна, падвинешна, акошышны, вéшну, смашна, алашнай* (Нижнеуд., Виноградов и Черных, 9), *мушной* (Барнаул., Селищев, 22), *шапошные* (Нерч., ib. 55), *порушная* земля (из рукоп. 1689 г., ib.); Колым.— *миственишны, заимошны, маломошны, нáрошной, припадошный, своебышной, табашник*, но — *личной, мучно* дерево, *мóрочно, слично* (Богораз, 22 и т. д.).

Уверенный анализ этого материала с точки зрения установления районов, которым *шн* принадлежало как черта органического происхождения, крайне затруднителен: сама пестрота современной картины распространения *шн* говорит о том, что старые нормальные соотношения в распределении между отдельными диалектными группами тех или иных рефлексов *чн* взаимно переплетены и смешаны под перекрестными влияниями как смежных диалектных группировок, так и течений, направлявшихся от книжной и разговорной стихий литературного языка. Мы имеем в представленном материале ряды фактов, иногда единичных, иногда относительно численных, но засвидетельствованных лишь в показаниях памятников народно-поэтической речи (в песнях, сказках и проч.). Это, очевидно, формы с *шн* наносные. Такая лексика фиксируется памятниками не только северновеликор., но и южновеликор. происхождения. Таково же свидетельство непосредственного лексического материала, содержащего сочетание *чн*. Здесь именно оказывается большое число слов заведомо «литературного» происхождения, лексики книжного характера, или связанной в том или другом отношении с городом, отражающей поня-

тия специфической принадлежности к городской жизненной обстановке и под. Таковы, напр., из приведенного перечня данных слова, как — *алошный, вдстошный, (без-, веко-, искони-) вешный, истошник, конешно, мошно,* (так) *тошно, лишно, отлишный, неприлишный, полномошный, празднишный, сердешный, крошешный, пустяшный, увешный, непрошный, полуношный, язышник, с(т)рошный, тушный* и под., или — *башмашник, булошник, бараношник, бутошник, дашник, -ный, цигарошник, улишный, сказошник, горнишная, мелошная* (лавка), *кирпишный, закусошный, судашничать, петишница* и под., или — *бездетошный, бесконешный, безостатошно, бесприметошно, беспортошный, незадашный,* или, особенно,— *публишный, смашный, таношный, фабришный, штушный, мрашный, благополушно* и др. Само собою разумеется, поскольку вся подобная лексика проникала в диалекты из литературного источника, она должна была проникать во внешнем обличии, типически свойственном литературному языку, т. е. в большинстве случаев с *шн.*[1] В этом виде она вошла в диалектное употребление, первоначально в известные верхушечные слои носителей диалектной речи (торговый класс, слой «бывалых» людей из мужского населения, общающегося с городом в целях промысла и под.), откуда последовало дальнейшее ее распространение по «периферии». Нельзя не заметить в связи с этим, что благодаря указанным особенностям, характеризующим лексику с *шн* в показаниях диалектов, изучение последней приобретает важное научное значение. По анализу именно лексики с *шн*, в случаях ее неровного распространения в известных ограниченных районах или в ограниченных слоях говорящих или в общих условиях ограничительного ее употребления, можно с большей или меньшей твердостью заключить о книжном происхождении того или иного элемента лексики современного русского словаря. Так, в отношении наречия *мошно*, которое наблюдается в ряде говоров, но выступает вместе с тем нередко как единственный факт в данных говорах с *шн*, позволительно думать о книжном происхождении его в диалектах.[2] Такими же представляются в показаниях диалектов слова вроде — *конешно,* (так) *тошно, нарошно, порядошный, привышный, пустяшный, солнешный, сердешный, по-сутошно, месяшный* и пр. Высказанное положение об общем проникновении интересующей лексики из литературного языка в диалекты в литературном обличии, с *шн*, не колеблется тем

[1] В некоторых случаях диалектная речь дает нам иной фонетический критерий для определения данной лексики с *шн* в говоре, как лексики пришлой. Ср. напр. в Семен. у. Нижегор. губ. твердость *ш* в сочетании *шн* из старого *чн* (*скушно, мешешник, решна́* вода, *дашник*), но мягкость *ш* в сочетании *шн* из старого же *шн* (*насьмешьник*) и под. См. Изв. Нижег. Ун-та II, 356. Такого рода факты могли бы быть извлечены и из показаний иных говоров.

[2] Слово, по-видимому, составляло принадлежность старого канцелярского языка. Ср. его у Кантемира, Сат. III, 259, 320. Ср. еще в реляции 1739 г.: (неприятеля) из мелкого ружья достать *мочно* было (Ломон., Соч., т. I, прим., стр. 84). В народной речи слово получило очень широкое распространение (см. данные перечня). Отсюда становится понятным своеобразное воздействие его на звуковую сторону наречий *должно,* даже *дружно,* по свидетельству отдельных диалектов (см. перечень), звучащих в виде *долшно, друшно, с шн.*

обстоятельством, что в ряде соответственных слов в самом литературном языке существовало и существует до настоящего времени не *шн*, а *чн*. Следует думать, что полученное диалектами из литературного языка *шн* в лексике, так именно звучащей в самом литературном языке (ср. *конешно*, *привышный*, так *тошно* и под.), на диалектной уже почве обобщилось и распространилось и стало общим типом произношения всякой притекавшей из литературного языка лексики с старым *чн*. Этому обобщению *шн* должно было содействовать отсутствие в известных диалектных группах (напр. в цокающих говорах) *чн* как такового. Понятно, что лексика с *чн*, приходившая из литературного языка, напр. в цокающие области, должна была здесь внешне перелицеваться, и слова вроде *бесконечный*, *мрачный*, *благополучный* и т. д. либо механически по нормам цоканья получали *ц* вм. *ч* (*бесконецной* и под.), либо выравнивались с рядами прочей литературной лексики типа *привышный*, *конешно* и под. (отсюда — *мрашный*, *бесконешный* и т. д.).

Если на основе изложенных соображений снять в представленном выше материале наносный слой пришлой из литературного языка лексики с *шн*, то рамки органического распространения *шн* на диалектной почве рисовались бы в следующем виде. В значительной мере в среде северновеликор. говоров мы не можем ожидать *шн* как органического рефлекса исконного *чн*. Фактически *шн*, можно сказать, чуждо Архангельской и Олонецкой губ. В Вологодской губ. незначительное сгущение *шн* наблюдается лишь в Великоустюжском и Никольском уу. Далее формы с *шн* относительно дают о себе знать в Новгородском и Череповецком уу. Новгородской губ., в Вятском у. Вятской губ. В Пермской губ. их, можно сказать, нет. В Костромской губ. они известны лишь Костромскому и Макарьевскому уу., в Ярославской губ.—лишь Угличскому (?) и Ярославскому уу. В средневеликор. полосе можно миновать Владимирскую губ. (исключая Суздальский у.), Псковскую губ., Тверскую губ. (кроме Кашинского и, может быть, Ржевского и Тверского уу.), Ленинградскую губ., далее губ. Казанскую, Нижегородскую, Симбирскую, Пензенскую, Саратовскую, где соответственный материал представлен в скудных или даже единичных фактах. Но формы обильны во всей акающей части Московской губ. В среде южновеликор. говоров формы с *шн* выступают также неровно: их нет в Тамбовской губ., почти нет в Калужской губ. (исключая Жиздринский у.), в Тульской губ. (исключая Крапивенский (?), Новосильский уу.), в Орловской губ. (исключая Брянский у. ?), в Курской губ. и, видимо, в Воронежской губ. Относительно заметно употребление форм в Рязанской губ. и в Терской области. В Сибири формы дают о себе знать в Иркутской губ. В результате с отчетливой уверенностью можно считать *шн* органическою чертой Московской области, с вероятием также — Рязанского края. Полученный вывод, особенно в первой его части, весьма важен. Положение о *шн*, как типической московской черте, легко объясняет движение этой черты в районах южновеликор. речи, связанное с колонизацией и с общим влиянием

здесь литературного языка, московского в своей исторической основе. Это положение, с другой стороны, делает ясной и наличность фактов с *шн* в области цокающей северновеликор. полосы, даже в районах с широким их здесь распространением. Мы должны всю эту наличность фактов с *шн* расценивать как наносный слой, пришедший в данные районы в конечном итоге через посредство литературной речи. Можно указать в этом отношении на свидетельства непосредственных наблюдателей говоров, подкрепляющие правильность сделанного вывода о вторичном по происхождению, наносном слое лексики с *шн* в черте цокающих говоров. Наблюдатель говора Костромского у. Н. Н. Виноградов отмечает очень большое здесь число лексики с *шн*, но оговаривает принадлежность такого произношения *(шн)* лишь грамотному слою говорящих; напротив, тот же наблюдатель отмечает принадлежность говору и отдельных слов с *сн*, но подчеркивает при этом, что это произношение свойственно лишь «самым серым людям».

Положение об органичности *шн* для московского наречия важно естественно и в том отношении, что объясняет типическую черту самого литературного языка, которому, как указано в начале статьи, в широкой мере свойственно употребление *шн*. Можно было бы со всею последовательностью ожидать появления из всякого исконного русского *чн* на московской, и в частности на литературной, почве *шн*. На почве московского диалекта, видимо, так и было. Что касается литературного языка, положение его и его эволюция представляли явление более сложное. В литературном языке существовала лексика с *чн* стороннего происхождения (древнеболгаризмы, архаические книжные новообразования, иноземные заимствования). Эта лексика естественно в устах книжных грамотеев долго сохранялась (сохраняется в значительной мере и до настоящего времени) в старом своем виде, с *чн*. Сохранению такого произношения не могла не содействовать сама письменность, в которой написания соответственных слов держались по старине, с *чн*. В этих условиях взаимного влияния старого произношения грамотных книжников и традиционной правописной нормы произношение известного круга слов с *чн* не только поддерживалось в своем существовании в литературной среде, но стало свое воздействие оказывать на круг иной лексики, ранее нормально произносившейся с *шн*. Последняя, в связи с все более упрочивавшейся общей правописной нормой соответственной лексики с *чн*, начала двоиться в самом произношении: рядом с нормальным произношением с *шн* в известном кругу слов стало зарождаться произношение их, согласно с их написанием, и с *чн*. Выше были приведены ряды слов (которые можно было бы значительно увеличить), существующих в современном литературном произношении в двойственном виде — с *шн* и с *чн*. Наконец, не следует опускать из виду еще того обстоятельства, что наш литературный язык, московский по исторической своей основе, на протяжении последних 200—150 лет постепенно, но неуклонно, ослабляет свою связь с чисто московскими особенностями речи, впитывая в известном преломлении соответственные черты в ос-

нове северновеликор. происхождения. Это не могло не отразиться, в интересующем нас вопросе, на общем ослаблении в употреблении лексики с *шн*, так как *шн* вообще чуждо природе северновеликор. наречия; это, иначе говоря, должно было повлечь за собою рост в литературном обороте лексики с *чн*.[1] Мы имеем красноречивое свидетельство постепенного, на протяжении последних 100—150 лет, роста норм произношения с *чн* за счет старейшего произношения соответственной лексики с *шн*. Замечательно, что эта эволюция в произношении идет параллельно с эволюцией в правописании соответственных слов. Свидетельство это содержится в данных наших печатных Словарей русского языка, последовательно издававшихся Академией наук в 1789, 1847 и в 1890-х гг. В первом издании Словаря (1789 г.) наблюдается очень большое сравнительно количество слов, которые пишутся, т. е., очевидно, согласно произношению своего времени, с *шн*. Вот эти слова (их всего 60): *башмашник* и произв., *бочешный*, *воровошник* (название травы), *гáленошный*, *галстушный*, *грешневый* и произв., *грудншник*, *гудошный* и произв., *двойнишный*, *деснишный*, *дудошник*=кто играет на дудке (но — *дудочник*=название травы), *девишник*, *китаешник*, *клееношный*, *колпашный*, *копеешный* и произв., *коришневый*, *криношный*, *лавошник* и произв., *ларешник*, *лодошник*, *лямошник*, *наконешник*, *сливошный* и произв., *медунишник*, *молошный* и произв., *мушной* и произв., *огурешник*, *оконнишник*, *оловянишник*, *перешный* и произв., *платошный* и произв., *портошный*, *прачешный*, *пробошный*, *прянишный*, *пуговошный*, *пупóшный*, *пьянишник*, *однорядошный*, *рамошный*, *савшный*, *сайдашный*, *святошный*, *серпяношный*, *сертушный*, *соляношный*, *табашный* и произв., *терошная* колодка (от — терка), *титишный*, *фабришный*, *цевошный*, *чернишный* и произв., *чесношный*, *чулошник*,*-ица*, *шапошников*, *шляпошный* и произв., *яблошный* и произв., *яишница*.[2] Как видно, все эти слова широкого бытового значения и употребления в речи. Нельзя не заметить, что в данных этого старейшего издания Словаря наблюдается некоторая невыдержанность в написаниях. Отмеченная двойственность написаний *дудошник* и *дудочник*, видимо, искусственна (вызвана двойственностью значения слова). Ср. еще написания *лавочный*, но — *лавошников*; парность форм *мучной* и *мушной* с произв.; *перечная* трава, но — *перешный*,*-ица*; *чулочный*, но *чулошник*,*-ица*;

[1] Замечательно, что Ломоносов, северянин, отразивший в своей речи ряд северновеликоруссизмов, отчасти впитавшихся в общий оборот литературного языка, оказался верен себе и в интересующем пункте, в отношении к лексике с старым *чн*. Соответственная лексика у Ломоносова имеет нормальное обозначение через *чн*. Отступления у него очень редки: *нарошно* (III, 278, 297), *Лукишна* (IV, 97), *шапошница* (IV, 100), *поперешника* (V, 118).

[2] Можно отметить, что в живом литературном обиходе этого времени круг слов, произносившихся с *шн* был более широк. Ср. у Карамзина, помимо слов *яишница* (II, 33), *молошный*, *-ица* (II, 33, 137), *табашный* (II, 206), *лодошник* (III, 28), *башмашник*, *-ица* (IV, 172, V, 138), *лавошник* (V, 20), еще — *цветошница* (IV, 297), *луковошный* (V, 21), *горнишная* (V, 304); у Фонвизина — *сердешной* (Недор. II, 3), *конешно* (Кор. I, 5, II, 2; Бриг. 1, 2, 3; ср. *всеконечно*, Бриг. 1, 1), *скушный* (Бриг. 1, 1, 4), *всеношная* (ib. 1, 3), *нарошно* (ib.), *кошной* (ib. IV, 6); у Хемницера — *попершник* (Письма, 48). См. еще Б у д д е, Оч. ист. совр. рус. лит. яз., 87.

шапочник,-ников,-ный, но и — *шапошников*; *яблочный* и *яблошный*, *-ник*; *яичный,-ник*, но — *яишница*. Можно думать однако, что эта двойственность написаний не случайна: она в большинстве приведенных фактов отвечала существованию уже в ту пору рядом с устойчивостью *шн* в одном слое лексики также дифференцированного произношения отдельных слов и с *чн* и с *шн*. Пятьдесят лет спустя, в следующем издании академического Словаря (1847 г.), мы уже сталкиваемся с значительным поредением круга слов с *шн* (с 60 до 12). Устойчивое *шн* здесь имеют только 4 слова: *башмашник* и произв., *дурнишник*, *прачешный*, *соляношный*. Для остальных же слов здесь уже как нормальное явление отмечается возможность двойственного написания, следовательно, и произношения. Таковы — *греч(ш)невый* и произв., *колпач(ш)ный* и произв., *копееч(ш)ный*, *молоч(ш)ный* и произв., *муч(ш)нить,-ся*, *оловянич(ш)ник*, *табач(ш)ник*, *-ица*, *фабрич(ш)ный*. Последнее издание Словаря, примыкающее собственно к нашему времени (90-е, 900-е гг.), канонизует уже с орфографической стороны одни написания — с *чн* (Грот. Филол. разыск. II, 307). При этом оговаривается необходимость или возможность произношения тех или иных слов с *шн*. Такое произношение напр. обозначается для слов — *башмачник* и произв., *гречневый*, *двойничный*, *дудочник*, *дурничник*, *девичник*, *желудочный*, *каблучный*, *калачный*, *карточный*,[1] *кирпичный*, *ключник*, *колпачный*, *лавочный* и произв. и др. Можно сказать, что, хотя со времени последнего издания Словаря (собственно завершенного лишь на одну треть) прошло всего 25—35 лет, тем не менее и за этот период времени в живом литературном языке успели произойти известные сдвиги в дальнейшей эволюции интересующей черты, в том отношении, что в языке еще возрос контингент слов, могущих произноситься с *чн*.

Все изложенное можно резюмировать в следующем виде.

Исконное *чн* и его вариант в цокающей среде *цн* имели в последующем сложную судьбу. И *чн* и *цн* несомненно по говорам могли сохраняться без изменения. И *чн* и *цн* могли в порядке устранения трифтонгического произношения дать один общий рефлекс — *тн*. Ср. его в показаниях достаточно в территориальном отношении отстоящих пунктов,—с одной стороны, из Ржевского у. Тверской губ. (*скутно*, *хвабритнъй*), с другой стороны, из Саратовского у. (*натну*). Конечно, в последнем случае не след какой-то аналогии (до которой трудно додуматься), как предположительно высказывается наблюдатель данного говора. Наконец, в том же стремлении освободиться от произношения трифтонга язык привел к рефлексу *шн* и в цокающей среде к *сн*.[2] На почве взаимодействия одних говоров с другими как *сн* стало заходить в область первоначального распространения *цн* и даже

[1] Это слово в форме с *шн* известно с очень старой поры. Ср. *картошные* игры в Спб. Ведом. за 1754 и 1755 гг. (Ломон., Соч., II, прим., стр. 114, 122). См. еще Будде, 1. с.

[2] Попытка Еремина фонетически оправдать переход *цн* в *шн* для уломского (Череп. у. Новгор. г.) говора искусственна и сама по себе невероятна. См. Еремин, Оп. улом. и вауч. гов., 17.

шн,[1] так и *шн* стало распространяться за счет иных рефлексов всяческого типа, причем распространение *шн* получило особенно широкие размеры (не только в черте средне- и южновеликор., но и в северновеликор. области) благодаря тому, что *шн* явилось рефлексом типически московским. Все это нарушило старые нормальные соотношения в распределении рефлексов *чн* || *цн*. Эта картина еще более нарушилась благодаря воздействию на говоры литературного языка, московского в своей основе, несшего с собою пласты книжной и иной городской лексики в московском обличии, с *шн*. Впрочем, литературный язык оказался проводником в диалекты не только *шн*, но и *чн*. Последнее обстоятельство объясняется из особого состава и своеобразной эволюции самого литературного языка. Литературный язык, московский в своей основе, как норму, знал формы с *шн*. Но в нем имелись пласты старой книжной лексики, по традиции, в книжной среде, сохранявшейся в старом виде, с *чн*. Слои новых заимствований, широкой волною вливавшихся в язык с XVI в. и далее, составляя книжный пласт языка, также вообще произносились с *чн*. В языке, таким образом, противостояли слой лексики книжного происхождения и употребления в книжной среде, с *чн*, и прочий слой лексики, жившей по нормам московского произношения, с *шн*. В связи с сложными течениями в жизни литературного языка в длительный период, начиная приблизительно с середины XVIII в., имевшими последствием постепенное разрежение московских устоев литературного языка и соответственное ироникновение в него элементов общего северновеликор. происхождения, стали сглаживаться различия в употреблении лексики с *чн* и с *шн*, начался процесс роста в известных группах слов произношения с *чн* за счет старейшего их произношения с *шн*. Этот процесс был длительным, он оказался связанным с эволюцией самого правописания интересующего круга слов, приведшей к концу XIX в. к утверждению единой правописной нормы за данными словами, к написаниям их с *чн*.[2] Все это в совокупности объ-

---

[1] Селищев, 189.

[2] В истории нашей орфографии мы имеем следы этой эволюции нашего произношения, оказавшейся переплетенной с эволюцией самого правописания. Такова история слова *буднишный*. Это слово имеет суффиксом — *шн*, ср. *всегдашний*, *сегодняшний* и под. Поэтому Словарь 1789 г. дает правильную норму слова, согласно с его историей и произношением в ту пору,— *буднишний*, *с шн*. Но уже в следующем издании Словаря (1847 г.) мы находим двойную форму слова, с *чн* и *с шн*, и Грот в новом своем издании Словаря (1890 г.) не смог не повторить этой двойственной формы, оговорив при этом «законность» одной из них и «незаконность» другой. Вариант с *чн*, действительно, исторически, т. е. этимологически, неправилен. Но он, очевидно, отражал новшество языка: в нем проявилась, пусть в данном конкретном факте, исторически незакономерно, общая тенденция языка к дифференцированному произношению старого *шн* — в виде как *шн*, так и *чн*. Ср. еще подобный факт с написанием *суматочный* вм. *суматошный* у С. Аксакова (Чернышев, Прав. и чистота рус. речи, I, 71). Можно еще указать на своеобразное отражение рассматриваемого явления с переплетением моментов живой речи и правописания в показаниях областного языка. Слово литературного языка *роскошный*, с исконным *шн*, перейдя в областной язык, в связи с двойственностью в литературном произношении лексики с *чн* и *шн*, получило вариант произношения

ясняет смешанный характер интересующей лексики в современном литературном языке, которому известно и выдержанное произношение одних рядов слов с *шн*, иных рядов слов с *чн*, и колеблющееся произношение многих групп слов и с *чн* и с *шн*.

17 октября 1930.

с *чн*: *роскочный* Луж. (РФВ 40, 118), Клин. (Черныш. 13), Скопин. (РФВ 27, 248), Жиздр. (ib. 47, 183), Болх. (Сахаров); ср. еще, по связи с существительным *рóскошь*, форму прилагательного *рóскочный* Моск. (Черныш. 89). Следует поставить вопрос, не на сходной ли почве возникли к литературным *изящный*, *хищный* областные варианты с *чн*: *изячный* Петрогр. (С. Обнорский), Кашин. (Смирнов, 60); *хичный* Суздал. (Черныш. 17), Жиздр. (РФВ 49, 326), Терск. (ib. 49, 76).

Культура речи

ПРАВИЛЬНОСТИ И НЕПРАВИЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В работе над Орфографическим словарем русского языка, изданном в виде проекта Наркомпросом в 1936 г. и заново подготовлявшемся последние годы, а кроме того в обработке однотомного Словаря русского языка пришлось столкнуться со всей сложной совокупностью явлений и фактов, относящихся к орфоэпической системе современного русского литературного языка. Если в отношении к орфографической системе русского языка можно было бы без труда указать на те или иные пункты ее неустойчивости, то полный учет этих пунктов не оказался бы слишком большим. Мы поэтому с основанием и научным правом можем систему нашего правописания характеризовать с общей положительной стороны. В отношении русской орфоэпической системы не приходится говорить об ее неустойчивости. Конечно, известные черты неустойчивости у нас в живой речи есть, и с ними, когда они граничат с неправильностями, надо бороться так же, как и с неустойчивостью, с противоречивостью в сфере письма. Но в отношении русской орфоэпической системы приходится говорить, что она сама по себе очень сложна. Сложность орфоэпической системы русского языка находит себе объяснение и в общем богатстве и мощности нашего языка, и в сложной и длинной истории его развития, и в особой силе и импульсивности развития его за последнее время в революционный период. Последнее особенно осложнило общую систему нашей орфоэпии, в связи с чем именно в последнее время с остротою встали задачи научного ее изучения. Впрочем, научное изучение русской орфоэпии только начато. Сюда принадлежат главным образом труды В. И. Чернышева. Отправное значение для орфоэпического изучения русского языка должно иметь издание академического словаря, равно как и обстоятельной, академической грамматики русского языка. Основным же фондом здесь должно послужить возможно полное и точное описательное изучение живого и письменного языка современных деятелей русского слова.

Понятию «орфоэпия» обычно придается суженное значение, как дисциплине, изучающей нормы правильного литературного произношения. Но это понятие, конечно, обнимает язык более

широко, не ограничиваясь одной произносительной стороной, оно включает и нормы литературного использования в речи форм (склоняемых, спрягаемых), и нормы синтаксического построения речи, и т. д. В последующем изложении из области современной русской орфоэпии немногое будет затронуто, соприкасающееся собственно с произносительной стороной нашего языка, и в большей степени будут охвачены вопросы морфологической его структуры. Впрочем, и здесь и там отдельные проблемы теснейшим образом связаны с вопросами ударения, т. е. с той же произносительной стороной языка.

1. Известен закон из истории русского языка о переходе (не начального) *е* в *о*. Согласно с этим законом в русском языке всякое *е* изменялось в *о* перед твердым согласным или в исходе слова, например *мёд*, *лён*, *всё*. Не переходило, однако, в *о* то *е*, которое образовалось из ятя, например *мера*, на *стене*. Последнее надо понимать так, что, когда ять совпал с *е*, этот закон уже не имел живого действия. Однако должно думать, что долго еще, но уже по реминисценции, переход *е* в *о* осуществлялся в языке спорадическим путем. Это были главным образом изолированные случаи с книжной лексикой или архаической официальной русской лексикой, долго державшейся в языке в произношении на славянский лад, т. е. с *е*. Заимствованные слова позднейшей поры сохранялись по общей норме в произношении с *е*, ср. *комета*, *метод*.

Современный русский литературный язык вообще хорошо сохраняет в интересующих группах лексики соотносительное произношение *е—о* в подударном положении. Однако есть изолированные случаи с двойственным произношением то *е*, то *о* в одних и тех же словах. Замечательно при этом, что среди этих случаев примеров с доминирующим *о* (согласно общему положению), редко колеблющихся с *е*, в языке очень немного, и двойственное произношение *е — о* главным образом падает на случаи с преобладающим произношением *е*, варьирующим (обычно в просторечии) с параллельным их произношением с *о*. Последнее обстоятельство с ясностью свидетельствует о том, что современные нормы литературного языка в этом отношении следуют линии нашего литературного языка старшей поры. Среди примеров с нормальным *о* и более редким *е* в литературном употреблении следует отметить слово *жёлчь*, *жёлчный*, также существительные *щёрстка* с прилагательными типа *коротко-*, *длинношёрстный* и т. п., кроме того, слово *пёрышко*. Редкими, свойственными просторечию, являются случаи с *ё* в словах *передёржка* вместо *передержка*, *всплёск* вместо *всплеск*, ср. еще *шлём* вместо литературного *шлем*. Заимствованное *манёвр* (как и производные — *манёвренный* и др.), отвечая ближе произношению оригинала, должно считаться более отвечающим литературной норме, чем редкий вариант его *маневр*, с *е*. К противоположной группе случаев с более устойчивым *е* и редким *о* принадлежат слова *зев*, *рубеж* с производными прилагательными *зарубежный*, *порубежный*, *оседлый*; таковы же бывшие славянизмы или вообще примеры книжных образований: *современный* и др. под., *одно-*, *много-*, *разноплеменный*

(но *единоплеменный* с устойчивым *е*), *одно-, разно-, соименный* (но *поимённый* с устойчивым *о*), *местоименный, можжевеловый*; сюда же можно отнести причастные образования действительного залога прошедшего времени от глаголов *течь, облечь, влечь, нести, везти, вести, умереть* (*отекший, облекший, привлекший, принесший, приведший, привезший, умерший*), доминирующие в произношении с *е*. Последнюю, наконец, категорию примеров в рассматриваемой группе слов составляют слова, нормально произносящиеся в литературном языке с *е*, однако известные в вариантном произношении и с *о*, в произношении с отпечатком более или менее выраженной просторечности. Таково нормальное *согбенный* при варианте *согбённый, запрет, запретный* при *запрёт, -ный, подземный, наземный* при *под(на) зёмный, отместка* при *отмёстка*, наконец заведомо просторечные или областные формы — *призёмистый, хребёт, пёкло, пёрст, валёжник, посажённый* (к сажень), *поперёчный, опромётчивый*.

Как указано выше, старый ять не подлежал переходу в *о*, однако в литературный язык проникли из диалектов и прочно закрепились одиночные слова с подобным произношением. Это известные по старым еще школьным грамматикам формы именительного падежа множественного числа: *гнёзда, звёзды*; прошедшего времени *приобрёл*; причастия *надёван*; сюда же должно присоединить прилагательные *звёздный, надзвёздный*, долгое время в литературном произношении сохранявшие старое *ё*; таково же страдательное причастие *преодолённый* (вариант *преодоленный* является устарелым). С выраженным оттенком просторечия звучат слова — *опёка, издёвка, смётка, слёжка*, также прошедшее время от глагола *сечь*, например *рассёк, осёкся*, наконец, прилагательное, по происхождению страдательное причастие, *недоумённый*. По литературной норме все эти слова должны произноситься с *е*.

2. Известную неустойчивость обнаруживают кратные глагольные образования на *-ивать (-ывать)* от основ, содержащих гласный *о* под ударением. Старый слой этих образований от первичных, собственно глагольных, основ характеризуется наличностью *а* под ударением на месте гласного *о*, принадлежавшего отправной глагольной основе. Ср.: *просить — выпрашивать, ходить — похаживать, доить — выдаивать, колоть — прокалывать* и т. д. Позднейший слой подобных образований, образований главным образом от именных основ (в редких случаях и от местоименных основ или от основ числительных), характеризовался первоначально сохранением гласного *о* отправной глагольной основы. Однако под несомненным воздействием кратных глагольных образований старейшего типа и здесь начался процесс замены корневого гласного *о* гласным *а*. Это изменение известно и в наших говорах, оно наблюдается и в нашем литературном языке, особенно заметно с конца XVIII в. В литературном языке изменение это шло постепенно на всем протяжении XIX и XX вв.: перед нами явление живое и для современной стадии литературного языка. Последнее обстоятельство объясняет

известную неустойчивость с принадлежностью разных вариантов интересующих образований современному нашему литературному языку. Главенствующими и в настоящее время в литературном употреблении являются глагольные образования с сохранением корневого гласного *о*. Таковы, например, глаголы — *озабочивать, подытоживать, приохочивать, разрознивать, узаконивать, упрочивать, приурочивать, ускоривать*, или также — *заподозривать, опорочивать, удостоивать, уполномочивать*. От этих глаголов, в особенности же от последнего из ряда, могут встретиться в разговорном языке вариантные образования с корневым гласным *а* (не *о*), они, однако, являясь отчасти областными, отчасти разговорными или просторечными, не могут считаться нормальными литературными образованиями. С более или менее устойчивым корневым гласным *а* для нормального литературного употребления могут быть отмечены лишь следующие глаголы: *заболачивать, занаваживать* (*у-*), *затрагивать* (*до-, притрагиваться*), *за* (*с-, у-*)*дабривать, о*(*при-, у-*)*сваивать, оспаривать* (хотя переспоривать), (*ис-, об-, от-, пере-, по-, с-*) *таптывать, опоражниваться, с*(*у-*)*дваивать, с*(*у-*)*траивать, сплачивать, успокаивать*. В отдельных случаях и здесь в разговорном языке могут встретиться вариантные формы старейшей поры, с корневым гласным *о* (не *а*), но это для современной литературной нормы уже стареющие или устарелые образования. Впрочем, диалектное колебание *унаваживать* и *унавоживать* поддерживает двойственное употребление этого по своей семантике не городского слова в общем языке. Ср. также, с одной стороны, отмеченную глагольную пару *оспорить — оспаривать*, но, с другой стороны, иное отношение в *переспорить — переспоривать*.

3. Встречаются в литературном языке одиночные заимствования греко-латинского происхождения, от которых в образовании производных не наблюдается устойчивости: рядом с нормальными органического характера в подходящих случаях производными образованиями используются как дублетные формы их образования, сложившиеся на основе иноязычной же лексики в подходящей грамматической функции. Так, слово *синтаксис* есть грецизм. Прилагательное от этого слова звучит двояко: *синтаксический* и *синтактический*, причем последний вариант оправдывается греческой же формой прилагательного (*συνταχτικός*). Форма прилагательного *синтактический* — ограниченная по употреблению форма, форма книжного, нарочито искусственного языка. Нет оснований поэтому поддерживать ее в общем употреблении. Форма *синтаксический*, с другой стороны, как нормальное, морфологически оправданное адъективное образование к *синтакс-ис*, получает тем большие основания для безраздельного своего закрепления в общелитературном языке. На этом же основании следует считать нормальными литературными формами *апоплексический* (не *апоплектический*, ср. *апоплексия*), *апокалипсический* (не *апокалиптический*, ср. *апокалипсис*), *каталепсический* (не *каталептический*). Однако в общее употребление вошла форма прилагательного *эпилептический* (от

эпилепсия), ср. также существительное *эпилептик*. Как принадлежащие сферам ограниченного научного употребления выступают в подобной же форме, с *т*, прилагательные *паралактический* (ср. паралакс) и *эллиптический* (ср. эллипсис). Нет оснований, конечно, этим формам, прочно вошедшим в язык, предпочитать вариантные, редкие в употреблении, образования с *с*. Двойственно также в употреблении адъективное производное к существительному *флексия*: оно звучит и в виде *флексивный* и в виде *флективный*. Ввиду ограниченности употребления в речевой практике этого слова (оно принадлежит области лингвистики) можно было бы из обоих его вариантов нормализовать последний вариант, с *т*, вообще преобладающий в речи. К группе рассмотренных фактов, наконец, относится двойственность глагольного производного к существительному *дискуссия*. Таковы варианты глагола, с одной стороны, *дискуссировать* и, с другой стороны, *дискутировать*. Из обоих вариантов в качестве нормального для литературного употребления должен быть отмечен последний вариант; в этой форме глагол преимущественно употребляется в языке; в этой форме, кроме того, выступает в незатемненном виде глагольная основа, которая фонетически осложнена в субстантивном образовании *дискуссия* и в создавшемся на его основе вариантном глагольном производном *дискуссировать*. С этой формой глагола (*дискутировать*) рядом с существительным *дискуссия* можно сопоставить глагол-термин *перкутировать* — рядом с существительным *перкуссия*.

4. Обращает на себя внимание значительная группа отыменных глаголов в русском языке: они образуются то помощью суффикса *-овать*, то помощью суффикса *-ировать*. Первый суффикс используется в образованиях и от русских и от иноязычных основ, например *торг-овать*, *стол-оваться*, *ноч-евать*, *оркестр-овать*, *презент-овать*, *туш-евать*; второй суффикс употребляется почти исключительно в производных от иноязычных основ, например *вальсировать*, *фотограф-ировать*. Единичным здесь исключением является недавнее техническое (искусственное) образование *молнировать*, если не считать таких глаголов, как *большевизировать*, *советизировать* и т. п., явившихся при *большевизм*, *большевизация* и т. п., подобно *европеизировать* при *европеизм*, *европеизация* и т. д. Таким образом в образованиях от русских основ глагольный суффикс был только *-ова-*, в глаголах же от иноязычных основ суффиксом выступал тот же *-ова-*, а кроме того *-ирова-*. Последнее обстоятельство не могло не послужить и послужило почвой начавшегося процесса морфологического выравнения глагольных образований, сложившихся на базе иноязычных основ. Понятно, что это выравнение шло по линии постепенного вытеснения глаголов с сложным суффиксом *-ир+ова-*, в составе которого, между прочим, первый элемент иноязычного происхождения, вариантными, параллельно созданными, глагольными образованиями на *-ова-*. Процесс этот, начавшись рано, еще с XIX в., имеет живое значение и в настоящее время. Можно было бы в этом отношении указать на ряд

глаголов, ныне характеризующихся суффиксальным *-ова-*, в прошлом же являвшихся образованиями на *-ирова-*, образованиями либо совсем забытыми, либо осознаваемыми со стороны полной своей архаичности. Ср. такие глаголы, как *иллюмин-овать*, *оркестр-овать*, *характериз-овать* и т. п. или особенно частые глаголы на *-изова-*, как *деморализовать*, *децентрализовать*, *(де)натурализовать*, *инвентаризовать*, *колонизовать*, *кристаллизоваться*, *локализовать*, *материализовать*, *милитаризовать*, *мобилизовать (де-, от-)*, *нейтрализовать*, *нормализовать*, *парализовать*, *скандализовать*, *лабиализовать*, *палатализовать* и др. под. Варианты этих глаголов — на *-ирова-* или *-изирова-* — уже являются устарелыми элементами лексики и не должны считаться нормальными элементами современного нашего литературного словаря. Немало в нашем языке глаголов, двойственно звучащих и в форме на *-ирова-* и в форме на *-ова-*. Ср. такие глаголы, как *авторизировать* и *авторизовать*, *аккредитированный* и *аккредитованный*, *акцентировать* и *акцентовать*, *вулканизировать* и *вулканизовать*, *детализировать* и *детализовать*, *инструментировать* и *инструментовать*, *канонизировать* и *канонизовать*, *конкретизировать* и *конкретизовать*, *легализировать* и *легализовать*, *модернизировать* и *модернизовать*, *муниципализировать* и *муниципализовать*, *популяризировать* и *популяризовать*, *секуляризировать* и *секуляризовать*, *солидаризироваться* и *солидаризоваться*, *стабилизировать* и *стабилизовать*, *стандартизировать* и *стандартизовать*, *терроризировать* и *терроризовать*, *типизировать* и *типизовать*, *утилизировать* и *утилизовать*, *цитировать* и *цитовать*, *сублимировать* и *сублимовать*, *йотированный* и *йотованный*, *перлюстрировать* и *перлюстровать* и др. под. В отношении этого ряда глаголов трудно сказать, какой из типов здесь является доминирующим в литературном современном употреблении (хотя *типизировать*, *утилизировать* преобладают над вариантами на *-ова-*); тем не менее безусловно желательно эти двойственные формы для литературного использования как-то нормализовать. В этом отношении линия нормализации не вызывает затруднений. Несомненно, что язык боролся и борется против громоздких образований на *-ирова-*, с этим наполовину не русским суффиксом, в пользу форм на *-ова-*, с этим широким по распространению в языке типически славянским, русским в частности, словообразовательным элементом. Этим вариантным глагольным образованиям на *-ова-* при наличности параллельных форм на *-ирова-* в каждом данном случае в линии нормализации языка должно быть отдаваемо предпочтение. Именно образования на *-ова-*, при которых имеются в языке для одних и тех же глаголов и вариантные формы на *-ирова-*, должны вытеснить из литературного употребления эти последние. Из истории русского литературного языка и из современного языка можно видеть, что жизнь многих глагольных образований на *-ирова-* начинается именно с того, что при соответственных глаголах возникают варианты их на *-ова-*, в конце концов вытесняющие своих предшественников —

формы на *-ирова-*. Можно из современного языка привести немало примеров с формами на *-ирова-*, при которых варианты на *-ова-*, можно сказать, существуют в языке более или менее потенциально, принадлежа более разговорной речи, в словарных изданиях обычно не будучи регистрируемы и т. д. Ср., например, глаголы — *драматиз-ировать, европеиз-ировать, идеализ-ировать, индивидуализ-ировать, индустриализ-ировать, монополиз-ировать, морализ-ировать, национализ-ировать, специализ-ировать, назализ-ироваться* и т. п. Очевидно, дело лишь во времени, и варианты этих глаголов на *-ова-* станут равноправными по употреблению в литературном языке, а в дальнейшем и вытеснят вовсе из языка своих предков — формы на *-ирова-*. Впрочем, в отдельных случаях история дублетных глаголов на *-ова-* и *-ирова-*, осложняясь фактором семантическим, может заключиться сохранением и одного и другого варианта глагола в системе литературного языка. Сохранность обоих вариантов глагола в языке должна иметь опору в достаточной их семантической или стилистической дифференциации. Можно вспомнить о глаголе *репетировать* с вариантом *репетовать*: последний вариант глагола сохранился в специфическом значении в театральной сфере, ср. здесь существительные *срепетовка, срепетованность*. Ср. еще глагол *формировать* и в техническом значении *формовать*.

5. В области именного склонения, как и спряжения, немало встречается двойственных форм, нуждающихся соответственно в литературной нормализации.

В склонении имен существительных остро стоит вопрос об окончании известных рядов существительных муж. рода в именительном падеже мн. числа *-ы* без ударения или *-á* под ударением. Следует при этом иметь в виду, что пользование в им. мн. окончанием *-ы* без ударения означает тем самым почти всегда употребление и во всех косвенных падежах мн. числа безударных окончаний и наоборот — если существительное имеет в им. мн. окончание *-á*, во всех прочих падежах мн. числа у него ударение также падает на окончания. Окончание *-á* в им. мн. существительных муж. рода — новое по происхождению. Это окончание собственно первоначально являлось флексией той же падежной формы подвижноударяемых существительных в двойственном числе (у неподвижных по ударению существительных форма им.-вин. дв. числа совпадала с род. п. ед. числа). С утратой двойственного числа, как специальной грамматической категории, эти формы на *-á* у группы подвижноударяемых имен существительных были осмыслены как формы множ. числа, подобно тому как в группе существительных с неподвижным типом ударяемости форма им.-вин. дв. числа на *-á* (*-а*), совпадавшая с формой родительного п. ед. числа, была и синтаксически переосмыслена, явившись для языкового восприятия именно как форма род. падежа. Ср., с одной стороны, новые формы им. мн. числа, как *берегá, бокá, городá, рогá* и т. п., с другой стороны, новые словосочетания с род падежом существительного, как *два договóра, два купцá, два человéка* и т. п., давшие начало такому употреблению

род. падежа от существительных женского и среднего рода в их сочетаниях с числительными *два, три, четыре* (например, ***две сестры́, два села́, три по́ля*** и т. п.). Новые формы им. мн. на *-á*, явившиеся в результате переработки первоначальных форм дв. числа, могли фактически возникнуть в языке лишь после утраты самой категории двойственного числа. Действительно, примеры им. мн. на *-á* по памятникам не восходят далее, чем к XVI в. Выступают эти формы, как формы новые, робко на протяжении XVI—XVII вв., но с Петровской эпохи они заметно растут и в пределах русской лексики на протяжении XIX ст. становятся нормой нашего литературного языка. Одновременно, сначала очень незначительно, а с XIX в. с большой широтой идет распространение этих форм на *-á* на смежные группы имен существительных, по своему происхождению неподвижноударяемых. Главным образом это — заимствованные слова и в очень ограниченном числе слова русские (из области старой книжной лексики). Если основной контингент русских слов, слов подвижноударяемых, вообще вошел в систему языка в новых формах на *-á* и эти формы устойчиво сохраняются в нормах литературного языка до настоящего времени, то этот вторичный слой образований на *-á*, слой очень значительный и возрастающий непрерывно на наших глазах, далеко не может считаться прочно вошедшим в общий литературный язык. Очень многие примеры с формами на *-á* этой последней категории обязаны своим происхождением профессиональной речи, типически свойственны ей и не могут быть нормализованы для общего литературного языка. Таковы же некоторые образцы форм на *-á*, характерные для области просторечия или разговорного языка. Все это объясняет значительную пестроту нашего языка в употреблении интересующих форм. При малом числе существительных, прочно дающих формы на *-á* как общую литературную норму (ср., например, формы — *бортá, шелкá, тормозá*[1], *докторá, директорá, инспекторá, юнкерá, профессорá* и др.), мы встречаем длинный ряд существительных, знающих формы на *-á*, но лишь как формы профессионального, не общелитературного языка, мы находим и примеры двойственных форм на *-ы* без ударения и *-á* под ударением, возможных в том и другом виде для литературного употребления. В числе общих «грамматических» условий, регулирующих образование в современном языке форм на *-á*, следует отметить собственно одно: отсутствие ударяемости в слове на конечном слоге дает уже возможность образования формы им. мн. на *-á*, а следовательно и обратно — от слов с наконечной ударяемостью невозможны формы им. мн. на *-á*. Действительно, с точки зрения общих литературных норм системе языка поэтому особенно противоречат такие образования, как *инженерá, офицерá, договорá*: ср. ед.число *инженéр, офицéр, договóр*. И хотя формы *инженерá* и *договорá* приходится слышать нередко, они не могут признаваться литературными формами. Не

[1] Впрочем, в фигуральном употреблении возможна лишь форма *тóрмозы*.

могут также оканчиваться на *-á* имена существительные муж. рода, но принадлежащие к категории pluralia tantum (слов, употребляющихся вообще лишь в форме мн. числа). Поэтому просторечное *выборá*, профессиональное *прискá* находятся в том же внутреннем противоречии с общими нормами для образований на *-á*. Односложные существительные в группе заимствованных слов вообще очень редко допускают в им. мн. окончание *-á*, потому что с этой формой наконечное ударение переносится во все прочие падежи мн. числа, существительные же заимствования представляют собой по общей норме слова с неподвижным типом ударяемости. Действительно, из числа односложных слов-заимствований формы на *-á* имеют немногие существительные: *шёлк*, очень старое заимствование, давно уже не осознаваемое как заимствованное слово, *борт*, *спорт*, кроме того, *том* и *тон* представляют во мн. числе колеблющиеся формы на *-ы* и *-á*. В прочих случаях, хотя в отдельных примерах просторечие и знает употребление форм на *-á*, для литературной нормы эти формы неприемлемы. Ср. в литературном употреблении лишь—*плýги*, *прúзы*, *тóрты*, *фóрты*, *цéхи*, *пóрты*, *клýбы* и др. Больше того, от отдельных существительных этого типа (односложных) встречаются формы мн. числа не на *-á*, но на *-ы*, однако и эти формы обычно не отвечают нормам литературного употребления, ср. профессиональное или просторечное произношение им. мн. *плугú*, *призы́*, *шрифты́*, *штабы́*, *штрафы́*; нормальное же литературное произношение лишь *плýги*, *прúзы*, *шрúфты*, *штáбы*, *штрáфы* (т. е. и соответственные косвенные падежи от них с безударными окончаниями — *плýгов*, *прúзов* и т. п.)[1]. Поэтому и от *фронт* нормальная литературная форма мн. числа *фрóнты*, *фрóнтов*, *фрóнтам* (форма *фронты́*, *фронтóв*, *фронтáм*, подобная формам *штабы́*, *штрафóв*, *шрифтóв* и т. п., насаждаемая радио, профессионального происхождения, профессиональной принадлежности). Такими же, в своем большинстве профессионального происхождения, формами являются многие иные образования на *-á* от двухсложных (и трех-, и многосложных) слов, как, например, *архитектóрá*, *авторá*, *аптекаря́*, *библиотекаря́*, *бухгалтерá*, *боцмáнá*, *вахтерá*, *инструкторá*, *лекторá*, *лоцмáнá*, *маклерá*, *мичмáнá*, *редакторá* и др. под., или *крейсерá*, *катерá*, *прожекторá*, *шомполá*, или *джемперá*, *свитерá*, *примусá*, *штепселя́*, *грифеля́*, *трюфеля́*, *флигеля́*, *лагеря́*[2] и т. д.; таковы же формы — *очеркá*, *почеркá*, *рапортá*, *секторá*, *профиля́* и мн. др., или просторечные и областные: *месяцá*, *клеверá*, *неводá* и др. Во всех этих случаях литературно нормализованными должны быть признаны формы на *-ы*, т. е. тем самым и косвенные падежи с ударением не на окончании, а на основе: не *авторóв*, а *áторов*; не *боцманóв*, *вахтерóв*, *мичманóв*, *редакторóв* и т. д., а *бóцманов*, *вáхтеров*, *мúчманов*, *редáкторов*; подобным образом — *крéйсеров*, *кáтеров*, *прожéкторов*, *лáгерей*, *óчерков*, *сéкторов*,

[1] Однако более или менее устойчивое наконечное ударение имеем в *шкафы́*, *спирты́*.

[2] (Детские) *лагеря́* семантически разошлись с (военными) *лáгерями*.

про́филей, ме́сяцев и т. д. По приведенным примерам можно видеть, насколько разговорная речь в пользовании этого типа формами неустойчива, насколько она отходит от правильных норм литературного языка. Должно заметить, что в некоторых случаях — как в русских словах, так и в словах заимствованных — прежняя двойственность форм им. мн. на *-ы* и *-а́* сохраняется и до настоящего времени в литературном употреблении. Такова двойственность форм *ко́робы* и *коробá*, *ку́зовы* и *кузовá*, *ле́кари* и *лекаря́*, *хле́вы* и *хлевá*, *я́стребы* и *ястребá*; или в заимствованиях — *е́гери* и *егеря́*, *то́поли* и *тополя́*, *фельдфе́бели* и *фельдфебеля́*, *я́кори* и *якоря́* и некоторые другие. Отмечу двойственность формы с наконечным ударением: *стогú* и *стогá*, *кормы́* и *кормá*; в парности образований *хле́бы* (о печеном хлебе) и *хлебá* (злаки) — явление семантической дифференциации; ср. выше *ла́гери* и *лагеря́*.

В склонении имен существительных муж. и ср. рода известная неустойчивость наблюдается в образовании формы род. п. мн. числа. В отдельных категориях слов муж. рода (именования народностей и др. слова и термины с значением единиц веса и др., названия плодов) в род. мн. рядом с нормальным его образованием встречаются формы без окончания *-ов*. С точки зрения грамматической нормализации следует в подходящих случаях держаться форм с флексией, т. е. практиковать в род. мн. формы *аваров* (не *авар*), *сарматов* (не *сармат*) и т. п., *гренадеров*, *гусаров*, *драгунов*, или *ваттов*, *вольтов*, *граммов*, *омов* и т. п., также *баклажанов*, *бергамотов*, *помидоров* и т. п. В словах среднего рода на *-ье* и на *-це* подобным образом форма род. мн. образуется двойственно — то по общей норме для существительных ср. рода, т. е. без флексии, то помощью окончания *-ев*. Следует и здесь рекомендовать для поддержания единства грамматических норм следование именно общим положениям грамматики, т. е. пользование формами без окончания. Поэтому следует в род. мн. держаться форм: *поместий* (от *поместье*), *кочевий* (от *кочевье*) и т. п., *корытец* (от *корытце*), *полотенец* (от *полотенце*), *щупалец* (от *щупальце*) и т. п.

В склонении имен существительных следует отметить ряд явлений, связанных с неустойчивостью в области ударения. Выше отмечено колебание образований им. п. мн. числа от существительных (подвижноударяемых) муж. рода с окончанием *-ы* без ударения и *-а́* под ударением. В косвенных падежах мн. числа поэтому выступают формы, с одной стороны, с безударными окончаниями, с другой стороны, с ударением на окончаниях. Позднейший слой этих же образований от заимствований в общелитературном языке знает в малом количестве формы на *-а́*, и от них только согласно с общим положением и косвенные падежи представляют формы с ударяемой флексией.

Существительные женского рода на *-а́* (подвижного типа по ударению) первоначально в вин. п. ед. числа представляли форму с ударением на основе, не переносившимся на флексию: например, *рукá — ру́ку*, *ногá — но́гу* и т. п. Однако во многих случаях под

влиянием наконечного ударения во всех прочих падежах ед. числа (кроме вин. падежа) и форма вин. падежа стала двоиться в произношении, звуча с ударением то на основе, то на флексии. Эта тенденция к выравнению по ударяемости всех форм ед. числа подходящих существительных применительно к форме им. падежа еще сильнее обнаруживается в стадии современного литературного языка. По норме современного литературного языка ряд существительных, если и употребляется в вин. ед. числа с ударением на основе, то лишь в каких-либо застывших сочетаниях, в пословичных выражениях и т. п., вообще же от них практикуется уже одна форма вин. падежа — с ударением на флексии. Ср. вин. ед. *весну́* (не вёсну), *золу́*, *лозу́*, *полу́*, *полосу́*, *реку́*, *росу́*, *слободу́*, *сноху́*; обычны также формы *косу́* (орудие), *стену́*. В сочетании этих существительных с предлогами обычно также в нормах литературного употребления отсутствует перенос ударения с имени на предлог: *за полу́*, *на полосу́*, *за(на) реку́*, *под косу́*, *на стену́* и т. п.

Имена существительные женского рода на мягкий согласный, подвижного типа по ударению, во мн. числе, начиная с род. падежа, имеют ударение на окончании. В отдельных случаях такое ударение наблюдается у существительных с неподвижным ударением на основе; например, *древносте́й*, *рукописе́й*, *летописе́й*, *пристане́й* и др., ср. еще в *целя́х* в полунаречном значении. Это ударение расходится с нормой литературного произношения.

6. В образовании глагольных форм следует заметить о формах прошедшего времени, также соответственных причастий прош. времени действительного залога от глаголов на *-нуть*. Среди этих глаголов одни в названных формах (глаголы в основном перфективные, однократного значения) всегда сохраняют *-ну-*, например *блеснуть*, *кашлянуть* и т. п., другие (в подавляющей массе несовершенного вида) колеблющимся образом то сохраняют, то опускают *-ну-*, например: *погаснуть — погас*, *погаснул*, *погасший*, *погаснувший*; *тускнуть*, *потускнуть — тускнул*, *потуск*, *тускнувший*, *потускший* и *потускнувший*. Эти глаголы в старший период литературного языка в более широком виде представляли интересующие формы с сохранением *-ну-*, особенно когда имели «возвышенное» значение или употреблялись в фигуральном смысле (например, воздвигнул брань на кого-нибудь, но воздвиг памятник). В современном литературном языке эти семантические и стилистические признаки также играют известную роль в употреблении форм с сохранением или опущением *-ну-*, вместе с тем вообще употребление форм без *-ну-* представляется значительно выросшим по сравнению с прежним литературным языком. Определенно нормировать употребление одних и других форм не представляется возможным иначе, как путем их рассмотрения в словарном порядке. В образовании причастий прошедшего времени действительного залога обращают на себя внимание отдельные глаголы первого спряжения с основой на зубные согласные. У некоторых из этих глаголов старые формы на *д*, *т*+*ший* замещены новыми образованиями на *-вший*, ср.,

например, *клавший, севший, упавший, кравший*. Рядом с этими новыми образованиями сохраняются старого типа формы, например: *метший, ведший* и др. По образцу приведенных новых образований на *-вший* встречаются в употреблении и соответственные формы от глаголов *брести, приобрести, изобрести*: *брёвший, приобрёвший, изобрёвший*. Эти формы, однако, не могут считаться получившими литературное признание: нормальными литературными формами должны считаться старшего типа образования: *брёдший, приобрётший* и *изобрётший*. Не имеет твердого установления форма страдательного причастия прошедшего времени от *пеленать*: встречаются три разновидности формы — *пеленанный, пеленутый, пеленатый*. Ввиду полной устарелости первого варианта для современного языка должна рекомендоваться последняя разновидность формы — *пеленатый*, так как вариант *пеленутый* не имел бы никакого морфологического для себя оправдания. В отношении деепричастных форм следует отметить вариантность деепричастия прошедшего времени на *-в* и *-вши*. Формы на *-в* (*сделав*) — нормальные литературные образования, формы на *-вши* (*сделавши*) — свойственны разговорной речи или просторечию. Среди деепричастий прошедшего времени выделяются формы от глаголов — *мереть, тереть, переть*. Нормальные соответственные образования — *умерши, отерши, оперши*. От последних двух глаголов, кроме того, употребляются вторичные по образованию формы — *отерев, стерев, протерев* и т. п., *оперев*. Эти формы более свойственны разговорному языку и просторечию.

В образовании отдельных глагольных форм следует обратить внимание на некоторые явления, связанные с неустойчивостью в области ударения.

Среди глаголов второго спряжения с ударением в инфинитиве на конечном слоге часть сохраняет это наконечное ударение во всех лицах настоящего времени, например: *глядéть, гляжý, глядúшь, глядя́т, лишúть, лишý, лишúшь, лиша́т*; значительное же количество их в 1-м л. ед. числа имеет наконечное ударение, в прочих же лицах ед. числа и во всем множ. числе характеризуется ударяемостью на основе, например: *терпéть, терплю́ — тéрпишь, тéрпят, варúть, варю́ — вáришь, вáрят*. Последний тип ударяемости у многих глаголов упрочился сравнительно недавно; от начала XIX в. мы имеем еще немало свидетельств старого на них ударения, наконечного во всех лицах настоящего времени. В связи с этим во многих глаголах мы и в настоящее время встречаем двоякого характера ударяемость, например: *дарúть, дарю́, дáришь*, и несколько устарелую форму — *дарúшь, божúться, божýсь, бóжишься* и *божúшься* и др. под.

В отдельных случаях мы встречаемся с вторичным типом ударяемости, не узаконенным нормами литературного употребления. Так, при литературном образце спряжения *звонúть, звоню́, звонúшь, звоня́т* (также — *зазвонить, отзвонить, позвонить, созвониться*) в разговорной речи встречаются формы глагола с иной

ударяемостью (*звóнишь — звóнят*), литературным языком не нормализованные. Ср. еще подобные формы от глаголов *селúть* (*поселить, расселить, заселить, вселить, переселить*), *селю́, сéлишь, сéлят* — вместо *селúшь, селя́т, распорядúться, распоряжýсь, распоря́дишься, распоря́дятся* вместо *распорядúшься, распорядя́тся, теребúть, теблю́, терéбишь, терéбят* — вместо *теребúшь, теребя́т, трубúть, трублю́, трýбишь, трýбят* — вместо *трубúшь, трубя́т, определúть, определю́, определúшь, определя́т* — вместо *определúшь, определя́т* и др.

Заслуживает внимания также форма причастия страд. залога прош. времени на *-нный*. Глаголы первого спряжения с основой в инфинитиве на гласный в причастных образованиях на *-нный* имеют ударение на корне независимо от того, какова ударяемость глагола в инфинитиве. Например, *мáзать — мáзанный* и *стреля́ть — стрéлянный, вязáть — вя́занный*. Те же глаголы с основой в инфинитиве на согласный характеризуются наконечным ударением и в инфинитиве (*мести́, плести́, везти́, беречь* из *берéчь, сечь, печь* из *свéчь, печь* и т. п.) и в форме наст. времени (*метёшь, плетёшь, везёшь, бережёшь, сечёшь* и т. п.). Причастные образования от них обычно имеют ударение не на корне, а на тематическом гласном, т. е. звучат на *-ённый*: *метённый* (*за-, на-, об-, под-, с-*), *плетённый, ведённый, везённый, несённый, бережённый, подстережённый, сечённый, наречённый, приобретённый, истолчённый* и т. п. Областными по своему происхождению, нелитературными являются нередко встречающиеся в разговорной речи причастные формы от отдельных глаголов этого типа с накоренным ударением, как *принéсенный, привéденный, привéзенный* и т. п. Однако немногие глаголы здесь имеют накоренное ударение в причастной форме: *подстри́женный, изгры́зенный;* в особом положении форма *крáденный*, ср. наст. вр. *крадёшь* и старшая форма *крáдешь*; наконец в отдельных примерах можно наблюдать при сохранении старого типа ударяемости причастий на тематическом гласном проникновение нового ударения накоренного (в разговорном языке). Ср. *напрячь, запрячь* и т. п., обычно *напряжённый, запряжённый* и т. п., но и *запря́женный*, ср. *сечь* — причастие *отсечённый, пересечённый, рассечённый, усечённый*, но в значении «наказать» возможны в разговорном языке новые формы, как *засéченный, иссéченный, пересéченный*.

Глаголы второго спряжения с ударением в инфинитиве на конечном слоге по общей норме в причастии имеют ударение на тематическом гласном, если во всем настоящем времени у них ударение на окончании, например: *возвратúть, возвращý, возвратúшь, возвратя́т — возвращённый, изнурúть, изнурю́, изнурúшь, изнуря́т — изнурённый*; если же в наст. времени при наконечном ударении 1 л. ед. ч. в остальных лицах ед. и мн. числа ударение оказывается на корне, то и в страдательном причастии является то же накорéнное ударение, например: *просúть, прошý, прóсишь, прóсят — спрóшенный, любúть, люблю́, лю́бишь, лю́бят — разлю́бленный, излю́б-*

ленный. Глаголы с неподвижным ударением на начальном или срединном слоге сохраняют свое ударение и в причастном образовании, например: *озабо́тить — озабо́ченный, пригото́вить — пригото́вленный*. Приведенные общие нормы оправдываются на большом количестве фактического материала с глаголами второго спряжения. Но есть немногие нарушения этих норм, отчасти узаконенные литературным употреблением, но в большей своей части принадлежащие разговорному языку. Ввиду того, что тип глаголов с различной ударяемостью в настоящем времени 1-го л. ед. ч. и всех прочих лиц ед. и мн. числа по своему происхождению в литературном языке тип молодой, о чем свидетельствует и колебание у ряда глаголов ударяемости в формах наст. времени — на корне или на окончании,—понятна известная неустойчивость и в ударении причастных образований от этих глаголов. Так, колебание в наст. времени *гру́зишь* и *грузи́шь* объясняет колебание и причастной формы *гру́женный* — и *гружённый*, при этом как ударение *грузи́шь*, так и причастной формы *гружённый* уже́ несколько устарелое. Подобным образом от *дои́ть, пои́ть, кои́ть* причастные образования звучат *доённый, поённый* (*вс-, на-, о-*)[1], *кроённый* (ср. литературные формы наст. вр. *дои́шь, пои́шь, кроишь*), но это ударение сбивается: областные или просторечные формы *до́ишь, по́ишь, кро́ишь* вызывают и причастные варианты — *подо́енный, вспо́енный, перекро́енный* и т. п. Подобное же колебание, характерное для разговорной речи (просторечия), можно отметить и для ряда иных глаголов, например при *всучённый — всу́ченный*, при *под* (*за, на, пере*)*синённый* — вариант с накоренным ударением, при *засорённый — насбренный*, колебание *насо́ленный* и *за*(*про, пере*)*солённый* и др. В ряде случаев держатся архаические причастные образования на *-ённый*, хотя формы наст. времени встречаются с ударением на корне (или с колеблющимся ударением — и на корне и на флексии), например *делённый* (*от-, раз-*), *захоронённый, за*(*из, об, от, под*)*менённый, на* (*от*)*клонённый, осаждённый, по*(*про*)*буждённый, повторённый, рукоположённый, крещённый* (*о-, пере-*), *обсуждённый* (*о-, при-*); варианты с накоренным ударением, иногда встречающиеся от отдельных глаголов, не являются нормальными для литературного употребления (ср. *захоро́ненный, подме́ненный, повто́ренный*). Глагол *оцени́ть, оце́нишь* дает нормально причастную форму *оце́ненный, расце́ненный*, но рядом сохраняются и старшего типа образования — *оценённый, расценённый*, ср. в качестве прилагательного только архаического типа форму *неоценённый*. Отмечу колебание по ударению внешне, формально близких глагольных форм, объясняющееся семантической дифференцированностью. При *купи́ть, закупи́ть* и т. п.— причастие (*за*)*ку́пленный* (ср. наст. вр. *куплю́, ку́пишь*), но от *искупи́ть, искуплю́, искупи́шь* — причастие по норме *искуплённый*. Подобным образом от *начини́ть* (=снабдить начинкой) — причастие *начинённый*, от *учини́ть, причини́ть — учи-*

[1] Ср. прилагательное (из причастия) упоённый.

нённый, причинённый, но от *зачини́ть, почини́ть* и т. п. (=исправить шитьем)—причастие *зачи́ненный, почи́ненный* и т. п. Ср. еще отношение причастных образований *одарённый* при *по(раз)да́ренный, насаждённый* при *наса́женный, поса́женный* и др. под. Глаголы с наконечною ударяемостью и в инфинитиве и в наст. времени в редких примерах дают причастные образования с ударением на корне, ср. *до(на)ско́бленный, насле́женный, нави́нченный*. Однако в разговорном языке подобные случаи встречаются и от иных глаголов, притом как вариантные образования к нормальным причастиям на *-ённый*. Ср. *разгро́мленный, сплоченный, упро́щенный, обо́стренный, настороженный, уто́нченный*, сюда же можно отнести и существительное *договоренность* (образование от причастной формы). Все эти примеры с перенесенным ударением не принадлежат литературной норме. Таковы же, напротив, случаи с перенесенным обратным ударением на тематический гласный у глаголов с неподвижным типом ударения на корне. Сюда принадлежат нормализованные в литературном языке формы *по(при)нуждённый* (от *пону́дить, прину́дить*), *обрамлённый* (от *обра́мить*), *за(про, у)медлённый* (ср. *ме́длить*). В разговорном языке можно еще встретить формы *пресыщённый* (от *пресы́тить*) рядом с нормальным *пресы́щенный*, кроме того — *осведомлённый, уведомлённый* (ср. также имя существительное *осведомлённость*) от *осве́домить, уве́домить*. Все эти последние разговорные варианты соответствуют нормализованным в литературном языке причастным образованиям с ударением на корне.

Страдательные причастия от отдельных глаголов, в связи с семантическими чертами последних, переходили в прилагательные, в том или другом случае сохраняя одновременно и причастные свои функции. Такие адъективированные причастия старой поры образования характеризуются одиночным, не двойным, суффиксальным *н* (впрочем, по современным правописным нормам одиночное *н* в отпричастных прилагательных пишется лишь в глаголах, не осложненных префиксами, в префиксированных же прилагательных, образовавшихся из причастий, сохраняется написание двойного *н*, как и в причастиях) ср. *копчёный, крещёный, лощёный, мощёный, золочёный* и др., а рядом — *воспалённый, восхищённый, врождённый, исступлённый, извращённый, изможденный, изощрённый, изнурённый, изумлённый, искажённый, истощённый, одухотворённый* и т. д. Но, кроме того, прилагательные, образованные от причастий, в отличие от причастных форм нередко характеризуются иным ударением, именно ударением на тематическом гласном данной формы, в то время как в собственном причастии ударение падает на корень. Причина этой дифференциации форм по ударению, очевидно, должна объясняться из старой поры, к которой относится образование адъективированных форм причастий: это была пора, когда причастия от соответственных глаголов характеризовались именно не накоренною ударяемостью, отсюда и не накоренная ударяемость образовавшихся из этих причастий прилагательных.

Позднéе, в связи с передвижкой ударения в отдельных группах глаголов, именно перенесением ударения во 2—3-м л. ед. числа и во мн. числе наст. времени с окончания на корень, изменилось аналогично и ударение причастных образований от этих глаголов, также передвинувшееся на корень. Так, стали противостоять по ударению прилагательные: *дарёный*, *гружёный*, *краплёный*, *кручёный*, *лечёный*, *мочёный*, *пилёный*, *солёный*, *сверлёный*, *сучёный*, *сушёный*, *топлёный*, *точёный*, *тушёный*, *учёный*, *хвалёный*, *чинёный* (ср. еще *посажёный* отец), *смышлёный*, *назва́ный* (брат) причастным формам *да́ренный*, *гру́женный* и т. д. Эта старая черта иногда дает себя знать и в позднейшее время при образовании прилагательных от причастий: если причастная форма соответственного глагола характеризуется накоренною ударяемостью, для отличия от причастия соответственное прилагательное может получить перемещение ударения с корня на тематический гласный. Ср. причастие от *озло́бить* — *озло́бленный*, но прилагательное с двойным ударением *озло́бленный* и разговорное *озлоблённый*, причастие *обосо́бленный* и прилагательное (в разговорном языке) *обособлённый* (отсюда двойственность ударения существительного — *обосо́бленность* и разговорное *обособлённость*), причастие *прибли́женный* и прилагательное *приближённый*, причастие *уни́женный* и прилагательное *унижённый*, причастие *заслу́женный* и прилагательное *заслужённый* (заслужённый деятель науки), причастие *из*(*воз*, *раз*)*лю́бленный* и прилагательное (также существительное) *влюблённый*. Ср. нередкую передвижку ударения к концу в адъективированных страдательных причастиях на *-тый*, например: *ли́тый* причастие, *литóй* прилагательное, *ви́тый* причастие, *витóй* прилагательное, *пи́тый* причастие, *испитóй* (чай) прилагательное, *при́нятый* причастие, *принятóй* прилагательное, *сня́тый* причастие, *снятóй* (снятое молоко) прилагательное и др. под.

7. Ударение слов независимо от принадлежности их к той или другой грамматической категории, независимо от их изменяемости невозможно рассматривать в порядке элементов изолированной лексики. Здесь поэтому остановлюсь на немногих фактах обобщающего характера с колебанием ударения в русском литературном языке.

Из слов с колеблющимся ударением, русских по происхождению, следует отметить как литературно нормализованные варианты: *договóр* и *приговóр* (поэтому мн. число *договóры*, *приговóры*), не *дóговор*, *прúговор* (варианты разговорного языка); *созы́в* (не *сóзыв*, вариант просторечия); *пóсланец* (нормальное образование от страдательного причастия *пóслан-н-ый*); *добы́ча* (не *дóбыча*, вариант профессиональный); *ру́сло* (не *русло́*, вариант диалектный); *изобрете́ние*, *приобрете́ние* (не *изобре́тение*, *приобре́тение*, вариант разговорный); *мышле́ние* (не *мы́шление*, вариант искусственного образования, ср. *замышле́ние*, *измышле́ние*, *помышле́ние*, *размышле́ние*, *умышле́ние*).

Среди заимствований можно выделить слова: *аге́нт* и производные *аге́нтство*, *аге́нтский* (не *а́гент*, вариант просторечия),

алфави́т (не *алфа́вит*, вариант просторечный), *терро́р*, *катало́г*, *некроло́г*, *диало́г*, *диагно́з*, *экспе́рт* (латино-греческие слова, вторично прошедшие европейское посредство), *докуме́нт*, *инструме́нт*, *медикаме́нт*, *ферме́нт*, *фрагме́нт* (хотя *орна́мент*), *библиоте́ка* (не *библио́тека*, просторечный вариант), *киломе́тр* (не *кило́метр*, просторечный вариант), *фено́мен*, *не́ктар*, *до́ллар* (согласно с непосредственными источниками заимствования — первые два слова из греческого языка, последнее — из английского), слова на безударное *-ия* в лексике, привившейся к литературному употреблению, как *афа́зия*, *дизенте́рия*, *лалопа́тия*, *лапарото́мия*, *идиосинкра́зия* и др. Особого внимания заслуживают обильные в языке отглагольные существительные на *-ение*, представляющие известный материал двойственного по ударению произношения. Среди образований на *-ение* выделяются производные от глаголов первого спряжения с основой на согласный (типа *нес-ти*, *беречь*) и на *-е-* (*стареть*). Ударение существительных от всех этих глаголов согласуется с ударением инфинитива или — что то же — с ударением 1-го лица ед. ч. наст. времени: *смяте́ние*, *сбереже́ние*, *вспоможе́ние*, *изобрете́ние*, *прояснение* и т. п. Ударение существительных, образованных от глаголов второго спряжения, представляет систему более сложную. Если глаголы имеют наконечную ударяемость и в инфинитиве и в формах наст. времени, в одном ли 1-м лице ед. числа или во всех лицах ед. и множ. числа, образованные от таких глаголов существительные имеют ударение на *-е́ние*: *смут-и́ть*, *смут-и́шь* — *смуще́ние*, *проси́ть*, *про́сишь* — *проше́ние*. Поэтому от *опрости́ть*(*ся*), *сплоти́ть*(*ся*) существительные должны звучать в виде *опроще́ние*, *сплоче́ние* (рядом встречаются в разговорной речи варианты *опро́щение*, *спло́чение*, которые не могут быть нормализованы для литературного употребления). Что касается глаголов с ударением (неподвижным) на корне, то по общей норме оно сохраняется и в соответственных производных существительных на *-ение*, особенно в тех случаях, когда эти существительные имеют четкое значение, связанное с значением данного глагола. Ср. *кра́сить* — *кра́шение*, *сла́вить* — *сла́вление*, *ви́деть* — *ви́дение*, *кале́чить* — *кале́чение*, *моро́чить* — *моро́чение*, *поро́чить* — *поро́чение*, *конопа́тить* — *конопа́чение* и т. п. Однако во многих случаях у соответственных имен существительных ударение падает и на суффикс *-ение*, особенно тогда, когда в значении соответственных существительных имеется отход от значения собственного глагола, когда имеется перенесение, расширение этого значения. Например, при *кра́шение* ср. *украше́ние*, при *ви́дение* — *виде́ние*, также *привиде́ние*, при *сла́вление* — *прославле́ние*, или ср. еще существительные — *значе́ние* (*обо-*, *предна-*), *муче́ние*, *мышле́ние* (*за-*, *из-*, *по-*, *раз-*, *у-*, *ср.* также *осмысле́ние*), *на*(*раз*)*руше́ние*, *за*(*про*)*медле́ние*, *обособле́ние*, *оглавле́ние*, *о*(*раз*)*граблéние*, *одобре́ние*, *озлобле́ние*, *осведомле́ние*, *освое́ние* *о*(*по*, *рас*)*слабле́ние*, *о*(*на*, *предо*)*ставле́ние*, *от*(*вы*, *за*, *ис*, *на*, *с*, *при*)*числе́ние*, *оформле́ние*, *очище́ние*, *до*(*вы*, *за*, *ис*, *на*, *по*, *пере*)*полне́ние*, *по*(*пре*, *воз*)*вы́шение*,

по(до-, соиз-, произ)зволе́ние, поздравле́ние, по(с, при, у)нижéние, по(рас-, предвос)хище́ние, прибавле́ние (у, из), приготовле́ние, приспособле́ние, продолже́ние, противле́ние, приближе́ние, раз(у-)множе́ние, ране́ние, увере́ние(разу-), расшире́ние, уваже́ние, ударе́ние, удвое́ние, утрое́ние, удобре́ние (о-), (пред)уведомле́ние, (пре)увеличе́ние, узаконе́ние, улучше́ние, уменьше́ние, умилостивле́ние, уподобле́ние, у(ус)покое́ние усиле́ние, ускоре́ние, у(на, по)строе́ние, утеше́ние, ухудше́ние и др. В немногих случаях в этой категории существительных можно наблюдать колебание ударения. Ср. при *обеспе́чить — обеспе́чение*, но в разговорной речи и *обеспече́ние*, при *сосредото́чить — сосредото́чение*, но в разговорной речи и *сосредоточе́ние*, при *упро́чить — упро́чение* и разговорное *упрочéние*. Во всех этих случаях литературным должен быть признан вариант с накоренным ударением. От *удостове́рить* мы имеем *удостове́рение* в чистом значении абстрагированного глагольного действия и *удостовере́ние* в значении документа. Глаголы *ограни́чить (раз-), обнару́жить* имеют двойственную форму существительного: *ограни́чение* при менее употребительном варианте *ограниче́ние, обнару́жение* и *обнаруже́ние* без четкого различения в употреблении этих вариантов.

Немало в нашем языке имен существительных на *-аж*. Это все заимствования из французского языка. Значительное число этих слов в языке привело к тому, что в них обособился суффикс *-аж*, с помощью которого начали слагаться производные от русских слов. Таких, однако, производных в языке немного: *листаж, строкаж*, ср. еще шутливое *подхалимаж*. Как в словах иноязычных, в этих существительных ударение должно быть неподвижным. Таково действительно большинство слов: *абордáж, ажиотáж, бракерáж, арбитрáж, вернисáж, дренáж, каботáж, камуфля́ж, картонáж, корсáж, куртáж, курáж, литрáж, массáж, метрáж, пилотáж, плинтáж, плюмáж, репортáж, саботáж, такелáж, типáж, тоннáж, трелья́ж, тренáж, трикотáж, фиксáж, фюзеля́ж, хронометрáж, шантáж, шпионáж, экипáж*. Однако под влиянием русских слов на *-ёж*, в прочих падежах, имеющих ударение на окончании, и в эти слова на *-аж* начало проникать наконечное ударение. Это явление коснулось слов профессионального языка и употребления. Так, узаконилось новое ударение слова *багáж — багажá, фурáж — фуражá, тирáж — тиражá*. Последнее слово в ед. числе, по данным словаря под ред. Д. Н. Ушакова, допускает колебание *тирáжа* и *тиражá*. Это было, надо думать, ко времени подготовки к изданию данного (4-го) тома словаря. В настоящее время можно без колебания нормировать одну форму слова — с наконечным ударением. Колебавшееся по ударению *бандáж, бандáжа* и *бандажá* (сведения словаря Ушакова) в настоящее время также может считаться словом с установившимся наконечным ударением — *бандáж, бандажá*. В последние годы в эту же группу слов, с новым типом ударяемости, включилось существительное *блиндáж*. Следует заметить, что и некоторые другие существительные на *-аж*, отчасти

в просторечии, отчасти в профессиональной речи, произносятся с новым наконечным ударением, например: *кура́ж — куража́, шанта́ж — шантажа́, дрена́ж — дренажа́, листа́ж — листажа́, масса́ж — массажа́, метра́ж — метража́, монта́ж — монтажа́, стелла́ж — стеллажа́* и нек. др. Но эта передвижка ударения нормами литературного языка не закреплена.

Среди имен прилагательных много пестроты в ударении образований на *-ов*, вообще очень распространенных в языке. И здесь двойственности и неустойчивости ударения в значительной мере содействовали волны новой специфической ударяемости, сложившейся на почве профессионального языка и просторечия. Здесь, в частности, обращает на себя внимание значительный слой прилагательных, образованных от иноязычных существительных. Эти существительные обычно неподвижны по ударяемости, и в именах прилагательных от них по общей норме ожидается сохранение ударения на корне. Между тем можно было бы привести немало примеров двоящегося ударения в этой группе прилагательных — и на корне, и с передвижкой его к концу слова — на суффикс *-ов-* или на окончание. Последние варианты вторичны по образованию в языке, обязаны по большей части профессиональной или просторечной струе, направляющейся в язык, и не всегда могут считаться литературно нормализованными. Ср. при *ге́рбовый* варианты *гербово́й* и более редко *гербо́вый*, от *ма́чта* прилагательное *ма́чтовый* и профессионализм *мачто́вый*, от *план* обычная форма *пла́новый* и разговорный вариант *планово́й*, от *приз* нормальная форма *при́зовый* и профессиональный вариант *призово́й*, от *фланг* форма *фла́нговый* и разговорный и профессиональный варианты *фланго́вый* и *флангово́й* и т. д. Существительные *грамм, литр, метр, ватт* и т. п. предполагают адъективные образования типа *гра́ммовый, ли́тровый, ме́тровый, ва́ттовый* и т. п. Они существуют в языке, а рядом — просторечные варианты типа *двухлитро́вый, полуметро́вый, километро́вый* и т. п. От *семе́стр, триме́стр* нормальные прилагательные *семе́стровый, триме́стровый*, однако в первом случае норма сбивается вариантом-профессионализмом *семестро́вый* и т. д. Эта группа прилагательных особенно нуждается в нормализации.

Русский литературный язык, мощный и богатый сам по себе с богатым и сложным своим прошлым, особенно сложен в составляющих его элементах. Современный русский литературный язык есть скрещение самых разнообразных стилей. Ломоносов в своем учении о трех стилях с величайшей научной прозорливостью указывал на непозволительность, на «неправильность» скрещения в данном роде произведений разных речевых стилей. Каждому роду произведений принадлежит свой стиль или возможность сочетания в нем определенных стилей. Это основное положение Ломоносова оправдывается всем последующим развитием нашего литературного языка, под пером лучших представителей русского слова оно имеет действенное значение и в современном состоянии нашего литературного языка, обеспечивая сохранность чистоты в дальней-

шем его росте. Это положение должно определять и наше отношение к заботам о современном литературном языке как величайшем национальном нашем достоянии. Однако наша задача хранить чистоту литературного языка, а вместе с тем стараться поднять его на бо́льшую высоту. В этом смысле нужно стремиться к тому, чтобы несколько поднять удельный вес высоких стилей нашего литературного языка. Это в свою очередь достигалось бы ценой некоторого снижения различных нелитературных элементов речи, входящих в состав тех или иных речевых стилей, и особенно профессиональной речи и просторечия, не говоря о собственно диалектной речи. В свое время в известной литературной дискуссии, с главенствующим участием А. М. Горького, дано понимание диалектизмов, определено значение их удельного веса в литературном языке. Собственно это положение должно относиться и к просторечной стихии, и к профессиональному языку, и к самим элементам разговорной речи, как ингредиентам понятия современного русского литературного языка. Литературный язык нисколько не потеряет, не обеднится, а, напротив, поднимется в строгих и высоких своих формах, если мы будем более разборчивы и более скупы, и не только в письменной, но и в живой речи, к использованию элементов профессионального языка, просторечной стихии, да и самого разговорного нашего языка. Это общее положение, представляется, должно явиться основополагающим в нормализации современного русского литературного языка.

1944

КУЛЬТУРА РУССКОГО ЯЗЫКА

I

Русский язык — великий язык великого русского народа. Язык входит существенным слагаемым в понятие нации. Он служит главнейшим орудием культуры, основным фактором духовного развития нации, ее творчества, национального самосознания. Именно в языке полнейшим образом — и притом в осмыслении самого народа — отпечатлеваются все этапы истории этого народа от отдаленнейших времен, все ступени, по которым направлялось движение его культуры. Поэтому богатое прошлое народа, интенсивное развитие его культуры — залог богатого и мощного развития самого языка данного народа. Таков именно русский язык. В его силе и богатстве нашли свое выражение длительность пройденного народом исторического процесса и интенсивность культурного развития русской нации во всем течении ее истории.

Богатство, неисчерпаемые внутренние силы, выразительность, красота русского языка с давних пор обращают на себя внимание. Многочисленны характеристики русского языка, вылившиеся из-под пера деятелей русской литературы, науки, культуры. Пожалуй,

лучшая из этих характеристик принадлежит величайшему сыну русского народа — Ломоносову. В одном своем суждении, относящемся к 1748 г. («Риторика»), Ломоносов говорит: «Язык, которым Российская держава великой частью света повелевает, по ее могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает».

А позднее, в известном предисловии к «Российской грамматике» (1755), Ломоносов уже утверждает и обосновывает мысль о превосходстве русского языка над всеми европейскими. Характеристика, данная Ломоносовым русскому языку, в высшей степени красочна и в то же время глубоко содержательна, объективна и правдива. Она должна иметь для нас особое значение, так как это суждение высказано Ломоносовым уже на склоне его деятельности и может рассматриваться как итог его работы непосредственно в области художественного творчества и его исследований по русскому языку.

Не буду приводить многообразных высказываний о русском языке, например известных суждений о нем наших писателей-классиков: Державина, Карамзина, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Л. Толстого, Чехова, Горького и др. Во всех этих высказываниях, принадлежащих величайшим творцам русского слова, содержится то же, покоящееся на интуиции художника и на опыте непосредственной творческой деятельности, восхищение перед неизмеримыми силами, красотой, гибкостью, мощью русского языка. «Нельзя верить,— восклицает Тургенев,— чтобы такой язык не был дан великому народу».

Следует также вспомнить суждение о русском языке Энгельса, который был лингвистом-полиглотом. Энгельс изучил русский язык и был поражен богатством его стилистических ресурсов и его самобытной силой. По его отзыву, русский язык должен считаться «одним из самых сильных и самых богатых живых языков мира».

Русский язык, по общей оценке, рисуется языком с особыми признаками красоты и богатства, выразительной силы и величия. И действительно, научный анализ дал бы возможность отметить в общем облике русского языка особенности, которые должны служить объективными свидетельствами его положительных качеств.

Так, можно подчеркнуть, что в фонетической области, в системе гласных и согласных русского языка, носовые и плавные согласные *м*, *н*, *р*, *л*, вносящие музыкальность в речь, имеют очень широкое распространение: четвертую часть нашего словаря составляют слова, начинающиеся либо с плавного, либо с носового согласного. Это не может не придавать музыкальности нашей речи.

Типической чертой русского языка, отграничивающей его и от отдельных славянских и других языков, является высокая воздействующая палатализующая[1] сила гласных переднего ряда, в частности гласного *е*, на предшествующие согласные. Это, по происхождению, явление старой поры. Поэтому мы встречаемся с

[1] Палатализация — смягчение согласных.

сохранением палатальности согласных и в тех случаях, когда после них в старом языке находились гласные переднего ряда, позднее исчезнувшие. Сравните мягкость согласных в исходе слов (например, в *гость*, *кость*, в пов. накл. *брось*, в частице *ведь* и т. п.) или также в срединном положении (например, в *ладья*, *больной*, в пов. накл. *бросьте* и др.). В результате наша речь, знающая в употреблении только смягченные *ч*, *щ*, только смягченный *йот*, обильно использует и другие ряды согласных в смягченном виде.

Нельзя не отметить в числе общих положительных качеств нашего языка подвижность, гибкость в нем ударения, которое может падать на любой слог слова. Благодаря этой черте нашей связной текучей речи легко сообщается, в сочетании с движением интонации, богатая ритмичность. Ритмичность русского языка очень высокая. Мы ведь строим свою речь на ритмических началах отнюдь не в одних поэтических жанрах, а стремимся к ритму вообще, если заботимся о литературности речи.

В отмеченных нами высказываниях о русском языке подчеркивалась в числе его положительных качеств красота. Действительно, особенности звукового облика русского языка сообщают нашей речи общие черты благозвучности, музыкальности, мягкой тональности, высокой ритмичности — все то, что создает общее впечатление красоты языка.

Богатство русского языка поистине поразительно. Формально учитываемый в словарях лексический оборот языка не может дать даже приблизительного представления о реальной лексической наличности нашего языка. Живой язык вообще с лексической стороны сколько-нибудь точно учесть не представляется возможным. Он сам по себе слишком подвижен, чтобы можно было хотя бы с отдаленной степенью полноты охватить его лексику в словаре. Данные о лексической наличности русского языка по имеющимся словарям таковы: в академическом издании Словаря русского языка, выпущенном сто лет назад (1847), содержится около 115 тысяч слов. Этот словарь предусматривал включение лишь такой лексики, которая допустима для литературного употребления. Громадные слои специальной, терминологической лексики, принадлежащие наукам, ремеслам, технике, в словарь не включались. Не включались также многообразные группы нелитературной или внелитературной лексики, как, например, богатейший источник диалектной речи, слова профессиональные, просторечная лексика и т. п. Даль в своем словаре, выпущенном в 60-х годах, попытался шире представить современную лексическую наличность языка, обняв и областную речь и некоторые иные пласты лексики. В результате в его словарь оказалось включенным уже около 200 тысяч слов. Если учесть, что диалектологическое изучение нашего языка развернулось много позднее, если принять во внимание колоссальный рост нашей науки и особенно различных областей техники в XIX и главным образом в XX вв., то легко себе представить огромное обогащение за это время, т. е. после Даля, нашего словаря.

Богатство русского языка, однако, свидетельствуется не столько высокими количественными показателями лексического оборота языка, сколько смысловой насыщенностью словаря, широкой разветвленностью значений слов и их семантических (смысловых) оттенков, а равным образом богатством стилистических и фразеологических ресурсов языка. В этом наиболее яркое выражение богатого развития языка и свидетельство мощного культурного роста русского народа и в прошлом и в настоящем. Чтобы убедиться в исключительном богатстве нашей лексики в этом отношении, можно было бы открыть любую страницу с достаточной полнотой обработанного словаря русского языка: любое слово в нем (если оно по своей природе не узко очерченного значения, например не терминологическое) обычно является носителем пучка значений или их оттенков, в известном употреблении выступает стилистически окрашенным и входит звеном в состав того или иного неразложимого фразеологического целого. В «Толковом словаре русского языка», вышедшем под редакцией Д. Н. Ушакова, для глагола *идти* указано 40 значений. Если даже допустить возможность более компактного разграничения значений этого глагола, его семантическая разветвленность все же осталась бы очень большой. Союзы *а* и *и*, будучи семантически дифференцированы, представляют целые пучки многочисленных значений. Отрицание *не* в одной из первоначальных редакций академического Словаря русского языка составило статью в 96 печатных столбцов убористого словарного шрифта. Во всем этом наглядное фактическое свидетельство чрезвычайного богатства русского языка, его стилистического разнообразия, его выразительной силы.

Благодаря морфологической природе русского языка, имеющего возможность образования основных групп знаменательных слов (существительных, прилагательных, глаголов) с помощью суффиксов и префиксов, русский язык всегда обладал и обладает неиссякаемыми силами роста. Так, например, такая группа образований (составляющая большой пласт в языке), как отвлеченные имена существительные, по значению связанные с глагольными действиями и состояниями, легко образуются от глаголов путем использования суффиксов. При этом в субстантивном образовании полностью обеспечивается сохранение значения или нюанса в значении, присущего глаголу. То же можно было бы сказать относительно образования отвлеченных имен существительных, по значению связанных с категорией прилагательных, и т. д.

Большое значение в русском языке принадлежит префиксации глаголов.

Префиксы, сочетаясь с глаголом, вносят новые оттенки в основное значение глагола, т. е. раскрывают новое содержание его, обогащая сокровищницу языка новыми элементами лексики. Префиксация глаголов, кроме того, в известных случаях, давая слова с новыми значениями, наделяет их особой выразительной силой. Поэтому нередко писатели-художники в стремлении к большей

выразительности речи пользуются префиксированными глаголами, по-разному комбинируя префиксальные в них элементы. Эту черту нашего языка, сообщающую ему особую выразительную силу, прекрасно чувствовал в старые времена величайший художник, автор «Слова о полку Игореве», широко употреблявший в поэме,— несомненно, в стилистических целях — одни и те же глаголы без префикса и в префиксированном виде или в соединении с одним и каким-нибудь близким к нему другим префиксом. Сравните в «Слове о полку Игореве»: *лелѣяти* и *взлелѣяти*, *плакатися* и *всплакатися*, *потоптати* и *притоптати*, *потрепати* и *притрепати* и т. д.

Если поставить вопрос о причинах этой изумляющей силы и выразительности современного русского литературного языка, то ответ следует искать в условиях богатого и сложного его развития, в условиях общего нашего культурного роста с самых отдаленных времен.

II

Русская письменность, русский письменный язык, по дошедшим памятникам, свидетельствуется с половины XI в. Таков старейший дошедший до нас памятник русского языка — знаменитое Остромирово евангелие, датированное 1056—1057 годом. Однако письменный русский язык существовал задолго до этого времени.

До нас дошел замечательный оригинальный памятник старейшей поры — судебный кодекс, так называемая «Русская правда», сведения о которой уже содержатся в летописи под 1016 г. и составление которой, несомненно, принадлежало еще более раннему времени.

До нас дошли, наконец, договоры русских с греками 907, 912, 945, 971 гг., которые писались в одном экземпляре на греческом языке, а в другом — на русском. Копии этих договоров сохранились в тексте «Повести временных лет» и не оставляют сомнения в том, что оригиналы их были составлены на русском языке и были современны самим договорным актам. Все это в совокупности позволяет считать бесспорным очень раннее зарождение у нас письменной культуры, задолго до первого фактически сохранившегося письменного памятника русского языка. Да иначе и быть не могло. Русь старейшей эпохи Киевского государства, как свидетельствуют последние исследования академика Б. Д. Грекова, находилась на очень высокой ступени культуры, которая предполагает прочное обладание письмом. Эта высокая стадия общей культуры Киевской Руси в свою очередь не может пониматься иначе, как свидетельство того, что уже в период предшествующий, т. е. в антский период (в VI—VIII вв.), и до него, шел интенсивный культурный рост на территории Поднепровья и тянувших к нему областей, где в IX в. слагается русская государственность. И отнюдь не являлось бы смелым предположением о принадлежности каких-то форм письменности уже этим «русам» антского периода.

Свидетельств высокой русской культуры уже в начале Киевской Руси, свидетельств бесспорных и красноречивых, у нас много. Таковы поражавшие современников, поражающие и нас образцы старейшего русского зодчества, живописи. Эти образцы — сверкающие богатством и роскошью отделки многочисленные храмы, высившиеся в различных городах русских, особенно в Киеве, этой матери русских городов. Киев, центр русской земли, имел широкую славу в международном окружении. Иметь связи с Киевом, породниться с домом киевского князя было лестно в ту пору для повелителя любого европейского государства. Можно вспомнить о брачном союзе дочерей Ярослава Мудрого Анны — с французским королем Генрихом I, Елизаветы — с норвежским королем Гаральдом, брак самого Ярослава с Ингигердой, дочерью шведского короля Олафа, и т. д. Из явлений, относящихся к области духовной культуры ранней поры киевской государственности, нельзя не отметить мероприятий, касающихся просвещения. Уже под 987 г. в летописи читаем известное сообщение о том, что Владимир Святой распорядился о наборе «нарочитых детей» и отдаче их для обязательного «учения книжного». Что же это за «учение книжное» — по объему и по содержанию? Это, конечно, не школы попов и дьяконов для узких потребностей церковного богослужения. Эти школы элементарного обучения были уже образованы ранее. Мероприятие князя Владимира предусматривало организацию школ иного типа, повышенного уровня, для детей «нарочитого» слоя населения, для будущей служилой знати.

Показательно как мерило ранних высоких культурных потребностей известие летописи, относящееся к деятельности Ярослава Мудрого, именно — об организации при нем специального кружка переводчиков. Они должны были переводить на русский язык разнообразные сочинения: научные, исторические и прочие, преимущественно с греческого, и действительно обогатили фонд чтения старого русского читателя-книжника.

Чрезвычайно показательным свидетельством культурных запросов и непрерывно действовавшей большой тяги к культуре является громадное количество дошедших до нас рукописных памятников русского языка. По приблизительному учету их у нас до 130 тысяч экземпляров. Ни на одном другом славянском языке в таком количестве рукописного наследия старины мы не находим. При этом русские рукописи уже от XI в. имеются в числе до 30, от XII в. их до сотни, а далее они уже считаются многими тысячами. Конечно, в этом громадном рукописном наследии сохранилась лишь какая-то доля того, что фактически имелось в обращении. Эти цифры красноречивее слов говорят о непрерывном, уверенно из века в век шедшем, росте русской культуры. Стоит при этом заметить, что с ранней поры многие рукописные памятники выступают перед нами как замечательные образцы русского письма по богатству, по художественности их выполнения. Так, первый датированный дошедший до нас рукописный памятник — упомянутое выше Остро-

мирово евангелие — это ценнейший для нас памятник русского языка, но это и образцовый памятник русского искусства — по тщательности, изумительной красоте письма, по богатству всего оформления (писан по большей части золотом, на дорогом пергаменте, богато орнаментирован). Наличие подобных памятников (а их немало) свидетельствует о высоких культурных запросах, сложившихся на Руси уже в самое отдаленное время.

Наконец, следует остановиться на самом русском литературном языке старейшей поры, на оригинальных памятниках этого языка. Эти памятники в непосредственных оригиналах не сохранились, они дошли до нас в списках, иногда довольно поздних. Почти не дошли до нас памятники старейшей поры мирского содержания, памятники художественно-литературные. Однако то немногое, что дошло до нас, имеет первостепенное значение, как непосредственное свидетельство высокого уровня нашей культуры (в сфере художественного слова, художественного творчества) в самую раннюю пору. Стоит напомнить о таких произведениях, как старейшая летопись, или слово Илариона, этот тончайший образец проповеднического жанра, или произведения Владимира Мономаха, поражающие чеканностью своего языка, или знаменитое «Слово о полку Игореве», к которому по художественному совершенству трудно подыскать объект для сравнения в иных литературах и т. д. Самая возможность появления в раннюю историческую пору подобных произведений как образцов отточенного литературного языка или как совершеннейших образцов творчества в различных литературных жанрах говорит о вполне сложившейся в эту пору и отлившейся в прочных формах культуре русского художественного слова, которая должна была опираться на длительную предшествующую традицию. Вполне понятно, что, например, «Слово о полку Игореве» не могло появиться на русской почве одиноким цветком. Оно выросло, питаясь из русских же родников художественного слова предшествующих эпох, оно должно было иметь своих старших предшественников — произведения, которые по тем или иным причинам не дошли до нас.

Поэтому должно отбросить как ложную мысль о том, будто русский литературный язык в своих истоках, в своем образовании был не русским языком. А таковым было обычное представление. Считалось, что наш литературный язык по своему происхождению был церковнославянским языком, языком той богатой церковно-богослужебной и иной религиозной книжности, в свое время переведенной на болгарский язык с греческого языка, которая появилась у нас с принятием христианства. Этот язык, пришедший на Русь в X в., будто бы сразу оказался у нас с правами и в роли нашего литературного языка. С этой точки зрения представлялось, что вся последующая история нашего литературного языка свелась к процессу постепенного проникновения в этот пришлый, чуждый для нас, церковнославянский язык элементов живого русского языка. Такое представление о происхождении русского литературного

языка в корне неверно, так как оно расходится с непосредственными данными языка старейших оригинальных русских памятников. Именно эти памятники не содержат в языке церковнославянских элементов. Такова «Русская правда», которой полностью чужд слой церковнославянизмов, таково, собственно, и «Слово о полку Игореве», таковы отдельные жанры произведений Владимира Мономаха, таковы деловые акты (типа грамот) и т. д. Показания старейших наших литературных памятников обязывают к утверждению русской первичной базы нашего литературного языка и притом зародившегося не в X в., а слагавшегося на протяжении предшествовавших столетий.

Русская культура во всех ее проявлениях и на всем протяжении ее роста всегда носила самобытный характер. Так, в зодчестве старейших русских храмов перед нами образцы не византийского, а р у с с к о г о искусства. В великолепном точеном уставе старейших русских рукописных памятников мы имеем дело с образцами оригинального р у с с к о г о, а не южнославянского письма. Точно так же «Русская правда» — продукт самобытного р у с с к о г о происхождения, а не слепок с каких-то сторонних правовых узаконений. «Слово о полку Игореве» тоже гениальное произведение самобытного р у с с к о г о творчества, не подсказанное какими-нибудь чужими образцами, и т. д.

Сам русский язык старейшей поры обращает на себя внимание той же своей самобытностью. Русский язык имел старейшие связи с разными иными языками, например с финскими, тюркскими, с греческим языком и др. Однако эти связи никак не сказались на развитии русского языка. Русский язык продолжал свое, самостоятельное развитие. В него проникали отдельные лексические заимствования, но и этот слой заимствований был совершенно незначительным. Так, о финских заимствованиях можно совсем не говорить: они слишком единичны и к тому же спорны. Слой заимствований тюркского происхождения старейшей поры совсем ничтожен. Греческие заимствования, если не считать соответственной лексики церковно-богослужебного характера, перешедшей из болгарского языка, в живом обороте речи были также не очень многочисленны. При таком ясно выраженном самобытном характере русского языка самая мысль о том, будто основу русского литературного языка составил язык не русский, кажется противоестественной.

Итак, русский литературный язык, русский во всех составляющих его элементах, достаточно сложившийся еще к доисторической поре, в историческую пору в общем поступательном движении всей русской культуры, должен был быстро расти. В нем протекают известные процессы фонетико-морфологического содержания. Он непрерывно обогащается в лексическом составе. Сложными путями происходят многообразные явления в синтаксической стороне языка. Это нормальное течение роста русского литературного языка вместе с тем осложняется появлением рядом с ним болгарского языка, главным образом в книжном письменном его типе, как языка

церковнославянского. Церковнославянский язык, как болгарский в своей основе, был относительно близок к русскому языку, хотя и имел свои отличия и в звуковом облике, и в морфологической системе, и в лексике, и в синтаксисе, но, как язык литературный, книжный, как носитель притом преимущественно церковной книжности, он резко отличался от живого русского языка и от сложившегося на его основе литературного русского языка. Церковнославянский язык поэтому не мог ассимилироваться с русским языком в целом. Взаимодействие русского литературного языка с церковнославянским оказалось частичным, ограниченным, проявляясь лишь в книжных, церковных в широком смысле, жанрах произведений. Например, среди произведений Владимира Мономаха, в его «Поучении», еще наблюдается незначительная доля церковнославянизмов, но в прочих его произведениях — в автобиографии (в повествовании о «путях» и «ловах», им проделанных), в письме к князю Олегу — церковнославянское воздействие ничтожно. Это объясняет нам слабое отражение церковнославянского языка на системе русского языка.

Совершенно незначительным, временным и неровным было это отражение на фонетической и морфологической стороне русского языка, почти вовсе не сказалось оно на синтаксисе. Заметно проявилось оно лишь в лексике. При этом широкое лексическое воздействие церковнославянского языка принадлежало лишь ограниченным стилям языка, книжным (церковному в особенности). Отсюда уже некоторые пласты из церковнославянской лексики усваивались общим нашим литературным языком. Этот процесс ассимилирования русским литературным языком элементов церковнославянского языка шел постепенно, из века в век нарастая. Его значение в общем развитии русского литературного языка было положительным. Русский язык обогатился лексически, особенно в стилистических своих средствах. В общих условиях лексического обогащения языка явилось и некоторое обогащение морфологической его структуры. Так, на основе пришедшей из церковнославянского языка лексики типа разнообразных сложных образований (в свою очередь обязанной греческому языку) эта именно категория слов получила широкое развитие на почве собственно русского языка.

Подобным же образом произошло оживотворение ряда префиксальных, суффиксальных элементов языка. Некоторые из префиксов и суффиксов (например, *без-*, *-ние*, *-ство* и нек. др.) стали продуктивными в дальнейших образованиях, слагавшихся уже на почве русского языка.

И все же воздействие церковнославянского языка на русский литературный язык не следует преувеличивать. Оно было односторонним, проявившимся в лексическом и стилистическом обогащении нашего языка, и почти не затронуло общих структурных его основ. В этом сказалась всегдашняя внутренняя сила русского языка и тенденция к самобытности его развития.

III

Нет необходимости останавливаться здесь на последовательном ходе развития русского литературного языка. Можно отметить важный этап в этом развитии в период образования Московского государства. Это была пора формирования национального русского языка, живую основу которого составило московское наречие. Вот почему мы говорим, что исторической базой нашего литературного языка служит московское наречие.

Следующим важным этапом в развитии русского литературного языка была Петровская эпоха (с XVII веком как ее преддверием). В это время Россия включается в общую европейскую жизнь, становясь органически необходимым членом в семье европейских государств. В 1708 г. указом Петра старое письмо сменяется новым, гражданским. Множатся школы, ширится образование, общее и специальное.

Общий культурный подъем, возросшие государственные потребности, требовавшие расширения знаний и их углубления, вызывают как необходимое мероприятие учреждение Академии наук. Сильное обновление в этот период получает русский язык. Он всесторонне обогащается для удовлетворения широких возросших культурных потребностей. В него проникают элементы живого русского языка. Церковнославянская стихия, сплетавшаяся до этого в отдельных книжных жанрах с общим литературным языком, заметно оттесняется, сохраняя законное право на существование лишь в ограниченных областях церковной, проповеднической литературы. Впрочем, даже здесь, например в творчестве Феофана Прокоповича, язык обновляется под лад общего литературного языка. В значительном масштабе в литературный язык вливается поток заимствований из европейских языков. Это, впрочем, преимущественно терминологическая лексика, от отдельных пластов которой позднее язык освободится.

Таким образом, изменения в облике русского литературного языка в Петровскую эпоху были очень значительны. Церковнославянская стихия в нем заметно была отодвинута на задний план. В язык письменности широким потоком нахлынула живая разговорная речь; кроме того, он стал заполняться иноязычными элементами, приток которых в послепетровскую эпоху, в отдельные литературные стили, еще более усилился, что не всегда оправдывалось достаточными основаниями.

Для широкого общественного сознания необходимо было авторитетное вмешательство, научное оправдание всех этих новшеств в языке. Так была призвана к жизни деятельность Ломоносова. Ломоносов гениальным прозрением разрешил стоявшую перед ним задачу. И деятельностью собственно писательской, литературно-художественной, и теоретическими изысканиями по русскому языку Ломоносов правильно установил путь развития нашего литературного языка, тот путь, который приведет к Пушкину, этому создателю

современного нашего литературного языка. Сущность ломоносовского разрешения проблемы заключалась в признании и церковнославянских элементов и элементов живой народной речи в нормах литературного языка, но в известных рамках и в определенном соотношении с жанром литературного произведения. Элементы церковнославянского языка при этом допускались лишь наиболее распространенные, такие, которые должны были для всех быть понятны. Литературный язык, таким образом, должен покоиться на началах, с одной стороны, национально близких, а с другой — на данных, доступных для восприятия широких слоев говорящих. Таким образом, Ломоносов не порвал совсем со стариной, а слил с ней в одно стройное целое новизну, что обеспечило дальнейшее нормальное развитие литературного языка. Ломоносов воспользовался элементами русского народного разговорного языка, а также языка верхов тогдашнего общества и, где было нужно, поднял их, соединив с элементами церковнославянского языка. В результате у него получился новый тип литературного языка.

Вторая половина XVIII столетия характеризуется наряду с большим наплывом в литературный язык иноязычных, преимущественно французских, заимствований, также и борьбой против них. В этом внедрении иноязычных элементов в литературный язык было нарушение ломоносовских традиций.

Научный авторитет Ломоносова и имя его как писателя и деятеля в области русского языка были непререкаемы на многие десятки лет. Грамматика русского языка в академическом издании 1802 г. почти повторяет ломоносовскую «Российскую грамматику». Изданный Академией наук в 1789—1794 гг. шеститомный Словарь русского языка целиком стоит на взглядах Ломоносова в суждениях о литературном языке.

В словаре в лексике богато представлен «высокий» стиль языка. Народная (областная) лексика показана сравнительно скупо. В словаре почти отсутствуют элементы западноевропейских заимствований. В иллюстрационном материале богаче всего представлен Ломоносов, сочинения которого явились основной базой при составлении словаря. Однако практически соблюдение ломоносовских традиций было трудно, и его учение о «трех штилях» стало явно изживаться. Это вызвало в конце XVIII — начале XIX вв. зарождение новых течений во взгляде на развитие литературного языка.

Основными пунктами разногласий в суждениях о языке явился вопрос об удельном весе в нормах литературного языка церковнославянской стихии и элементов народного языка. Так всплыли, как противостоящие, с одной стороны, Карамзин с его школой, с другой — Шишков. Карамзин стремился «европеизировать» русский литературный язык, строя его по подобию причесанной европейской салонной речи; поэтому язык этот был далек от церковнославянской высокой лексики. Еще менее прав признавал Карамзин за народной речью в нормах литературного языка. Зато он широко вводил

элементы европейские (французского языка в особенности), как в натуральном их виде, так и путем их калькирования. Антиподом Карамзина в этом отношении выступил Шишков, в ту пору президент Академии. Он был ярым врагом прививки литературному языку ненужных западноевропеизмов, особенно в прикрытом виде, в виде кальк, и являлся сторонником большого подчинения литературного языка старым нормам.

В этот период острой борьбы карамзинистов и шишковистов рос молодой Пушкин. Пушкин гениальным своим умом и чувством языка провидел нежизненность позиций как Карамзина, так и Шишкова. Пушкин остался вне этих течений. Сомкнувшись в известных отношениях с Ломоносовым, Пушкин встал на самостоятельный путь языкового творчества, раскрыв и оживотворив те начала языка, которыми он живет до настоящего времени. Мы в этом отношении с полным правом именуем Пушкина создателем современного русского литературного языка. В Пушкине всегда поражала современников, поражает и нас глубина мысли, изумительная четкость и простота ее выражения. В созданном Пушкиным новом русском литературном языке нет подчеркнутого пристрастия к славянизмам или вообще к архаической русской лексике, нет и излишнего тяготения к живой разговорной стихии русского языка. Почти нет в обороте Пушкина новых европейских заимствований, хотя с молодых лет Пушкин знал французский язык не хуже русского. Созданный Пушкиным новый русский литературный язык соединил в себе, как в гармоническом целом, все то из общего состава языка, что должно было обеспечить ему в дальнейшем его росте и силу выразительности, и живописность, и богатство, и четкость, а вместе с тем простоту выражения. Этот пушкинский язык бережно охранялся и развивался последующими деятелями нашего литературного слова, сознательно поддерживавшими именно пушкинские языковые традиции. Таковы были многие наши классики-писатели: Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Чехов, Горький и т. д.

Конечно, за столетний период, отделяющий нас от Пушкина, наш литературный язык изменился. Кое-что в нем, обветшав, отпало, а вместе с тем произошло и сильнейшее его лексическое обогащение. Сравните рост в 40-е, 50-е годы и далее философской лексики, внедрение в 60-е, 70-е годы широких пластов диалектной лексики, обогащение его в дальнейшем громадным слоем специальной научной, технической, профессиональной лексики и т. д. Все это, однако, было изменением, связанным с внутренним и внешним ростом языка, отвечавшим общему нашему культурному подъему. Основы же литературного языка, которые были заложены в нем деятельностью Пушкина, сохранились в незыблемом виде. Эти основы должны оберегаться и развиваться и в современном нашем литературном языке. Мы должны поэтому и сейчас в работе над собственной речью и в общей направляющей деятельности в области культуры речи отправляться от основ нашего литературного языка, заложенных Пушкиным. Это означает, что мы должны совершен-

ствовать свой язык, основываясь на творчестве Пушкина и всех тех писателей-классиков, кто был продолжателем пушкинских традиций, а равным образом на всем том, что питало самого Пушкина, а это были, помимо отдельных его предшественников — корифеев литературы,— главным образом образцы художественной народной речи: сказки, песни и т. п.

IV

Если обратиться к характеристике современного русского литературного языка, взяв его на широком фоне как язык всего революционного периода, следует отметить громадные происшедшие в нем сдвиги. И это само по себе естественно: в нашей общественной структуре, в мировоззрении, в жизненном укладе произошел резкий перелом, что не могло не отразиться столь же резко на языке. Можно было бы с помощью лингвистического спектра констатировать изменения, происшедшие и в фонетической, и в морфологической области, и в синтаксисе. Особенно же значительные и всеми ощутимые изменения произошли в лексической и семантической стороне языка. Действительно, в связи с новыми общественными условиями, в связи с ростом новой государственности одни слои лексики, отвечавшие определенным понятиям прежнего общественного уклада, совсем исчезли, иные сохранились, но были переосмыслены. Наконец, заново сложились громадные слои новой лексики. Быстрый рост новой государственности, мощный общий культурный рост, широчайшие сдвиги в области наук и многообразных отраслей техники, в частности, связанные с индустриализацией страны,— все это может дать представление о громадном лексическом обогащении нашего языка. Наконец, следует отметить общий рост литературного нашего языка, вызванный тем обстоятельством, что в числе деятелей литературного языка оказались в большом числе представители таких слоев общества, которые до этого активного участия в жизни литературного слова не принимали. В результате не мог не произойти известный отход нашего литературного языка от общей линии предшествующего его развития. Язык действительно стал переполняться неологизмами или разнообразными элементами нелитературной или внелитературной лексики. Так, в общий язык стала вливаться областная лексика, просторечная, профессиональная, арготическая и т. д. Все это отводило от нормы прежнего литературного языка, колебало его устои, опиравшиеся на крепкую связь с предшествующими корифеями-классиками, начиная с Пушкина, все это грозило порчей языка.

Такое положение не могло не привлечь общественного внимания к проблеме развития литературного языка. Известна дискуссия на эту тему начала 30-х годов, в которой руководящая роль принадлежала великому нашему деятелю и тонкому ценителю русского слова А. М. Горькому. На этой дискуссии было подчеркнуто, что русский литературный язык есть величайшее общественное достоя-

ние, что направление развития его далеко не безразлично для самой общественности. И действительно, итоги дискуссии были чрезвычайно важны для дальнейшего развития русского литературного языка.

Активно было начато оздоровление языка. Так, при быстрых темпах строительства в начальный период революционной поры в язык в громадном количестве стали проникать сокращенные слова разных типов образования. Но это не полнокровная, не дающая нормального обогащения языка лексика, это слова условного, временного назначения.

Понятно, что началось освобождение языка и от этих пластов лексики.

Подобным образом определились грани допустимой для литературного пользования лексикой диалектного происхождения, просторечной и т. д. Наш литературный язык постепенно, в результате неуклонных забот о нем, выравнялся (в своей общей линии) и принял прежнее устойчивое положение языка, преемственно развивающегося на основе прочных традиций.

Это внимание к языку, активные заботы о нем не должны ослабляться. Непрерывным должно быть бережное внимание общественности к нашему литературному языку, как к величайшему культурному нашему достоянию, непрерывной должна быть забота о нем и со стороны каждого из нас, счастливых носителей великого русского языка. Необходимо бережно хранить его чистоту и правильность, бороться за выразительность нашей речи, за простоту языка, активизировать его развитие в более высоких формах.

Правильное в широком смысле пользование русским языком предполагает соблюдение норм литературного произношения: правильное употребление склоняемых, спрягаемых форм, правильность синтаксического построения фраз, правильное семантическое использование лексики — в том именно значении, которое точно соответствует содержанию каждого данного слова.

V

Система русского литературного языка в отношении произношения не содержит сама по себе особенных трудностей, каких-либо пунктов специфического, осложняющего характера. Однако сложное прошлое русского литературного языка, культивировавшегося в Киеве, Владимире, Москве, Петербурге, осложнило наше литературное произношение, лишив его твердой устойчивости. Исторически, как об этом сказано было выше, в основу литературного языка легло московское наречие. Живая московская основа поэтому характеризует и современное состояние нашего литературного языка. Поэтому литературные нормы языка требуют «акающего» произношения, произношения согласного *г* как взрывного звука и т. д.

Однако прежние «московские» нормы литературного произношения заметно разрежаются, смягчаются, несколько сближаясь с

северными нормами. Это сказывается главным образом на характере «аканья», ныне уже не проявляющегося в таком резком виде, как это было лет 75—100 назад. Так, в современном литературном языке уже нет чистого *а* на месте предударного *о* или чистого *и* на месте предударного *е* или *я*, не произносим мы *шыры* вм. шары и т. п. И в других отношениях резкие старые «московские» особенности в нормах современного литературного произношения смягчились: так, произношение *шн* вместо *чн* в словах является не общей устойчивой нормой языка.

В 3 л. мн. числа не обязательно безударная флексия у глаголов 2-го спряжения звучит как *ут* (любют), возвратная глагольная частица *ся*, *сь* не обязательна в произношении с твердым *с* и т. д.

Необходимо с вниманием относиться к самой произносительной стороне языка, не только избегая расходящегося с литературными нормами диалектного произношения, но и, в случаях неустойчивости самих произносительных норм, держась твердой линии нормализованного литературного произношения.

Обращает на себя внимание черта русского языка — палатализующее влияние гласных переднего ряда на предшествующие согласные. Эта черта проявляется даже в словах иноязычного происхождения с согласными в них перед гласной *е*, однако лишь тогда, когда они совсем ассимилируются нашим языком. Сравните, например, произношение *леди* (прежде: *лэди*), *вена*, *ректор*, *комета*, *реальный*, *температура* и т. д. с мягкими согласными, как в обычных русских словах, а рядом твердые согласные, например, в *дэнди*, *кашнэ*, *тэррор*, *коттэдж* и т. п. Иногда можно встретиться с перебоями в произношении в одном и другом направлении, например с произношением твердых согласных в словах, давно ассимилированных нашим языком, или, напротив с произношением мягких согласных в иных рядах лексики. Таково произношение: *тэма*, *идэя*, *тэкст*, *тэхника* , *тэрмин*, *протэст* и т.п.; или, напротив, с мягкими согласными: *тенденция*, *антенна*, *кодекс* и пр. И то и другое произношение неправильно.

В русском литературном языке воздействие гласных переднего ряда сказывается на предшествующих согласных как непосредственно, так через них и на стоящих перед ними согласных.

Однако это последнее воздействие вообще не затрагивает губных согласных, задненебных и плавного *р*. Встречающееся иногда произношение подобных согласных в палатальном виде (например, *лафьки — лавки*, *корьмить* и т. п.) уже не может считаться литературным, хотя оно свойственно разным диалектам, в частности и московскому, и принадлежало прежде литературному языку.

Очень много двоящегося материала относится к постановке ударения в словах или группах слов. Эта сторона литературного языка требует особенного к себе внимания. Русское ударение является свободным в том смысле, что в словах оно может падать на любой слог. Оно, вместе с тем, в известных группах слов может

передвигаться, падая в одних формах на один, а в других на другой слог.

Ударение в русском языке носит печать закономерности. Но оно в определенных линиях подвергалось изменениям в прошлом, далеком и близком к нашему времени, оно изменяется и в наше время. Так, имя существительное *жена* имело когда-то устойчивое ударение на флексии, но уже в литературном языке XVIII в. мы наблюдаем колеблющееся ударение в формах множественного числа от этого существительного — и старое на флексии и новое на корневой части слова (ср. *жены́* и *жёны*).

Или отдельные глаголы 2-го спряжения типа *вертеть*, *дарить* и т. п., в формах настоящего времени имевшие когда-то наконечное ударение, позднее, уже в свидетельствах литературного языка XVIII в., представляют двоякое ударение — старое, на флексии (*верти́шь*, *дари́шь*), и новое, на корне (*ве́ртишь*, *да́ришь*).

В результате в языке явилась двойственность данных форм, сказавшаяся между прочим на появлении двойственности по ударению и в прош. врем. страд. причастий от этого типа глаголов (например, *гру́зишь* и *грузи́шь* и в причастии *гру́женный* и *гружённый*).

Все это показывает, насколько сложен в русском языке вопрос, связанный с ударением.

Например, правильными литературными формами от глагола *звони́ть* служат лишь *звони́шь*, *звони́т* и т. д., также — *определи́т*, *посели́т*, *распоряди́тся* и т. п. В страдательных причастиях литературно нормализованное ударение лишь — *привезённый*, *приведённый*, *принесённый* (краткие формы — *привезён*, *-на́*, *-ны́*; *приведён*, *принесён*) или *сплочённый*, *упрощённый*, *обострённый*, *договорённый* (откуда существительное *договорённость*) и т. д.

Точно так же в склонении отдельных имен существительных на ударяемое *-а* в вин. пад. ед. числа литературно нормализованным выступает ударение на окончании; например: *весну́*, *полосу́* и т. п. В группах существительных женского рода, оканчивающихся на мягкий согласный, типа *летопись*, *рукопись* и т. д., ударение во мн. числе не переносится на окончание, т. е. формы, например, родительного падежа имеют ударение — *ле́тописей*, *ру́кописей*, *ме́стностей*, *це́лей*, *о́траслей*, *про́филей* и т. д.

Известная неустойчивость ударения присуща и изолированным словам (существительным, прилагательным и т. д.). Здесь на литературное произношение воздействуют разнообразные слои нелитературной или внелитературной речи: профессиональный язык, просторечие, диалектная речь и т. д. Таково, например, профессиональное произношение *до́быча* при нормально литературном *добы́ча*; диалектное *русло́* вм. *ру́сло*; *свекла́* вместо *свёкла*; просторечные *до́говор*, *при́говор* вм. *договор*, *приговор* и т. п. Профессиональная речь или просторечная стихия влияют на лексику иноязычного происхождения, вызывая и здесь неустойчивое, двоящееся ударение. В числе примеров этого рода лексики с колеблющимся

ударением можно отметить, например, слова *квартáл*, *киломéтр*, *докумéнт*, *инструмéнт*, *медикамéнт*, *агéнт*, *алфавúт*, *каталóг*, *диалóг*, *экспéрт* и т. д. Все они должны произноситься с наконечным ударением.

Во многих словах-терминах на *-ия*, привившихся к языку с ударением на основе, наблюдается колеблющееся ударение с вторичной ударяемостью на суффиксе. Таковы, например, существительные *индýстрия*, *металлýргия*, *дипломáтия*, *дизентéрия*, *афáзия* и т. д.

В категории имен прилагательных сказывается та же струя воздействия профессионального языка на литературный язык. Она выражается в тяготении к перемещению ударения с корня на суффикс (*-ов*) или на окончание у прилагательных, образованных от имен существительных с неподвижным типом ударения. Сравните нормальные *план — плáновый*, *фланг — флáнговый* и т. д., также *мéтровый*, *киломéтровый*, *лúтровый*, *пятилúтровый* и т. п.

Правильное ударение слов или форм слов для русского языка, обладающего свободным ударением, само по себе необходимо. Тем более необходимо для русского литературного языка пользование ударением, литературно нормализованным. Эта сторона речи должна поэтому у каждого из нас вызывать особое к себе внимание. Мы должны активно наблюдать за своей речью, корректируя ее в согласии с показаниями наших грамматических или ответственных словарных изданий, а особенно воспитывая себя на образцах стихотворной речи классических представителей русской литературы.

Правильность и чистота русского литературного языка требует вместе с нормализованным произношением правильного употребления склоняемых, спрягаемых форм, а равным образом и синтаксического построения речи. Это понятно само собой.

Трудности здесь заключаются в самой природе соответственных морфологических и синтаксических явлений языка. Они представляют собой нечто, покрывающееся понятием современной системы языка, а вместе с тем содержат придаток различных иных явлений и фактов, которые, с одной стороны, пережиточно сохранились от предшествующих эпох, а с другой — служат началом чего-то нового, зарождающегося в языке.

Все это объясняет наличие и здесь пестроты и некоторой неустойчивости языка, колебания форм, в значительной мере и здесь обусловливающегося воздействием нелитературной речи, особенно профессиональных языков и просторечия.

Для примера можно остановиться в склонении имен существительных на представляющем остроту вопросе об окончании известных групп существительных муж. рода в им. пад. мн. числа *-ы* без ударения или *-á* под ударением. Различие же это в отношении ударения от именительного падежа обычно проходит по всем прочим падежам мн. числа: при форме им. мн. числа на неударяемое *-ы* обычно и во всех остальных падежах мн. числа окончания бывают безударны, и, напротив, при наличии в им. мн. окончания *-á* в прочих падежах всегда ударение также падает на флексию. Напри-

мер: *огóроды, огорóдов, огорóдам, подъéзды, подъéздов, договóры, договóров, договóрам*, но — *берегá, берегóв, берегáм, сортá, сортóв, сортáм* и т. д.

Окончание *-а* в им. мн. существительных муж. рода новое по происхождению. Оно первоначально было окончанием им.-вин. падежа двойственного числа у подвижноударяемых существительных. Например: *бéрег, бéрега* и *два берегá*; *гóрод, гóрода* и — *два городá*. С утратой в русском языке категории двойственного числа формы на *-а* у группы подвижноударяемых имен существительных были осмыслены как новые формы мн. числа; напротив, формы на *-а* у неподвижных по ударению существительных, совпадающие с род. пад. ед. числа, были синтаксически переосмыслены и явились для языкового восприятия как новые сочетания числительного *два* (а позднее также *три* и *четыре*) с существительным в родительном падеже ед. числа (ср. *два брата*). Новые формы им. мн. на *-а* могли фактически возникнуть в языке после утраты самой категории двойственного числа. Судя по памятникам, они действительно не восходят ранее, чем к XV—XVI вв. Как формы новые они робко выступают на протяжении XVI—XVII вв., но с Петровской эпохи заметно растут и в пределах русской лексики на протяжении XIX в. становятся нормой нашего литературного языка.

Одновременно, сначала очень незначительно, а с XIX в. широко распространяются эти формы на *-а* на смежные группы имен существительных с неподвижным типом ударяемости. Главным образом это иноязычные слова и в очень ограниченном числе — русские (из области старой книжной лексики).

В отличие от основного контингента русских слов — подвижноударяемых, вообще вошедших в систему языка в новых формах на *-а* и сохраняющихся в нем до настоящего времени, этот вторичный слой образований на *-а*, очень значительный и возрастающий непрерывно на наших глазах, далеко не может считаться прочно вошедшим в общий литературный язык.

Дело в том, что очень многие примеры с формами на *-а* этой последней категории обязаны своим происхождением профессиональной речи, свойственны именно ей и не всегда могут считаться нормализованными, допустимыми для общего литературного употребления. С другой стороны, многие образцы подобных форм на *-а* являются специфическими формами просторечия или разговорного языка.

Все это объясняет значительную пестроту нашего современного языка в употреблении этих форм. При малом числе существительных, прочно употребляющих формы на *-а* как общую литературную норму (например: *бортá, шелкá, тормозá, докторá, директорá, инспекторá, юнкерá, профессорá, учителя́* и др.), мы встречаем длинные ряды существительных, знающих формы на *-а*, лишь как формы профессионального, не общелитературного языка.

Есть примеры двойственных форм от одних и тех же существительных, и на *-ы* без ударения и на ударяемое *-а*, возможных в том

и другом виде в литературном употреблении. В числе общих «грамматических» условий, регулирующих образование в современном языке форм на *-а*, следует отметить, собственно, одно: отсутствие ударяемости в слове на конечном слоге дает уже возможность появления формы им. мн. на *-а*, а следовательно, и обратно, от слов с наконечной ударяемостью невозможны формы им. мн. на *-а*. Поэтому, между прочим, современным общим литературным нормам так противоречат формы им. мн. *офицера́*, *инженера́*, *договора́*, так как единственное число от них — с наконечной ударяемостью *инжене́р*, *офице́р*, *догово́р*.

Среди имен существительных, по происхождению заимствованных, очень незначительный слой образует им. мн. на *-а*. И это объясняется тем, что подобные слова по общей норме являются неподвижными по ударению. Сравните имена существительные *торт*, *форт*, *порт*, *пост*, *цех*, *клуб* и т. п. От них нормальны формы мн. числа *то́рты*, *то́ртов*, *по́рты*, *по́ртов* и т. д. От некоторых из этих существительных могут встретиться формы мн. числа на *-а*, встречаются от многих из них, а также и от других существительных, и формы на *-ы* (*призы́*, *торта́*, *цеха́* и *це́хи*, *клубы́*, *шрифты́*, *штабы́*, *штрафы́* и т. д.). Однако обе эти разновидности форм не являются литературными, а носят отпечаток профессиональных или просторечных форм, как и соответственные формы косвенных падежей мн. числа с ударением на окончании (т. е. формы *торто́в*, *торта́м*, *шрифто́в*, *штрафо́в* и т. п.).

Такими же, в своем большинстве профессионального происхождения, формами являются многие иные образования на *-а*, как, например *автора́*, *аптекаря́*, *библиотекаря́*, *бухгалтера́*, *боцмана́*, *вахтера́*, *инструктора́*, *лектора́*, *лоцмана́*, *мичмана́*, *редактора́*, *тенора́*, *токаря́*, *слесаря́*, *цензора́*, *штурмана́* и др., или *крейсера́*, *катера́*, *прожектора́*, или *джемпера́*, *свитера́*, *примуса́*, *флигеля́*, *трюфеля́*, *штепселя́* и т. д. Таковы же формы: *очерка́*, *почерка́*, *рапорта́*, *сектора́*, *профиля́* и мн. др. или просторечные и областные *месяца́*, *клевера́* и др. Во всех этих случаях литературно нормализованными должны считаться формы на *-ы* (неударяемое), т. е. тем самым и косвенные падежи с ударением не на окончании, а на основе: не *авторо́в*, а *а́второв*, не *боцмано́в*, *вахтеро́в*, *мичмано́в*, *редакторо́в* и т. д., а *бо́цманов*, *ва́хтеров*, *ми́чманов*, *реда́кторов*; подобным же образом — *кре́йсеров*, *ка́теров*, *проже́кторов*, *ла́герей*, *о́черков*, *се́кторов*, *про́филей*, *ме́сяцев* и т. д.

Остановлюсь для примера еще на вопросе (из области морфологии глагола) об образовании кратных форм глаголов на *-ивать* (*-ывать*) от основ с корневым *о* под ударением. В старшем слое этих образований мы находим в корневой части гласный *а* под ударением (в соответствии с *о* отправной глагольной основы). Например, *выпрашивать* при *просить*, *похаживать* при *ходить*, *прокалывать* при *колоть* и т. п. В позднейшем слое этих образований (обычно от именных основ) гласный *о* отправной глагольной основы первоначально сохранялся.

Однако под воздействием подобных образований старейшего типа и здесь начался процесс замены корневого гласного *о* гласным *а*. Явление это известно нашим диалектам, наблюдается оно и в литературном языке, особенно заметно с конца XVIII в. В литературном языке изменение это шло постепенно на всем протяжении XIX и XX вв., представляя собой развивающееся явление. Это последнее обстоятельство объясняет известную неустойчивость в употреблении разных вариантов образований в современном нашем литературном языке; преобладающим и в настоящее время в литературном употреблении является тип форм с сохранением гласного *о*. Таковы, например, глаголы: *озабочивать*, *подытоживать*, *приохочивать*, *разрознивать*, *узаконивать*, *упрочивать*, *приурочивать*, *ускоривать*, или также *заподозривать*, *обеспокоивать*. От этих глаголов могут встретиться в разговорном языке вариантные образования с корневым гласным *а* (не *о*). Они, однако, являясь отчасти областными, отчасти разговорными или просторечными, не могут считаться нормальными литературными образованиями. С устойчивым коренным гласным *а* для современного литературного употребления могут быть отмечены лишь следующие глаголы: *обрабатывать*, *заболачивать*, *унаваживать*, *затрагивать*, *задабривать*, *усваивать*, *оспаривать* (но: *переспоривать*), *притаптывать*, *опоражнивать*, *удваивать*, *утраивать*, *сплачивать*, *успокаивать*. В редких случаях и здесь в разговорном языке могут встретиться вариантные формы старейшей поры, с корневым гласным *о*, но это для современной литературной нормы уже стареющие или устарелые образования. Сравните, впрочем, глагольную пару *оспорить — оспаривать*, но *переспорить — переспоривать*.

Не касаюсь многообразных иных вопросов как морфологии, так и синтаксиса с вариантностью форм, представляемых языком.

VI

Русский язык — сам по себе язык большой выразительной силы. Высказываний на этот счет в характеристике русского языка много, начиная с дифирамба русскому языку Ломоносова. Поэтому практически необходимо бороться за выразительность нашей речи, т. е. тщательно работать над своим языком и стилем. Все величайшие деятели русского слова напряженно работали над своим языком и настойчиво учили каждого так именно относиться к своему языку. Таковы Карамзин и Батюшков, с чрезвычайной тщательностью работавшие над языком. Нельзя, конечно, не назвать имени Пушкина, рукописное наследие которого показывает безостановочную работу его над языком. Можно вспомнить о том, что письма, например, Пушкин редко писал без черновиков, а сохранившиеся отдельные письма Пушкина в первоначальном черновом наброске и отработанном набело виде свидетельствуют о громадной работе Пушкина над своим языком. Вот почему письма Пушкина служат для нас образцами прозы. Таковы же многие другие деятели русского слова —

Лермонтов, Тургенев и т. д., в наше время особенно Чехов и М. Горький.

Можно, например, видеть, как сам Ленин тщательно работал над языком и дал образцы действительно чеканного по обработанности языка. В работе над языком и стилем, в стремлении достигнуть большей выразительности речи необходимо при выражении своей мысли искать «нужных» слов, кратких и ярких, недвусмысленных, четко отвечающих требованиям мысли. Необходимо всячески бороться с употреблением шаблонных речевых штампов, с прикрашиванием речи вычурами, с игрой в оригинальничанье, с витиеватостью речи. Необходимо избегать заимствованных слов или выражений, если имеются русские слова в одинаковом значении. Конечно, следует избегать и употребления сокращенных слов разных типов, так как эти слова, мало сказать, что сами обладают нулевой выразительной силой,— они портят все речевое окружение, лишая его выразительности. Выразительна речь предельно четкая в составляющих ее элементах, краткая и простая в своем выражении, ясная и понятная для широкого восприятия. В этом смысле простота языка — необходимое условие самой выразительности речи.

Русский литературный язык богат лексически, богат и стилистически. Ломоносову принадлежит первая попытка дать стилистическую дифференциацию русского литературного языка. На ней выросло его учение о трех стилях. По этому учению определенным жанрам литературных произведений свойствен определенный стиль или возможность одновременного сочетания в них и одного и другого стиля. Но по верной мысли Ломоносова не должно быть терпимо прихотливое смешение стилей в любом виде литературных произведений. Это последнее положение Ломоносова, правильность которого может быть подтверждена всем последующим ходом развития русского литературного языка, сохраняет свое значение и до нашего времени. Нельзя книжный язык в работе научного содержания скрещивать с элементами разговорного стиля или в произведении высокого лирического жанра перемешивать нормальный литературный язык с просторечной стихией и т. п.

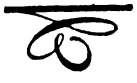
Русский литературный язык за два века, отделяющие нас от эпохи Ломоносова, неизмеримо вырос, обогатившись сильнейшим образом и в стилистическом отношении. Сравните широкие вкрапления в язык диалектного характера в 60-е годы и позднее подобное же вкрапление элементов профессиональной речи, просторечия и т. д.

То же произошло в языке в больших масштабах в начальный революционный период. В результате стилевые отношения в литературном языке в эту пору значительно осложнились. Дискуссия по вопросу русского литературного языка в начале 1930-х годов имела большое значение в том отношении, что она установила грани допустимого использования диалектизмов в нормах литературного языка. Это, несомненно, повысило уровень, удельный вес высоких форм литературного языка в целом.

Но собственно то, что имело непосредственное отношение к элементам диалектным в составе русского литературного языка, должно относиться и к прочим «нелитературным» его элементам: к просторечию, к элементам разговорной речи, входящим в состав литературного языка.

Наш литературный язык не оскудеет и не обеднится, а, напротив, окрепнет и вырастет в более строгих и высоких своих формах, если мы с большой разборчивостью как в письменной, так и в живой речи будем относиться к использованию не только диалектных элементов, но и иных не чисто литературных пластов, каковы элементы профессионального языка, просторечие, да и известные элементы живой разговорной речи. Этим будет достигнута бóльшая высота нашего литературного языка, о которой так же надо заботиться, как о его чистоте и правильности.

1948.



История языкознания

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА И. В. ЯГИЧА

В начале августа т. г. получено было известие, что Игнатий Викентьевич Ягич (в Вене) заболел воспалением легких. Многочисленный круг лиц, знавших Ягича, его учеников, друзей, почитателей, которым имя акад. Ягича было дорого, отнесся к этому известию с опасением. Хотя известна была крепкая натура Ягича, но его преклонный возраст — 85 лет — и особенно затруднения и лишения последних пережитых лет заставляли с тревогой относиться к исходу павшего на него недуга. Опасения эти, к сожалению, оказались предчувствиями рокового конца болезни. Последовавшее вскоре известие сообщило уже о кончине акад. Ягича, последовавшей 5 августа т. г.

Много можно было бы говорить о научном деле, свершенном покойным. Слишком крупна фигура акад. Ягича, слишком разносторонен был круг его научных интересов, слишком длителен был путь его научного служения. Но по условиям места и времени, чтобы быть более кратким, в последующем будет дана лишь сжатая общая характеристика научной деятельности покойного, тем более, что последняя получила уже отчасти свое выражение в печати. Так, можно назвать вышедшие к 40-летию научной деятельности акад. Ягича в 1901 г. статьи проф. А. С. Архангельского (Сорок лет научной деятельности. Ученые труды акад. И. В. Ягича. Журн. Мин. Нар. Просв., 1901, декабрь, стр. 91—105) и Б. М. Ляпунова (Краткий очерк ученой деятельности акад. И. В. Ягича, Одесса, 1901), далее — краткую биографию Ягича, составленную к 50-летию его деятельности П. Орешковым (на болгарском языке: Ватрослав Ягичъ. Кратъкъ очеркъ на живота и дѣйностьта му до сега. София, 1911, в Извѣстия'х на Семинара по славянски филология, кн. III), кроме того — сборник статей в честь Ягича, изданный в 1908 г. (Jagić-Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagića, Berlin, 1908), где содержится перечень научных работ юбиляра до 1906 г. включительно.

Биография Ягича в сжатом виде такая. Он родился 6 июля 1838 г. в г. Вараждине (в Хорватии, недалеко от Загреба). Среднюю школу прошел в Вараждине же и в Загребе, по окончании же ее, вопреки надеждам отца, прочившего своего сына в священники, по-

ступил в 1856 г. в Венский университет, избрав своей специальностью классическую филологию. Однако, хотя молодой Ягич и готовил себя к карьере преподавателя-классика и соответственно с этим в университете аккуратно занимался по предметам специальности, тем не менее рано в нем пробудился и иной интерес — интерес к родному языку, который в благоприятных условиях расширился и перешел в увлечение южнославянской и далее славянской филологией вообще. Этим благоприятствующим условием к усилению интереса в молодом Ягиче занятием славистикой было пребывание в ту пору в Венском университете на кафедре славистики известного Франца Миклошича. Понятно, что Ягич стал усердным слушателем и учеником этого маститого слависта.

Окончив в 1860 г. университет, Ягич сделался преподавателем классических языков Загребской гимназии. Здесь, однако, кипучая, полная энергии и научных устремлений натура Ягича прорывается сразу. Он не довольствуется работой преподавателя, он со всей энергией начинает самостоятельную научную деятельность, которая при его исключительной работоспособности растет с изумительной быстротой и очень скоро ставит имя Ягича в число первых научных деятелей своего края. Темы этих ранних научных интересов Ягича вращаются главным образом в области сербо-хорватской филологии—орфографии, языка, литературы. Но интересно заметить, что, занимаясь изучением современного сербо-хорватского языка, Ягич рано столкнулся с живою потребностью научной разработки славянского языка древнейшей фазы, т. е. языка церковнославянского. Самые ранние работы Ягича, как в 1862 г. «Склонение существительных в сербохорватском языке сравнительно с церковнославянским» (Declinacija imena samostavnoga kako se razvi u staroslavenskom hrvatskom jeziku), или в 1863 г. «Евангелие в славянском переводе» (Evangelija u slavenskom prievodu), или замечательное его введение к изданному Ф. Рачким Ассеманову евангелию в 1865 г., ясно говорят, какое большое значение Ягич придавал церковнославянскому языку с самого начала своей деятельности, как близка была с самых ранних пор интересам Ягича проблема церковнославянского языка и письменности, та проблема, над которой впоследствии больше всего проработал покойный. Не буду перечислять работ Ягича, написанных им в этот ранний период, совпавший с преподавательством в Загребе. Их много. В эту пору, между прочим, Ягичем издана «История сербо-хорватской литературы». Она тогда же была переведена на русский язык (проф. М. Петровским, Казань, 1871). По словам А. С. Архангельского, это издание не утратило у нас известного своего значения долгое время. Особенно много было написано Ягичем в рассматриваемую пору в отчасти редактировавшемся самим Ягичем журнале «Književnik», выходившем в течение трех лет: в 1864, 1865 и 1866 гг. По подсчету, произведенному П. Орешковым, здесь помещено 6 статей и 28 рецензий Ягича, а всего его перу принадлежит здесь 437 страниц. Уже из сказанного видно, насколько широкий размах очень скоро приняла научно-критическая деятельность

Ягича. Понятно отсюда, что Ягич по праву завоевал себе очень быстро почетное имя крупного научного деятеля. Понятно отсюда и то, что, когда в 1866—1867 годах возник вопрос об учреждении южнославянской Академии наук и открытие ее действительно состоялось, Ягич оказался в числе первых лиц, привлеченных в состав членов новооткрытой Академии. Новое положение Ягича, как члена Академии наук, вызвало в нем еще больший прилив научной энергии. С учреждением Академии при ней было положено начало периодическим органам: с 1867 г. — «Rad'a», с 1869 г. — «Starine», с того же 1869 г., кроме того, началось издание периодической серии под названием «Stari pisci hrvatski».

Участие Ягича во всех этих изданиях было громадное. Помимо больших работ во всех этих органах, отмечу рецензии автора, например на «Историю сербской словесности» С. Новаковича, 1867, на труд Афанасьева «Поэтич. воззрения славян на природу», на труд П. Бессонова, посвященный биографии Ю. Крижанича, 1872, и др. Это блестящее начало деятельности Ягича, стяжавшее ему прочное научное имя, не послужило, однако, для местных правящих сфер побуждением к тому, чтобы бережнее относиться к личности загребского преподавателя классических языков и дорожить этой выдающейся из ряда обыкновенных преподавательской силой. По крайней мере в 1870 г. по причинам национально-политического свойства Ягич должен был оставить гимназию, уволенный из нее высшим распоряжением. Но к этому времени научный авторитет Ягича был высоким и за пределами Хорватии. Ягич при посредстве русских ученых, акад. И. И. Срезневского и проф. В. И. Григоровича, получил предложение занять профессуру по кафедре языкознания в России в Новороссийском университете. Ягич согласился на это предложение, испросив себе предварительную командировку на один год в Берлин для научной подготовки к чтению лекций по сравнительному языкознанию. В этот год в Берлине Ягич специально изучил санскрит, а кроме того, написал и защитил докторскую диссертацию (Das Leben der Wurzel dė in den slavischen Sprachen. Wien, 1871). За эту работу он получил звание доктора философии в Лейпцигском университете. Кроме того, по представлению акад. И. И. Срезневского за это исследование, а равным образом во внимание к многочисленным предыдущим работам по славянской филологии Ягичу было присуждено звание почетного доктора Петербургского университета. Пребывание Ягича в Новороссийском университете, где он ближайшим образом сошелся с проф. Кондаковым, Некрасовым, Григоровичем и канонистом А. С. Павловым, было непродолжительно. Местный непривычный климат принес много бед Ягичу. Здесь у него умерла дочь, и сам он с трудом выносил новый климат. Поэтому, когда в 1874 г., с открытием в Берлине кафедры славистики, Ягичу было предложено занять эту кафедру, он решил оставить Новороссийский университет и переехал в Берлин. Здесь, однако, преподавательская деятельность мало доставляла удовлетворения Ягичу. Аудитория слушателей была небольшая, состояла

по преимуществу из поляков. Естественно поэтому Ягич должен был, приспособляясь к аудитории, ограничивать свои широкие стремления к преподаванию, отдавая предпочтение занятиям преимущественно западнославянской филологией. Но тем с большим рвением Ягич отдался здесь собственно научной деятельности. Стоит вспомнить, что здесь именно в 1875 г. Ягич начал издание своего «Архива» (Archiv für slavische Philologie), в котором в первые же годы дал ряд монументальных своих исследований по церковнославянскому языку, сохраняющих до сих пор свое научное значение, частично являющихся и до сей поры единственными вообще по затронутым вопросам исследованиями. Ср., например, такие работы, как «Studien über das altslovenisch-glagolitische Zografos-Evangelium», 1875, 1877; «Über einige Erscheinungen des slavischen Vokalismus», 1876, и т. д. Их много. Следует также отметить, что одновременно Ягич вел издание Зографского евангелия, которое и вышло в свет в 1879 г. (в Берлине). Ср. еще издание нашего Общества любителей древней письменности — «Закон Винодольский», Спб., 1880.

В Берлинском университете Ягич пробыл до 1880 г. В 1880 г., после смерти акад. И. И. Срезневского, получив приглашение занять кафедру в Петербургском университете, Ягич перебрался в Петербург, в этот крупнейший центр славянского мира, где предстоял неограниченный простор его научно-педагогической деятельности. Здесь, между прочим, Ягич вел занятия не только по славистике, но и специально по русскому языку за совершенной необеспеченностью в ту пору кафедры русского языка. Одновременно также Ягич вел работу на Женских курсах и в Археологическом институте. В это же время, в 1880 г., Ягич получил высшее у нас ученое признание, будучи избран членом нашей Академии наук. Последнее, привлечение Ягича в состав Академии наук, имело большое значение по своим последствиям, так как в лице Ягича Академия наук приобрела одного из ревностнейших своих сочленов, украсивших столбцы ее изданий длинным рядом капитальнейших научных трудов. Должно заметить, что, находясь вообще в составе ряда Академий (Берлинской, Венской, Южнославянской, Российской), Ягич наибольшее количество своих работ предоставлял именно нашей Академии. Петербургский период ученой деятельности не был слабее предшествующего, берлинского. Напротив, можно было бы, пожалуй, подчеркнуть именно высочайшую напряженность научной работы Ягича в рассматриваемую пору. Ср. издание им в малый промежуток лет таких трудов, как Specimina linguae palaeoslovenicae, 1882; Мариинское четвероевангелие, 1883; четыре критико-палеографические статьи, 1884; Материалы для истории славянской филологии, т. I, 1885; Минеи 1095, 1096, 1097 годов, 1886; Критические заметки по истории русского языка, 1889. Почти все это в большинстве громадные томы во многие сотни страниц, почти все это либо высочайшей важности материалы, либо ценнейшие исследования, сохранившие ценность свою до сей поры.

В 1884 г. за выслугой Миклошича стала вакантной кафедра славистики в Венском университете. Сам Миклошич указал как на лучшего своего заместителя — на Ягича. Конечно, занять кафедру в Вене, после Миклошича, было бы честью для всякого. Тем более это должно было быть дорого Ягичу, ученику Миклошича. В результате понятно, что Ягич, правда не без колебаний, выразил согласие занять венскую кафедру. Так произошел последний его жизненный перелом. В 1886 г. Ягич переехал в Вену, и с этой поры Вена была его постоянным местопребыванием, в Вене он окончил и последние дни свои. Венский период научной деятельности Ягича, как последний и самый длительный, естественно, наиболее богат трудами. Тут особенно много трудов. Не буду их перечислять. Они охватывают и язык, и литературу, вообще — славистику в широком понимании самого Ягича. Много здесь внимания уделено и истории славянской филологии.

Такова общая картина внешней жизни и деятельности Ягича. Даже в представленном схематическом виде эта деятельность рисуется исключительно крупной. Непрерывная полоса научной, одинаково напряженной работы Ягича обнимает промежуток в 64 года. Написанного Ягичем так много, что перечисление всех отдельных нумеров было бы затруднительно. При таком большом количестве написанного Ягичем невозможна единоличная оценка всего оставшегося после него научного наследия. Достаточно поэтому здесь охарактеризовать лишь общие основные направления работ Ягича.

Главною отличительною чертою Ягича служит исключительно широкий круг его научных интересов. Ягич в этом отношении может служить типичным образцом старого поколения ученых с их завидным необъятно широким научным кругозором, сменившимся у позднейшего поколения относительным ограничением сферы научной работы и значительной специализацией. Ягич может быть охарактеризован как славист в самом широком значении этого слова, неоднократно выяснявшемся самим Ягичем в вводных частях к печатным трудам или изустным чтениям. А с точки зрения толкования Ягича, понятие славистики слагается из трех научных ответвлений, обнимая в себе и грамматику (т. е. язык), и литературную историю, и этнографию. И действительно, можно видеть по перечню работ Ягича, все это — и славянский язык, в фактическом и историческом аспекте, и славянские литературы, и вопросы славянской археологии, этнографии, истории культуры и проч.— все это входило в круг научных интересов покойного. Но, конечно, в этом безграничном круге научных вопросов и в длинной цепи отдельных дисциплин были излюбленные пункты научной пытливости Ягича. Это был славянский язык, сербо-хорватский в начале научной деятельности Ягича, позднее церковнославянский, еще позднее также и русский язык; далее литература славянская, сербо-хорватская в частности, но также и русская и вообще славянская древнего периода, как народная поэзия, так и старая письменность; наконец— история славянской филологии. Таковы основные общие линии научных

уклонов Ягича, но они, следует иметь в виду, не исчерпывают всего разнообразия написанного Ягичем.

Центральным предметом научного исследования Ягича был церковнославянский язык. Изучение вопросов, связанных с церковнославянским языком, церковнославянскою письменностью, волновало Ягича на всем протяжении его научной деятельности. К этому кругу вопросов принадлежит наибольшее количество написанных Ягичем работ. Наконец, в разрешении проблем, связанных именно с церковнославянским языком, можно констатировать самые ценные научные достижения акад. Ягича. Церковнославянский язык интересовал Ягича и фактической своей стороной и историческими его судьбами. Выше было замечено, как естественно и необходимо Ягич сроднился с научной проблемой церковнославянского языка. Действительно, приступив к научному изучению сербохорватского языка, Ягич должен был столкнуться с необходимостью исторического его изучения, а последнее неминуемо поставило вопрос о языке церковнославянском. Так церковнославянский язык, т. е. язык письменных церковнославянских памятников, стал предметом научного изучения Ягича. В этом отношении предшествующая разработка церковнославянского языка была весьма незначительна, если не отсутствовала вовсе. Достаточно вспомнить, что в научном обороте почти не было самых изданий собственно церковнославянских памятников, изданий, которые делали бы возможным грамматическое исследование языка. Неоценима заслуга Ягича в том, что он, учтя первостепенное значение памятников, вложил громадную энергию на научное издание этих прямых источников церковнославянского языка. После этого началась работа по грамматическому исследованию языка памятников, в которой видное участие принял и сам Ягич. Можно сказать, что большинство церковнославянских памятников, наиболее крупных, наиболее важных, между прочим с лексической стороны, нашло научного своего издателя в лице именно Ягича. Ягич еще в 1865 г. участвует вместе с Ф. Рачким в издании Ассеманова евангелия, в 1879 г. издает Зографское евангелие, в 1883 г.— Мариинское четвероевангелие, в 1890—1893 гг.— ряд глаголических памятников, среди них Киевские листки, в 1897 г. участвует в издании роскошного Мирославова евангелия, в 1898 г. издает Добромирово евангелие и т. д., наконец в 1907 г. дает великолепное художественное издание Погодинской и Болонской псалтыри. Этот перечень монументальных изданий лучшим образом иллюстрирует свойство изумительной работоспособности Ягича. Чтобы реальнее представить ее себе, можно вспомнить о процессе издания в 1922 г. Синайской псалтыри (издание нашей Академии наук). Этот памятник, сравнительно небольшой, издавался в течение около 20 лет. При таком темпе работы названные ягичевские издания потребовали бы усилий не одного столетия и участия не одной человеческой жизни... Но важно при этом указать и на чрезвычайно высокое научное качество изданий Ягича. Ягичу по праву в этом отношении должно быть присвоено звание лучшего издателя памятников пись-

менности. До Ягича мы имели, правда, Востокова. Но как ни высоко ценностью издание Востоковым Остромирова евангелия, в нем есть ряд изъянов, а научный аппарат его также по богатству уступает изданиям Ягича. В этом отношении ягичевские издания получили значение необходимого шаблона, стереотипной формы для всех последующих аналогичных изданий, которые пока что не превзошли работы Ягича, хотя нередко и уступают ему в отношении полноты введенного научного аппарата.

Параллельно с изданием памятников Ягич вел работы по грамматическому исследованию их языка, и в этом процессе изучения только и начала складываться собственно научная церковнославянская грамматика. Эти труды Ягича составили эпоху в свое время и в известной мере не утратили значения своего до настоящего времени; к тому же некоторые из них до сей поры являются единственными работами по тому или другому памятнику, например исследование по Зографскому евангелию и др. Не было бы преувеличением сказать, что и в этом роде исследований Ягич явился пионером и лишь с его легкой руки последовала в дальнейшем аналогичная разработка многочисленных памятников древней поры, как собственно церковнославянских, так и иных редакций. Но следует сказать больше. Ягич впервые наметил основные контуры исследования церковнославянских памятников, и обозначил общие принципы, и дал освещение основных явлений в них, и все это в существенных чертах остается незыблемым. Ср. для примера подход Ягича к явлениям с глухими в Зографском евангелии еще в 1875 г. и др.

Не только церковнославянский язык в собственном смысле, но и доисторическая его основа, т. е. праславянская грамматика, входила также в сферу научных интересов Ягича. Но в этой области сравнительно меньше специальных работ, хотя некоторые из них в свое время пользовались громкой известностью. Такова, например, его работа, озаглавленная — Über einige Erscheinungen des slavischen Vocalismus, 1875, содержащая критику известного труда Joh. Schmidt'a о сочетаниях с плавными.

Подобно работам по исследованию церковнославянского языка по письменным его памятникам, Ягич на всем протяжении своей научной деятельности занимался разработкой ряда исторических проблем, связанных с церковнославянским языком. Эта тема, обнимающая, собственно ряд тем, должна быть также признана основною и излюбленною темой работ Ягича. Таковы вопросы о происхождении церковнославянского языка, о деятельности Кирилла и Мефодия, о взаимоотношении славянских алфавитов и их происхождении, о древнейшей церковнославянской письменности (переводной) и отдельных периодах в ней и проч. В области этих вопросов Ягич был полным хозяином, проработав над ними более полувека, по крайней мере имя Ягича в сфере этих вопросов считалось и признается по праву самым авторитетным. Не буду давать перечисления общеизвестных капитальных трудов Ягича по этим вопросам, вроде исследования о глаголице, или монографий о происхождении церковнославянского

языка, или многочисленных работ по исследованию лексики церковнославянских памятников и т. д. Скажу, что общее мнение признает Ягича лучшим знатоком глаголицы. Ягич в вопросе о разных слоях в древнейшей церковнославянской лексике достиг настолько прочных результатов, что имеет за собой уже целую школу также с успехом работающих исследователей, с такими солидными именами, как Облак, Вондрак, Валявец, Михайлов, Воскресенский, Погорелов и др. Проблема о происхождении церковнославянского языка, конечно, и после многих разысканий Ягича остается формально проблемой, но все же можно сказать вместе с проф. С. М. Кульбакиным, что большинство ученых в настоящее время разделяет по этому вопросу гипотезу Ягича, как наиболее близкую к истине. Во всяком случае при жизни Ягича в печати мало раздавалось голосов, которые держались иной точки зрения. Таким образом в разработке этих излюбленных своих тем, к которым Ягич обращался особенно часто, он достиг почти полной признанности.

Не буду говорить о работах Ягича по изучению иных славянских языков, помимо церковнославянского, например — сербо-хорватского языка и др., но позволю себе немного остановиться на заслугах Ягича в исследовании русского языка. С русским языком Ягич ознакомился рано. Ср. его ранние рецензии на «Историю славянских литератур» Пыпина и Спасовича (1866), на «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева (1869) и др. С перемещением деятельности Ягича в Россию русский язык, естественно, получил еще большее для него значение. Имеются данные заключать о большой доле внимания, которое уделял в России Ягич русской литературе и критике, в частности Белинскому. Об этом можно думать на основании широких литературных обзоров, неоднократно печатавшихся Ягичем, причем русская часть в них всегда была очень подробна. Ср. особенно обзор, помещенный в I томе «Архива» и др. Не говоря уже о позднейших университетских курсах, специально посвященных русской литературе XVIII—XIX вв. (этот курс несколько раз был читан Ягичем — в 1888, 1894, 1896, 1899 и 1900 гг.), или переводной церковнославянской литературе, истории народного стихосложения у славян, народного эпоса у славян и др. Однако сложилась для Ягича обстановка, когда он увидел необходимым для себя специально приняться за научное изучение русского языка, в частности за изучение истории русского языка. Это было в Петербурге, где со смертью Срезневского не было вовсе представителя по кафедре русского языка, и русский язык в течение нескольких лет вовсе не преподавался. По-видимому, этому моменту в биографии Ягича мы обязаны тем, что Ягич вошел в изучение истории русского языка, восполнил соответственное преподавание в Университете и, войдя достаточно глубоко в исследование предмета, позднее оставил ряд работ по нему. Здесь можно отметить, что, появившись в Петербургском университете в 1880 г., Ягич первые годы в нем вел занятия лишь по церковнославянскому языку и славистике. Очевидно, это был подготовительный период, время специального изучения Ягичем

именно истории русского языка, курс которого он открывает лишь с 1883/84 учебного года и далее уже ведет его каждый год, как в Университете, так и на Женских курсах. Читанный Ягичем курс по истории русского языка тогда же вышел в литографированном издании (в 1884 г.). В нем обнаруживается уже довольно широкое знакомство Ягича с кругом древнерусского письменного материала. Но, конечно, этого еще было недостаточно. И сам Ягич, видимо, это сознавал и продолжал дальнейшее углубление в изучении предмета. Насколько напряженная и плодотворная была в этом отношении работа Ягича, показывает второй сколок истории русского языка. Это уже печатные его «Критические заметки по истории русского языка», 1889. Этим «Критическим заметкам» придана внешняя форма рецензии на только что вышедшие «Лекции по истории русского языка» А. И. Соболевского (1888), но они могут быть рассматриваемы собственно как курс Ягича по истории русского языка, на что есть некоторое указание и в самом предисловии к книге. Кроме того, внешний объем «Заметок» (171 стр.) более приличен настоящему труду, чем рецензии, тем более, что размер их подходит к объему самих «Лекций» Соболевского (в них 212 стр.). «Критические заметки» Ягича, при совершенной бедности иной литературы в то время по истории русского языка, представляют много интересного, и история русского языка с благодарностью будет помнить об участии в ее разработке Ягича. Не следует забывать, что этот труд Ягича явился все же по существу случайным ростком в научной деятельности Ягича, и это тем выше поднимает его значение. По сравнению с отмеченным литографированным изданием лекций Ягича этот труд его представляет значительный шаг вперед в расширении круга поднимаемых вопросов и в уточнении их трактовки. В отношении к «Лекциям» Соболевского труд Ягича содержит ряд черт, не утративших своей ценности до сей поры. Так, можно заметить о богатом влитом здесь материале из грамот, этого наиболее ценного письменного источника для истории русского языка, а материал грамот еще не был использован Ягичем в литографированном издании его курса (не было его и у Соболевского). В ряде вопросов, касающихся истории языка, принципиальный подход Ягича оказывается существенно иным, чем у Соболевского. Ср. его отношение к вопросу второго полногласия, его принципиально важные замечания о необходимом учете церковнославянских элементов в графике древнерусских памятников и в самом языке и др. Все это должно было иметь цену в свое время, сохраняет свое значение и сейчас. Укажу, наконец, на одну черту, принципиально важную, характеризующую общие лингвистические взгляды Ягича. Это его неоднократно высказываемое в труде согласие с взглядами молодого тогда А. А. Шахматова, тогда всего лишь автора трех статей в «Архиве» и работы по языку Новгородских грамот (см. особенно стр. 48, 93, 105).

Участие Ягича в разработке русского языка не ограничилось названными его публикациями. Следует указать еще на монументальное издание Минеи 1095, 1096, 1097 годов, этого весьма важного,

имеющего диалектологический интерес, древнерусского памятника. Очень важное значение, далее, и для русского языка имеют его «Beiträge zur slavischen Syntax»,1899. Эта работа в основе своей покоится на взглядах Потебни, но содержит также и иные толкования деталей и очень богата по влитому материалу из живых славянских языков, в частности и из литературного русского языка. При изучении синтаксиса эта работа Ягича должна служить необходимым пособием. Наконец, следует заметить о многочисленных отзывах Ягича, относящихся к работам по русскому языку. По ним особенно видно, как близок был интересам Ягича русский язык: ни одно сколько-нибудь заметное явление в области изучения русского языка, народного ли, литературного ли, истории ли языка, не прошло мимо внимания Ягича, не осталось без критической оценки с его стороны. Ср. его рецензии в «Архиве» на труды Потебни, Житецкого, Грота, Амфилохия, Романова, Богородицкого, Калужняцкого, Lundell'a, Будде, Шахматова, Ляпунова, Шлякова, Каринского, Чернышова, Соболевского, Обнорского и др., ср. также заметки о практических грамматиках русского языка Budmani, Ašboth'a, Lundell'a.

Литературная история также представляет область, в которой Ягичем оставлен заметный след, в которой Ягичу принадлежит очень большое количество изданий и исследований. Несмотря, однако, на большую роль Ягича в этой области, по специальности предмета я оставляю рассмотрение ее в стороне. Сошлюсь, однако, на Пыпина, отводящего в «Истории русской этнографии» значительное место Ягичу в разработке им народной поэзии. Укажу также на проф. А. С. Архангельского, подчеркивающего огромную роль Ягича в исследовании судеб как славянской литературы, так тем самым и русской. А здесь ближайшей интересам Ягича явилась область средневековых славянских апокрифов, светских повестей и сказаний, таких памятников, как изречения Менандра и т. д., т. е. круг этих южнославянских памятников теснейшим образом сливается с соответственным материалом литературы древнерусской. В этой области рядом с исследованием Ягич дал очень много нового, им впервые открытого и обнародованного, ценного материала.

Перехожу к последней самой широкой теме научного изучения Ягича — к истории славянской филологии. Эта необъятная по широте научная область не нашла бы иного и лучшего своего исследователя, кроме Ягича. Только Ягичу, с ранних лет горевшему интересом ко всему славянскому, Ягичу, который культивировал в себе научный интерес к таким разнородным областям, как славянские языки, и литература, и история, и этнография, и т. д., оказалась по плечу роль первого историка славянской филологии. Интерес к изучению истории славянской филологии можно проследить у Ягича рано. Таковы его многочисленные самые разнообразные рецензии, или обзоры успехов славистики, или его громадный труд «Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке», или обнародованная переписка Добровского, и т. д., и т. д.

Таковы, с другой стороны, его университетские чтения, в которых он многократно останавливался на темах, именно связанных с историей славистики. Ср. его курсы — в 1886/87 г. введение в славянскую филологию, в 1896/97 г. историческое введение в славянскую филологию, в 1902/3 г. история славянской филологии, в следующем 1903/4 г. продолжение того же курса (новый период), в 1907/8 г. история славянской филологии и археологии (новейшая эпоха). Плодом этого длительного изучения темы, что особенно заметно по непрерывному ведению Ягичем соответствующих университетских курсов, явилась в 1910 г. его «История славянской филологии», огромный том, обнимающий почти тысячу страниц. В этом труде можно видеть монумент, воздвигнутый неутомимостью, богатою эрудицией и любовью к славянству уже 70-летнего Ягича. Надо знать всю ту скудость и полную необработанность сырого материала, который был по этому вопросу до Ягича, чтобы в достойной мере оценить значение этого труда, явившегося под пером Ягича цельным строением из случайных обломков. На такую работу — можно еще повторить — был способен только Ягич, лично в течение полувека проработавший на широком поле славистики. Нельзя умолчать о том, что критика частично отнеслась недоброжелательно к труду Ягича, заподозрив в нем субъективность автора, указав на частичную неполноту отделов книги. Но скорее можно бы критику заподозрить в субъективизме, чем Ягича, именно с крайнею щепетильностью относившегося к задачам беспристрастного изложения. Ср. такой именно, единственно правильный, взгляд на труд Ягича, высказанный акад. М. Н. Сперанским (Известия Отд. рус. яз. и слов. Российской Академии наук, т. XV, кн. 2). Что касается указаний на, неполноту, то при первоначальной и единоличной обработке такой широкой темы, как история славянской филологии, частичная не полнота и известная неровность в расположении материала неизбежны. Только в коллективной работе, при участии длинной цепи специалистов-сотрудников, возможно было бы избежать неполноты, да и то относительно. Громадная в этом отношении заслуга акад. Ягича именно в том, что он один решился на исполнение труда и выполнил его, с точки зрения требований к единоличному труду, блестяще. Сам Ягич в процессе работы над изданием предвидел известную неполноту и неровность частей и ждал от критики соответствующих дополнений и указаний, надеясь с выходом первого издания начать подготовку нового издания. К сожалению, новой публикации этого труда не суждено было выйти в свет, а теперь за смертью акад. Ягича приходится думать, что, не говоря уже о коллективной «Истории славянской филологии», которой и платонически нельзя ждать в скором будущем, но и на выпуск по проторенному Ягичем пути хотя бы более полного (ввиду ряда крупных утрат за последнее время) труда по истории славистики после «Истории славянской филологии» акад. Ягича, вряд ли кто отважится.

Заключая характеристику научной деятельности акад. Ягича, нельзя не подчеркнуть особых услуг его, оказанных славистике,

в роли редактора основанного им еще в 1875 г. журнала Archiv für slavische Philologie. Акад. Ягичу суждено было до конца дней своих простоять на посту несменного редактора «Архива». А между тем это бремя уже давно, с 90-х гг., было трудно нести Ягичу. Нельзя не вспомнить по этому поводу относящихся еще к 1896 г. сетований Ягича на могиле его ближайшего ученика В. Облака, между прочим, о том, что В. Облак своей безвременной смертью не оправдал тайных надежд Ягича и не сменил его в деле редактирования «Архива». Излишне говорить о том, какого напряжения стоило Ягичу пронести это бремя по редактированию журнала еще почти 30 лет! Но Ягич вынес его до конца. Этот подвиг Ягича, достойный самой глубокой признательности, не может быть забыт благодарным потомством! Громадное научное значение «Архива» вполне понятно само собой. Насчитывающий десятки томов, «Архив» содержит чрезвычайное богатство самого разнообразного материала, относящегося к славистике. Но, помимо этого чисто научного значения журнала, не следует забывать не менее важных его общественных функций. Здесь ведь принимали участие ученые всех стран. Поэтому на объективной чисто научной почве в течение десятилетий здесь сходились представители ученого мира всего славянства. Но, больше того, «Архив» показал для всеобщего обозрения самое лицо славянства. Только в «Архиве» ученый мир узнал, что такое славянство, увидел, как много интересного и важного скрывается в этом мире, что подлежит общенаучному освещению и исследованию. Так постепенно благодаря «Архиву» стало слагаться сближение славянства с мировой наукой на почве служения научной истине. Нет сомнения, что именно «Архив» Ягича сделал возможным воплощение в жизнь в начале 1900-х гг. объединение высших научных сил, отразившееся в крупнейшем по замыслу предприятии — в организации издания «Энциклопедии славянской филологии». Недаром во главе этого издания встал не иной кто, как редактор «Архива славянской филологии» акад. Ягич.

Перед нами прошла повесть дел акад. Ягича, повесть длинная, охватывающая более 60 лет неустанного, всегда проникнутого живым чувством труда, непосильного для человека обычных сил и способностей. Сошел в могилу старейший академик, принадлежавший к той плеяде наших ученых, в которой алмазами сияли имена Ф. Ф. Фортунатова, Ф. Е. Корша, А. А. Шахматова и др. Немного уже осталось лиц от этой славной плеяды. И тем тяжелее ощущается каждый новый удар рока, поражающий кого-либо из этого самого дорогого нашего оставшегося «немногого». Поэтому так тяжело сейчас уму и чувству переживать утрату акад. Ягича. Сознанию остается утешаться, выполняя заветы покойного — упорным и неустанным трудом работать на пользу славянства и, исполняя долг перед ним, хранить высокую и благодарную память об этом изумительном по размаху сподвижнике науки.

Октябрь 1923.

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А. А ШАХМАТОВА [1]

Мне предстоит трудная задача очертить в сжатом слове круг научной деятельности недавно — в начале августа месяца истекшего года — скончавшегося члена Российской Академии наук, председательствующего в Отделении русского языка и словесности, профессора Петроградского университета, доктора русской филологии Московского университета, почетного доктора некоторых заграничных университетов, почетного и действительного члена многочисленных научных обществ и ученых организаций, Алексея Александровича Шахматова. Эта задача трудна для выполнения по двум причинам. С одной стороны, слишком громадна, разнообразна и многообъемлюща была научная деятельность покойного, чтобы так скоро и к тому же в малоблагоприятствующих условиях места и времени могла быть представлена сколько-нибудь исчерпывающая характеристика его научного дела. С другой стороны, тяжело говорить об итогах деятельности академика Шахматова, трудно и больно еще увериться в действительности его безвременной кончины — так свежа еще и так остра горечь от этой, неподдающейся квалификации словом, жестокой потери. Что-то глубоко роковое за последний небольшой ряд лет проносится над Вторым отделением Академии наук. Один за другим в малом промежутке времени сошли в вечность незабвенные деятели Отделения русского языка и словесности — академики В. И. Ламанский, В. Ф. Миллер, Ф. Ф. Фортунатов, Ф. Е. Корш, славным именам которых до сих пор не нашлось достойных преемников. Теперь за этими потерями последовала жесточайшая потеря — потеря академика Шахматова, утрата академика, в течение почти 15 лет состоявшего несменным председательствующим в Отделении, потеря незаурядного ученого, потеря редкой по душевным качествам личности, утрата человека, бывшего в расцвете сил и обещавшего дать много еще богатой жатвы на научной ниве... Кончина академика Шахматова явилась полной неожиданностью для всех, сколько-нибудь знавших близко покойного, весть о ней пронеслась тяжелым ударом по ученому миру. Смерть академика Шахматова действительно пришлась страшным ударом. Это был удар науке, удар Академии и ряду иных учреждений, которым в течение длинного ряда лет дарил свои силы покойный, это был, наконец, тягчайший удар многочисленным роям учеников, почитателей и начинающих молодых ученых, питавшихся неистощимым участием в них покойного. Жгучая горечь и безутешная скорбь давит душу при мысли о том, что А. А. Шахматов уже не с нами и не будет с нами... Тем глубже и проникновеннее у многих из нас, обязанных и благодарных имени великого Шахматова, будет гореть всегда теплое и признательное воспоминание о дорогом покойном.

А. А. Шахматов был незаурядной натурой, еще с малых лет, со школьной скамьи, он производил впечатление высоко одаренной

[1] Читано в заседании Общества философии, истории и социальных наук при Пермском университете 16 января 1921 г.

личности. Владевший феноменальной памятью, всегда поражавшей, например, на диспутах, когда покойный на память свободно пестрил многочисленными ссылками с указанием страниц на отдельные места труда диспутанта, вооруженный глубоким и разносторонним знанием, обладавший от природы высоким даром проникновенной интуиции, позволявшей ему прозрением счастливо доходить до научных гипотез, становившихся действительно твердыми положениями, и при всем этом отличавшийся удивительной работоспособностью, особенно усилившейся в последние годы, А. А. Шахматов блестяще сочетал в себе все лучшие качества научного деятеля, те качества, которые мы вообще редко находим или, лучше сказать, почти не находим, соединенными в одной личности. Тем более приходится сожалеть, что мы очень мало знаем биографических данных о жизни этой интереснейшей по одаренности личности, этого высоко талантливого деятеля науки. Сам покойный был всегда крайне скромен, чтобы что-либо сообщать о своем прошлом. И почти все, что мы знаем об отдаленной поре жизни покойного, сводится к данным, содержащимся в докладной записке, составленной академиками А. Ф. Бычковым и И. В. Ягичем еще в 1894 г., предшествовавшей избранию А. А. Шахматова в адъюнкты Академии (см. Сборник Отд. русск. яз. и слов. Ак. наук, т. 63, стр. XVI и XX). Эти данные позднее в существенных чертах были использованы Б. Л. Ляпуновым в его рецензии на диссертацию А. А. Шахматова (см. Ж. Старина за 1895 г.), они же повторены в заметке о Шахматове в Энц. Слов. Брокгауза-Ефрона.

А. А. Шахматов родился в 1864 г. и происходил из Саратовской губернии, где находилось родовое имение Шахматовых. Среднее образование он получил в Москве в 4-й Московской гимназии. Уже здесь, на гимназической скамье, будучи учеником старших классов, А. А. Шахматов обнаружил свой исключительный интерес к занятиям русским языком. Знакомство с некоторыми профессорами Московского университета, филологами, открыло ему рано ключ к лингвистическому образованию, которому он и отдался со всем свойственным ему от природы увлечением. Мы видим по крайней мере, что еще гимназистом он уже работает в Румянцевском музее над рукописями, старопечатными изданиями, работает методически и настолько серьезно, что этим ранним плодам его занятий суждено было тогда же появиться в печати. Это статьи его «Zur Kritik d. altrussischen Texte» и «Zur Textkritik des Cod. Sv. vom J. 1073 nach der photolith. Ausgabe», посвященные сверке изданий Жития Феодосия и Святославова Сборника с подлинными рукописями (см. Archiv für slavische Philologie, Bd. 5 и 6). Конечно, эти статьи (последняя, между прочим, сохраняет свое значение до сих пор) не представляют собою чего-либо оригинального. Они говорят зато о крайней методичности и точности, которая уже тогда выработалась у А. А. Шахматова в отношении пользования древними памятниками письменности. Но следует упомянуть о дальнейшей работе А. А Шахматова, появившейся в следующем (1883) году, чтобы видеть, насколько тогда

только еще окончивший курс гимназии А. А. Шахматов глубоко и самостоятельно вошел в круг изучаемого предмета. Таковы его Beiträge zur russischen Grammatik (см. Archiv. f. sl. Ph. Bd. 7). Эта работа читается с интересом до сих пор. В ней, помимо критических замечаний на магистерскую диссертацию А. И. Соболевского (Исследования в области русской грамматики, 1881), А. А. Шахматов впервые указывает на значение древнерусских памятников как твердого источника сведений о древнерусских наречиях, на необходимость соответственного при изучении памятников исследования вопроса о местном происхождении данного памятника. Эта впервые развитая А. А. Шахматовым мысль, привлекшая позднее к себе внимание исследователей, сама по себе весьма важна: мы видим здесь стремление живым образом соединить прошлое языка с его настоящим, мы видим здесь оценку памятников письменности для истории русского языка не абстрактную, а вполне реальную, именно с точки зрения связи данных памятника с современным живым языком. Для нашего времени все это звучит аксиомой, но высказанная в 80-х годах, это была свежая мысль, оригинальная, дававшая необходимые перепективы будущим исследователям языка по древним памятникам.

В 1883 г. А. А. Шахматов окончил гимназический курс и поступил в Московский университет на историко-филологический факультет. Здесь занятия его становятся уже на вполне твердую почву, методически направляемые и руководимые испытанной рукой будущих академиков Фортунатова и Корша. Здесь в университетские годы куется та глубина, четкость и широта лингвистических знаний, которые впоследствии всегда выгодно отличали А. А. Шахматова в среде русских лингвистов. В 1884 г., на первом курсе, А. А. Шахматов пишет исследование о новгородских грамотах XIII—XIV вв.— работа первостепенной важности до настоящего времени, работа, в которой автор с присущей ему отчетливостью и тщательностью дает критическое истолкование богатого рукописного материала грамот, со всею тщательностью изданных в приложении к исследованию. Много внимания, конечно, уделено здесь местному элементу в языке грамот, этой живой нити, связывающей изучаемый язык XIII—XIV вв. с современным народным языком. Естественным дальнейшим направлением занятий А. А. Шахматова было изучение непосредственно живого русского языка. В этих целях в 1884 г. он предпринимает поездку в Олон. губ. для изучения местных говоров. Он посетил Петрозаводский уезд, Повенецкий, особенно же подробно ознакомился с Заонежьем, где ему удалось собрать много сказочного и песенного материала. Об этой своей поездке А. А. Шахматов читал доклад в Этн. Отделении О-ва люб. ест., антр. и этн., в трудах которого доклад и был тогда же напечатан. Позднее, в 1886 г., А. А. Шахматов вторично отправился в Олон. губ. и побывал на восточном побережье Онежского озера, в Повенецком и Пудожском уездах. В эту поездку им был собран также богатый материал в прекрасных записях, отчасти впоследствии вошедший в издание Северных сказок Ончукова. Рядом с этими самостоятельными занятиями

большое внимание А. А. Шахматов уделял прохождению университетского курса, в особенности лингвистическим занятиям у Фортунатова и Корша. Можно отметить, что здесь уже, на университетской скамье, определился интерес А. А. Шахматова к акцентологии, вопросам которой он впоследствии уделял столько внимания, столько глубокого и тщательного изучения, что, после учителя своего Ф. Ф. Фортунатова, может считаться одним из лучших знатоков этой области вообще, а у нас в России первым знатоком-акцентологом. Об этом раннем интересе А. А. Шахматова к вопросам акцентологии может свидетельствовать избранная им тема кандидатской работы, как раз принадлежавшая области акцентологии — «О долготе и ударении в общеславянском языке».

В 1887 г. А. А. Шахматов окончил университет по классическому отделению и был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. Непосредственно же за окончанием университета он начинает готовиться к магистерским испытаниям, каковую работу успешно проделывает в течение двух лет. Можно здесь отметить о том сильном увлечении, с которым А. А. Шахматов отдался подготовке к испытанию по истории русской литературы. Ему пришлось готовиться к испытанию по известной обширной программе проф. Н. С. Тихонравова, согласно которой А. А. Шахматову предстояло проработать 33 вопроса. Работа была громадная, напряжение потребовалось большое, но эта задача была проделана неутомимостью А. А. Шахматова быстро и блестяще. А. А. Шахматов настолько в процессе занятий вошел в круг изучаемого литературного материала, что вскоре же выступил и в литературной области самостоятельным исследователем. Не далее, как в 1889 г., им уже было напечатано исследование о Киево-Печерском патерике, за которым позднее последовал длинный ряд работ по летописной истории, хронографам и т. п., выдвинувших имя автора в число первых исследователей указанной области нашей древней литературы.

Помимо занятий по подготовке к магистерским экзаменам, энергия и научная пытливость А. А. Шахматова шла и в другом направлении. При видном личном участии А. А. Шахматова в рассматриваемую пору в Москве сорганизовался научный кружок, поставивший себе задачей издание сочинений известного мыслителя и полигистора XVII ст. Юрия Крижанича. Сам А. А. Шахматов в связи с этим задумал исследование о языке Крижанича, остановившись на труднейшей стороне языка — на области ударения. Со всею тщательностью им был собран и изучен материал с ударениями из рукописей Крижанича, печатно обработанный в статьях — «К истории сербо-хорватских ударений» (Рус. Фил. В. 1888—1889) и «Юрий Крижанич о сербо-хорватском ударении» (там же, 1894—1895).

В 1889 г. А. А. Шахматов приступил к магистерским испытаниям, которые успешно закончил к весне следующего года. В марте 1890 г. он прочел пробные лекции на темы «О сочинениях, принадлежащих летописцу Нестору» и «Об именит. мн. ч. на *а* в русском языке» и был зачислен приват-доцентом Московского университета.

В осеннем полугодии того же года он читал в университете курс по истории русского языка, тогда же отлитографированный, скоро ставший библиографической редкостью и, между прочим, использованный проф. Р. Брандтом в его издании «Лекций по исторической грамматике русского языка» (вып. I, М., 1895). Однако академическая карьера А. А. Шахматова в Московском университете была кратковременна. В самом начале следующего 1891 г. А. А. Шахматов по причинам личного характера оставляет Москву и едет в Саратовскую губ., где поступает на службу (кажется, земства). Нельзя было бы a priori думать, чтобы после того, что уже было сделано А. А. Шахматовым, его научная деятельность прекратится. И действительно, в провинции А. А. Шахматов не оставляет своего любимого научного дела, а, напротив, отдает ему весь наличный досуг. Насколько здесь была проделана им большая работа, может свидетельствовать тот факт, что уже в 1893—1894 гг. на столбцах Рус. Фил. В. стал появляться выдающийся по времени его труд, озаглавленный «Исследования в области русской фонетики». Это сочинение А. А. Шахматова, о котором акад. А. Ф. Бычков писал, что по широте взглядов, по богатству данных, по остроумию соображений в филологической литературе последних лет нет ему равного труда, это сочинение послужило диссертацией А. А. Шахматова, которая Московским университетом была признана более чем удовлетворительной, и А. А. Шахматов был удостоен сразу степени доктора минуя звание магистра.

Блестящие дарования, выдающиеся научные качества и личная энергия А. А. Шахматова не могли не вызвать всеобщего удивления, не могли не привлечь внимания к нему со стороны Академии наук. И действительно, осенью 1894 г. в заседании Отделения русского языка и словесности был возбужден вопрос о привлечении А. А. Шахматова в состав Академии наук. Была прочитана составленная акад. Бычковым и Ягичем записка о научных трудах А. А. Шахматова, и он единогласно был избран адъюнктом Академии наук по Отделению русск. яз. и словесности. Вслед за избранием А. А. Шахматова в адъюнкты вскоре же встал вопрос об избрании его в экстраординарные и ординарные академики. В 1897 г. он был единогласно избран экстраординарным и в 1899 г. ординарным академиком.

С включением А. А. Шахматова в состав Академии наук начинается длительная, шедшая без перерыва до последних дней его жизни, «академическая» пора его деятельности, явившаяся громадным делом в стенах собственно Академии наук ознаменовавшаяся крупнейшими научными вкладами, но, к глубокому общему горю, безвременно оборвавшаяся. Огромнейшая роль А. А. Шахматова в Академии наук с трудом поддается учету. Слабое представление о ней можно получить, если посмотреть, в каких направлениях протекала деятельность А. А. Шахматова в первые годы появления его в составе Академии.

Первым делом его, на которое он направил всю свою энергию была организация остановившегося за смертью акад. Я. Грота в

1891 г. издания Словаря русского языка. Принявшись за это дело, А. А. Шахматов, как лингвист, увидел неудовлетворительность принципов, на которых Словарь издавался Гротом. В связи с этим он входит (осенью 1895 г.) в Отделение русск. яз. и слов. с планом расширения принципов издания Словаря, именно—введения в него во всей широте слов народного и областного языка. Предложение А. А. Шахматова было одобрено Отделением, и вот А. А. Шахматов проделывает громаднейшую работу по подготовке материалов и налаживанию издания Словаря на новых расширенных основаниях, работу невидную, однако требующую большой точности, аккуратности, знания и поглощающую массу времени. Только знакомый сколько-нибудь с техникой словарных изданий сможет оценить громаднейшее дело А. А. Шахматова, проредактировавшего внушительный том Словаря (буквы Е, Ж, З), на печатание которого ушло почти 15 лет.

Одновременно с направлением словарного дела А. А. Шахматов той же осенью 1895 г. возбуждает в Отделении вопрос о новом повременном органе, который удовлетворял бы задачам собственно Отделения. И это начинание А. А. Шахматова Отделением было принято, и с 1896 г. начались аккуратно выходом Известий Отделения русского языка и словесности, выходящие по настоящее время. Редакция Известий была поручена А. А. Шахматову и А. Ф. Бычкову, после смерти акад. Бычкова его сменил А. Н. Пыпин, а с его смертью до последнего времени редактором издания состоял А. А. Шахматов. О сенью истекшего года исполнилось 25 лет существования Известий. 25 лет блестяще руководил изданием А. А. Шахматов. За четверть века существования журнал наполнился богатейшим содержанием материалов и исследований, статей, заметок и рецензий, но по иронии судьбы юбилейный свой год Известия должны были встретить печалью: не было уже с ними их основателя и несменного мудрого руководителя.

Не ограничившись изданием Известий, вскоре же (в начале 1897 г.) А. А. Шахматов начинает новое предприятие. Вместе с акад. М. И. Сухомлиновым он входит в Отделение с представлением об издании «Полного собрания сочинений русских писателей» (древнего периода). Задуманное дело было очень сложно. Оно потребовало много предварительной работы, ряда комиссионных обсуждений, но в конечном итоге и это предприятие разрешилось положительно. К настоящему времени имеется уже серия выполненных изданий древнерусских памятников и на ближайшей очереди ожидается их большое количество.

Можно сказать вообще, что А. А. Шахматов, благодаря его неослабной энергии, играл громадную роль в организации и расширении научного издательства Отделения. Редкое из изданий Отделения по языку, по древней письменности обходилось без ближайшего участия А. А. Шахматова. Едва вступив в состав Академии, А. А. Шахматов уже с 1895 г ведает редакцией издания Словаря архангельского наречия Куликовского, дополняя его материалами соб-

ственного собрания. Он редактирует и имеет общее наблюдение за начавшимся печатанием Супрасльской рукописи. Он следит за изданием Отделения под названием «Исследования по русскому языку». За смертью акад. Бычкова ему поручается редакция издания «Материалов для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского. Он разделяет с акад. Ф. Ф. Фортунатовым наблюдение за изданием Постилл Даукши. Ему принадлежит видное участие в расцвете издания Сборника II Отделения, обогатившего нашу диалектологическую и фольклористическую литературу громадным количеством ценнейших изданий.

Роль А. А. Шахматова как члена Отделения русского языка и словесности трудно очертить сколько-нибудь полно нам, мало связанным с этой высокой коллегией. Но и не находясь в близком общении с Академией, можно все-таки представить, как много сил было вложено покойным на нужды собственно академического учреждения. А. А. Шахматову принадлежит честь привлечения в состав Академии ряда блестящих имен, составляющих красу и гордость нашей научной мысли. Таковы его учителя Ф. Ф. Фортунатов и Ф. Е. Корш, таков его соратник в научной области А. И. Соболевский или маститый славист В. И. Ламанский. А. А. Шахматову выпала на долю высокая честь, но и высокое бремя — нести пост председательствующего в Отделении русского языка и словесности длинный ряд лет, начиная с 1907 г. вплоть до конца дней покойного. Стоит ли к этому прибавлять, что А. А. Шахматов длинный ряд лет состоял также директором библиотеки I Отделения. Эти немногие факты говорят сами по себе о многом, они говорят о колоссальных силах, отданных покойным собственно учреждению Академии наук.

Особенно трудно дать сколько-нибудь точный отчет о научном деле, свершенном покойным, отчет об итогах его научных исканий и достижений. Время для этого еще не пришло, и здесь мы дадим лишь посильную справку о главных штрихах научной деятельности покойного.

Выше пришлось остановиться на научных работах А. А. Шахматова в начальный период его деятельности. Для своего времени эти труды должны быть признаны выдающимися. Значительная их часть не утратила своего значения до настоящего времени. Насколько велик был уже в ту пору научный авторитет имени А. А. Шахматова, говорит факт его привлечения в состав Академии. А. А. Шахматов получил академическое кресло уже в 1897 г., всего 33 лет от роду,— событие исключительное в традиции академической жизни. Избирая А. А. Шахматова в 1894 г. в адъюнкты, Отделение русского языка и словесности выражало надежду, что блестящее начало научной деятельности А. А. Шахматова получит в среде Академии достойное продолжение, и в этом оно не ошиблось. Из отзывов об ученых трудах А. А. Шахматова при избрании его в экстраординарные и далее в ординарные академики можно видеть, что в этот малый срок трех—пяти лет А. А. Шахматов сумел вполне оправдать возлагавшиеся на него надежды. Вся последовавшая научная деятельность

А. А. Шахматова тем красноречивее об этом свидетельствует. В этом отношении, следует прямо сказать, в лице А. А. Шахматова мы имели своеобразную и исключительную натуру. Это был человек, обладавший величайшей потенциальной силой научного творчества. Он в собственном сознании всю жизнь свою рос и совершенствовался и в процессе своего совершенствования безостановочно творил, не боясь, что продукты творчества не всегда сразу окажутся совершенными. По его работам видно, как не раз он берется, например, за одну и ту же тему, давая ей разное освещение, нередко при этом отказываясь от высказанного ранее или в той или другой части изменяя прежде предположенное. Так, в результате длительных поисков вместе с читателем А. А. Шахматов старался добиться научной истины. Можно ли упрекать его в том, что он и читателя заставлял вместе с собой мучительно добиваться истины? Чтобы навести на него тень, действительно ставили это иногда в упрек, подчеркивали обилие высказываемых А. А. Шахматовым гипотез или нередкость отказов его от сделанных уже предположений в пользу новых предположений. Сам А. А. Шахматов знал за собой способность к гипотетическим построениям и, видимо, дорожил этой способностью. И действительно, гипотеза, даже неверная, будит мысль, которая и исправит в конце концов ее, если она неверна. И сам А. А. Шахматов не любил типа ученых, корпящих над одними фактами и не решающихся из-за них к выводам, и, напротив, из малого количества данных требовал выводов, ждал предположений, пусть даже предварительных, но все же раздвигающих путь к абсолютной истине.

Достойный ученик Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматов был блестящим представителем школы этого высокого ученого. Однако А. А. Шахматов не был только сторонником и тем менее популяризатором трудного учения Фортунатова. Он явился лучшим его истолкователем и продолжателем, углубившим в частях учение Фортунатова и расширившим его в применении к истории русского языка. Между учеником и учителем разница в том, что Ф. Ф. Фортунатов был только лингвистом, А. А. Шахматов культивировал, кроме того, широкий интерес к литературе, истории; правда, к этим областям А. А. Шахматова привел все-таки кругозор лингвиста, и подход к их научной разработке у А. А. Шахматова был тот же, лингвистический.

Как лингвист, А. А. Шахматов занимал у нас, бесспорно, первенствующее место. Мы не смогли бы назвать другого имени лингвиста, вооруженного такой же широтой и глубиной знания языков, оперирующего над материалом с такой утонченностью и отчетливостью, так строго и точно применяющего научный метод. Но будучи индоевропеистом, А. А. Шахматов от своего учителя Ф. Ф. Фортунатова унаследовал прекрасное знание индоевропейских языков, не забывая впоследствии о методическом его расширении. Можно вспомнить в этом отношении, что А. А. Шахматов, уже окончив университет, долго еще продолжал слушание лекций Ф. Ф. Фортунатова по срав-

нительному языковедению, литовскому и готскому языкам. Непрерывно расширял и углублял он свои знания по индоевропейским языкам и самостоятельно, напр. в 900-х гг. изучил кельтские языки. Все это показывает, что лингвистический базис у А. А. Шахматова не был лишь суммою сведений, вынесенных с университетской скамьи и в таком виде застывших (как обычно у наших лингвистов), а был чем-то органически воспринятым и живым, восполнявшимся и развивавшимся и далее согласно с общей научной разработкой индоевропеистики. На этом-то завидном по широте и глубине общелингвистическом базисе А. А. Шахматов начал усовершенствование своих знаний как по истории русского языка, так и по иным славянским наречиям. Мы должны прямо сказать, что не только по истории русского языка, где А. А. Шахматов явился одним из опорных столпов этой науки, но и по всем другим славянским языкам покойный был первым и единственным по глубине захвата знатоком как у нас в России, так и на Западе. Мы знаем славистов, по необходимости знакомых со всеми славянскими языками, но мы не знаем второго слависта, равного А. А. Шахматову, который бы с одинаковым совершенством знал все славянские языки и в то же время был в области всех их глубоким исследователем. Такого захвата знание по силе немногим, и А. А. Шахматов из числа этих немногих. Будучи по ближайшим интересам историком русского языка и в то же время являясь глубоким знатоком всех славянских языков, А. А. Шахматов персонально как бы свидетельствует, что действительно хорошо знать один из славянских языков и работать в его области можно лишь при условии такого же совершенного знания всех прочих славянских языков.

Кроме индоевропейских и славянских языков, А. А. Шахматов интересовался также романскими и германскими языками, их исторической грамматикой, наконец, знал финские языки, приведенный к их изучению, очевидно, разработкой сильно интересовавшего его вопроса о прошлых судьбах русской народности.

Научное наследие, оставшееся после А. А. Шахматова, громадно; по предварительному подсчету количество принадлежащих покойному работ может быть определено приблизительной цифрой—150 работ. Характер их самый разнообразный. По большей части это иногда весьма крупные по объему исследования, в меньшей части они содержат обнародованный покойным материал по древнему языку, литературе, диалектологии, наконец, ему принадлежит значительное количество рецензий. Следует при этом особенно подчеркнуть значение вышедших из-под пера А. А. Шахматова рецензий, приближающихся нередко к настоящим исследованиям, между прочим, и по объему оказывающихся иногда весьма обширными. Работы А. А. Шахматова рассеяны в разнообразных периодических органах, в значительной части в академических изданиях, далее на столбцах Рус. Филол. В., в Archiv'e Ягича, в Журн. М. Нар. Просв., в Чтениях М. О. И. Др., в изданиях Археогр. Комиссии, Географич. Общества и т. д. Кроме того, редкий из юбилейных сборников

обходился помимо участия в нем А. А. Шахматова (ср. сборники в честь Фортунатова, Корша, Ламанского, Ягича, Дринова, Сумцова, Корсакова, Брауна, Потанина, Анучина, Радлова и др.).

По своему содержанию труды А. А. Шахматова весьма разнообразны. Приблизительно половину их составляют работы по древней литературе. Это многочисленные и кропотливейшие изыскания покойного в области русской летописной истории и смежных с нею вопросов, изыскания, которые с неослабным интересом вел покойный на всем длинном протяжении своего научного поприща.

Не буду давать оценки этих работ А. А. Шахматова. Достаточно сказать, что в этой трудной области А. А. Шахматову удалось своим непреклонным трудом и глубиною анализа впервые установить определенную концепцию на летописный вопрос и развернуть широкую картину древнего нашего летописания. Понятно поэтому, что труды А. А. Шахматова имеют исключительное значение в разработке вопроса. По свойству исследуемой области работы А. А. Шахматова трудны, композиция их весьма сложная, в самой критике по этим причинам они мало затронуты, но главные выводы в построениях А. А. Шахматова явились открытиями и могут считаться принятыми в науке.

Призванным делом А. А. Шахматова были, конечно, его работы по русскому языку в широком смысле слова. А. А. Шахматов начал свою деятельность с 80-х годов. С этой же поры началась и ученая карьера А. И. Соболевского, посвятившего себя разработке той же научной области (магистерская диссертация А. И. Соболевского «Исследования в области русской грамматики» вышла в 1881 г.). Можно сказать, наука истории русского языка встала на твердую почву и окрепла благодаря главным образом трудам этих двух ученых, Соболевского и Шахматова. Соболевский и Шахматов, эти два имени, служат своего рода фундаментом, на котором зиждется современное здание истории русского языка. Не место и не время возбуждать здесь вопрос о сравнительном значении того и другого в науке истории русского языка. Мы можем сказать, что оба они с разными подходами самостоятельно делали одно дело, что их главным образом неустанной работе обязана наука современной стадией своей разработки.

Свою деятельность по разработке истории русского языка А. А. Шахматов начинает с изучения и исследования древних памятников. Таковы его первые работы о Сборнике Святослава 1073 года, о Житии Феодосия и др. Но определенное отношение к изучению памятников у А. А. Шахматова выясняется рано. Из его Beiträge zur russischen Grammatik, 1883, мы узнаем, что для него данные памятника не имеют самодовлеющей ценности. Они ценны постольку, поскольку позволяют перетянуть мостик к нашему современному языку. А. А. Шахматова интересуют не древние памятники сами по себе, а отражение в них живого языка древней поры, в котором он старается уследить диалектное разнообразие, обязательный

признак всякого живого языка. В 1883 г. А. А. Шахматов берет группу однородных местных памятников, новгородских грамот, и, исследуя их, особенно тщательно старается отметить диалектные черты старого новгородского наречия. Таким образом, перед исследователем, тогда еще молодым, уже рисовалась, как твердое основное положение,— преемственность старого и современного диалектного разнообразия языка, или общее — теснейшая живая связь старого языка, скудно отразившегося в письменных памятниках, и современного языка, богатейшего в своем диалектном разнообразии. Исследователя манила к себе соблазнительная задача определеннее уяснить себе пути движения старых черт языка к новым формам, и вот он берет для исследования частичный вопрос, вопрос о судьбе звуков *е—о—ѣ* в истории языка. Это тема диссертации А. А. Шахматова, озаглавленной «Исследования в области русской фонетики», 1893, в свое время благодаря широте и глубине поставленных вопросов произведшей громадное впечатление. Сам А. А. Шахматов не был удовлетворен разрешением вопроса. Слишком сложен был вопрос, слишком мало была разработана наука для решения поставленных вопросов. Исследования памятников только начались в трудах главным образом А. И. Соболевского и самого А. А. Шахматова, диалектологические сведения были совсем скудны и нередко случайны. И вот мы видим, как в ближайшее же время громадная энергия А. А. Шахматова направляется на упорядоченное систематическое собирание диалектологических материалов. Он составляет со всей присущей ему тонкостью и знанием программу для собирания особенностей великорусских говоров. Напечатанная Академией эта программа повсеместно рассылается с просьбой присылки по адресу Академии ответов на нее. Ответы не замедлили своим появлением, и в новооткрытых тогда Известиях II Отделения, по мере обработки получаемых материалов, А. А. Шахматов начал печатать их в существенных извлечениях. Так случайная и бедная до того наша диалектологическая литература обогатилась изданием «Материалов для изучения великорусских говоров», выходивших в течение 15 лет, составивших в общей сложности 9 выпусков и давших в итоге громадный материал первостепенной ценности. Скажу, что не без участия А. А. Шахматова позднее, в начале 900-х гг., в Москве была учреждена Диалектологическая комиссия, также выработавшая свою короткую программу для собирания великорусских особенностей, разославшая ее по близкой и дальней округе и также печатавшая ответы на нее в своих трудах, которых до сих пор вышло в свет 6 выпусков,— в результате также ценнейший материал по диалектологии. Параллельно с работой по собиранию великорусских особенностей шла также работа по изучению белорусских и украинских говоров, в соответствии с выработанными на этот предмет программами.

Помимо этой организационной роли в исследовании говоров А. А. Шахматов, высоко ценя значение диалектологии в изучении русской исторической грамматики, неоднократно путем поездок

лично принимал участие в диалектологических работах. Выше было упомянуто о его поездке в 80-х гг. в Арханг. и Олон. губ. Летом 1895 г. он ездил в Калужскую губ., в 1901 г.— в Арханг. губ., в 910-х гг.— неоднократно в Рязанскую губ. и т. д. Здесь можно заметить и о поездке его летом 1896 г. в славянские земли, где он непосредственно изучал сербские говоры (см. Отчет Отд. р. яз. и слов. за 1896 г., стр. 12). В результате этих диалектологических поездок А. А. Шахматова мы имеем его исследования: «Звуковые особенности ельнинских и мосальских говоров» (Рус. Фил. В., 1895), «Описание лекинского говора Егорьевского уезда» (Изв. II Отд., 1914). Богатый фольклористический и языковой материал собран был А. А. Шахматовым по Олон. и Арханг. губ. Он отчасти использован в академических словарных изданиях, отчасти вошел в собрание Н. Ончукова «Северных сказок», отчасти хранится еще в рукописи. О результатах поездки А. А. Шахматова в славянские земли не приходится говорить, ибо понятно, какое значение она имела в акцентологических исследованиях А. А. Шахматова. Впрочем, можно в связь с ней поставить статью А. А. Шахматова «К истории ударения в славянских языках» (Изв. II Отд., 1898).

Одновременно с организацией собирания диалектологического материала и личным его собиранием и обработкой А. А. Шахматов работает и по исследованию и изучению древних памятников и по исследованию вопросов, относящихся собственно к исторической грамматике русского языка. Что касается работ над памятниками, то здесь выделяется его собрание двинских грамот XV в. и исследование их языка (вышло в 1903 г. в «Исследованиях по русскому языку», т. 2, вып. 3); это собрание позднее, в 1909 г., было увеличено А. А. Шахматовым совместно с Сибирцевым (Изв. II Отд.). Проработав над изданием и исследованием новгородских и двинских грамот, А. А. Шахматов принялся и за московские грамоты, подготовляя их издание и исследование. К сожалению, эта работа осталась незаконченной. Далее, к кругу рассматриваемых работ принадлежит издание (совместно с П. А. Лавровым) рукописи XII в. Моск. Усп. Собора (в Чт. О. И. Д. 1899 г.). Здесь же должно отметить его издание Повести вр. лет по Лавр. списку (Спб., 1910); кроме того, А. А. Шахматов был занят аналогичной работой по изданию Ипатьевской летописи. К сожалению, эта работа также осталась незаконченной.

Шедшая параллельно разработка отдельных глав исторической русской грамматики дала ряд интереснейших и весьма глубоких и тонких по затронутым вопросам работ, на которые способен был только А. А. Шахматов. Таковы его статьи, выходившие под общим заглавием «К истории звуков русского языка». Первая статья посвящена смягченным согласным (Изв. II Отд., 1897), вторая общеслав. *ă* (там же, 1901), третья, вылившаяся в большое исследование, трактует о русском полногласии (там же, 1903). Последняя из этих работ, очевидно, писалась наспех. Тем не менее, и за ней, минуя ее выводы, остается крупное достоинство в богато привлеченном к исследова-

нию материале, относящемся к истории полногласных форм. Далее следует отметить крупную статью А. А. Шахматова в сборнике в честь Ф. Ф. Фортунатова — «Русское и словенское аканье», впервые на широкую почву ставящую вопрос о русском аканье (Р. Ф. В., 1902).

В 1908 г., в связи с уходом из Петербургского университета проф. А. И. Соболевского, А. А. Шахматов занимает кафедру русского языка. Этот момент имеет громадное значение в направлении последующей научной деятельности А. А. Шахматова, которая в ближайшие же годы развертывается с изумительной широтой. С щепетильной аккуратностью всегда относившийся к задачам университетского преподавания, А. А. Шахматов с первого же года открывает при университете курс истории русского языка, причем имеет в виду в нем дать не рядовой годовой общий курс по исторической русской грамматике, не отдельные главы ее, а задается обширной задачей дать на широком общесравнительном фоне картину цельной исторической жизни русского языка. Живо помнится, каким праздничеством было в Петербургском университете ожидание А. А. Шахматова как преемника А. И. Соболевского по кафедре. Для студентов, конечно, академик Шахматов был известен более по имени, чем по трудам. И тем не менее в ожидании А. А. Шахматова было что-то необычное, что-то романтическое, точно бессознательно предощущалась высота этого имени. Помнится захватывающее ощущение от вступительной лекции А. А. Шахматова, широкими мазками чертившего свои задачи перед слушателями. Задания были широки, на выполнение их потребовался не год и не два года. Курс истории русского языка был читан А. А. Шахматовым в течение трех лет — в 1908, 1909 и 1910 гг. Одновременно же шло его литографированное издание по рукописи автора, давшее к 1910 г. три внушительных тома. «Курс истории русского языка» А. А. Шахматова имел вообще громадное значение. Он имел значение для самого автора, который таким образом снова был втянут в работу над решением трудных проблем этой науки, отошедших до этого несколько на задний план ввиду напряженной работы А. А. Шахматова над литературной историей летописей. «Курс истории русского языка» имел значение и для круга научно подготовленных читателей. Об этом можно судить из того, что, быстро разошедшись, он на следующий год уже потребовал своего переиздания. Сам А. А. Шахматов придавал «Курсу» мало значения и в 1911/12 г. в университетских чтениях тот же курс вел в измененном виде. Издание «Курса», однако, позднее сыграло свою большую роль. По своей натуре, раз взявшись за научное дело, А. А. Шахматов отдавался ему весь и горел им до полного его разрешения. Первоначально составив свой «Курс», вышедший в литографированном издании, переработав его при втором чтении в университете, А. А. Шахматов в результате повторного пересмотра и новой обработки получил труд уже, так сказать, в кристаллизованном виде. Это монументальный труд его, озаглавленный «Очерк древнейшего периода истории русского языка» (вышел как 4-й вы-

пуск Энциклопедии слав. филологии в 1915 г.). Невольно сознавая важность этого труда своего, А. А. Шахматов счел возможным посвятить его своим, тогда уже покойным, учителям — акад. Фортунатову и Коршу. Носящий на заглавном листе имя А. А. Шахматова как автора этот труд действительно достоин, чтобы на нем красовались и славные имена Фортунатова и Корша. Построенный на широком фоне сравнительных данных всех славянских наречий, «Очерк древн. периода истории русского языка», посвященный изложению судеб русского языка в древнейшую пору его доисторической и исторической до XIII—XIV вв. жизни, в настоящее время служит лучшим трудом по истории языка. Этот труд не пособие, это глубоко продуманное в деталях исследование, построенное по оригинальной схеме, содержащее множество оригинальных мыслей по разнообразным вопросам истории языка. Отдельные главы труда могут рассматриваться, как исследования в исследовании, напр. глава об ударении, которая, как самостоятельный труд, одна стяжала бы славу ее автору. Глава об ударении не единственная по исключительному интересу и значению. Такой же высокой внутренней ценности и многие другие части труда, напр. введение, или §§, посвященные судьбе редуцированных звуков, или глава об аканье и т. п.

Выпустив в свет свой «Очерк», как долго выношенное детище, А. А. Шахматов должен был приняться за ряд работ по подготовке к печати иных своих университетских курсов, работ, которые украсили бы нашу научную литературу не одним новым исследованием. К сожалению, мировая война и последовавшие события затруднили работу, а внезапная смерть вовсе пресекла надежду на выход в свет подготовлявшихся исследований. Из университетских чтений, кроме курса истории русского языка, А. А. Шахматов читал конспективный курс старославянского языка, очерк русского литературного языка, курс русской исторической диалектологии, введение в историю русского языка, курс исторического русского синтаксиса. Из этих чтений, кроме курса истории русского языка, в литографированных изданиях студенческого издательства при Петербургском университете вышел очерк русского литературного языка и курс исторической русской диалектологии (курс неоконченный); введение в историю русского языка было тем же издательством отпечатано. Курс исторического русского синтаксиса не удалось отлитографировать по внешним обстоятельствам времени. Здесь можно заметить, что всегда мало интересовавшийся ранее вопросами синтаксиса, А. А. Шахматов, принявшись за чтение курса в университете, настолько глубоко охвачен был своей темой, что тогда же принялся за обработку своего курса для печатного издания. Последние годы А. А. Шахматов, видимо, весь свой досуг отдавал этой работе. К сожалению, однако, и этому труду не суждено было выйти в свет.

В своих занятиях по истории русского языка А. А. Шахматов должен был близко касаться смежных областей. В этом отношении немало потрудился он над сравнительной грамматикой славянских наречий. И по отдельным славянским языкам у него рассеяно много

мыслей и замечаний в специальных статьях, или в общих исследованиях, или, наконец, в рецензиях. Мы говорили выше, что в лице А. А. Шахматова судьба дала нам блестящего историка русского языка и вместе с тем завидного знатока всех славянских наречий. Не вдаваясь в ближайшую оценку работ А. А Шахматова по славистике, ограничусь просто названием некоторых из его работ в этой области. В 1903 г. в Рус. Ф. В. напечатана статья А. А. Шахматова «К вопросу о различении йота и неслогового i в истории славянских языков»; в 1909 г. в 21-м томе Archiv'a — «Die gespannten (engen) Vokale ъ und ь im Urslavischen»; в 1902 г. в сборнике в честь Ф. Ф. Фортунатова — «Русское и словенское аканье»; в сборнике в честь Томсона (Lpz. 1912) — «Slavische Wörter für Epheu» и др. Из рецензий следует обратить внимание на критическую статью, посвященную труду Гебауера (его Грамматике чешского языка), на отзыв о диссертации Л. В. Щербы по лужицкому наречию и др. Здесь же могут быть упомянуты работы А. А. Шахматова, относящиеся к области акцентологии. Кроме названных выше, отметим статью в сборнике в честь Ф. Е. Корша (χαριστήρια) — «Об общих явлениях в греческом и славянском ударениях» и рецензию на труд Решетара о сербском ударении.

Работая в области древнейших судеб русского языка, А. А. Шахматов столкнулся с вопросом собственно историческим, хотя и не поддающимся разрешению историков без помощи со стороны лингвистики,— с вопросом о славянской и русской прародине, о древнейшей русской колонизации и т. п. Этими вопросами А. А. Шахматов с увлечением занимался на всем протяжении своей научной деятельности, дав нам ряд по этим вопросам интереснейших статей. Ср. в 1894 г. в Рус. Ф. В. небольшую статью «К вопросу об образовании русских наречий», далее в Журн. М. Н. Пр. в 1899 г., апр., «К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей»; по содержанию к этим статьям примыкает введение в «Очерке» и статья «Древнейшие судьбы русского племени» (изд. Рус. Ист. Журнала, Спб., 1919). Далее здесь можно отметить работы А. А. Шахматова — «К вопросу о финско-кельтских и финско-славянских отношениях» (Известия Ак. н., 1911. № 5) и «Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen»(Archiv, Bd. 27, 1911). Ср. еще небольшие статьи: «Сполы — исконные соседи славян» («Живая Старина», 1911) и «Древние ляшские поселения в России» (журнал «Славянство», 1911).

Бравшийся за разрешение труднейших проблем языка, А. А. Шахматов всегда отличался необыкновенной прозрачностью мысли и ясностью изложения. Все его труды, даже посвященные труднейшей области — акцентологии, не только удобочитаемы, но нередко дают образцы удивительной гармонии глубины содержания и блестящей внешности изложения. Можно было бы думать поэтому что «светлый ум» А. А. Шахматова, членораздельность его мысли и способность ясного изложения дали бы в нем прекрасного популяризатора знания. За недосугом А. А. Шахматов вообще не брался за работы

научно-популярного характера. Несколько работ этого рода все же он написал, и, можем сказать, высокая их научность, облеченная в доступную форму, выдает принадлежность их имени академика Шахматова. Назову некоторые из этих работ покойного. Таковы: статья под заглавием «Русский язык» в Энц. Словаре Брокгауза-Ефрона (полут. 55); «Повесть врем. лет» (там же); «Русский язык», статья в издании «Истории русской литературы до XIX в.» под ред. Грузинского (т. II, стр. 39—63); «Краткий очерк истории малорус. ского языка» в издании «Украинский народ в его прошлом и настоящем» 1910 г. (т. II, стр. 664—707). Упомяну, наконец, здесь же статью А. А. Шахматова «К вопросу об историческом преподавании русского языка в средних учебных заведениях», напечатанную в «Трудах I съезда преподавателей русского языка» в ср. уч. зав. (Спб., 1904), также в Рус. Ф. В. за 1905 г.

Говоря об утрате А. А. Шахматова как ученого, трудно умолчать о нем как о человеке. Слишком и здесь выделялся он своими душевными качествами. Это был человек удивительной скромности, удивительной доброты и сердечности. Простота и скромность, эти черты не могли не бросаться в глаза всякому при самом мимолетном взгляде на Алексея Александровича, и поверхностного знакомства с ним достаточно было, чтобы видеть, сколько самой непосредственной доброты и душевности было в природе этого человека. Алексей Александрович, можно сказать, излучался добротою и мягкостью, и здесь была причина того громадного обаяния, которым по праву пользовался покойный на окружающих, здесь была причина того внутреннего преклонения, которое у многих росло к этому человеку по мере более тесного с ним сближения. Стоит ли говорить о его крайнем бескорыстии, о бившем ключом из него альтруизме, о безграничном участии его в вереницах нуждающихся, к нему именно шедших за помощью. И многочисленные дела этого рода у А. А. не были только случайными актами личного порядка. Напротив, широкий масштаб этого рода деятельности А. А. заставляет признать в нем глубоко общественное значение. Всяческими путями, где мог и как мог, А. А. шел навстречу нуждам тех, кто искренне шел на поиски знания. Он им всячески помогал. Он им помогал, когда это было нужно, советом и убеждением, он для них широко пускал в ход свое влияние и связи, он им помогал книжным обеспечением, он щедрой рукой обращал на них свои личные средства. Лишь бы только действительно тянущиеся к знанию смогли ему отдаться. Эту исключительную, трогательную заботливость А. А. о желающих и могущих стать на научный путь нет необходимости иллюстрировать живыми примерами: их оказалось бы слишком много. Достаточно вспомнить о незабываемых субботних вечерах (в первые годы университетской деятельности А. А.), когда к нему собирались преимущественно учащиеся (студенты), или о воскресных утрах, когда в большом числе сходились к нему ученики, друзья и почитатели. Здесь, в памятном кабинете, скромно обставленном, богато заполненном книгами, сколько здесь проделано было жи-

вого дела, помимо дела узко академического, или университетского, или чисто ученого. Здесь делало свое огромное дело живое, проникновенное, мягкое, но властное, глубоко западавшее в душу слово дорогого учителя. Не одно поколение робко тянущихся к знанию в этих словах нашло твердые пути своей жизненной карьеры, многие ряды начинающих ученых на них опирались в своих научных исканиях, в них черпали бодрость и новое рвение к работе падавшие духом от борьбы за существование. Велико было обаяние личности А. А., неотразима была и сила его слова. Сам безустанный жрец науки, строгий к себе, снисходительный к другим, всегда чуткий и внимательный А. А. поневоле поражал внутренней силой своей личности, безусловно покоряя своему авторитету окружающих. И многим выпало на долю счастье быть покоренным личностью А. А. И незалечимой душевной раной и горькой безутешной болью отозвалась в их сердцах весть о безвременной кончине А. А. Ведь поистине можно сказать, что имевшие вождем своим А. А. второго А. А не будут иметь...

Сошел в вечность академик Шахматов. Сошел с лица земли крупный ученый достойный деятель высшей школы, человек безустанной энергии, личность кристальной души. Будем помнить о нем будем гореть, как он, неустанными поисками истины, будем заражаться, вспоминая о нем, присущей ему бодростью и энергией, будем с него брать пример истинной скромности, истинной простоты и сердечности.

Вечная память высокому ученому, добрая и благодарная память дорогому учителю!

1920.

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Ф. Е. КОРША

16 февраля текущего года телеграф принес нам траурную весть: после продолжительной болезни, в Москве, скончался ординарный академик, заслуженный орд. проф. Московского университета, Федор Евгениевич Корш. Эта утрата, как четвертая утрата в текущем академическом году, не может не казаться особенно тягостной. Академия наук, в частности Отделение русского языка и словесности, в какой-то роковой периодической последовательности лишается трех маститых своих членов — академиков Миллера, Фортунатова, Ламанского; теперь за этими именами последовало славное имя академика Корша.

Мы все в глубине сознания, так сказать, ощущаем, как невознаградима и велика наша утрата в лице академика Корша, но это ощущение наше с трудом поддается точному анализу и не отливается в форму реальных определений. Академик Корш всегда был в нашем сознании вообще натурой выдающейся духовной мощи, натурой, переступающей обычные нормы великих людей. Академик Корш — необъятная по широте научная сила, академик Корш —

художник мысли, художник слова, это всегда живая личность, проникновенно чуткая и глубоко отзывчивая ко всем явлениям окружающей жизни, научной ли, общественной ли, или, наконец, частной жизни. Представление о такой величественной и высокодухотворенной личности всегда и нераздельно будет слито с незабвенной памятью об академике Корше.

Биографические данные Ф. Е. Корша несложны, вся его жизнь протекла в Москве. Он родился 22 апреля 1843 г. (в доме университетской типографии, в Москве, на Страстном бульваре), школьные годы прошел в известном в то время пансионе Циммермана, после которого мы видим его, в 1860 г., уже студентом историко-филологического факультета Моск. университета. Уже здесь, молодой студент, Ф. Е. Корш обнаруживает широту своих интересов: по призванию классик, он занимается не только предметами ближайшей своей специальности,— он слушает С. Соловьева, Ешевского, Буслаева, Тихонравова, он посещает лекции по санскриту, по арабскому и персидскому языкам, а за отсутствием в то время в университете лектора-тюрколога он сам изучает турецкий язык. Успешно окончив университет, оставленный при нем по кафедре классической филологии, Ф. Е. Корш скоро приступает к магистерским экзаменам, а вслед за ними, в 1867 г., уже защищает первую диссертацию на степень магистра («De versu Saturnio» Mosquae, 1868, стр. II+140). После защиты диссертации Ф. Е. Корш сразу же получает двухлетнюю командировку за границу. Широкие стремления к усвоению языков здесь, за границей, для Ф. Е. Корша попадают на верную почву: Ф. Е. Корш здесь в совершенстве знакомится со всеми славянскими языками, к концу же командировки он специально едет в Италию с целью детального изучения итальянского языка. В 1869 г. кончается срок командировки, он возвращается в Москву. С этого времени начинается педагогическая университетская и собственно научная деятельность Ф. Е. Корша, которая тянется далее уже непрерывно. Насколько широка была эта деятельность, можно видеть из простого упоминания одних хронологических дат как звеньев в длинной цепи служения Ф. Е. Корша. В 1877 г. Ф. Е. Корш защищает вторую докторскую свою диссертацию («Способы относительного подчинения. Глава из исторического синтаксиса», Москва, 1877, стр. 110). С 1892 г. Ф. Е. Корш непрерывно, почти вплоть до конца жизни, ведет занятия по персидскому языку и словесности в Лазаревском Институте Восточных Языков. В 1890-х годах Ф. Е. Корш назначается (почти беспрерывно) председателем в испытательные комиссии при различных университетах, как по историко-филологическому, так и по восточному факультету. В тех же 1890-х гг. он избирается членом-корреспондентом по классическому отделению Академии наук. В 1900 г Ф Е. Корш избирается ординарным академиком по Отделению русского языка и словесности, и с этой поры начинается особенно широкая деятельность Ф. Е. Корша по председательствованию в различных комиссиях при Академии наук, а также в разнообразных иных общественно-науч-

ных организациях. Он состоит, напр., председателем комиссии по изданию сочинений Пушкина, он необыкновенно деятельный сочлен президиума издаваемого Академией наук Словаря русского языка, с 1903—1904 г. Ф. Е. Корш непрерывно председательствует в Московской Диалектологической комиссии, в 1908 г. единогласно избирается председателем Московского Общества славянской культуры, и т. д. Бездна знания и широкий круг интересов, богатая эрудиция, живой и смелый ум, недюжинные организаторские способности выдвигали всюду Ф. Е. Корша как желанного руководителя в среду искателей истины. Своим живым стремлением к истине Ф. Е. Корш зажигал такое же стремление среди своих сочленов, и неудивительно, что руководимые Ф. Е. Коршем научные кружки быстро крепли и росли, питаясь силой и бодростью своего председателя; неудивительно, с другой стороны, и то, что со смертью Ф. Е. Корша они почувствовали себя глубоко осиротелыми... Долго памятно будет, с какой неподдельной теплотой и с какой глубокой печалью представители их в последний раз прощались с незабвенным своим maestro. Вечная и всегда благодарная память академику Коршу!

В общих Известиях Академии наук (Bulletin de l' Acad. des sc.), 1915, акад. А. А. Шахматов подробно останавливается на научной деятельности Ф. Е. Корша; здесь же в конце статьи дан список трудов покойного. На столбцах настоящих Известий достаточно поэтому дать общий очерк его деятельности и подробнее можно остановиться лишь на работах покойного, связанных с задачами и программой Отделения русского языка и словесности.

Всем известны феноменальные способности Ф. Е. Корша по усвоению языков. Ф. Е. Корш изучил с необыкновенной глубиной такое большое количество разнообразных языков, какое не под силу человеку обычного уровня способностей. В этом отношении Ф. Е. Корш не имел себе соперников, и нельзя не видеть уже в одном этом в Ф. Е. Корше личность незаурядную. Ф. Е. Корш в возможном совершенстве владел классическими языками—греческим и латинским (также ново-греческим). Ф. Е. Корш знал все европейские языки, все славянские языки; древнеиндийский и персидский языки Ф. Е. Корш знал настолько, что вел переписку на них; редкой глубины было знакомство Ф. Е. Корша с турецкими языками. Ф. Е. Корш знал финские языки и т. д. При этом знание языков у Ф. Е. Корша было настолько проникновенное, настолько глубокое в отношении к строю и происхождению того или иного языка, что приходится лишь удивляться такой творческой силе восприятия покойного. Однако Ф. Е. Корш не был узким специалистом-языковедом. Человек необыкновенно широкого умственного горизонта, художник в душе, лучший ценитель красоты слова, Ф. Е. Корш всегда был глубочайшим филологом в широком смысле этого слова, но не был ни специалистом греческого языка, как таковым, ни тюркологом, ни русским филологом и т. д. Этим объясняется обилие областей, которых касалось перо Ф. Е. Корша.

Ф. Е. Корш был прежде всего уже по призванию и по официальному положению своему в университете классиком. Классиком был Ф. Е. Корш всю свою жизнь. Присматриваясь, однако, ближе к хронологическому перечню работ Ф. Е. Корша, можно видеть, что насколько в период университетской деятельности Ф. Е. Корш был по преимуществу классиком, настолько позднее интерес к классицизму у него ослабляется в пользу многочисленных иных разветвлений филологической науки. Репутация Ф. Е. Корша как знатока классических языков не нуждается в подтверждениях. Достаточно вспомнить о сборнике в честь покойного (Χαριστήρια, Москва, 1896),— а это была дань преимущественно классиков маститому классику, дань глубокого уважения и признанной заслуженности юбиляра.

Ф. Е. Коршу, классику по широте и глубине сведений, не уступает Ф. Е. Корш ориенталист. Перу покойного принадлежит свыше 20 работ по самым разнообразным вопросам восточной филологии, кроме того, ряд рецензий, отдельных заметок, наконец, ряд художественных переводов с арабского и персидского языков. Заслуги Ф. Е. Корша, как ориенталиста, весьма крупны и понятны, если вспомнить, каким широко объемлющим знатоком восточных языков и их диалектных разветвлений был покойный.

С заслугами Ф. Е. Корша как исследователя восточных языков тесно связаны незабвенные услуги его и перед славистикой, в частности перед русской филологией. Славянский мир имел длинную цепь связей с классическим миром и с миром Востока, и в исследователе этих вопросов на почве языка, в Ф. Е. К о р ш е, судьба как раз подарила нам редкое сочетание блестящего классика и не менее блестящего ориенталиста. Понятно поэтому, что мы должны дорожить этими научными откровениями, сделанными нам, славистам и русским филологам, академиком Ф. Е. Коршем, и скорбим, неутешно скорбим, что многое, что еще было бы высказано им, уже более не может быть высказано... Ф. Е. Корш, в процессе изучения восточных языков, всегда имел в виду исследования вопроса об иноязычных элементах в славянской, особенно в русской лексике. Еще в 1867 г. Ф. Е. Корш пишет заметку о слове «хорошо», с 1867 г. также Ф. Е. Корш обнаруживает живой интерес свой, оставшийся таким же живым до конца дней покойного, к «Слову о полку Игореве». Здесь мы имеем в зародыше направление будущих изысканий Ф. Е. Корша. И, действительно, уже в 1885/86 г. выходит его замечательное исследование, сохранившее все научное значение свое до сих пор,— это известная рецензия Ф. Е. Корша на труд Миклошича «О турецких элементах в славянских языках» (помещена в Arch. f. slav. Philologie). Далее, в 1903 г., Ф. Е. Корш пишет блестящее исследование о турецких элементах в лексике «Слова о полку Игореве» (вышло в 8-м томе настоящих Известий); это исследование также написано в виде рецензии на известный доклад на эту тему проф. П. М. Мелиоранского. В 1906 г. (11-й том Известий) на ответ проф. Мелиоранского Ф. Е. Корш вторично пишет

ответную статью, поражающую богатством содержания и необыкновенной эрудицией автора. Весьма важно отметить далее, по богатству положительного содержания, рецензию Ф. Е. Корша на рукописное сочинение Зеленина «Германские, романские и латинские элементы, вошедшие в русский язык до XV века», также большую рецензию на исследование Фасмера «Греко-славянские этюды. III» (обе рецензии в Сборнике отчетов о премиях, присужд. Акад. наук за 1905 и 1909 гг.). Наконец, в ряде статей Ф. Е. Корш разрешает этимологические вопросы о происхождении отдельных слов, по преимуществу иноземных. Сюда относится статья «О некоторых славянских словах иноязычного происхождения», помещенная в Сборнике в честь Дринова, 1904; здесь говорится о происхождении слов — *грекъ*, *доместикъ*, *жидъ*, *крижъ*, *москолудъ*, серб *осаљ*, *Римъ*, *скамья*, *хоржгы*, *шапка*. Далее, в Zborn. u slavu Jagića, 1909. перу покойного принадлежит статья «Иноязычное происхождение слов: *иногъ*, *чрътогъ*, *Сварогъ*». В Сборнике в честь Потанина 1909, Ф. Е. Корш помещает статью «О некоторых бытовых словах, заимствованных древними славянами из так называемых урало-алтайских языков»; этими заимствованиями являются слова — *быкъ*, *волъ*, *коза*. В Roczn. Slaw., 1910, Ф. Е. Корш освещает на польском языке этимологию слова «kobieta». Наконец, должно заметить, что множество соображений этимологического характера вложено Ф. Е. Коршем на столбцы Словаря русского языка, издаваемого Акад. наук. В этом отношении с особенной признательностью редакция Словаря всегда будет помнить об участии к нему покойного. Самой благодарной памяти достойно то необыкновенное, можно сказать, любовное внимание, с каким всегда относился Ф. Е. Корш к этой труднейшей задаче нашей Академии наук, какова — составление словаря родного языка.

В кругу многочисленных областей, куда направлялся пытливый научный взор Ф. Е. Корша, была еще область, которою покойный живейшим образом интересовался на всем протяжении своей жизни и в которой Ф. Е. Корш был у нас, следует смело сказать, единственным творцом-работником,— это была научная метрика в широком значении слова. Покойному принадлежит большое количество относящихся сюда статей и исследований. Мы отметим важнейшие из работ, относящихся к русскому, или славянскому вообще, стихосложению. Таковы: О русском народном стихосложении I, Былины (Изв. I, 429—504), Введение в науку о славянском стихосложении (Статьи по славяновед., под ред. Ламанского, вып. II, 300—378), Происхождение десятисложного стиха южных и западных славян (Сборник статей в честь Ламанского, ч. I), До історії українського осьмискладового вірша (Зап. Наук. Тов. Шевч., 1910), План исследования о стихосложении Пушкина и словаря пушкинских рифм (Пушкин и его соврем., I, вып. 3) и др. Любопытнейшими ростками непрерывного и глубокого изучения вопросов метрики, в частности русского стихосложения, являются две известные работы Ф. Е. Корша: Разбор вопроса о подлинности окончания «Русал-

ки» Пушкина по записи Зуева (Изв., т. III и IV) и ритмизованное издание бывшего центром живых интересов Ф. Е. Корша в течение всей его жизни «Слова о полку Игореве» (Исследования по русск. языку, I, вып. 6). Значение этих работ нисколько не умаляется от того, что исходные мысли автора здесь остались недоказанными; сам Ф. Е. Корш, напр. в отношении к «Слову о полку Игореве», признал в заключительных строках своего введения, что в конце концов полная ритмизация памятника — дело трудное и по существу спорное. Значение этих работ — в деталях исследования, а в них столько новых мыслей, глубоких наблюдений, ценных обобщений, что именно эти детали исследования становятся в глазах читателя самодовлеющею ценностью; они своим самодовлеющим значением отодвигают вдаль руководящую исходную мысль автора и заставляют не вменять в вину автору, что основная мысль его осталась не вполне доказанной. Так, в первом исследовании Ф. Е. Корша «Разборъ...» (обнимает около 400 стр.) мы находим богатейший материал по истории нашего литературного языка, в частности по языку Пушкина; во втором исследовании о, «Слове о полку Игореве», во введении к нему, содержатся ценнейшие наблюдения и обобщения автора из истории нашего ударения.

Велика и неоценима была общественно-научная деятельность Ф. Е. Корша, однако то многое, что он дал нам с кафедры, что он дал нам своим пером, есть лишь крупица сравнительно с тем, чем многие годы дарил он окружающих лиц в непосредственном с ними общении, в узком домашнем кругу своей жизни. Здесь вечно незыблемый памятник Ф. Е. Коршу как человеку. Это действительно был незабвенных душевных качеств человек, всегда чуткий, простой, необыкновенно отзывчивый, одинаково ровный в обращении со своим ли товарищем по положению, со студентом ли, с первым ли встречным знакомым. Всем открыт был путь к Ф. Е. Коршу, и всякий шел к нему, шел, подкупленный возвышенным благородством покойного, его умственной и творческой силой, его душевною простотой и всегдашней сердечностью, и никто не уходил от него, не получив доброго отклика в своем деле, не напитавшись силой и бодростью от живой, всегда веселой, бесконечно остроумной и неутомимой беседы Ф. Е. Корша. Щедрой рукой рассыпал Ф. Е. Корш богатства своей духовной силы в кругу домашней жизни, и эти семена, как посаженные на живой почве ближайшего общения, пускали в течение длинного ряда лет незаметные, но самые ценные ростки, а в них высшая слава насадившему их учителю.

Вечная, всегда светлая и благодарная память академику Коршу!

1915

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Л. В. ЩЕРБЫ

26 декабря 1944 г. в Москве после продолжительной болезни скончался действительный член Всесоюзной Академии наук и Академии педагогических наук РСФСР Лев Владимирович Щерба.

Эта утрата чувствительна в области нашей лингвистической науки, не менее чувствительна она в сфере нашего образования и просвещения.

Деятельность Л. В. Щербы, питомца Петербургского университета, принадлежала до последнего времени жизни этого дорогого для него университета. Впервые познакомившись с Л. В. Щербой еще в начале 1910 г., я встретился с ним уже как с руководителем известного лингвистического студенческого кружка при университете. Питомцы же университета помнят хорошо, какое значение имел этот студенческий кружок, в котором участвовали и филологи всех видов и восточники, в будущем известные наши языковеды, в котором активное участие принадлежало и цвету всей нашей лингвистической мысли того времени.

Л. В. Щербе всегда принадлежал крупный талант прекрасного научного организатора. Сам Л. В. Щерба чувствовал в себе этот талант и никогда не отказывался от соответственных поручений. Таких поручений у Л. В. Щербы было много. Мне приятно вспомнить о своем соучастии в течение длинного ряда лет вместе с Л. В. Щербой в работах такого характера. Следует, например, указать на Неофилологическое общество при университете, председателем которого был Л. В. Щерба. С закрытием этого Общества энергией Л. В. Щербы было учреждено самостоятельное Лингвистическое общество; понятно, что во главе его был тот же Л. В. Щерба. Помнится кипучая научная деятельность и одного и другого обществ, где была сосредоточена основная наша лингвистическая мысль того времени. В Ленинградском университете Л. В. Щерба нес разнообразные руководящие функции — председателя Предметной комиссии, председателя Отделения и т. д. В Академии наук СССР в Словарной комиссии Л. В. Щерба состоял заместителем председателя Комиссии и т. д.

Здесь нет необходимости касаться характеристики итогов научной деятельности Л. В. Щербы. Достаточно лишь в общих чертах воспроизвести облик Л. В. Щербы как научного деятеля.

Всегда отличало Л. В. Щербу в научном его творчестве то, что он всегда был «мыслителем», человеком, не шедшим слепо за какими бы то ни было авторитетами по специальности, а был ученым, всегда считавшимся с итогами добытых знаний, вместе с тем самостоятельно продумывавшим и разрешавшим те или другие стоявшие перед ним научные проблемы. Мы знаем, как этот процесс разрешения научных задач для Л. В. Щербы был трудным и длительным и как до полного их разрешения обычно Л. В. Щерба скептически и очень легко и просто судил о возможности и такого-то и такого-то (иногда исключающих друг друга) толкования или оценки вопроса. Но выносив до конца размышление над проблемой, Л. В. Щерба уже твердо и устойчиво держался определенного на нее взгляда. Вот почему Л. В. Щерба, вообще, работая напряженно, писал медленно, немного: он длительно, зато во всей широте и со всей глубиной для себя, анализировал всякую стоявшую перед ним проблему. Вот по-

чему все работы Л. В. Щербы, не говоря об известных крупных его изданиях, но и незначительные по своему объему статьи, имеют такую большую для нас ценность. Они все «субъективны» в хорошем смысле слова, они все с отпечатком большой продуманности, они все с яркими следами глубокой самостоятельной мысли Л. В. Щербы.

Тематика научных работ, научных вообще интересов Л. В. Щербы, была широкая. Л. В. Щерба был прежде всего первый у нас в Союзе фонетист, исследователь и русского языка, и славянских, и европейских языков на базе экспериментально-фонетического их изучения. След, здесь оставленный Л. В. Щербой, громадный, притом имеющий значение не только для интересов русской науки, но и для всей мировой науки. Нельзя здесь не отметить Лаборатории экспериментальной фонетики при Ленинградском университете, которая была центром внимания Л. В. Щербы на всем протяжении его деятельности, с самого окончания им университета. Эта Лаборатория действительно энергией Л. В. Щербы была поднята на высоту первого учреждения по специальности в Союзе. Лабораторию знали во всем Союзе и особенно в национальных республиках, ее знали и за рубежом. Здесь выращивались кадры для потребностей всего Союза, здесь слагались и основные, наиболее крупные работы самого Л. В. Щербы. Можно сказать, эта Лаборатория экспериментальной фонетики была лабораторией собственного научного творчества Л. В. Щербы.

Л. В. Щерба, как фонетист, естественно в своих трудах касался изучения различных языков в современном их состоянии. Неправильно было бы, однако, думать, что Л. В. Щербе был чужд вообще интерес к проблемам исторического изучения языков. Об этом свидетельствует давнее его активное внимание к сравнительной грамматике индоевропейских и славянских языков, заметно возросшее в последнее время, в последние 10—15 лет. Можно указать на соответственные лекционные его курсы в Ленинградском университете, веденные им также в Академии наук по просьбе сотрудников Института языка и мышления имени Н. Я. Марра. Всегда Л. В. Щерба с особенным чувством удовлетворения вел занятия по старославянскому языку, высоко и по праву подчеркивая научное его значение в изучении всех славянских языков, и русского языка в первую очередь. Неизменно горячо поддерживал Л. В. Щерба мысль о необходимости подготовки отвечающего современным научным требованиям издания Этимологического словаря русского языка, в котором предполагалось и непосредственное его участие. В последней реорганизации в Академии Наук лингвистических учреждений, в составе Института языка и мышления именно по предложению Л. В. Щербы был сконструирован сектор сравнительной грамматики индоевропейских языков, заведование которым должно было принадлежать, естественно, самому Л. В. Щербе.

Всегда был свойствен Л. В. Щербе интерес к разработке отдельных теоретических проблем, принадлежащих общему языкознанию. Таковы многие разработанные им положения, как, напри-

мер, известные положения о фонеме, общепринятые в лингвистике, о смешении языков и т. д. Характерной вообще чертой Л. В. Щербы было то, что, приступая к работе над теми или иными задачами практического назначения, Л. В. Щерба не считал возможным приняться за соответственную разработку темы, прежде чем им не определялся круг, по его выражению, «идей», т. е. общих теоретических положений, отправных принципов, которые должны были бы научно направлять цели самой разработки темы. Поэтому все эти работы сопровождались у Л. В. Щербы исследованиями собственно теоретического характера по существу затрагиваемых тем разработки. Так, Л. В. Щерба как словарник работает ряд лет над редактированием академического Словаря русского языка, или ведёт кропотливейшую работу над составлением известного русско-французского словаря, этого лучшего у нас образца изданий данного типа — русско-иноязычных словарей, и одновременно он публикует статью, относящуюся к теории лексикологии. Подобным образом, в связи с участием в разработке академической грамматики русского языка Л. В. Щерба специально исследует теоретические проблемы, относящиеся к области орфоэпии. В течение многих последних лет Л. В. Щерба неизменно участвует в работах по пересмотру системы русского правописания. В тесной связи с этими работами Л. В. Щербой подготовлена монография, касающаяся теории правописания. Этот труд еще не напечатан, но можно вперед ожидать, что он будет полон интереса.

В числе конкретных языков, находившихся в поле исследования Л. В. Щербы, были многие языки — и европейские, и славянские, и особенно русский язык. Нельзя не подчеркнуть большого материала, извлекаемого из различных трудов Л. В. Щербы, относящегося к наблюдениям по русскому языку. Не одна фонетика, а все стороны языка, и особенно лексика и синтаксис, явились предметом тончайших наблюдений и глубокого анализа Л. В. Щербы. Для лингвистических учреждений Академии наук поэтому утрата Л. В. Щербы особенно чувствительна. И действительно, в Институте языка и мышления, задачей которого является изучение разнообразных языков, как индоевропейских, так и иных систем, участие Л. В. Щербы, даже косвенное, всегда было необходимо. Что касается Института русского языка, то вся основная тематика его работы отвечала целиком научным устремлениям Л. В. Щербы с давних пор. Ср. в составе этого Института такие секторы, как современного русского языка (с первоочередной задачей подготовки нормативной грамматики русского языка), или словарные секторы, сектор русской диалектологии (а диалектологические работы Л. В. Щерба возглавлял в Академии наук в общесоюзном масштабе), сектор культуры речи (с задачами изучения вопросов орфографии и орфоэпии), или сектор славянских языков и т. д.

Огромное значение собственно научной деятельности Л. В. Щербы еще более вырастает в своей оценке, если вспомнить, что Л. В. Щерба, ученый высокой марки, на всем длинном протяжении своей

деятельности всегда служил также непосредственным практическим требованиям жизни в пределах своей специальности. С окончанием университета Л. В. Щерба начал преподавание в школе и эту свою любовь к школе, к учительству он сохранил в течение всей жизни. На всем протяжении своей деятельности Л. В. Щерба активно интересовался вопросами русского правописания, как проблемой величайшего общественного значения, ср. его участие еще в начале 1900-х гг., в преддверии реформы орфографии, в соответственных работах Академической комиссии по подготовке орфографической реформы и неизменное участие его во всех орфографических комиссиях последних лет по пересмотру нашего правописания. Всегда активным было участие Л. В. Щербы в работах над установлением новых алфавитов (для потребностей национальных республик и областей), в работах, ведшихся в большом масштабе у нас в революционные годы. Понятно громадное общественное значение этих ответственных работ. Наиболее прочной и всегда особенно близкой интересам Л. В. Щербы была заинтересованность его в подъеме школы, в повышении знаний, культуры нашего учительства. Эта любовь к делу школы, к учительству со стороны Л. В. Щербы встречала отклик в соответственном отношении и к нему со стороны учительства. Можно сказать, ни один учительский съезд, конференция, совещание не обходились без постоянного, притом активного участия в них Л. В. Щербы, обычно как председателя конференции или наиболее ответственных ее секций. Таковым же было громадное участие Л. В. Щербы в росте высшего нашего образования последнего времени. Рост высшей школы, повышение культуры изучения иностранных языков, сложный комплекс проблем, связанных с общей филологизацией нашей школы (между прочим, не только высшей, но и средней), все эти начала, реализованные в ряде мероприятий последних лет со стороны Народного комиссариата просвещения и Комитета по делам высшей школы и содействовавшие громадному подъёму всей нашей школы, в значительной мере были обязаны энергии Л. В. Щербы. Понятно поэтому, что с организацией в истекшем году нового учреждения в стране — Академии педагогических наук РСФСР именно Л. В. Щерба явился одним из первых и самых желанных кандидатов в состав Академии. И действительно, в короткий срок деятельности Академии Л. В. Щерба полностью оправдал оказанное ему избранием доверие, обеспечив своим активным участием деятельность ряда ответственных участков в составе Академии педагогических наук.

Таков в общих чертах научный и общественный облик Л. В. Щербы.

С этим обликом Л. В. Щербы, яркого ученого, яркого общественника, нераздельно слит облик Л. В. Щербы человека, человека изумительной простоты, внутреннего благородства, человека, исполненного непосредственной доброты и какой-то своеобразной, всегда подкупавшей, простодушной детскости. Нельзя было глубочайшим образом не уважать Л. В. Щербу и вместе с тем не лю-

бить его. И эту дорогую память о Л. В. Щербе мы долго-долго будем хранить как живую благодарность за громадные плоды его научной и общественной деятельности.

1945.

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Б. М. ЛЯПУНОВА

22 февраля 1943 г. в Боровом на 81-м году жизни скончался действительный член Академии наук СССР Борис Михайлович Ляпунов.

В лице Б. М. Ляпунова от нас ушел крупный представитель старшего славяноведения. Представителям старшей славяноведческой науки была свойственна широта научного кругозора, широкий охват исследованием славяноведческих проблем. Б. М. Ляпунов хотя был только лингвистом, но диапазон его лингвистических интересов как славяноведа, не говоря о глубине его, был всеобъемлющим. Он со всей глубиной и тонкостью знал (лингвистически) все славянские языки и в области всех их оставил научные работы в виде ли специальных исследований и статей, или в виде семасиологических эскизов, этимологических изысканий, в виде многообразных рецензий на крупнейшие явления последнего полустолетия в научной разработке славянских языков, в виде многочисленных критико-биографических очерков, посвященных характеристике ученых славяноведов во всех славянских странах. Б. М. Ляпунов по глубине и отточенности знаний, по всеобъемлющему охвату (в лингвистическом аспекте) области славистики, по длинному стажу научной деятельности, обнимающему почти 60 лет, пользовался высоким положением как старейший и заслуженный представитель славяноведения. Это положение Б. М. Ляпунова свидетельствуется как избранием его действительным членом Академии наук СССР (в 1929 г.), так и включением его в состав ряда славянских академий. Можно отметить, что в 1930 г. он был избран действительным членом Польской Академии наук, в 1932 г.— членом-корреспондентом Болгарской Академии наук, в 1934 г.—членом-корреспондентом Чешской Академии наук.

Б. М. Ляпунов родился в августе 1862 г. в селе Болобонове Курмышского у. Симбирской губ. (позднее вошедшего в состав Нижегородской, ныне Горьковской, области). Отец его был педагогом в Казани, а кроме того, будучи по ближайшим интересам астрономом, он работал в университете (был, между прочим, заведующим университетской обсерваторией). Но позднее, по болезни, он оставил Казань, переселился в деревню, где занимался воспиганием своих знаменитых в будущем сыновей — Александра Михайловича, известного математика, позднее действительного члена Академии наук, и Сергея Михайловича, известного композитора школы Балакирева. Б. М. Ляпунов рано, в 6-летнем возрасте, лишился отца и воспитывался матерью. Он учился сначала в Нижегородской гимназии, а позднее — с VI класса — в Московской 5-й гимназии.

Уже на скамье средней школы у Б. М. Ляпунова пробуждается страстный интерес к языкам, к сравнительному их сопоставлению и этимологизированию. С окончанием гимназии Б. М. Ляпунов с твердым решением поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, войдя в первую фалангу учеников И. В. Ягича, тогда только (1881 г.) начавшего преподавание (после И. И. Срезневского) в университете. В 1885 г. Б. М. Ляпунов окончил университет и был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию. При окончании университета им, между прочим, была представлена работа о языке Новгородской летописи, позднее послужившая темой его магистерской диссертации. Работа эта была удостоена серебряной медали. Однако по хилости здоровья с окончанием университета Б. М. Ляпунов не сразу приступает к подготовке к магистерским испытаниям. Он продолжает, оставаясь в Петербурге, посещать университет, слушает новые курсы И. В. Ягича, посещает лекции С. К. Булича, П. А. Сырку (по румынскому языку) и др., он участвует в студенческом научном кружке (совместно с А. В. Петуховым, П. К. Симони, Н. В. Шляковым и др.). В начале 1887 г. для перемены климата он переезжает в Харьков и здесь становится усердным слушателем и почитателем (вместе с Лезиным, Петуховым и др.) проф. А. А. Потебни. В том же году он едет в Москву и особенно здесь сближается с Ф. Ф. Фортунатовым, посещая его лекции вместе с его учениками А. А. Шахматовым, И. Козловским, норвежцем О. Броком. В 1896 г. Б. М. Ляпунов сдает магистерские испытания (в Харьковском университете) и со следующего года вступает в его состав как приват-доцент. В 1899 г. была напечатана магистерская диссертация Б. М. Ляпунова — известное его «Исследование о языке Синодального списка 1-й Новгородской летописи», вып. I, посвященное истории в памятнике редуцированных звуков (продолжения этой работы не последовало). Тогда же диссертация был защищена Б. М. Ляпуновым, и, получив приглашение занять должность экстраординарного профессора по кафедре славяноведения в Одесском университете, Б. М. Ляпунов, приняв предложение, переезжает в Одессу. В составе Одесского университета Б. М. Ляпунов находился до 1923 г., до времени его избрания действительным членом Академии наук СССР. В 1924 г. он переехал в Ленинград, и с этой поры непрерывно протекала его деятельность в Академии наук, в частности в руководстве славяноведческим сектором Института языка и мышления имени Н. Я. Марра.

В характеристике научного облика Б. М. Ляпунова следует отметить его всегда обращавшую на себя внимание широту и глубинность лингвистических знаний, достаточную насыщенность его научной печатной продукции, вообще же неиссякаемую силу творческих его способностей, даже в последние годы, на восьмом десятке лет, даже в последний период его пребывания в Боровом. Этот облик большого ученого и непрестанного труженика отличал Б. М. Ляпунова всегда. Можно вспомнить в связи с этим заслуженную

дань уважения, оказанную Б. М. Ляпунову еще 20 лет назад изданием в его честь специального сборника статей (Одесса, 1923), в котором приняли участие многие крупные ученые-слависты.

Б. М. Ляпунов был крупным лингвистом, с широкой ориентацией в области изучения отдельных языков. Он в совершенстве знал научно все славянские языки, и западной и южной группы, не говоря о восточнославянских языках. Он был достаточно ориентирован и в области различных индоевропейских языков. На университетской скамье, еще с помощью Ягича, он отлично изучил литовский язык, он знал древний индийский язык, авестийский язык (и, между прочим, продолжал свое совершенствование в них в течение последнего времени в Боровом), он, об этом можно было бы не говорить, прекрасно знал в освещении исторической грамматики классические языки, отдельные романские и германские языки. Во всем этом большом вооружений знаниями в области отдельных языков видна рука Ф. Ф. Фортунатова, направлявшая занятия молодого Бориса Михайловича. Тому же Ф. Ф. Фортунатову был обязан Б. М. Ляпунов чрезвычайно глубокими сведениями в области сравнительной грамматики индоевропейских и славянских языков, а интерес к этим научным дисциплинам был жив у Б. М. Ляпунова на всем протяжении его научной деятельности. Отличает Б. М. Ляпунова и чрезвычайная широта его научных интересов как лингвиста. Он с одинаковым вниманием изучает и современные языки, литературные и в диалектологическом разрезе, он со всей тщательностью работает и над старейшими памятниками письменности. Он исследует тончайшие процессы фонетического порядка и в одинаковой мере касается тем морфологии, лексики, в известной части как почитатель Потебни, и исторического синтаксиса. По связи с Потебней, наконец, можно видеть у Б. М. Ляпунова также тяготение к исследованию проблем семасиологического характера, особенно же к вопросам этимологического изучения славянских языков.

Широта научных интересов Б. М. Ляпунова несколько затрудняет характеристику научных его работ. Трудно установить определенную стержневую линию его научного творчества: оно направлялось у него по многим линиям. Отдавая дань изучению всех славянских языков, Б. М. Ляпунов преимущественное внимание все же уделял исследованию, с одной стороны, старославянского языка, а с другой стороны, и главным образом изучению русского языка — истории русского языка, русской диалектологии. В разработке старославянского языка, помимо изучения частных вопросов старославянских памятников, выдается труд Б. М. Ляпунова «Формы склонения в старославянском языке» (Одесса, 1905), служащий обобщенным исследованием всей сложной проблематики именного склонения в старославянском языке, представленный в освещении сравнительной грамматики индоевропейских и славянских языков. Насколько большое значение имел труд Б. М. Ляпунова, можно судить по тому, что он вызвал появление в свет известной основной монографии на эту тему, принадлежащей чешскому ученому

О. Гуеру (Slovanská deklinace jmenná, Praha, 1911). В изучении русского языка Б. М. Ляпунову принадлежит ряд диалектологических работ, ряд специальных статей на основе исследования старых памятников, но выдающегося значения здесь его диссертация «Исследование о языке Синодального списка 1-й Новгородской летописи» (1889 г., издание Академии наук). Среди исследований подобного типа нет равного данному исследованию Б. М. Ляпунова. Оно занимает в этом отношении исключительное положение по широте постановки проблем, по глубине и тщательности их трактовки, по особенностям самостоятельного их освещения. Все изложение затронутых проблем при этом дается на широком фоне сравнительной грамматики славянских языков. Это исследование по истории русского языка является вместе с тем исследованием по сравнительной грамматике славянских языков. Его значение, несмотря на то, что работа бытует в научном обороте уже более 45 лет, сохраняется в полной мере до настоящего времени. Ряд статей Б. М. Ляпунова касается специальных этимологических тем по русскому, современному и старому, языку и по иным славянским языкам, много замечаний этимологического характера рассеяно и в разнообразных иных работах Б. М. Ляпунова. Понятно большое значение всего этого материала в научном наследстве Б. М. Ляпунова. Можно отметить специальную статью Б. М. Ляпунова «Поправки и дополнения к этимологическому словарю русского языка А. Г. Преображенского» (Известия ОРЯС за 1925 и 1926 гг.), представляющую тоже громадное значение в общем этимологическом изучении русского языка. Последний период научно-творческой деятельности Б. М. Ляпунова, приблизительно с 1920 г., в связи с общей методологической перестройкой характеризуется и у него пересмотром общих лингвистических концепций. Он обращается к разработке корневой общеславянской проблемы о происхождении восточнославянских языков, о взаимоотношении в генетическом разрезе отдельных групп славянских языков. Этот вопрос особенно сложный. Его успешная разработка требует комплексного участия историка, этнографа и археолога, литературоведа и лингвиста. Подойдя к исследованию вопроса как лингвист, как тонкий знаток всех славянских языков, Б. М. Ляпунов в пересмотре проблемы несколько отошел от прежних на нее воззрений. К сожалению, Б. М. Ляпунов не успел в обобщенном виде изложить основные свои взгляды на этот вопрос. Но по отдельным его докладам за последние годы (в Институте языка и мышления) можно судить о том, что он не разделял уже мыслей о существовании в собственном смысле общерусского праязыка, предполагая существование в подходящую эпоху союза племенных соответственных образований, связь между которыми, с одной стороны, определяла пути языкового их сглажения и объединения, а с другой стороны не разрушала специфических дифференцирующих черт в языковых их взаимоотношениях. Существенно важны и несомненно правильны также мысли Б. М. Ляпунова о старейших групповых взаимосвязях между славянскими языками. Обычной концепции

о противоположении восточного славянства славянству западному и близости его с южным славянством (эта концепция настойчиво проводилась в трудах А. А. Шахматова) Б. М. Ляпунов с основанием противопоставляет положение о старейших взаимосвязях восточных славян именно с западными славянами, основывая эти свои мысли на целой серии подобранных языковых черт, свойственных восточно- и западнославянским языкам. Эта новая концепция, выдвигаемая Б. М. Ляпуновым как лингвистом, смыкается, таким образом, с аналогичными выводами, к которым пришел акад. Н. К. Никольский в исследовании вопроса на литературоведческом материале. Не надо говорить, насколько эти результаты исследования важны в разрешении общего вопроса о происхождении и последовавших путях роста славянских языков и народов.

Б. М. Ляпунову принадлежит значительное количество обстоятельных рецензий на основные труды в области изучения отдельных славянских языков времени последнего полустолетия. Но особенно много у него разнообразных научно-критических очерков, посвященных характеристике многих деятелей славяноведческой науки. Таковы очерки о деятельности и русских славистов, и представителей славяноведческой науки, принадлежавших всем иным славянским странам. Нельзя не отметить здесь статей, посвященных деятельности ближайших учителей Б. М. Ляпунова — И. В. Ягичу (Одесса, 1900), А. А. Потебне («Живая Старина», 1892), Ф. Ф. Фортунатову (Одесса, 1914). Большая и чрезвычайно богатая содержанием статья Б. М. Ляпунова посвящена характеристике научных трудов А. А. Шахматова (Известия ОРЯС за 1925 г., томы 28 и 29). Ее значение в том, что она содержит критические замечания к положениям Шахматова, т. е. она знакомит с взглядом на отдельные проблемы истории русского языка самого Б. М. Ляпунова. Таковы же многообразные статьи Б. М. Ляпунова с характеристикой деятелей-славяноведов в различных славянских странах, например о трудах ученика Ягича, словенца Облака (1896 г.), польского ученого Лося (1929 г.), венского слависта Вондрака (1927 г.), чешских ученых Зубатого (1932 г.). Мурко (1934 г.), лужицкого слависта Муки (1934 г.) и др.

Б. М. Ляпунов был крупным ученым, человеком громадной по специальности эрудиции, человеком изумительной воли к труду. Но всякого поражали в Б. М. Ляпунове прежде всего его поразительные душевные свойства. Трудно встретить подобного Б. М. Ляпунову человека, который до глубокой старости сохранил бы все притягательные свойства детской простоты и непосредственности, человека поражавшей скромности, величайшей доброты, ко всякому шедшего с открытой душой, готового всякому, без различия положения или звания, помочь в трудностях жизни, смягчить невзгоды, утешить. Образ Б. М. Ляпунова как человека действительно неповторим, незабываем.

И мы не забудем Б. М. Ляпунова и как большого деятеля науки, и как редкостно притягательных душевных свойств человека!

1944

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ КАК ФИЛОЛОГ

Мы имеем немного работ, по которым можно судить о Чернышевском как филологе. Это его несколько рецензий и главным образом собственно филологическая работа — составление словаря к Ипатьевскому списку летописи XV в. [1]. У Чернышевского имеется еще много иных рецензий на разнообразные издания исторического и филологического характера в широком смысле этого слова или на грамматические издания школьного или общеобразовательного типа [2]. Эти рецензии свидетельствуют более об общей широте интересов Чернышевского ко всяким темам исторического и филологического характера [3].

Наиболее отчетливый материал для суждений о Чернышевском как филологе, естественно, дает составленный им словарь к Ипатьевской летописи. К этой работе Чернышевского привлек его ближайший учитель по университету, известный проф. И. И. Срезневский, тогда уже с самого начала своей деятельности в С.-Петербургском университете (Срезневский начал университетскую деятельность в 1847 г.) лелеявший мысль об издании древнерусского словаря, мысль, которая действительно в конце концов была осуществлена Срезневским спустя 30—40 лет в монументальном его издании «Материалов для словаря древнерусского языка», закончившемся печатанием после смерти Срезневского в 1912 г. Можно вспомнить о связи с этой работой Чернышевского, что немного позднее подобным же образом тем же Срезневским был вовлечен в аналогичную работу литературовед А. Н. Пыпин, который начал свою научную карьеру таким же образом, принявшись за составление для Срез-

[1] Рецензии Чернышевского филологического характера следующие: на сочинение А. Гильфердинга «О сродстве языка славянского с санскритом», Спб., 1853— см. Соч. Чернышевского, т. I, стр. 1—7; на сочинение его же «Об отношении языка славянского к языкам родственным», М., 1853 — ibid., стр. 170—177; на сочинение О. Бодянского «О времени происхождения славянских письмен», М., 1855—ibid., стр. 332—335 и 399—401 (эта последняя рецензия, как указывает издатель М. Н. Чернышевский, не принадлежит Чернышевскому и попала в издание по ошибке); на издание «Временник Моск. Общ. Ист. и Древн. Росс.», кн. 16—19, М., 1853—54 — ibid, стр. 204—217; на сочинение А. Гильфердинга «История балтийских славян», т. I, М., 1855 — ibid., т. II, стр. 397—399; и нек. др. Работа о словаре к Ипатьевской летописи.

[2] Например, рецензии на «Отчет Публичной библиотеки за 1854 год», Спб., 1855 — ibid, т. I, стр. 396—398; на сочинение Н. Лавровского «О древнерусских училищах», Харьков, 1855 — ibid., 398—399; на сочинение его же «Исследование о летописи Якимовской», Спб., 1855 — ibid., стр. 427; на издание Н. Калачова «Архив историко-юридических сведений относящихся до России», кн. II., полов. I., М., 1855 — ibid., стр. 427—431; на издание архим. Саввы «Указатель для обозрения Моск. Патриаршей Ризницы и Библиотеки», М., 1855—ibid., т. II, стр. 289.

[3] Ср. рецензии Чернышевского на издание В. Клоссовского «Грамматические заметки», Спб., 1855 — ibid., т. I, стр. 359—364; на его же издание «Русская грамматика», Спб., 1856 — ibid, стр. 558; на издание В. Стоюнина «Высший курс русской грамматики», Спб, 1855—ibid, т. I, стр. 404—406; на издание А. Дешко «Венгерская грамматика с русским текстом и в сравнении с чувашским и черемисским языками», Спб., 1855 — ibid., стр. 439—440.

невского словаря к Новгородской первой летописи [1]. Работой Чернышевского Срезневский был вполне удовлетворен. Об этом можно судить из того, что работа Чернышевского была тогда же напечатана Срезневским в Известиях Академии наук по Отделению русского языка и словесности (т. II, 1853 г.), кроме того, в предисловии к изданию словаря Срезневский поместил краткую рецензию на работу, рецензию вполне благоприятную для Чернышевского. Срезневский указывает в своей рецензии, в виде пожеланий, на некоторые стороны, на которые Чернышевский, по его мнению, мог бы обратить больше внимания, но Срезневский не дает почти совсем поправок по существу к работе Чернышевского, видимо признавая с этой стороны работу вполне отвечающей современной ему разработке истории русского языка. И действительно, Чернышевский, прошедший школу по специальности у Срезневского[2], под его же непосредственным руководством далее работавший над составлением данного словаря, в этой своей работе не выходит за пределы общей системы воззрений и знаний по истории русского языка, принадлежавшей тому же Срезневскому, а эта система совпадала с общим уровнем тогдашней разработки русистики. Понятно отсюда, что работа Чернышевского не выдерживает критики, если подойти к ней с точки зрения наших теперешних научных знаний и методов; она представляет лишь исторический интерес — как интересный документ, характеризующий состояние современной Чернышевскому разработки русистики. А это еще была пора, когда научной грамматики истории русского языка не существовало [3], когда лишь намечались общие ее контуры [4] и когда главные научные устремления определялись задачами собирания всяческого материала, особенно древнеписьменного, и общего в нем ориентирования. На фоне этой бедной картины современной Чернышевскому разработки исторической грамматики русского языка и должно выясняться значение основной его работы.

Работа Чернышевского подверглась уже беглому рассмотрению в небольшой статье проф. Г. А. Ильинского [5]. Здесь поэтому можно ограничиться немногими соответственными замечаниями. Принявшись за составление словаря, Чернышевский остановился на мысли дать материал не в естественном алфавитном порядке, а в порядке этимологических гнезд. Вполне понятно, что это должно было значительно осложнить самую работу, кроме того, выполнение этой задачи, естественно, требовало от автора особых знаний, относя-

---

[1] Б. М. Ляпунов, Исследование о языке Новг. лет., предисл., IV.

[2] Можно здесь указать на то, что читанные Срезневским в университете лекции по истории русского языка были в свое время составлены и изданы именно Чернышевским (см. «Памяти И. И, Срезневского», кн. 1, стр. 324).

[3] Первая историческая грамматика русского языка (Буслаева) вышла лишь в 1856 г.

[4] Эти контуры, между прочим, широко намечались тем же Срезневским в его «Мыслях по истории русского языка» (1849).

[5] Сборник «Н. Г. Чернышевский», Саратов, 1926, стр. 68—72.

щихся к этимологизации. Далее, Чернышевский, давая словарь, вменял себе в обязанность приводить слова не в том виде, как они непосредственно свидетельствуются Ипатьевским списком летописи (XV в.), а в теоретической реконструкции для древнейшей поры первоначального составления самой летописи. Это обстоятельство, конечно, также должно было осложнить работу; кроме того, и здесь требовалась особенная отчетливость и отточенность сведений автора по истории русского языка древнейшей поры (XI—XII вв.). Чернышевский поставил себе еще дополнительные задачи стилистического свойства: отличать в словаре лексику собственно русскую (по происхождению) от церковнославянской, а кроме того, выделять особо слова «риторического» характера, т. е. по мысли Срезневского созданные нашими старыми книжниками в подражание греческим для целей витиеватой речи. Само собой разумеется, наконец, что словарь должен был содержать и элементы значений приводимых слов. Спрашивается, насколько удовлетворительно Чернышевским выполнены все эти задачи?

По последнему из заданий Чернышевского высказался сам Срезневский, упрекнув Чернышевского в том, что он в толковой части работы ограничился объяснением данных Ипатьевской летописи из одной Ипатьевской летописи, а не привлек иных источников для объяснения, которые дали бы ему возможность в ряде случаев, где отсутствует у Чернышевского значение слов, дать его. Поскольку, однако, в этом пункте Чернышевским проводится определенный принцип, можно, конечно, высказывать по его поводу иные суждения и пожелания, но приходится считаться и с принципом, как таковым, тем более, что с известной точки зрения и этот принцип имеет за собою некоторое значение. Однако можно отметить ряд случаев, где Чернышевский все-таки старается дать предположительное значение отдельным словам из Ипатьевской летописи, не объяснимые ею самой, причем в соответственных поисках определения значений этих слов он обращается к данным областного языка. Понятно, что этот путь, к которому прибегает Чернышевский для разъяснения значения неясных слов, должно подчеркнуть, как имеющий принципиальное методологическое значение. Ср. в словаре Чернышевского при слове *бретьяница* указание на обл. *братиня* (по Областному словарю, изд. 1852 г.) и *братина* (из Саратовской губ., по указанию самого Чернышевского) или при сочетании *дъна подступила* указание на обл. *дна* — плоская глиста, или при слове *рьли* указание на обл. *рёлка* и под.

Необходимость различения в словаре элементов исконно русской и церковнославянской лексики, равным образом «риторических» слов, по-видимому, была внушена Чернышевскому самим Срезневским, который в своей рецензии на работу Чернышевского говорит о целесообразности такого анализа словарного материала. Однако никаких точных определений указанных понятий как лексика русская, или церковнославянская, или «риторическая», никакого строго научного представления об этих понятиях во вре-

мена Срезневского еще не существовало, чтобы можно было надеяться на удачность опыта Чернышевского с классифицированием словарного материала по указанным трем признакам. И действительно, Чернышевский, не обладая сколько-нибудь твердыми и четкими принципами, на основании коих следовало бы разъяснять словарный материал, оказался очень осторожным в этой части своей работы, в чем, естественно, и упрекнул его Срезневский. Впрочем, можно было бы в этом отношении упрекнуть и самого Срезневского, но в обратную сторону — в несколько неосторожном и свободном отношении к пользованию названными понятиями. Ср. у Срезневского в группе церковнославянизмов или «риторизмов» такие слова летописи, как *исоушити*, *въсѣя*, *остлъпити*, *срьдьчьныи*, *сверѣпыи*, *основа*, могущие считаться элементами нормальной русской лексики.

Особенно важным представляется решение вопроса о том, насколько удалось Чернышевскому разрешить задачи этимологического упорядочения словарного материала, а также восстановление этого материала для древнейшей эпохи (XI—XII вв.). Следует признать, что обе эти задачи вообще выполнены Чернышевским для своего времени вполне удовлетворительно. Недаром Срезневский почти не нашел здесь для себя материала для замечаний. Действительно, этимологическое распределение словарного материала у Чернышевского в значительной мере предвосхищает позднейшие эпохи. Но, конечно, встречаются здесь частности, в которых этимологизирование Чернышевского расходится с позднейшими этимологическими построениями. Так, Чернышевский, видимо, исконно славянскими по происхождению считает слова *къназь* (помещено под корнем *кон-*, ср. *коньць* и под.), *истьба* (под корнем *топ-ьлъ*), *броня* (под корнем *бьр-*, *бор-*), *вино* (под корнем *ви-ти*); между тем это всё — заимствования. Или еще слово *снъха* (Чернышевский дает слово в форме *съноха*) связывается этимологически с существительным *сынъ*, между тем это разные этимологические единицы и т. п. Но вообще этого рода отступлений у Чернышевского от построений позднейших русистов так мало, что следует, повторяя слова проф. Ильинского, дивиться не тому, что мы их встречаем у Чернышевского, а тому, что их оказывается у Чернышевского так мало. Как объяснить это последнее обстоятельство? Очевидно, и тем, что Чернышевский от природы обладал тонким лингвистическим чутьем, и тем, что путем личного лингвистического совершенствования он поднялся до уровня современных ему этимологических знаний. Наиболее трудной частью работы Чернышевского должно было явиться восстановление словарной наличности Ипатьевского списка летописи для древнейшей эпохи ее предполагаемого начального сложения. Здесь требовалось совершенное знание истории языка, в частности древнейшего его периода. Научная же разработка исторической русской грамматики, как было замечено выше, во времена Чернышевского была ничтожна и, собственно, даже вовсе отсутствовала. Чернышевскому самому предстояло восполнить соответственные знания и, очевидно, един-

ственным путем — путем непосредственного знакомства с древнейшими памятниками письменности. Как ученик Срезневского, Чернышевский показания непосредственных памятников для изучения языка ценил очень высоко. Можно вспомнить в этом отношении об одном из пожеланий, брошенном Чернышевским по адресу Гильфердинга в рецензии на его сочинения. «Для целей сравнительного изучения языков,—говорит Чернышевский,— должно привлекать как данные живой речи, так и данные памятников». «Притом должно, — читаем мы дальше у Чернышевского, — делать различие и в самых памятниках. Напр., г. Гильфердинг берет слова из Миклошича и пишет *врѣхъ*, *дрѣзати*, а не *врьхъ*, *дрьзати*, как эти слова пишутся в Остромировом ев., самом важном памятнике языка славянского, откуда их и следовало брать»[1]. (см. Сочинения, т. I, стр. 177). Чернышевский оценил по достоинству значение такого памятника, как Остромирово ев., очевидно, близко с ним ознакомившись. Может быть, Чернышевский был знаком и с иными подобного типа древнейшими русскими памятниками. Заметим, что и Срезневский их очень высоко ставил, Остромирово ев., очевидно, и послужило для Чернышевского базой в его работе по восстановлению текста летописи для древнейшей поры. Принимая во внимание ничтожный уровень разработки в ту пору исторической русской грамматики, нельзя не отказать в признании правильности этого пути Чернышевского — строить картину прошлого русского языка по образцу древнейшего памятника его языка. Зная теперь «методологию» Чернышевского в интересующей части его работы, нетрудно предвидеть, каковой фактически должна была выйти у него наличность восстановленного для древнейшей поры словарного материала летописи. Чернышевский стремился в своих восстановлениях быть возможно последовательным и точным. Так, с крайним вниманием следит он за постановкой по-древнейшему еров и ерей, со всею тщательностью означает в написаниях слов мягкость согласных (смягченных *ж*, *ш* и т. д.) постановкою после них *я*, *ь* и под. или в надлежащих местах неукоснительно пишет в выносках (в отправных формах) слова́ в полногласном виде [2] и т. д. Но понятно, что с точки зрения современных наших знаний у Чернышевского могут быть отмечены известные отступления, неправильности, вполне объясняющиеся из общей картины недостаточной разработки в его время истории языка. Так, например, Чернышевский префиксы *без*, *въз*, *из*, *раз* в сложениях всюду снабжает ерами, например, в случаях *въсъпять*, *исъкоренити*, *росъкоторитися* и под.[3] или дает написания с ъ, ь «неорганического происхождения» (например, в случаях *огънь*, *вѣтьръ*, даже *вѣтьрило*, *оуѣдъ*, ср. еще

[1] Разрядка моя.

[2] Хотя ср. у Чернышевского написание *горностаи* (не *гороностаи*). Впрочем, сам Срезневский дает в словаре эту форму.

[3] В известной части этих написаний, впрочем, возможно предполагать намеренное сохранение у Чернышевского форм собственно Ипатьевского списка, без восстановления их применительно к древнейшей эпохе. Так и в иных случаях.

осьмь, *пѣсьнь*). Сочетания типа * tъrt и под. выдержанно передаются Чернышевским «по-церковнославянски», постановкой ъ, ь после плавного, но есть несколько отступлений — *богомерзкии*, *борсуковыи*, *четвертыи* и *четвергъ*, ср. еще написание комбинированного типа — *корѣзно*. Точно так же сочетания типа *trъt, trьt и под. всюду правильно изображаются постановкой ъ, ь после плавных, но ср. написания — *блещатися*, *броня*, *водо*(х)*креща*, *треклятыи*, *плевати*, *поропътати*, *стропотливъ*. В некоторых случаях попадаются написания с *о*, *е* вместо ъ, ь независимо от их сочетания с плавными, например *стегно*, *тезоименитыи*, *гоуменьце*, род. мн. *локотъ*, *любовьныи* и др., *сотьскыи*, *стропотливъ*. Обратные случаи имеются в восстанавливаемых Чернышевским формах слов — *попьлъ*, *постьль* и *постьля*, *прьвьньць* (вместо *попелъ*, *постель*, *пьрве*(*ѣ*)*ньць*. В ряде примеров не обозначен ъ (или ь), существовавший в древнерусском, например даются написания *брати* и родств. *гнати*, *драти*, *звати*, *зрѣти*, *прѣтися*, *тлѣньныи*, *многыи*, *мьдлити*, *подлѣ*, *стропотливъ*, *богомерзкии* и др. Напротив, исконно без редуцированных срединных звуков должны читаться восстанавливаемые Чернышевским слова *стькъло*, *ясьныи* и др. под., *нозьдри*, *хълоудъ*, *чьловѣкъ*, также отмеченные выше *съноха* (вместо *снъха*). В слове *пъшеница* следует ъ исправить на ь, напротив форму *оузькыи* надо читать с ером. Из отдельных примеров неправильного с точки зрения современных знаний восстановления форм могут быть отмечены: *пъчела* вместо *бъчела* (или *бьчела*), *ястрьбъ* вместо *ястрябъ*, *свѣрьпыи* вместо *сверѣпыи*, *сѣдьло* вместо *седьло*, корень *треск* вместо *трѣск* и нек. др. Из области морфологии следует отметить форму инфинитива *сътрѣсти*, очевидно, по случайному недоразумению восстановленную Чернышевским в этом виде: для старой эпохи языка возможна была только форма *сърѣсти*, откуда позднее,—с исчезновением редуцированного,—*срѣсти* и уже далее—*стрѣсти* (ср. современную обл. форму *стрести*). Вынесенные у Чернышевского прилагательные формы сравнительной степени *ближьшии*, *вышьшии*, *горьшии*, *лѣпьшии* — в несколько позднейшем по образованию виде (ожидались бы старейшие формы *ближии*, *вышии*, *гории*, *лѣплии*).

Один из первых учеников Срезневского, Чернышевский должен был стать в конечном итоге не специалистом-русистом, а специалистом-славистом вообще, в частности и русистом, каковым был по своей деятельности в университете сам Срезневский. Мы не имеем достаточно данных для суждения о Чернышевском как слависте. Несколько подходящих рецензий Чернышевского (на исследования Гильфердинга, Бодянского и нек. др.) свидетельствуют лишь об общих интересах Чернышевского к различным вопросам славистики (впрочем, не только славистики, но и индоевропеистики). Но у Чернышевского, с другой стороны, в названных статьях имеется ряд интересных для своего времени суждений и мыслей на общие вопросы лингвистики, позволяющие установить до известной степени критическое отношение молодого, еще начинавшего ученого к казавшимся в ту пору не-

зыблемым догмам индоевропеистики. Здесь характерно прежде всего скептическое отношение к реконструируемым фактам «праязыков». Как указывалось выше, для Чернышевского ясен тот материал, который должен служить базой для исследования языков: этот материал должен слагаться как из данных живой речи, так и из фактов, содержащихся в письменных памятниках. Отсюда у Чернышевского одинаковое внимание к одному и другому источнику. «Издание памятников—вот теперь самая настоятельная потребность», притом, конечно, «рядом с изданием должно идти исследование» (1,334),— читаем мы у Чернышевского. В отличие от аналитического подхода к языку сравнительников Чернышевский неоднократно указывает на необходимость филологического синтетического подхода к языку, выступает в защиту филологического характера исследования в работах, посвященных изучению прошлого, подчеркивает тесную связь изучения языка с изучением истории. «Человек, желающий ныне заняться исследованиями о древнейшей истории народов или о древних памятниках литературы, необходимо должен приобрести основательные филологические сведения. Историческая филология.. вспомогательная наука для древнейшей истории... помощь ее необходима для исторических исследований» (1, 225). Разбирая исследование П. П. Вяземского, посвященное «Слову о полку Игореве», Чернышевский правильно расценивает основной недостаток этого издания — отсутствие филологических принципов у его автора. «В сущности трудолюбивый автор (т. е. П. П. Вяземский) очень мало приготовлен к ясному пониманию ближайшего предмета своих сравнений, «Слово о полку Игореве»: на каждом шагу видно, что он не филолог» (1,311). Точно так же по поводу труда Черткова «Пелазго-фракийские племена» (вышедшего во Временнике Моск. Общ. Ист. и Древн. Росс., кн. 16) Чернышевский правильно замечает о том же «пренебрежении автора к строго филологическому разбору сближаемых (Чертковым) собственных имен», требуя для подобных исследований «полного внимания к прошлой исторической перспективе, к истории языка, развитию форм, различию наречий» (1, 213).

Особенно высоко, однако, Чернышевский ценил второй источник, как материал для истории языка, данные живой речи. Чернышевский выступает неоднократно противником обращения с языком, при его изучении, как с отвлеченным понятием. Следует изучать «организм языка» (1, 175), а не язык в теории. При сравнительном исследовании языков необходимо предварительно непосредственно изучить отдельные языки, подлежащие сравнительно-историческому анализу, а уже после заключать об их отношении друг к другу. В своей рецензии на работу Гильфердинга Чернышевский конкретизирует свое скептическое отношение к гипотетическим праязыкам: «Г. Гильфердинг говорит о славянском языке, как о языке первичного образования. Но мы не знаем такого языка: мы знаем только славянские наречия; первичный же славянский язык, из которого они произошли, нам неизвестен» (там же).

Или вот еще место из Чернышевского, ярко свидетельствующее об его целостном подходе к материалу живого языка, о его понимании значения контекста: необходимо «брать для сравнения слова из живой речи, где они только и имеют свой смысл, а не из лексиконов», ибо «учиться по лексикону все равно, что по азбучному списку собственных имен учиться географии» (1, 177).

Эти общие положения Чернышевского не утратили значения и для нашего времени, и нельзя не признать чрезвычайной тонкости лингвистического чутья Чернышевского, который с такою резкостью задолго до нашего времени выступил с этими новыми, для тогдашней филологии, принципами лингвистического исследования. Нельзя не поставить в заслугу Чернышевскому и его резкого требования необходимого разграничения понятий языка и письма, его упрека, например, по адресу Гильфердинга за то, что последний в своем исследовании «не оставил еще старого обыкновения *звуки* называть *буквами*»[1] (1, 176). Впрочем, Чернышевский ставил вопрос более широко, требуя вообще от исследователей-лингвистов четкости в пользовании грамматическими понятиями (1,176). И действительно, по конкретному пункту касательно классификации звуков Чернышевский, например, полемизируя с Гильфердингом, дает более выдержанную систему согласных (там же).

Представленная характеристика Чернышевского как филолога показывает с достаточной отчетливостью, что Чернышевский, владея солидною для своего времени суммой специальных знаний, был вдумчивой и оригинальной для своего времени научной силой. Не надо при этом упускать из виду, что деятельность Чернышевского как филолога только-только началась и была очень кратковременна[2]. Но даже и за этот краткий период Чернышевский сумел критически подойти к казавшимся в его время незыблемым догмам индоевропейского компаративизма и наметить ряд существенных моментов для их перестройки.

1928

---

[1] Курсив у Чернышевского.

[2] Впрочем, интересам к филологии, и в частности к лингвистике, Чернышевский был верен в течение всей своей жизни. Показателен в этом отношении факт, обнаружившийся в связи с чествованием юбилея Чернышевского (столетие со дня рождения) в 1928 г. На выставке памяти Чернышевского, организованной Пушкинским Домом Академии наук СССР, среди многих экспонатов, иллюстрировавших жизнь и деятельность Чернышевского, можно было видеть одну новообнаруженную, принадлежащую руке Чернышевского, большую рукопись, датированную 1883 г. Эта рукопись оказалась не чем иным, как сделанным Чернышевским переводом с немецкого языка известного труда по индоевропейской доистории Гена (Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere), свидетельствуя тем о живом его интересе к проблеме связи изучения языка с изучением истории материальной культуры.

БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ С. П. ОБНОРСКОГО

1912.

1. Глухие в сочетании с плавными в Супрасльской рукописи. — ИОРЯС, т. 17, кн. 4, стр. 333—384.

2. К истории глухих в Чудовской псалтыри XI века. — РФВ, т. 68, № 4, стр. 337—369.

3. О языке Ефремовской Кормчей XII века. — В кн.: Исследования по русскому языку, т. 3, вып. I. Спб., ОРЯС АН, стр. I—II, 1—85.

4. Судьба j-та (i) в Супрасльской рукописи.— ИОРЯС, т. 17, кн. 3, стр. 242—255.

1913.

5. Одна особенность языка К. Н. Батюшкова.— В кн.: Сборник статей в честь Дмитрия Фомича Кобеко... Спб., стр. 43—49.

6. Формы склонения по сатирам Кантемира.— РФВ, т. 69, № 1, стр. 48—64.

1914.

7. К литературной истории «Хождения» Арсения Селунского.— ИОРЯС, т. 19, кн. 3, стр. 192—205.

8. К этимологии слова *лахудра*.— РФВ, т. 72, № 3—4, стр. 380—382.

9. Общеславянское смягчение *к* и готские заимствования.— ИОРЯС, т. 19, кн. 4, стр. 99—102.

1915.

10. Готское ли заимствование слово *блюдо*? — РФВ, т. 73, № 1, стр. 82—85.

11. Один мнимый финнизм в русском языке (ответ А. Маркову). — Там же, т. 73, в. 2, стр. 347—349.

12. Памяти академика Ф. Е. Корша, ИОРЯС, т. 20, стр. I—VIII.

13. Ред.: Словарь русского языка, составленный Вторым отделением имп. Академии наук, т. 5, вып. I. Л.— *Лёгкий*. Пг. 320 стлб.

1916.

14. Рец.: Кошутић Рад. Граматика русского језика. П. Облици. Београд, Штампано у Држ. Штамп. Србије, 1914, XVI, 276 стр. — ИОРЯС, т. 21, кн. 1, стр. 320—342.

1920.

15. Памяти академика А. А. Шахматова.— ИОРЯС, т. 25, стр. 453—475.

1924.

16. Исследование о языке Минеи за ноябрь 1097 года. — ИОРЯС, т. 29, стр. 167—226.

1925.

17. Die Form des Vokativs im Russischen.— Zeitscher, Bd. 1, S. 101—116.

18. Dualspuren in der nominalen Deklination des Russischen.— Там же, Bd. 2, Doppelheft ½, S. 61—77.

19. Рец.: Дурново Н., Диалектологические разыскания в области великорусских говоров. — Там же, Bd. 1, S. 240—252.

20. Рец.: Meyer K. H., Historische Grammatik der russischen Sprache 1. Bonn, F. Cohen, 1923, XII, 246.— ИОРЯС, т. 30. стр. 470—489.

21. Ред. Шахматов А. А., Очерк современного русского литературного языка, Л., Госиздат, 211 стр.

1926.

22. Рец.: Vinogradov V., Исследования в области фонетики севернорусского наречия. Пг, 1923, — Ztsch, Bd. 3, Doppelheft ½, S. 492—507.

1927.

23. Именное склонение в современном русском языке, вып. 1. Единственное число.— Сборник Отд-ния русс. яз. и словесности АН СССР, т. 100, № 3, стр. I—XII, 1—324.

24. К истории словообразования в русском литературном языке. В кн.: «Русская речь». (Новая серия.) (Сб.) Под ред. Л. В. Щербы, Л., «Academia», стр. 75—89.

25. Рец.: Durnovo N., Очерк истории русского языка. 1924. — Ztsch, Bd. 4. Doppelheft ½, S. 249—260.

26. Ред.: Словарь русского языка составленный постоянной словарной комиссией Академии наук СССР, т. 5, вып. 2. Легкий — Летунок, Л., АН СССР, стлб. 321—480.

1928.

27. «Беглое» *в* в Супрасльской рукописи. — В кн.: Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского, Л., АН СССР. стр. 418—422.

28. Ред.: Словарь русского языка, составленный постоянной словарной комиссией Академии наук СССР, т. 5, вып. 3. Летунчик — Лисичий. Л., АН СССР, стлб. 481—640.

1929.

29. Словарь русского языка, составленный словарной комиссией Академии наук СССР, т. 3. Вып. 2. Изба — Издёргивать. Л., АН СССР, стлб. 225—384. (Совместно с др.)

30. Заметки по русской диалектологии (гл. I). — Slavia, г. 7, S. 837—852.

31. Прилагательное *хороший* и его производные в русском языке. — В кн.: Язык и литература. (Сб.) Т. 3, Л., РАНИОН, стр. 241—258.

1930.

32. Ред.: Словарь русского языка, составленный Комиссией по русскому языку Академии наук СССР. 2-е изд, т. 5, вып. 1. Л., — Лактукон. Л., АН СССР, 160 стлб.

33. Ред.: Шахматов А. А., Очерк современного русского литературного языка, изд. 2-е, 1931, М.—Л., Госиздат, 212 стр.

34. Именное склонение в современном русском языке. В. 2. Множественное число. Л., VI, 411 стр. (АН СССР).

35. Сочетание *чн* в русском языке. — В кн.: Труды Комиссии по русскому языку (АН СССР), т. I, Л., АН СССР, стр. 93—110.

1932.

36. Словарь русского языка, составленный Комиссией по русскому языку Академии наук СССР, переработ. и доп. изд., т. I, вып. 1. А—Ажно. Л., АН СССР, 224 стлб (совместно с др.).

37. Заметки по русской диалектологии (гл. 2—3). — Slavia, г. II, S. 43—55.

38. История и техника издания Словаря русского языка Академии наук СССР. — Вестн. АН СССР, № 7, стлб. 13—26 (совместно с Н. С. Державиным).

39. Ред.: Словарь русского языка, составленный Комиссией по русскому языку Академии наук СССР, 2-е изд., т. 5, в. 2. Лактукопикрин — Лебедушка. Л., АН СССР, стлб. 160—320.

1933.

40. Словарь русского языка. Новое изд., т. I., вып. 2. Ажно — Аллотриология. Л., АН СССР, стлб. 225—384 (совместно с др.).

1934.

41. «Русская правда» как памятник русского литературного языка. — Изв. АН СССР. ООН, № 10, стр. 749—776.

42. Русское правописание и язык в практике издательств.— Изв. АН СССР. ООН, № 6, стр. 455—483.

43. Ред.: Шахматов А. А., Очерк современного русского литературного языка, изд. 3, М., Учпедгиз, 198 стр.

1935.

44. Словарь русского языка, 7-е изд., т. I, вып. 3. Аллотриоморфный — Анархический. Л.—М. АН СССР, 385—540 стлб. (АН СССР, Ин-т языка и мышления) (совместно с др.).

45. Словарь русского языка, 7-е изд., т. 9, вып. 1. И — Идеализироваться. М.—Л., АН СССР, 160 стлб. (АН СССР. Ин-т языка и мышления) (совместно с др.).

46. Глагол «использовать» — «использовывать» в современном русском языке. — В кн.: Язык и мышление. (Сб.), III—IV, М.—Л., АН СССР, стр. 161—168.

47. Заметки по русским числительным.— В кн.: Академия наук СССР академику Н. Я. Марру, М.—Л., АН СССР, стр. 327—332.

1936.

48. Словарь русского языка. Инструкция для редакторов, М.—Л., АН СССР, 74 стр. (АН СССР, Ин-т языка и мышления).

49. Словарь русского языка, 7-е изд., т. I., вып. 4. Анархический— Антиципироваться. М.—Л., АН СССР, стлб. 543—704 (АН СССР, Ин-т языка и мышления) (совместно с др.).

50. Орфография и язык.— «Русс. яз. в школе», № 2, стр. 3—4.

51. Язык договоров русских с греками. — В кн.: Язык и мышление (сборник), VI—VII, М.—Л., стр. 79—103.

1937.

52. Словарь русского языка, 7-е изд., т. 5., вып. 1. Д — Деятельный. М.—Л., АН СССР, 252 стлб. (АН СССР, Ин-т языка и мышления) (совместно с др.).

53. Русская грамматика Лудольфа 1696 года.— В кн.: Советское языкознание. (Сб.), т. 3, Л., стр. 41—58.

54. Ред.: А. А. Шахматов (1864—1920), Сборник статей и материалов, М.—Л., 1937, 476 стр. (АН СССР. Труды Комиссии по русскому яз. АН СССР. Под общ. ред. С. И. Завиловой, вып. 3).

1938.

55. Хрестоматия по истории русского языка. Пособие для студентов высших пед. учебн. заведений, ч. I., Л.—М., Учпедгиз, 320 стр. (совместно с С. Г. Бархударовым).

56. Префикс *«без»* в русском языке. — В кн.: Памяти академика Н. Я. Марра (1864—1934) (Сб.), М.—Л., АН СССР, стр. 226—238.

1939.

57. Основные принципы орфографической нормализации. — «Русс. яз. в школе», № 5—6, стр. 5—13.

58. «Слово о полку Игореве» как памятник русского литературного языка тезисы доклада). — В кн.: 120 лет Ленинградского гос. университета. Научная сессия... Тезисы докладов, Л., ЛГУ, стр. 119—121.

59. «Слово о полку Игореве» как памятник русского литературного языка.— «Русс. яз. в школе», № 4, стр. 9—18.

1940.

60. Ломоносов и русский литературный язык. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, № 1, стр. 53—64.

1941.

61. Образование глагольных форм 3-го лица настоящего времени в русском языке. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, № 3, стр. 29—48.

62. Ред.: Державин Н. С., Сборник статей и исследований в области славянской филологии, М.—Л., 232 стр. (АН СССР).

1942.

63. Борис Михайлович Ляпунов (К восьмидесятилетию со дня рождения).— Вестн. АН СССР, № 9—10, стр. 83—85.

64. Ред.: Державин Н. С., Сборник статей и исследований в области славянской филологии, Л., АН СССР, 1941. — Там же, № 2—3, стр. 106—109.

1944.

65. Вопросы современной русской орфографии. —«Сов. пед.», № 11—12, стр. 28—35.

66. Памяти академика Б. М. Ляпунова. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, т. 3, в. 5, стр. 228—231.

67. Правильности и неправильности современного русского литературного языка. — Там же, вып. 6, стр. 233—250.

68. Разработка русского языка за 25 лет. — Там же, в. 1, стр. 16—30.

1945.

69. Борьба за культуру русского языка. — «Сов. пед.», № 10, стр. 25—30.

70. Культура русского языка. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, т. 4, вып. 2, стр. 58—68.

71. Памяти академика Л. В. Щербы.— Там же, вып. 3—4, стр. 167—169.

72. Памяти академика Л. В. Щербы.— «Сов. пед.», № 1—2, стр. 56—57.

1946.

73. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, М.—Л., АН СССР, 197 стр. Переиздано в Китае.

74. Академик А. А. Шахматов — историк русского языка. К 25-летию со дня смерти. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, т. 5, вып. 2, стр. 77—83.

75. Итоги научного изучения русского языка. — Учен. зап. МГУ, вып. 106. Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры, т. 3, кн. I, стр. 3—21. То же на чешском языке.—Sovetska věda, Jazykověda, Praha, 1951, № 1, S. 65—81.

76. Пушкин и нормы русского литературного языка. — В кн.: Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция филол. наук, Л., стр. 86—98.

77. Ред.: Виноградов В. В., Великий русский язык, М., Гослитиздат, 1945, 172 стр. — Сов. книга, № 1, стр. 116—117.

78. Ред.: Тематика научно-исследовательских работ для высших учебных заведений. Сборник 6. Филологические науки, М., «Сов. наука», 160 стр. (Комитет по делам высш. школы при Сов. Мин. СССР) (совместно с др.).

79. Культура русского языка. — В кн.: Юбилейная сессия Академии наук СССР. 15 июня — 3 июля 1945 г., т. 2., М.—Л., АН СССР, стр. 693—709.

80. Памяти А. М. Селищева. — Докл. и сообщ. филол. фак. МГУ, вып. 4, стр. 7—10.

81. Происхождение русского литературного языка старейшей поры. В кн.: Юбилейный сборник, посвященный тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции, ч. 2, М.—Л., АН СССР, стр. 789—793.

82. Ред.: Шахматов А. А. (1864—1920), Сборник статей и материалов, М.—Л., 474 стр. (АН СССР. Труды комиссии по истории АН СССР).

1948.

83. Культура русского языка, М.—Л., 30 стр. (АН СССР. Совет по научн.-техн. пропаганде).

84. Хрестоматия по истории русского языка (учебн. пособие для филол. фак. ун-тов и фак. яз. и лит-ры пед. ин-тов), ч. 2, вып. 2, М., Учпедгиз, 342 стр. (совместно с С. Г. Бархударовым).

85. Ред.: Доклады и сообщения Института русского языка АН СССР, вып. 1, М.—Л., 179 стр.

86. Ред.: Словарь современного русского литературного языка, т. I, А—Б. М.—Л., XLII стр., 736 стлб. (АН СССР. Ин-т русс. языка) (совместно с др.).

1949.

87. Хрестоматия по истории русского языка, ч. 2, вып. 1, Учпедгиз, М., 292 стр. (совместно с С. Г. Бархударовым).

88. Ред.: Материалы и исследования по русской диалектологии, т. 1—3, (АН СССР. Ин-т русс. языка) (совместно с Р. И. Аванесовым и Ф. П. Филиным).

89. Ред: Словарь русского языка. Сост. С. И. Ожегов. М., ГИЗ, 968 стр. (АН СССР. Ин-т русс. языка).

90. Ред.: Труды Института русского языка, т. I, М.—Л., АН СССР, 264 стр.

1950.

91. Ред.: Труды Института русского языка, т. 2, М.—Л., АН СССР, 228 стр.

1951.

92. Ред.: Аванесов Р. И., Русское литературное произношение, Учпедгиз, М., 1950, 160 стр. — «Русс. яз. в школе», № 1, стр. 79—81.

93. Ред.: Словарь современного русского литературного языка, т. 2, М.—Л., VIII стр., 1393 стлб. (АН СССР. Ин-т языкознания) (совместно с др.).

1952.

94. Хрестоматия по истории русского языка. Пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов, изд. 2, М.—Л., ч. 1, Учпедгиз, М., 415 стр. (совместно с С. Г. Бархударовым).

95. Ред.: Словарь русского языка. 52 000 слов. Сост. С. И. Ожегов, 2-е изд., испр. и доп., М., ГИЗ, 848 стр.

1953.

96. Очерки по морфологии русского глагола, М., АН СССР, 252 стр. Переиздано в Китае.

97. Современный русский язык.Морфология (курс лекций), под.ред. В. В. Виноградова. Учебн. пособие для высш. учебн. заведений, М., 1952, 520 стр. (МГУ).— «Русс. яз. в школе», № 4, стр. 75—77.

98. Ред.: Словарь русского языка. 52 000 слов. Сост. С. И. Ожегов, изд. 3, М., ГИЗ, 848 стр.

99. Задачи орфографической комиссии.—«Русс. яз. в школе», № 5, стр. 17—19.

100. Замечания на «Грамматику русского языка», т. I (М., АН СССР, 1952).— Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР, № 6, стр. 143—150.

101. Правописание наречий и наречных сочетаний. — «Русс. яз. в школе», № 6, стр. 17—19.

102. Ред.: Словарь современного русского литературного языка, т. 3, Г—Е. М.—Л., VIII стр., 1339 стлб. (АН СССР. Ин-т языкознания).

1955.

103. Ред.: Словарь современного русского литературного языка, т. 4, Ж—З. М.—Л., VII стр., 1364 стлб. (АН СССР. Ин-т языкознания), (совместно с др.).

1956.

104. Правила русской орфографии и пунктуации. Учпедгиз, 176 стр. (совместно с Л. В. Щербой, Д. Н. Ушаковым, С. Г. Бархударовым и др.).

105. Ред.: Словарь современного русского литературного языка, т. 5, И—К. М.—Л., VII стр., 1918 стлб. (АН СССР. Ин-т языкознания) (совместно с др.).

1957.

106. Правила русской орфографии и пунктуации. 2-е изд., Учпедгиз, М., 176 стр. (совместно с Л. В. Щербой, Д. Н. Ушаковым, С. Г. Бархударовым и др.).

107. Ред.: Шахматов А. А., Историческая морфология русского языка, Учпедгиз, М., 400 стр.

108. Наша анкета. О достижениях культуры и просвещения за 40 лет Советской власти (высказывания и пожелания школе). — «Нар. образ.», № 11, стр. 149.

109. Ред.: Словарь русского языка. В 4-х т., т. I, А—Й. М., ГИЗ, 964 стр. (АН СССР. Ин-т языкознания) (совместно с др.).

110. Ред.: Словарь современного русского литературного языка, т. 6, Л.—М., М.—Л., VII стр., 1460 стлб. (АН СССР. Ин-т языкознания) (совместно с др.).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Творческий путь академика С. П. Обнорского 3

Происхождение русского литературного языка

Происхождение русского литературного языка старейшей поры 29
«Слово о полку Игореве». 33
Язык договоров русских с греками 99
«Русская Правда», как памятник русского литературного языка 120
Русская грамматика Лудольфа 1696 года 144
Ломоносов и русский литературный язык 162
Пушкин и нормы русского литературного языка 176

Морфология русского языка

Префикс *«без-»* в русском языке 195
Глагол «использовать» — «использовывать» в современном русском языке . 206

Фонетика русского языка

Переход *е* в *о* в современном русском языке 215
Сочетание *чн* в русском языке 234

Культура речи

Правильности и неправильности современного русского литературного языка 253
Культура русского языка. 272

История языкознания

Памяти академика И. В. Ягича. 297
Памяти академика А. А. Шахматова. 309
Памяти академика Ф. Е. Корша. 325
Памяти академика Л. В. Щербы. 330
Памяти академика Б. М. Ляпунова. 335
Чернышевский как филолог. 340

Библиография работ С. П. Обнорского. 348

ИРЯ
Институт русского языка им. В. В. Виноградова
www.ruslang.ru

С. П. ОБНОРСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Редактор *О. Г. Шикина*
Художник *А. П. Купцов*
Художественный редактор *В. И. Бельский*
Технический редактор *Н. Н. Махова*
Корректоры *Г. С. Попкова* и *А. А. Рукосуева*

Сдано в набор 7/I 1960 г. Подписано
к печати 20/IV 1960 г. 60×92¹/₁₆
Печ. л. 22,25 + вкл. 0,125. Уч.-изд. л. 23,7 + вкл. 0,05.
Тираж 12 тыс. экз. А 03735 Заказ № 34
Учпедгиз. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

Цена без переплёта 6 р. 45 к. Переплёт 1 р. 50 к.

Отпечатано с готовых матриц в типографии
имени Калинина Облполиграфиздата Управления
культуры в г. Ростове-на-Дону. Заказ № 176.